

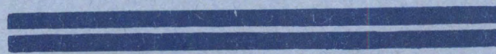
10

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1972

10



1972

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVIII

№ 10

Октябрь, 1972 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИТАУТАС БУНИС — Жаждающая земля, роман. Перевел с литовского Виргилиус Чепайтис	3
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — Удача, стихи	81
ВИКТОР КОЗЬКО — Високоcный год, повесть. Окончание	86
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. ГУЛЬЧЕНКО — Край у Гихого...	126
ИГОРЬ ДУЭЛЬ — Берег и море	137
ПОЭТЫ ЧУКОТКИ: Владимир Тынескин — Ярар; Михаил Вальгиргин—Оле- ненок. Перевел с чукотского Анат. Пчелкин	149
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. И. МИКОЯН — В Нижнем Новгороде. Продолжение	152
ГРИГОРИЙ ВАЙС — Утром, после войны...	184
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. МАРЧЕНКО — Время искать себя. Размышления о молодом герое совре- менной прозы	221
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах). Статья первая	243
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	261
В. Панкина. На вершине горы.— И. Варламова. Вдогонку за временем.— Л. Автопольский. Уроки прикладной духовности.— Т. Zubov. «Русской лож- кой деревянной...».	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	275
Ю. Симченко. Двадцать шесть возрожденных народов.— Е. Амбарцумов. Свежий подход к знакомым проблемам.— Н. Овчаренко. Многоплановое исследование.	
КОРОТКО О КНИГАХ — В. Семин. — Ю. Белостоцкий. Небо хранит тайну. Повести и рассказы. ♦ В. Кардин. — Б. Ямпольский. Волшебный фонарь. ♦ Т. Смоленская. — Яков Хелемский. На темной ели звонкая свирель. Хроника, состоящая из трех частей. ♦ А. Кузнецов. — Ф. Светов. Нравственный фундамент (Заметки критика)	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ВИТАУТАС БУБНИС

★

ЖАЖДУЩАЯ ЗЕМЛЯ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мысль ударила исподтишка, и Андриус присел, словно спасаясь от удара. Его бросило в жар, глаза затуманились, и не держись он за плуг, остановился бы, стараясь понять, что это с ним такое.

Борозды длинные, голову вроде бы продувает ветром, но мысль засела в мозгу и, знает Андриус, теперь не отвяжется. Хоть ты лопни, не отвяжется.

Не иначе как бес попутал! Андриус смачно сплевывает, поводит плечами.

Допахивая борозду, оглядывается через плечо на Маркаускаса. Догоняет, холера! От него не оторвешься!..

Андриус перебрасывает плуг с борозды на борозду.

— Тпру! — осаживает он лошадей и яростно бьет деревянными башмаками по отвалу: приставшие корни пырея и травинки портят борозду.— Поше-ел! Вороно-ок!

«Этот хрен Маркаускас тоже новую борозду начинает,— сердится Андриус.— На целый гон обогнал. Ну и ладно. А я вот пушу лошадей на лужок и завалюсь под куст хоть на целый час... Волен завалиться! А ты хоть тресни...»

Андриус-то волен! Головой он понимает, что волен пахать, волен и не пахать, но знает — ни черта он лошадей на лужок не пустит да и сам не завалится под куст. Он, как и Воронок, плетется по борозде и с нее не сойдет. Воронка подгоняет Андриус, а Андриуса кто? Маркаускас? Тоже нет; про Маркаускаса теперь можно говорить словами сказки: «Жил-был однажды крепкий хозяин...»

Скрежещет камень, задетый лемехом, подкидывает плуг, чуть не выбивает его из рук, но Андриус выравнивает борозду и кричит на все поле:

— Поше-ел!

Воронье поднимается с пашни и черной тучей опускается на голую верхушку березы.

Хмурится ненастный день начала ноября. Низко, рукой достать, висят набухшие дождем тучи, и даже странно, что Андриус не задевает за них, замахиваясь кнутом. Самая малость нужна — и туча разразится ливнем

Андрюс перебирает ногами, уцепившись за рукояти плуга, толстая корка жнивья шуршит, расступаясь,— кажется, неподалеку бурлит ручей.

...«Кишка узловатая, не борозда»,— сказал отец, когда Андрюсу было тринадцать. Тогда он чуть не расплакался. «Ничего, пока лемех не изведешь на пахоте, скажи — ничему не научился»,— утешил отец и потопал рядом, положив тяжелую правую ладонь на руку Андрюса. Потом сам взялся за рукояти, а Андрюс затрусил следом, словно жеребенок. «Ну дай я, отец...» — клянчил он. «Землю жалко,— ответил отец и объяснил как маленькому: — Землица плачет, когда ее так уродуют. С ней надо аккуратно обходиться, очень даже аккуратно, она косоруких не жалуется».

Андрюс так и увяз в пашне. Ноги налились свинцом. «Косорукий... Я — косорукий, а Пятрас, значит, умелец?» Брат был на четыре года старше и давно работал по хозяйству. И все сам, сам... Андрюсу подчас казалось, что Пятрас ему и не брат. «Не лезь! Отстань! Ну, отваливай...» Брату вечно было некогда, все время что-то делал. Не для себя, конечно, для хозяйства. А хозяйство-то, грех сказать,— заплатка на сермяге. Но отцу ведь не скажешь. Оно конечно — жалких семь гектаров, ледащая кобыла, две тощих коровенки да облезлая овца. Но для отца это целое поместье! И раньше или позже, но из ворот этого поместья он выедет на ярмарку в коляске, запряженной двумя рысаками. Смотрят все, помирают от зависти, а он знай сидит, натянув кожаные вожжи, да курит пахучую папироску!

Отец часто отрывался от земных забот и отводил душу за разговором. Очень уж гладко у него все получалось — слушаешь и аж во рту сладко...

Пока Андрюс ходил в школу, дома не считалось, что он задаром ест хлеб. Но весной он с божьей помощью одолел эти четыре класса. Что же дальше? Здоровье у отца неважное, зато Пятрас... Да и сколько тут работы! Значит, Андрюсу сидеть на лежанке да в носу ковырять? Боронить-то он еще туда-сюда, но борозду ведь не проложит. Одно слово, косорукий...

— Поше-ел!

Андрюс перетягивает кнутом Воронка и смотрит, как ложится борозда. На Маркаускаса больше не косится: и так знает — догоняет его хозяин, на пятки наступает. После обеда начинали разом — Андрюс чуть позади. Ишь, как оторвался Маркаускас!

«Как был я косоруким, так и остался?» — горько думает Андрюс.

...Пятрас ходил размашисто да враскачку, высоко нос задирает. Сядут все за ужин, а он непременно разговор заводит:

— А ты ешь, Андрюс, ешь! Не гляди, что похлебка чуть забелена. Пойдешь к кому в зятья, на клецках пузо отрастишь.

Андрюс, поперхнувшись, принимался кашлять и только потом отбрыкался:

— Никуда я не пойду. Мне и тут хорошо!

— Тесновато у нас, Андрюс. Двоим тут делать нечего. Как ни крути, придется тебе местечко подыскать.

— Да будет вам! Когда еще что, а они уже... — в сердцах бросал отец.

Андрюс всю зиму околачивался дома. Хворосту нарубит, картошки принесет да воды из колодца натаскает — вот и все его дела. И скотину кормит, и хлеба молотит, и в лес ездит вместе с отцом Пятрас. Андрюса они не берут — говорят, третий лишний.

Как-то отец обмолвился:

— Слышь, Андрюкас, съезжу-ка я к портному, что за выгонами живет. Может, возьмет тебя в науку.

— Меня-то в портные?..

— А кого же еще, Андрюс... Да и чем плохо? Работы хватает, заживешь баринком. Ни тебе по полю таскаться, ни грязь месить. Пошил какую мелочь, а в кармане — лит. А то зерном взял. Не жизнь, а малина у портного.

Отец все чудесно расписал, но Андрюс морщился.

— Пускай Пятрас в портные идет! — наконец вымолвил он.

Пятрас расхохотался:

— Я-то? Ты что, не знаешь? Я буду здесь хозяином.

— Это правда, отец? — спросил Андрюс.

— Так уж получается, сынок. Пятрасу хозяйство достанется, а тебя выучу, на ноги поставлю — и живи себе.

— Не хочу. Я не хочу! — вспылал Андрюс.

— Землю надвое делить — ни одному не жить, ни другому...

— Да что ты, отец, с сосунком заводишься. Сказано — и делу конец, — оборвал отца Пятрас. Можно было подумать, что он уже хозяин!

Утром отец запряг лошадь в сани и уехал. Андрюс ждал ни жив ни мертв и зыркал исподлобья на брата. Не хотелось, ох как не хотелось ему портняжничать... Да, хитер Пятрас, хорошо на хозяйстве, а ему, Андрюсу, таскаться как побирушке из деревни в деревню. «Нет уж, нет, погоди меня хоронить-то...»

Отец явился уже после обеда, завел лошаденку в хлев, но в избу входить не спешил. Андрюс отогревал пальцами заросшее ледяной коркой стекло окна и смотрел на отца, как он слоняется возле гумна.

— Вот не ждал, что портной такой скупердьяй. — Раздевшись, отец устало опустился на лавку. — Страх сколько заломил! И за то только, что покажет, в каком месте разрезать и в каком шить. Да еще, говорит, швейную машину купи. Ничего себе — купи! А откуда я эти сотни возьму? Ну и жулик, ну и таракан!

Отец сердился, бил кулаками по коленям, но Андрюс чуть не прыгал от радости. А когда отец вышел во двор, Андрюс подбежал к Пятрасу и заплясал перед ним:

— А вот и не пойду никуда, а вот и дома буду сидеть!..

Брат схватил Андрюса и швырнул к стене, прямо на корыто, в котором мяли картошку для свиней. Андрюс упал на бок, больно ссадил локоть, но, поднявшись, не заплакал, а крепко стиснул зубы.

По весне отец отдал Андрюса в подпаски. С домом Андрюс расставался просто, словно убегая на минутку к соседям. Правда, отцу поцеловал руку, матери тоже поцеловал, а Пятраса словно не заметил, но в душе унес бессильную ненависть обиженного.

Когда осенью, после дня всех святых, вернулся, вытянувшийся за лето, раздавшийся в плечах, увидел, что Пятрас пашет огород.

— Дай я, — попросил.

— Да пошел ты, тут аккуратность нужна... Огород!

— Я умею, вот увидишь.

— Ну и умей...

Брат побрел за плугом. И отец не предложил Андрюсу проложить борозду.

— Молодец, что научился. Когда в людях живешь, все может пригодиться, — почему-то сказал он, и Андрюс подумал: «Я им не нужен. Мне только... в людях. Вечным батраком...»

На другой год Андрюс ушел служить батрачком. На следующий — тоже батрачком. А на третий уже батраком. К тому времени ему стукнуло шестнадцать, он был широк в плечах и силен не по годам.

Так и жил Андрюс — каждый год новый хозяин, новый вкус хле-

ба, новые деревянные башмаки и пестрядинные штаны. Только работы прежние и слова хозяев прежние: вставай, будет дрыхнуть, потяжелее бери, не бойся, не надорвешься!.. пошевеливайся, ты что, поднять не можешь?.. Иногда, правда, еще «ужака», «гадоку», «холеру» подбросят.

...Свистит кнут Маркаускаса, хлещет кобыл по бокам.

Нукает, причмокивает, дерет глотку, словно его самого хлещут. Всегда он так. Начинает первый и чешет впереди, высунув язык. И с косою так и с плугом... Из последнего надрывается, ногами-руками за землю держится. Но земля уходит из-под ног. Настанет такая минута — уйдет насовсем...

А пока он тут командует, жизни Андриюсу не видать. Эка важность, что власти землю дали. Как был батраком, так и остался. «Пока не искореним кулачества...» — дело пишут в газетах!

Андриус вздрагивает — снова мелькает эта проклятая мысль, обжигая огнем, ему кажется, что Маркаускас вот-вот обо всем догадается.

— Поше-е! — кричит Андриус изо всей мочи, отгоняя криком страшные мысли. Но мысли не воронье на пашне — криком не вспугнешь.

За землю все можно. За землю, как сейчас помнит, брат брата...

...В тот год Андриус вернулся от хозяев, когда начали копать картошку, так и не выдержав до конца года. Хозяева — братья — делили землю, грызлись что псы, дрались, судились. Андриус плюнул — и домой. Оно конечно, дома тоже не пироги, но день тут поработает, день там. Так и ходил поденщиком в родной деревне, в соседние села забредал — копал картошку, чистил хлева, потел на молотье. Вставал затемно, чтоб успеть к завтраку; прозеваешь — никто не предложит, и будешь вкалывать до обеда на голодный желудок.

У Мачюты как раз мяли лен. И Андриуса кликнули на помощь. Надо ведь и яму растопить, и последить, чтобы лен равномерно подсыхал, погрузить снопы на телегу и выгрузить. Работы — только успевай поворачиваться. Андриус успевал.

Женщины и девки на бугре под старыми липами трепали языками. Но еще громче стучали мялки: чах-чах, та-тах, та-тах! Словно дружная песня летит над полями, схваченными первым морозцем.

Весело работать миром. Каждый день ходил бы по толокам, если бы только звали. И если б всюду была... Если б она тоже ходила, Альбинуке-то. Когда оба в школу бегали, была девочка как девочка, писклявая какая-то, но вдруг Андриус заметил: выросла, похорошела. Совсем уже не та пискля... В самый раз то, что ему нужно.

— Альбинуке, а вечером парни придут? — спрашивают девушки.

— Придут... Придут... — тарыхтит мялка хозяйской дочки.

— А музыканта звала?

— Звала... звала...

Швырнула пучок к другим, схватила в горсть немятого льна и снова — чах да чах, та-тах да та-тах!

— Андриус, прибавь дыму! — кричит Альбинуке.

Андриус хватает огромное полено и, словно спичку, швыряет на головешки. Потом вскакивает на телегу и с грохотом слетает с горки: остался еще немножко льна, дрова нужны.

Вечером в горнице скрипка пиликала одну и ту же мелодию, и Андриус долго собирался с духом, чтобы пригласить Альбинуке. Как говорится, будто голый в крапиву прыгать примеривался и все не смел. А она только с одним потанцует, как ее уже подхватил другой. Наконец и он оторвался от лавки, подтянул штаны:

— Так, может, и мы...

Альбинуке кружилась легко, будто перышко, а Андрюс топтался, как медведь. Хотел сказать ей что-нибудь, но не знал, с чего начать.

— Помнишь, как я тебя в речку толкнул? — наконец выдал он.

— Я учителю наябедничала, а он тебя на колени поставил.

— Ага, весь урок в углу продержал, холера! — вспомнил Андрюс и тут же испугался сорвавшегося ругательства. Замолчал и теперь уже ждал, чтоб кончилось наконец это пиликанье и он мог бы забиться в свой угол.

Когда все расходились, Андрюс нечаянно столкнулся с Альбинуке в сенях, схватил ее руку, подержал в своей и нырнул в звездную ночь.

В рождественский пост пошел к Мачюте рожь молотить. Вдвоем с хозяином бухали цепами, вытряхивали снопы. В открытую дверь гумна Андрюс видел, как по двору снует Альбинуке. Других двух ее сестер он и не замечал, а вот Альбинуке все как магнитом притягивала взгляд.

— Чего ты там увидел? — спросил Мачюта.

Андрюс растерялся:

— Гляжу — авось снег пойдет.

Мачюта помолчал и, потуже затянув сноп, сказал:

— Дочерьми господь не обидел, а вот сына — ни одного. А без второго мужика, хоть хозяйство у меня и небольшое, никуда.

— Правда, дядя. А дочки у вас пригожие.

Мачюта ухмыльнулся в усы.

Встретил как-то Альбинуке на дороге. Слово, другое и — «до свиданья!».

— После Нового года опять батрачить уходишь? — спросила Альбинуке.

— Ухожу, Альбинуке.

— А то бы на посиделки приходил...

У Андрюса в голове трезвон — словно колокола ударили: о чем это она? Неужто вспомнила, как вместе лен мяли, или...

— Я вернусь, Альбинуке. Это уже последний год у чужих... Еще посмотрим — я ведь хозяйский сын!

Ляпнул Андрюс и застеснялся — тоже мне хозяйство... Но как ни крути...

— А как же, а как же, — сказала Альбинуке. — Ну, так будь здоров, может, не скоро свидимся.

— Если только, Альбинуке... Я бы прибежал вечерами. А что мне... Если только, Альбинуке, слово...

Альбинуке удалялась по снегу — легкая и быстрая, словно ее ветром несло.

Андрюс нанялся к Маркаускасу. На самый край волости увез его хозяин. Далеко, за ночь не сходишь, с Альбинуке не повидаться. А дни не твои — дни хозяйские.

Перед успеньем дали знать — Пятрас женится. Маркаускас отпустил Андрюса на два дня. Но и того оказалось много. Андрюс вернулся поздним вечером еще первого дня — черный как земля. Когда спрашивали, в чем дело, молчал, только сжимал кулаки. Да и что тут скажешь, будто тебя поймут? Только посмеются, коли узнают, что родной брат у Андрюса девушку увел. Лучше уж помолчать.

Андрюса словно громом поразила весть, что Пятрас женится на Альбинуке. А он-то надеялся — на свадьбе как раз будет случай повидаться с ней, потолковать. Как на крыльях летел домой...

— Смеешься, Пятрас, — не поверил Андрюс.

Пятрас хохотнул, и Андрюс понял — так оно и есть.

— На Альбинuke женится, это правда, Андpюс,— подтвердил отец.— Мачюта четыре гектара земли дает, целую полосу.

Словно обухом по темечку огрели — закачался Андpюс, опустил руки, свесил голову.

— Никак ты в Альбинuke втрескался,— все еще смеялся Пятрас.— Слышал толки, но думал — брешут...

Андpюс подошел к Пятрасу, стал лицом к лицу.

— Тебе земля нужна, не Альбинuke!

— Альбинuke тоже...

— Земля нужна, земля! Думаешь, враз помещиком заделаешься?! Нет! Тут и моя земля есть, и мой пот. Мой — понял?..

Видно, Андpюс выглядел страшно, если Пятрас даже попятился:

— Сдурил ты, Андpюс?..

Андpюс как-то сдержался и вышел во двор, громко хлопнув дверью избы. Слонялся по двору, бродил по полям, пока не услышал — едут. Последним вошел в избу, сел за стол и покосился на Альбинuke, белую как молоко, в белой фате. Все галдели наперебой, а Андpюс налил себе полный стакан водки, выхлестал, как водичку, и даже рот не вытер. К закускам и не притронулся. Сидел, глядел на скатерть, изредка зыркал то на Альбинuke, то на довольного и напыжившегося Пятраса. Снова выпил. Кто-то попытался остановить его, отвлечь разговором, но Андpюс ничего уже не видел и не слышал — голова закружилась, горница и свадебники завертелись колесом, а боль крепчала, росла и уже не умещалась в груди. Вскочил как ужаленный, ударил кулаком по столу и взревел:

— Еще посмотрим, братец!

И — в дверь. Забегал по двору — то сюда, то туда. Схватил с колоды топор, подержал в руках и швырнул на кучу хвороста. Принес к углу избы охапку соломы и вытащил спички. Чирк, чирк — не загорается. Но тут кто-то сзади огрел его по шее, Андpюс аж присел. Навалились на него мужики, связали, отнесли к хлеву и бросили там. В избе пили, горланили, пели, а в высоком небе мучительно мигали звезды. Андpюс морщился, шевелил руками и ногами, извивался, будто уж. Вряд ли сумел бы высвободиться сам, если бы не Скринска. Не звали его на свадьбу. Незваный заглянул. Да и как могли позвать на свадьбу такого «бунтовщика»! Хоть хлебом с водой питался, хоть с дырявой мотней ходил, но гордый был как мало кто: дескать, сдохну, а к богатеям служить не пойду. Язычок у него был острый и частенько жалил зажиточных хозяев, да так больно, что однажды полицейский его даже в холодную упрятал. Вот и теперь брел Скринска мимо двора и увидел связанного Андpюса.

— Вот сбесились! Андpюс, это ты?

Андpюс только зубами скрипнул, кажется, не узнал даже лучшего друга детских лет. Скринска вытащил нож, сверкнуло лезвие, и пути ослабли. Ноги Андpюс попытался развязать сам, но пальцы онемели, и Скринска снова полоснул ножом. Андpюс тяжело поднялся, очумело посмотрел на небо, на освещенные окна избы и побрел по полю — простоволосый, в грязной рваной рубахе.

— Андpюс! Андpюс! — звал Скринска, долго шел за ним, потом отстал.

Андpюс не помнит теперь, может, и встретил кого на дороге, может, и убегали от него люди, как от сумасшедшего. Ничего он не помнит. Потом только удивлялся, каким чудом попал на хутор Маркаускаса. Так лошадь, бывает, сама притащит телегу домой к хозяину.

...Кобылы Маркаускаса дышат Андpюсу в спину, чуть ли не тычутся влажным холодным храпом.

«Ну вот, поджимает, холера! — не на шутку сердится Андрюс. — Для него я как был батраком, так и остался... Ладно, поживем — увидим...»

На краю поля Андрюс разворачивает лошадей. И Маркаускас занимает новую борозду. И знай чмокает, нукает. Никак, он Андрюса подгоняет! Мог бы — кнутом огрел. Всегда был прижимист, не жалел ни чужих, ни себя. И остался таким, хоть сейчас мог бы и призадуматься. Пора бы ему пораскинуть мозгами, пора понять — очень уж непрочна земля, на которой он стоит. Мог бы подумать и о том дне, когда... Андрюса снова прошивает эта мысль... «Нет, нет, ну и дурак же я, было чем забивать голову». Но чем больше успокаивает себя Андрюс, тем пуще ярится. «Будет он тут мной командовать... Еще ему не надоело...» Даже плуг, дернувшись у него в руках, чуть не выскакивает из борозды.

За спиной фыркает кобыла, и Андрюс не оборачиваясь наотмашь бьет ее по храпу, но промахивается. Глаза заливают ярость. Он тпрукает на лошадей, резко оборачивается к Маркаускасу. И тот оставив кобыл, валит плуг набок и не торопясь чистит отвал. Андрюс так и ест глазами Маркаускаса, словно тот единственный виновник всех его бед. Потом подходит, волоча за собой кнут.

— Перекур, — говорит и не узнает своего голоса.

Маркаускас шарит в карманах, достает кисет с табаком, клочок курительной бумаги и сует Андрюсу. Андрюс скручивает сигарку, табак просыпается, бумага рвется.

— Все надрываешься, хозяин?

— Не могу иначе, Андрюс. Не умею.

— Ха, ха! — злобно похохатывает Андрюс.

Расхохотаться бы на все поле, но вроде смеяться не над чем...

— Ты ж меня знаешь, Андрюс. Не первый год.

— А как же, хозяин, знаю, как облупленного знаю... — Утаенная горечь обжигает горло.

— Для меня земля — все.

— Земля! — снова смеется Андрюс, затягивается, выдыхает злой дым. — А для меня земля что, хозяин?

Он ждет ответа. Но ответа что-то нет. Маркаускас, прищурясь, сосет сигарку, и его глаза, крохотные и колючие, шарят по туманным осенним полям.

— Человек — будто раб. Земля связывает по рукам и ногам, — говорит Маркаускас.

Андрюсу снова хочется рассмеяться: раб! «Хорошенький из тебя раб, хозяин...» Но он молчит. Не может, почему-то все еще не смеет он бросить эти слова прямо в лицо. А скверных слов в душе накопилось тьма. И откуда они берутся?

Накрапывает мелкий дождичек. Прозрачные капельки, словно роса, усеяли спины лошадей, руку, держащую дымящуюся сигарку. Все блестит.

Вороны, силпо каркая, прыгают по пашне.

— Потопали, что ли, — говорит Маркаускас.

Андрюс медленно, словно обдумывая каждый свой шаг, бредет к плугу, поправляет спутавшиеся вожжи.

— Поше-ел!

* * *

— Пашешь, мил человек?

— Ага, Пранцишкус.

— А у меня так и стоит жнивье. Хоть лопни тут с вами...

— Твой братец трактор тебе пригонит.

— Будет смеяться, мил человек.

Стоит Пранис Наравас с портфельчиком под мышкой, сложив на животе тяжелые руки. Рослый и плечистый, но вроде какой-то скобоченный. Эх, пошел бы и он за плугом, прокладывая борозду, — чего больше и желать-то... Но этот портфельчик... Прилип словно горб, и таскаешь его с хутора на хутор под собачий лай, и каждый смотрит на тебя как на продажного.

— Какие дела пригнали, Пранцишкус?

Маркаускасу, сразу видно, не по себе: как ни верти, Наравас — власть, отправит куда-нибудь с обозом или на казенные работы, и будь здоров. Известное дело. Но Пранис только пожимает угловатыми плечами и робко говорит:

— Дела как дела, мил человек... Иду вот, имущество переписываю.

— Да ведь только что переписывали...

— Приказ вышел, мил человек...

— Ну, ежели приказ...

Маркаускас обводит взглядом пашню, словно меряет, сколько борозд проложил бы за этот часок, что сейчас потеряет...

— Долго не задержу, мил человек, — успокаивает его Наравас. — Отмечу что и как и дальше пойду.

Маркаускас пускает лошадей на порыжевший луг, усеянный черными листочками ольхи.

Садятся за стол в избе. Наравас кладет потертый портфельчик на стол, извлекает из него амбарную книгу. Потрескавшиеся пальцы с ороговевшими ногтями, привыкшие крепко сжимать косу или вилы, поднимать тяжеленные полевые камни или бревна, никак не могут ухватить тонкие страницы. Пранис слюнявит пальцы, листает обеими руками, отдувается, поводит плечами, заслонившими все торцовое окошко.

— Как насчет рюмочки, Пранцишкус?

— А есть? — Лицо Нараваса расплывается в улыбке, даже морщины на лбу исчезают.

— Поищу, Пранцишкус. Вроде была.

Пранис отодвигает книгу, снимает фуражку и шмякает ее на лавку. Проводит рукой по лицу, и от улыбки — ни следа.

...В тот тяжкий год, когда в Литве свирепствовал кризис, сгорела его изба. В косовицу, в самый зной. Дети сидели одни дома, нашли спички... Как жить-то, что делать? Осенью он сел в телегу и уехал побираться по окрестным деревням. Завернул и на хутор Маркаускаса. «Пожертвуй что-нибудь погорельцам, мил человек» — тяжело было говорить эти слова. Маркаускас встал из-за обеденного стола и только руками развел: «А что мне тебе дать, Наравас?» — «Да что можешь, мил человек, что можешь... Куль соломы или снопик льна. Или одежду какую-нибудь ветхую...» — «Да нету у меня, Наравас, ничего, понимаешь, нету!» И ушел в хлев...

— Твое здоровье, Пранцишкус...

«Да будет, Маркаускас. С каких это пор ты такой ласковый?» — начинают шевелиться губы Нараваса, но слова застревают в горле, и он заливает их стопкой самогона.

— Хоть и не соседи — где одна деревня, а вон где другая — и не родичи, но сердцу не прикажешь — нравишься! Да ты выпей, Пранцишкус, не жди. Помнишь, как к девкам ходили? Одногодки ведь.

— Ты на два старше.

— Правда? А мне-то казалось... ну, пускай... И родители наши ладили. У твоего отца, вечная ему память, золотые руки были! Такой ведь был резчик, святых для часовенок делал!

От двух стопок Наравас отмякает, ему становится легко и тепло. Изба наполняется молочно-белым туманом, и туман этот плывет, покрывается рябью, как теплым летним утром. Сидеть бы вот так да сидеть, а то положить голову на руки, спокойно заснуть, потом проснуться, оглядеться — а тут совсем другая жизнь! Но вот лежит раскрытая амбарная книга — ты пришел переписать имущество Маркаускаса. Не пьянствовать и не дрыхнуть... Ты — председатель сельсовета, мил человек, и при исполнении служебных обязанностей!

-- Хватит, все. Точка, мил человек.— Наравас стучает стопкой и придвигает поближе книгу.

Маркаускас не уговаривает, не вводит в искушение, только налегает грудью на стол.

— Выкладывай, чего у тебя есть, мил человек. Начнем с лошадей. Сколько держишь?

Маркаускас медлит, словно не знает точно и надо хорошенько все сосчитать.

— Пиши три.

— Три?

— Три, Пранцишкус.

— Так и запишем! — Наравас непослушным карандашом выдавливает на странице цифру, а потом поднимает голову. — Да ты же четырьмя пашешь, двумя плугами!

— Одна Андрюса, новосела.

— М-гм! — мычит Наравас. — А как звать лошадей-то?

Маркаускас снова надолго замолкает.

— Воронок, Сивка...

— Подожди, давай по порядку. Запишем — Воронок. Сколько ему лет?

— Кажись, одиннадцатый стукнет... одиннадцатый год.

— Ну так как: десять или одиннадцать?

— Пиши одиннадцать, Пранцишкус.

— Один-надцать. Приметы какие?

— Чьи?

— Лошади, как это бишь ее... Воронка, мил человек...

— Приметы, — размышляет вслух Маркаускас. — Да шут их знает. Может, что масть вороная, а на лбу звезда.

— Масть воро-ная, — медленно выводит Наравас букву за буквой, а добравшись до конца слова, так лихо закручивает хвостик, что даже сам доволен написанным — любителю, склонив голову набок, потом переводит дух и едет дальше: — Звезд-а... Какая звезда-то?

— Может, выпьем, Пранцишкус?

— Да я ж при исполнении... Ну, ладно... Только вот столечко... хватит, хватит, говорю!

Пранис выпивает, весь передергивается и подпирает рукой отяжелевшую голову. Ох, не пил бы он, капли бы в рот не брал, тем более тут, за этим столом... Но что делать, как иначе жить-то? Одну ночь проведешь над хлевом, другую — на гумне, зарывшись в сено. Приходили ведь ночью, ворвались в избу, жену и ребятишек насмерть перепугали и пригрозили — если Пранис не бросит эту работу... Очень нужна была ему «эта работа»... Вызвали, уломали. Родной брат Юргис, можно сказать, на колени встал. Ему-то что — с винтовкой разгуливает, да не один, а с целым отрядом.

— Слышишь, Пранис, подсоби, видишь, время какое, а любую сволочь председателем сельсовета не назначишь, ты же свой человек, для тебя наша власть — что мать родная...

— Хороша мать, если детей на ночь одних оставляет, а сама — в город, за каменные стены, — отбрил Пранис и тут же покраснел от стыда: неужто он против Советской власти, которая с него все долги сняла и, можно сказать, из петли вынула?

— Винтовку дам, — предложил Юргис.

— А из какого конца стрелять, мил человек? — спросил Пранис.

— Покажем! — пообещал Юргис.

И так целый божий день, и чудесно расписал то время, когда станет спокойно и человек не только будет сыт, но и не надо беспокоиться за своих детей, за свою старость, когда он знать не будет о всяких, как это они, кризисах.

— Литва, брат мой, сейчас не обездоленная сирота и не мачеха-ведьма. И только потому, что она вон в каком братстве! — Юргис провел рукой по огромной карте, висящей на облупленной стене. — Отсюда вся наша сила! Неужто и ты, брат мой, за вчерашний порядок, за прежний?

— Ты мне лучше про прежний не говори...

— Раз так, надо новый поддерживать. Хоть и тяжело, давай его поддерживать...

Пранис мало чего понял, но он знал золотое сердце Юргиса. И сказал:

— Что ж, раз надо...

Юргис выдал ему портфельчик, председатель волости напихал в него бумажек, вдвоем проводили до двери. Сгущался апрельский вечер, небо заложили тучи, дул пронизывающий ветер. Когда он вышел в поля, совсем стемнело, и Пранис почувствовал, как тяжел этот портфельчик.

Шли дни, сердце все время было не на месте, и Пранис привык успокаивать его рюмкой. Встает утром, заберется в сарайчик, чтоб жена не видела, и потянет глоток-другой. Вечером перед сном — опять. Идет по дворам — тоже не отказывается от угощения. Не обидишь же человека, всякое могут подумать! А Пранис Наравас хочет жить со всеми по-человечески, хоть иногда ох как нелегко бывает закрыть глаза и заткнуть уши...

— Может, еще одну, Пранцишкус!

— Все. Точка! — твердо говорит Наравас и снова налегает грудью на книгу. — Какая звезда?.. А может, белая?

— Белая, точно белая.

— Так и запишем: бе-лая. Видишь ли, мил человек, говорят, нынче лошадям паспорта выдадут.

Маркаускас прижимается спиной к стене.

— Ты так и сказал — паспорта?

— Ну да... Без паспорта лошадь из хлева не выпустишь. Да и в хлеву, если зайдут, могут спросить: а паспорт где?

— Да пропади они... Может, прикажут паспорт у лошади под хвостом держать?

Пранис Наравас катает ладонью по столу карандаш, смотрит исподлобья на Маркаускаса и угрюмо усмехается: струхнул, хозяин? Власть знает что делает... Надо будет — пересчитает не только лошадей, но и штукетины в заборе!

— Теперь коровы, мил человек. Сколько держишь?

— Коровам тоже паспорта?..

— Коровам — нет. Корова, она и без паспорта ясная.

Маркаускас считает в уме коров.

- Броде три.
- Три?
- Пиши три, Пранцишкус...

И

За ольшаником, на самом краю поля, Тересе дергает кормовую свеклу из раскисшего чернозема и аккуратно складывает в две кучи: корни к корням, листья к листьям; не испачкается ботва, не пойдет насмарку, если только ночью заморозки не схватят — осенью-то погода в любую минуту может перемениться. Свекла крупная, глубоко сидит в земле, ботва обрывается, и голыми руками залезаешь в землю, пока не вытащишь этакий пень. Руки черные, словно измазанные в дегте, болят отодранные ногти, ноет спина. Борозды длинные, конца им не видно, и Тересе даже не поднимает головы, чтоб посмотреть, скоро ли конец этой маете.

— Довольно, Тересе, хватит! — кричит Маркаускене. — Давай чистить, вечер.

Тересе сгребает свои кучки и идет к Маркаускене. Садится, поджав под себя ноги, берет свеклу: цок! — ножом по ботве, и шлеп! — ее направо, чах, чах! — по прилипшей к корню земле, и бух — его налево. Другая свеклина в руках и опять: цок — шлеп! чах, чах — бух!.. И снова и снова... А куча не убывает, куча огромная, как и поле с убегающими вдаль бороздами.

— Никак дожди заладят, — говорит Маркаускене и вытирает нос рукавом ватника. — Запоздали мы в этом году, того и гляди морозы ударят. В другой год — да ты и сама знаешь — в эту пору уже лен стлали.

— Такая осень. Дожди, — отзывается Тересе; она все знает, но говорит не то, что могла бы сказать.

Маркаускене качает головой, глубоко вздыхает.

— Времена нынче не те, Тересе, вот в чем загвоздка! Руки не поднимаются, ноги что колоды. Вот и думаешь: прожила свой век и что видела? Что у тебя осталось на старости лет? Все в черную землю глядела, а и земля уже не твоя... Все перекувыркнулось, Тересе.

...Тересе понимает хозяйку — не хотела бы сейчас быть в ее шкуре... Да и она сама, в своей-то шкуре, ничего толком не знает... По сей день не знает, куда катится ее жизнь и до чего докатится. Хорошо Андриюсу, ему все ясно. А Тересе ждет... Все ждет чего-то, и на душе кошки скребут. Да и знала ли она хоть когда-нибудь покой? С самого детства идет за ней по пятам тревога, с того самого зимнего дня, когда в их двор завернули сани; на досках лежало накрытое попоной тело. Мать выбежала из двери и застыла словно в столбняке. «Сосну валили, а он возьми и поскользньись... Что поделаешь, Юрконене, против воли божьей не попрешь», — сказал Маркаускас. Он внес отца, положил на кровать, сложил ему руки на груди. Мать упала на колени, обняла отцовы ноги в валенках и запричитала: «О господи боже, Иисусе Христе...» Тересе дрожала, забившись в угол: «Неужели отец не встанет? Неужели его больше не будет? Как мы теперь жить будем?»

Отец не встал; некрашенный гроб закидали мерзлой землей, словно камнями. А жить надо было. Мать молилась, но они ведь не птицы небесные, что не сеют, не жнут, а сыты. Конечно, Маркаускас не забыл их в беде. Привез мешок ржаной муки (не зерна, а муки, чтоб не пришлось по мельницам ездить), гарнец ячменной крупы, убоинки не пожалел — дал кусок с брюшины поросенка, кровяную колбасу, легкие. «Ох, не стоит, Юрконене, не благодари так. Сердце-

то у меня не каменное... Могу — помогаю. Ты сможешь — тоже пособишь. Люди все-таки, не звери...»

По весне, в таянье снегов, Тересе захлопнула учебник, положила карандаш — Адомукасу Маркаускасу понадобилась няня. «Сытая будет, и оденем девочку-то. Ребенок маленький, сколько там этой работы: покачает, посидит при зыбке, ну, иногда дровишек принесет, картошку почистит или там поросенку ботвы в огороде нарвет. Такой большой девочке это же все пустяки». И Тересе качала ребенка — качала днем, качала ночью, когда тот ревел, рвала ботву, полола, делала все, что прикажут, шла, куда пошлют. И весной, и летом, и осенью. Настала зима, а в родной избе так и остались в столе учебники второго класса, две тетрадки и карандаши.

Год шел за годом, и Тересе из няни перешла в пастушки, а потом в девки, когда однажды зимой с широких хозяйских саней соскочил Андриус в ладном дубленом полушубке. Распряг лошадей, пустил их в хлев, взял сбрую и попону, отнес в сарай. Вошел в избу, огляделся и покачал головой:

— Богато живете. А кормят как? За одним столом или батраки отдельно?

Тересе показалось, что вошел новый хозяин, и она испугалась смелой и прямой речи Андриуса. Залюбовалась им и зарделась, словно к ней приставали.

Маркаускас покосился на нового батрака:

— Здрасте — и сразу за стол?

— Не жравши работать не станешь! — ничуть не смутившись, отбрил Андриус.

— Вместе работаем и вместе едим. В этом доме разницы нет — ни за работой, ни за миской.

Андриус работающий был, но и ершист же! Что надо, сделает, но если тронешь зря — не уступит, хоть кол на голове теши. Только после свадьбы брата, когда вернулся словно пес с перешибленным хребтом, стал другим. Притих, успокоился; раньше, бывало, из-за каждой чепухи язык распускал, а теперь только кулаки сожмет и смолчит. И словно только теперь он разглядел Тересе. Разбрасывала она как-то навоз (это уже при немцах было), а он остановился с порожней телегой, сел на изнавоженном задке, свесив ноги, и пялится на Тересе. Свежий весенний ветер задирает подол ситцевого платья, обнажая красные икры, срывает с головы платок. А он все пялится будто соч. И хоть бы слово сказал. Ее даже оторопь взяла.

— Заснул ты, что ли? — спросила она вроде бы в шутку, но голос сорвался...

Андриус как бы и не расслышал, молчал и хлопал толстым кнутовищем себя по деревянным башмакам.

— Езжай, хозяин хватится...

— А ты знаешь, Тересе, кто мы с тобой? — неожиданно спросил тогда Андриус.

Тересе оперлась на вилы и посмотрела на серое лицо Андриуса.

— Кроты, если хочешь знать. Без земли жить не можем, а ее у нас как раз и нету. Вот и роём чужую.

Андриус все реже проходил мимо Тересе не остановившись, не сказав слова-другого. Но все время казалось, что его мысли далеко... И только когда фронт ушел на запад, над головой перестали гудеть самолеты и в полях больше не рвались бомбы, он потер руки, подмигнул Тересе, обнял ее рукой за плечи и сказал:

— Начинается, Тересе. Наша жизнь только-только начинается. Еще поживем!

Приехала из волости комиссия и отрезала Андриюсу восемь гектаров от ольшаника до самой дороги, а Тересе — шесть гектаров супеси вдоль луга. И документы выдали. Как положено, с подписями да печатями.

— Почитай,— протянула Тересе листок Андриюсу.

Тересе хотелось увидеть, как губы Андриясы произнесут эти слова, написанные мелкими буквами на большом белом листе.

— «...гр. Юрконите Тересе, д. Симонаса, выделяется земли: пахотной — 5 га, пастбищ — 1 га...»

— Теперь свою почитай.

— Да там то же самое, только фамилия другая.

— Все равно почитай...

— «...Марчулину Андриюсу, с. Антанаса, выделяется земли: пахотной — 7 га, пастбищ...»

Андриус читал складно, без запинки. Тересе смотрела на него как на образец и млела от смутных предчувствий.

— Поженитесь, собьете участки в кучу, будет хозяйство что надо,— сказал Маркаускас, прочитав мысли Тересе.

Тересе покраснела и опустила голову. Она была богата. Никогда еще не была так богата, как сегодня, не знала что и делать — плясать, хохотать, кружиться на одной ноге? Ни гроша за душой — и вдруг... шесть гектаров. И еще восемь Андриюсовых... Пока-то гектары отдельно, но как знать... такой чудесный сон ей под утро снился...

Андриус присвистнул, сдвинул фуражку на затылок и большими шагами ушел вдаль по своему полю. Первый раз ушел по своему.

Маркаускас глядел ему вслед — сгорбившись, свесив длинные онемевшие руки.

— Ты мне за дочку была, Тересе.— Маркаускас говорил ласково, по-отцовски.— Взял тебя девочкой, у меня на глазах выросла, привык я к тебе. Известное дело, хорошего в жизни не замечаешь. Но ты скажи, что я видел хорошего? Скажи, когда я отдыхал? Даже по воскресеньям — разве лежал, вывалив пузо? А, Тересе?

— Да, хозяин...

— Работать тебя заставлял. Не стану спорить, заставлял. Но ты скажи, разве жена баклуши била? Эх, Тересе... Знаю, теперь вам кажется — я такой да сякой...

Тересе даже не по себе стало. На Маркаускаса ей жаловаться нельзя, что правда, то правда. И голодом не морил, и одевал ее.

— Ну что вы, хозяин, будто я что...

— У-у-у, Тересе,— дурным голосом заукал Маркаускас.— Вот упасть бы на пашню, вцепиться в нее зубами и завывать, как собаки воют!..

Они возвращались с поля по почерневшему жнивью медленно, рядышком — не зная, можно было подумать: отец с дочерью идут.

— Будто нужна была мне эта земля, будто просила я... Сами ведь уговорили.

— Я тебя не попрекаю, Тересе, ты не говори. Ты же своя. А вот с чего это Андриус индюком ходит?

Серую, сложенную вчетверо бумажку Тересе держала, прижав к груди. Эти шесть гектаров супеси.

— Дай, а то потеряешь еще,— у ворот протянул руку Маркаускас.

Тересе остановилась. Сердце екнуло, забило сильнее. Подала бумагу с печатью и подписями, Маркаускас ушел в избу, а она так и осталась стоять у ворот. Обернулась, поискала взглядом Андриясы. Увидела его за кустарником — он продолжал мерить шагами свои гектары.

«Ему говорить не стоит. Рассердится», — решила она, но от этого на душе не полегчало.

В тот же вечер Андриус повел Тересе на зады хутора.

— Пойдем, покажу, только тсс! — шептал он, оглядываясь на окна избы. — Увидишь.

— Куда пойдем?

Андриус прихватил валявшуюся у изгороди лопату, взял Тересе за руку и повел ее, словно маленькую.

— Куда ты меня тащишь?

— Увидишь, Тересе. Ты одна можешь знать. Сейчас увидишь.

От негромко сказанных таинственных слов, казалось, остановится сердце. Тересе следовала за Андриусом послушно, не отнимая руки из его жаркой ладони. «Если б он так меня вел да вел, сама не знаю, куда бы ушла», — подумалось ей.

Проселок свернул на туманный луг. Повяло прохладой, перевошенным по второму разу скошенным клевером.

— Тут, — наконец сказал Андриус.

Через поле протянулись две свежие борозды — словно струилась речка.

— Тут, — повторил Андриус таким напряженным голосом, что у Тересе даже дух захватило.

С межи он долго глядел на свое поле, на которое мягко опускались сумерки, — на тихо и безмятежно спящее поле.

— Тут моя земля, Тересе, — прошептал он. — Я так и написал: «Это моя земля. Восемь га. Дала Советская власть». Слышишь, Тересе? Так я написал на бумажке, а бумажку запихал в бутылку. Теперь мы ее закопаем, эту бутылку.

Тересе хотела спросить, почему он так делает, но не посмела — побоялась помешать Андриусу выполнить этот священный обряд. Она молча смотрела, как Андриус отмерил по борозде восемь шагов от края поля и воткнул лопату. Зашуршала земля, звякнули камешки. Он копал спокойно, не торопясь. Потом вытащил из кармана бутылку, опустился на колени, подержал ее в руках и бережно положил на дно ямы.

— Пускай будет тут... свидетельство на вечные времена. Не порвут бумажку, не сожгут, даже если между перепашут — след останется. Только ты никому...

Подожел к Тересе, обнял, поцеловал. Потом поднял на руки и легко понес прямо по полю, по огромному миру, принадлежащему только им, шепча ей на ухо:

— Это моя земля, Тересюке. Моя... моя...

Низко над головой висело свинцовое осеннее небо.

Какие только бумаги из волости ни приходили на имя Тересе, Маркаускас брал их и клал к своим в шкафчик. Щелкал замком, звякал ключами и каждый раз говорил:

— Ну зачем тебе эта морока, Тересюке?

Тересе, по правде, ни к чему была эта морока, только Андриус обзывал ее душой на каждом шагу.

— Власть тебе землю дала, а ты — назад хозяину. Ну и головушка!..

— А что я с этой землей?

— Эх, Тересе... Я ж тебе добра желаю...

Тересе и сердилась и нет. Она сама не знала, что делать и что думать. Мужчи́нам-то хорошо... Вот выйдет замуж... Да, пускай он с гектарами дело имеет, а ей бы только тихонько работать и никому не мешать. Оно конечно, хорошо бы приодеться, ботинки выходные справить, поесть получше. И чтоб никто за обедом куски не считал.

И чтоб отдохнуть можно было в воскресенье сколько душе угодно — хоть до полудня валяйся в кровати. Тересе нравится мечтать об этом. Идет ли на огород резать ботву, сгребает ли сено на лугу, стирает ли на речке — так и плывут перед глазами эти картины — как бы струятся из белой шерстяной кудели: чистая, теплая изба с цветастыми занавесками; за столом в чистой холщовой рубашке сидит Андрюс, а рядом она: Андрюс одной рукой держит огромный каравай хлеба, а другой отрезает ровный ломоть — будто борозду прокладывает. Почему она всегда видит, как Андрюс режет хлеб? Может, потому, что им так нужен свой хлеб. Свой хлеб, со своего стола.

Как-то сидели они на лавочке. Тересе прижалась плечом к Андрюсу, положила ладонь на его голову и ерошила пальцами светлые волосы.

— Постричься бы сходил. Зачем косы отращиваешь?

Андрюс схватил ее руки, пахнувшие щелоком и синькой, и всмотрелся в глаза — так внимательно, как никогда прежде.

— Тересе! — вдруг вскочил он, еще крепче сжимая ее руки. — Тересе, твои глаза... Ты знаешь, твои глаза как два зеркальца. Хоть бороду брей, поглядевшись.

Тересе рассмеялась и уткнулась в грудь Андрюсу.

— Когда-нибудь у нас будет свой дом, не придется у чужих ютиться. А может, у моей мамы...

— В вашу развалюху-то? Нет! Мы будем жить тут, Тересе. Чем мы хуже хозяев? Раз власть дает, почему не взять?

— Да вроде неудобно...

— Тересе, пойми же хоть раз: теперь мы — власть!

Тересе оттолкнула его, отбежала в сторонку и радостно, по-детски рассмеялась.

— Вот сказал — власть...

— Ну да!

— Андрюс — власть, вот это да...

— Думаешь, нет?! Теперь такие, как я, большими начальниками заделались.

Чем веселей смеялась Тересе, тем больше свирепел Андрюс — он не знал, как ему доказать, что он уже не тот, что прежде.

— Ты не веришь? Не веришь, Тересе? Да если б я захотел!.. Если б только захотел...

«...Бывает, он даже передо мной пыжится, — думает Тересе. — Такой смешной, как маленький...»

...Маркаускене с трудом выпрямляется, словно с тяжестью на плечах, а Тересе только теперь замечает, что в руках у нее последний очищенный корень свеклы. Сама не заметила, как растаяла куча.

— Говорила же весной своему: зачем столько свеклы, ведь скотины-то раз-два — и обчелся. Разве послушает! Все сгниет, если слякоть продержится. А то замерзнет свекла.

— Уберем, хозяйка.

— Думаешь, вдвоем управимся? Если бы вчетвером взяться, но у мужиков теперь пахота. Или сгниет, или замерзнет, не иначе. Пропаливали, окучивали, на коленях по каждой борозде ползали. Столько добра как пить дать перемерзнет! Картошку убрали, так свеклу сгубим. В город бы отвезли — деньги.

Тересе хватает промокший тяжелый мешок и тащит его по земле к новой ярко-зеленой куче.

Маркаускене выбирает местечко, где бы присесть, но почему-то поднимает голову и оглядывается.

— О боже милосердный! — стонет она.

За полем по большаку шагает группка мужчин. Первый вырвался вперед, за ним — трое, еще в пяти шагах двое. У одних винтовки за спиной, у других в руках, словно палки, бредут они медленно, с трудом вытаскивая ноги из грязи.

— И чего они тут шляются!.. Только бы не к нам... О господи... Беги теперь домой, бросивши все, и еще неизвестно, что они запоют, чего от тебя попросят. Пронеси, господи... пронеси.

Маркаускене заходит за кучу свеклы, нагибается, велит пригнуться и Тересе — лучше им не попадаться на глаза...

— Господи, сотвори чудо, пусть минует нас чаша сия,— молится старая женщина, и в ее голасе столько боли, что Тересе приходит в голову: «Если бог есть, он должен ее выслушать...»

У проселка, выбегающего на большак, первый из мужчин оставнавливается, снимает с плеча винтовку и, ковыряясь в затворе, поджидает товарищей.

— К нам, конец! — вздыхает Маркаускене и снова поминает имя господне.— Боже мой, если можешь сотворить чудо, то пусть минует нас чаша сия...

Мужчины сгрудились, шушукуются, тычут куда-то руками и наконец пускаются дальше по большаку, снова растянувшись длинным гусем.

— Пронесло, слава тебе господи,— благодарит Маркаускене.

Но сколько времени потеряно, пока они пятались на дороге!

— Тересе, не спи! — выговаривает она.— Давай поднажмем, Тересе, вечер на носу.

И снова шлепается ботва в одну кучу, бухают корни в другую. Обе молчат, разговаривать некогда, только мыслей не удержишь: они далеко-далеко от этого поля и свеклы.

С пашни Маркаускас и Андрюс ведут лошадей.

До костей пронизывает морозящий дождь.

III

Длинная телега останавливается у амбара.

Тяжелая дверь открыта настежь. На весах — развязанный мешок. Маркаускас счерпывает сверху горсть ячменя, высыпает в пустое ведро. Трогает клювики весов.

— Два, три, пять... — считает он.— Еще мешок ржи.

— На чердаке два мешка муки.

— Мало ли чего... Потом лишний раз ехать.

Не нравится Маркаускасу, что Андрюс все подмечает. В жизни ничего не скрывал от батрака и не думает скрывать, но с какой стати он должен теперь отчитываться — что, как да почему?.. Оно конечно, когда в войну на гумне вырыли глубокую яму, настлали на нее бревна и устроили тайный лаз, все было ясно. Чтоб немцы не забрали зерно и мясо, чтоб не остаться без куска хлеба... Потом все прятали, чтоб фронт нажитое не спалил. Но и после войны тайный склад остался. Маркаускас сдавал поставки грамм в грамм, платил налоги копейка в копейку. Кулацкие поставки, кулацкие налоги с каждым годом все выше — скажешь, лучше, если чужой глаз увидит, что дом все-таки не выметен подчистую? Хотя Маркаускас каждое зернышко отрывает от хозяйства как от сердца, но, осмотревшись, все обмозговав, бывает, иногда даже подумает: «Поживем — увидим. Пока жирный отощает, тощий подохнет».

— Свиным уже вчера муки не было,— объясняет Маркаускас.

— Столько на откорме.

— Одну на рождество заколем, другую в поставки — вот двух, считай, и нету. Это кажется, что много.

Андрюс берет мешок в охалку, перешагивает высокий порог и сваливает на высланное соломой днище телеги.

— Не надрывайся один, помогу взвалить.

— Не надорвусь.

Не надорвется, конечно. Андрюсу это раз плюнуть. Когда хочет, конечно, когда в духе. Не такие мешки поднимает играючи. Беда вот, что теперь он все чаще хмурится, прячет глаза. А то заржет так, что мороз по коже подирает. Недоволен. Да чем он может быть недоволен при такой жизни-то? Это ему, Маркаускасу, надо дуться, зубами скрипеть, а то и... Но Маркаускас нутром чувствует: нет, еще не последняя, не конец. И не о мести он думает. Он просто жить хочет. На этой вот земле отца, на земле деда, еще при крепостном праве за кровные рубли выкупленной у помещика.

Андрюс накрывает мешки попоной, наверх швыряет охалку соломы, чтобы дождь не промочил.

— Сена прихватил?

— Взял.

— А то еще удержишься на мельнице-то. Лошади слабо кормлены...

Как быстро нынче смеркается. Если б не такие тучи...

Андрюс легко вспрыгивает на телегу, опирается локтем на мешки. Ногю свесил с телеги. Не спеша отвязывает замотанные на колышек грядок вожжи и, взяв их одной рукой, резко дергает:

— Поше-ел...

Маркаускас провожает взглядом натужно скрипящую телегу. Веко правого глаза нервно подергивается. «Он, видите ли, тут хозяин, а я...» — скрипит зубами, словно откусывая что-то. И выплевывает горечь. Нет, не тот уже Андрюс. Никогда мямлей не был, но теперь нахальство из него так и прет... На каждом шагу, каждым словом показывает, что он теперь главный.

Телега уже в воротах. Железная задняя ось задевает за ствол тополя, и Маркаускас, словно схлопотав по ногам, мучительно приседает.

— А, чтоб тебя! Ехать не умеешь!

Телега громыкает, Андрюс не слышит. Даже не обернется — ему-то что!

— У-у, гад! — скрипит зубами Маркаускас и, подскочив к дереву, осторожно, кончиками пальцев трогает белую метку, словно открытую рану. Болтается отодранный кусок коры. Маркаускас не раз подумывал: надо бы срубить тополь, разросся в воротах, а от нависшей над домом листвы крыша гниет. Не поднималась рука. Едет ли куда-нибудь, возвращается ли, непременно за деревней, на холме, поднимает голову и видит свой тополь, который словно машет ему каждый раз высокой, выше других деревьев, верхушкой. И на душе сразу теплее: там твой хутор, твоя жизнь. Или летним вечером выйдет после ужина, сядет на камень — шепчутся листья, бренчат майские жуки и гулко падают наземь, словно райские яблочки; нет, нет, раз уж дерево посажено и разрослось, значит, оно нужно, без него никак нельзя!

Маркаускас откидывает голову, смотрит на густые ветви. на толстенный, в два обхвата, ствол и шепчет:

— Едет, будто без сердца. Так дерево поранить!

Оглядевшись по сторонам, находит щелку, набирает ею свежего коровьего навоза и замазывает рану на дереве. Потом только вспоминает — дело ждет. И вот еще — почему коровы стоят на клеверни-

ще отвернувшись? Никак после обеда никто не переводил на новое место. Бабы ведь сами не додумаются. Хоть плачь, надо ехать за свеклой, но скотина... Маркаускас торопливо идет по полю. Был бы подпасок — дело другое, но теперь ведь не наймешь. Пойти-то к нему любой пойдет, во многих избах ребятишки хлебом да картошкой живы, в ноги бы ему поклонились. Ну, а власти-то? Выкручивайся сам как умеешь. Хорошо, что Тересе еще...

Пять черно-белых коров, увидев хозяина, не спускают с него глаз, продолжая жевать жвачку. Маркаускас выдергивает металлический, сверкающий, словно штык, кольшек и, отведя корову подальше, ногой загоняет его в податливую землю.

— Не егози, дурная! — кричит он на Беломордую, которая пытается вырвать из рук цепь. — К быку захотела, раз бесишься?

Бык, привязанный поодаль от коров, стоит, понурился огромную голову. Прикрепленная к рогам досочка закрывает глаза, и он раздувает ноздри, принюхивается, беспокоится семенит ногами. Такая прибыль ведь была: приведет кто корову — два лита или день в поле. Вся деревня у него перебивала. А теперь задаром на них быка напускай. Вот Аксомайтис вчера, даже не спросясь, прямо на выгон эту свою вошь привел. Маркаускас увидел, подбежал. «И, значит, ни спасибо, соседка?» — обмолвился он. «Это быку спасибо, — ухмыльнулся Аксомайтис, — хорош, бродяга! — И добавил: — По теперешним временам любовь, говорят, за здорово живешь». «Они бы за здорово живешь мне глотку перегрызли», — думает Маркаускас. Загоняет каблук сапога кольшек и, сгорбившись, бежит обратно. Столько дел, столько дел ждет, а день совсем уже кончился, дождь разошелся, вот-вот хлынет как из ведра.

Маркаускас запрягает лошадей в телегу, вставляет в концы изнавоженных грядок доски, берет лежавший у хлева сухой мешок и, сложив его наподобие капюшона, набрасывает на голову.

Лошади лениво перебирают копытами. Тарахтят колеса, громычат грядки. Проселок заворачивает направо, в огиб луга. Луг стоит под водой. Канавы заросли, когда еще чищены, не стягивают воду, скоро тут будет ржавое болото, не подступишься. Уже этим летом сено неважное, а через год-другой...

Издали белеют кучи очищенной, отмытой дождем свеклы, у которой маячат присевшие на корточки женщины. Колеса увязают в рыхлой земле, разрезают землю словно лемехом.

— Тпру! — Маркаускас натягивает вожжи.

Женщины неуклюже встают, отряхивают подола, подгребают к куче ботву.

— Вот разболелся бок, о господи... — Маркаускене никак не может выпрямиться и бредет скособочившись, сгорбившись.

— От долгого сидения, — говорит Тересе. — Пройдет, хозяйюшка.

Маркаускас набирает для лошадей охапку ботвы и говорит женщинам:

— Ну!

В телегу с грохотом сыплются свеклины. Словно камни. Однообразный перестук, по два, по три корня летят разом, без передышки сгибаются спины. Маркаускене крепко стиснула зубы, перед глазами — туман. Не видит она ни свеклы, ни телеги. Под ногами — черная земля. Упасть бы и лежать, сжавшись в комок, — ужас как колет в боку да ноет под ложечкой. Но невидимая сила поддерживает ее, хватает ее руками свеклины и швыряет, хватает и швыряет... Хоть бы они говорили, болтали о чем-нибудь, может, ей полегло бы, может, на минутку она забыла бы про боль, а ведь жжет, как раскаленным железом.

Куча свеклы оседает, уменьшается, а боль не только в боку — уже пробирает спину, плечи; боль сидит в висках и стучит острыми молоточками — даже в глазах зеленеет. А ведь не старость же. Вроде бы только-только начали жить. Ведь это вчера звенели свадебные бубенцы и она сидела в саях рядом с Маркаускасом, махонькая, как выброшенный из гнезда птенец — вот-вот стукнет семнадцать, — и сквозь слезы не видела заметенной зимней дороги; слышала, правда, как люди шушукались: «Вот повезло девке-то — такое хозяйство, такая земля!..» Откормленные гнedyе кони мчались, выгнув шею. Маркаускас сидел в шляпе, при галстукe... ну совсем как королевич из материнских сказок, и ей хорошо было, что все смотрят на нее; сзади заревела машина, кони понесли, бросились через канаву... Первый ребенок родился мертвым, похоронила на кладбище для некрещеных. Похоронила не только частицу своего тела — похоронила смех, мечты, здоровье. На целых пятнадцать лет похоронила, пока на свет не явился Адомас. И это, кажется, было вчера. Вчера явился, вчера... ушел... Вся ее жизнь — вчерашний день, один куцый денек, и все время ей было больно.

— Может, хватит? — Маркаускене, уцепившись за край телеги, тяжело дышит.

Телега уже почти полна.

— Еще чуть-чуть, — говорит Маркаускас и подъезжает к соседней куче, снова швырнув лошадям охапку ботвы. И ботву бы надо забрать, думает он, коровам бы задали, ночи-то теперь долгие, проголодаются коровы к утру.

— Ну! — бросает он и косится на жену: страшная, будто из могилы поднялась. Никуда не годится баба. Другие в ее годы парням спуску не дают, а она... Мешок с хворьями. Вот невезенье-то. В его колеса черт вечно палки сует! А колеса крутятся... Должны крутиться, хоть умри.

Слякоть, холод — пальцы загубели, омертвели — точь-в-точь деревянные, облипшие землей зубья бороны. Сумерки все гуще, дождь с силой хлещет по раскисшему грунту, ледяные капли катятся за шиворот.

Фыркает буланка, прядает ушами.

Маркаускас не выпрямляясь бросает взгляд в сторону ольшаника. Через луг приближается человек. В коричневом брезентовом плаще с капюшоном, идет медленно, широкими шагами. Маркаускас роняет свеклины, хватает их, нагнувшись еще ниже, а они выскальзывают из рук, словно куски грязного льда.

— Идет, — говорит Маркаускас, его голос срывается. Но с чего это... Идет человек, ну и ладно, мало ли кто ходит...

Маркаускене тыльной стороной ладони приподнимает сползший на глаза платок, подслеповато моргает, из ее посиневших губ вырывается вздох:

— О боже...

Только Тересе смотрит прямо, свесив землистые руки, подставив лицо струям дождя.

— Ну! — напоминает про свеклу Маркаускас, но она ничего не слышит, стоит, словно кол проглотила, да еще бесстыдно ноги раставила, юбка аж до колен приподнялась. — Ну, чего ты!.. — шипит Маркаускас.

Громко чавкают тяжелые шаги. Капюшон скрывает лицо. Руки спрятаны под плащ. А плащ-то длинный, до половины голенищ. Остановился. Стоит в пяти шагах и смотрит, буравит глазами, и Маркаускас не выдерживает... Выпрямляется, поворачивается лицом к пришельцу.

— Добрый вечер!

Маркаускас легонько вздрагивает: чей это голос? Вроде бы слышал его. И не раз.

— Добрый... вечер...

Человек подходит ближе, и Тересе всплескивает руками:

— Учитель!.. А мы-то думали... Люди говорили...

Теперь и Маркаускас узнает и Маркаускене. И сразу отлегает от сердца, лица у обоих проясняются — свой ведь человек, учитель Альбертас Петрашка, тот самый, что их Адомаса... Да и Тересе у него когда-то...

— Ну и ну!.. — удивляется Маркаускас, не смея пожать руку Петрашке. — У меня, это, в земле... — Он основательно вытирает ладонь о штаны сзади, где почище.

— Ничего, Маркаускас, и у меня не белые. Давно не виделись...

Рука Маркаускаса вдруг застывает — плащ на учителе распахнулся и там блеснуло ячеестое дуло автомата. Петрашка замечает эту перемену, но не подает виду. Он поворачивается к Маркаускене и вежливо кивает ей.

— Как здоровье, хозяйка? — Но ответа не ждет. — Что же люди обо мне говорят, Тересе? А?

Тересе краснеет. Она снова первоклассница, неправильно написавшая слово на доске, не выучившая урока... Учитель ее то хвалит, то ругает...

— Да поймешь их... Как вы пропали весной, всякое в деревне болтали...

— А что же, что именно, Тересе?

— Сказывали, вы в город сбежали... А другие, что в лес...

Петрашка невесело смеется, ставит ногу в сапоге на ступицу телеги.

— Вот оно что. И кто же говорил?

Маркаускас косится на Тересе — ну и ворона!

— За бабими разговорами не уследишь, учитель...

Петрашка резко поворачивается, полы брезентового плаща с хрустом взлетают.

— Послушай, Маркаускас, я не учитель. Теперь уже не учитель. Я — Сокол.

Маркаускас супит брови.

— Чего-чего?..

— Сокол. Это такая кличка, Маркаускас. И вы запомните, хозяйка. И ты, Тересе. Я вам доверяю. Всем вам. Потому и заглянул как к добрым знакомым.

Взгляд Маркаускене бежит по проселку, по сумеречным полям. Но почему все вокруг полетело, закружилось, да так, что ей надо уцепиться за задок телеги и держаться?

Тересе приседает, берет свеклину, ворочает ее в руках — крупную и угловатую, как опаленная баранья голова, — швыряет в телегу и снова застывает, потупя глаза.

— По большаку отряд истребителей перся, — вспоминает Маркаускас.

— Давно?

— С час назад.

— Знаю. Убрались из деревни. Но почему вы в поле? Ведь дождь. Маркаускас спохватывается:

— И правда, чего мы тут... — И не зная, что добавить, разводит руками.

— Все пойдем. Ты, Тересе, и вы, хозяйка, — зовет Сокол.

У ольшаника стоит человек. Он в полупальто, сутулый. Поставил

на землю тяжелый приклад пулемета, обхватил руками толстое дуло. Вырос как из-под земли. Кого еще скрывает ольшаник?

Маркаускас садится на телегу и еле слышно понукает лошадей. Маркаускене шлепает сзади, не выпуская задок из рук. Тересе забросала ботвой очищенные корни и семенит за телегой, догоняет. В нескольких шагах за ними следует Сокол. Подальше — второй, аж перекосившись, тащит свой пулемет. Лошади, надсаживаясь, волокут телегу через луг, колеса вот-вот увязнут по оси — тогда крышка. Телега подскакивает на камне, наземь сваливается несколько корней. «Надо бы поднять», — думает Маркаускене, но не останавливается; выпустит из рук задок телеги да нагнется за свеклой — и не дотащиться ей домой. Дорога топкая, а ноги не хотят слушаться.

Они входят в избу и вешают промокшую одежду на деревянные крюки. В избе пахнет полем, землей и мокрой псиной.

Сокол снимает плащ, аккуратно складывает его надвое на лавке, а рядом пристраивает автомат. На широком ремне, опоясавшем пиджак, — пистолет и две лимонки с утиное яйцо. Голенища сапог широкие, и ноги кажутся на удивление тонкими и длинными — точь-в-точь оглобли.

Маркаускас приседает на краешек табуретки у стола. В боковое окно он видит у погреба телегу со свеклой (могли ведь до ночи всю свезти), в торцовом окне видит человека с пулеметом, который бродит перед распахнутыми воротами. Незнакомый, молодой еще, какой-то нескладный, — интересно, издадека ли и кто родители? Сокол спрашивает, что слышно в деревне, но откуда возьмешь для него новости, если с хутора ногой не ступаешь — работы невпроворот, а руки только две. Да и вообще такая жизнь: чуть вечер — управился по хозяйству, закрыл ворота, запер дверь и сидишь. Длинные вечера, долгие ночи. Ни к тебе не забредет в такую пору сосед, ни ты сам не пойдешь к кому покурить или потолковать. Да и о чем толковать-то, когда не знаешь кто свой, кто чужой.

В открытую дверку плиты видно, как полыхает огонь. На полу и стенах пляшут жутковатые тени. «Совсем уже стемнело, — думает Маркаускас. — Учитель не засидится — опасно ему тут долго быть, можно будет еще раз за свеклой смотаться...»

— Лампу зажечь? — спрашивает он.

Сокол стаскивает с ног грязные сапоги и ставит на поленья к огню. Снимает заскорузлые портянки, набрасывает на голенища.

— Не стоит.

Он стоит посреди избы босой. Тяжелый дух разопревших ног разносится по избе, перебивая запах поджариваемого сала.

— Нелегкую долю выбрал, учитель.

— Я не учитель. Говорил уж.

— А-а... Под лавкой деревянные башмаки, надень.

Маркаускас снова смотрит в окно. Человек с пулеметом все еще маячит у ворот.словно привидение, словно тень смерти чернеет человек. Хорошо, что тут учитель... свой человек, старый знакомый.

— Наверно, в армию хотели забрать?

— Кого? Меня?

— Ага.

— Возраст не тот.

— Родителей увезли?

— С десяти гектаров пока не берут. С чего это ты?.. Ха, понимаю, Маркаускас. Прикидываешь, почему я в лес ушел?

— Я просто так... Ведь ни с того ни с сего не бывает...

Маркаускас спохватывается — поди, не стоило об этом спрашивать, но слово не воробей, не поймашь.

— Послушай, Маркаускас, я не захотел быть скотиной, которую гонят на бойню. Я ушел воевать. За Литву, Маркаускас. За свободную Литву.

— Я хочу спросить: ты веришь в это, учитель... Сокол?

Маркаускене ставит на стол тарелку с глазуньей, пододвигает хлеб.

— Кушайте,— говорит она.— Тересе, молоко! Посмотри, чтоб не сбежало...

Сокол, отломив двумя пальцами кусочек хлеба, не спеша отправляет в рот, поддевает вилкой шкварку.

— Ты веришь в такую Литву? — Маркаускасу хочется узнать точно: он уже не помнит, когда толковал с ученым человеком, а от всяких слухов голова кругом идет.

Сокол снова кладет в рот кусочек хлеба.

— Не говорю, что это произойдет пятнадцатого декабря или на Новый год. Пускай дураки сказки рассказывают. Но я верю, Маркаускас, что такая Литва будет! Нельзя же вымарать целое государство с карты мира.

— Но ведь такая налетела силища...

— Ты послушай, Маркаускас, о чем говорит история. Когда-то с запада шли крестоносцы. С крестом и молитвой шли против пруссов, Литвы, латышей. Им нужны были наши земли, наши леса, наши реки. И главное — им нужен был путь на восток. И кто же перед ними устоял? Пруссов они перебили, латышей поработили, а Литва оказалась тем железным кулаком, который поставил крестоносцев на колени. Большая сила и у нас...

— Живем что горох у дороги — кто идет, тот и щиплет.

— Да, живем мы на большой дороге... Ты ведь знаешь, как живет малоземельному крестьянину между двумя богатыми соседями. Каждый из них норовит сделать его своим батраком. Скажешь, неверно говорю, Маркаускас?

— Святая правда, учитель... Сокол. Но не зря ведь сказывают — против ветру не плюнешь.

Сокол страдальчески усмехнулся и, помолчав, говорит:

— Когда крестоносцы осадили Пиленай, надеялись ли литовцы победить? Нет! И все-таки сражались. Рабами они не стали. Ты слышишь, Маркаускас, они не стали рабами!

Маркаускас не знает что и думать. У Сокола все чудесно получается, но что бы он запел, не будь ночной птицей? Его дом — кусты да лес, на голове — фуражка, да и только. Неужто и тебе бросить все и пойти за ним свою могилу искать? Чтоб не стать рабом... А когда ты не был рабом? Да и знал ли ты свободу? Шел по кругу, как лошадь на току, шел и шел, не поднимая головы, — все тебе не хватало, все мало было да мало. То засуха — и на холмах выгорели яровые, то дожди — и в ложбинках сгнила картошка, то корова подохла, не отелившись, то охромела лошадь, то батрак ушел, не дождавшись конца года, то девка перед косовицей обрюхатела и пришлось выгнать... Да еще здоровье жены, да сын Адомас...

Когда он был свободен, правда? Поздним вечером, лежа в кровати, тоже ведь думал, чего недоделал, и перед глазами ночь напролет стояли лошади, ложились борозды, шелестели хлеба, и без передышки в голове зудело: надо молотилку купить... на колеса ободья надеть... крышу хлева сменить... Шальчюс конные грабли завел, а чем ты хуже?... Даже обнимая жену — это случалось все реже, — ты не переставал думать о земле, скотине, постройках и утвари. И свято верил, что прав и перед собой и перед богом, все свои помыслы направляя на благо своих детей, на обеспечение своей старости.

Тересе наливает стакан кипяченого молока, дымящийся кувшин ставит на стол. Пахнет лугом, земляникой. Сокол обхватил руками стакан, греет пальцы и смотрит прямо перед собой, словно забыл о непролазной осенней грязи, о настырном холодном дожде, о ночных тропах и чащобе. Можно подумать, что пришел потолковать, как в былые годы: позвать Тересе на вечеринку — Маркаускас пустит, ведь способная девочка, хорошо играет на представлениях, или проведать Адомаса — мальчик мог бы учиться лучше, но с ленцой... В сгустившихся сумерках учитель кажется Тересе прежним... прежним, и она снова ученица. «Почему вчера пропустила?..» — спросил он как-то. «Мама в город ушла». — «Оставила дом стеречь?» — «Нет, у меня башмаков не было...» Учитель покраснел, словно это он был виноват, что у Тересе с матерью были только одни деревянные башмаки. Потом положил ей руку на плечо, посадил за парту. Он был молодой, пригожий лицом и часто краснел. А когда рассказывал о мачехе, которая оставила ребенка у ржаного поля, чтоб лаумы-ведьмы украли, когда рассказывал о древних литовцах, которые рубили крестоносцам голы, словно кочаны, и владели землями до Черного моря, даже самые отъявленные сорванцы забывали дурачиться. У всех в классе горели глаза, и они просили: «Еще, учитель. Рассказывайте, учитель». Когда Тересе пришлось оставить школу, она долго плакала. Страшнее всего было — она больше не увидит учителя, не услышит его. Как-то он сам пришел к Маркаускасу, принес ей книжку с цветными картинками о мальчике, заблудившемся среди снегов, и толковал с хозяином — жалко девочку, ей учиться надо... Хозяин пообещал — может, зимой. Но настала зима, а Маркаускас ни о чем не хотел слышать — нет да нет... А у Тересе не выходила из головы школа и учитель, и сейчас его голос воскресил давно забытое, когда она затаив дыхание слушала его рассказы про старину.

Сокол отхлебывает горячего молока, выпятив красивые губы (под носом у него ямочка была, вспоминает Тересе. Темно, не видать).

— Почему так смотрите на меня? — вдруг поднимает голову он. — Как будто я с того света явился.

— Да вроде... — Маркаускас сказал и чуть не подавился хлебом.

Хоть и не чужой человек, но лучше промолчать, а то бог весть что подумает. Но Сокол понимает его с полуслова и раздражается смехом. Жутковатый смех.

— Хоронишь меня, Маркаускас?

— Побойся бога...

— Ладно, ладно, я понял, не думай. Я не ребенок, чтоб не знать, куда ведет дорога, которую выбрал. Где свистят пули, там не игра. Но я не один, Маркаускас. Не имеет значения, что сутки мы разделили пополам — день их, ночь наша.

— А мы живем и днем и ночью.

— Не наша вина, Маркаускас, что у тебя нет покоя, что твоя земля исполосована. На Тересе, думаю, тебе жаловаться не придется?

— Ну вот еще! — не выдерживает Маркаускене, не проронившая до той поры ни слова. Сидит на кровати испуганная, как на иголках. — Тереселе для нас что родная, о господи... Своих детей-то нет...

— У нас с Тересе все общее, — подхватывает Маркаускас.

— А как Андрус?

«Он не просто так спрашивает... Не из любопытства. Ему надо знать все как есть... Если скажу, что у Андруса рога выросли... Сокол еще черт знает... Хоть лопни, ничего не пойму...»

— Андрус тоже... — говорит Маркаускене. — Мы дружно...

— Ладим,— подтверждает Маркаускас, но голос звучит как-то неровно.

Рассмеявшись, Сокол берет с поленьев отмякшие сапоги и присаживается на лавку обуваться. Но тут его охватывает лень, он прилоняется к стене.

— Хорошо тебе, Маркаускас, живешь, как жил. Для тебя земля— вся политика. Хоть и в этом вопросе ты слепой. Может, потому, что старый. Был бы сын... Сколько бы сейчас было Адомасу?..

Маркаускене сплетает пальцы, качает головой и еле слышно отвечает:

— Шестнадцать. Семнадцатый бы пошел.

— Он бы иначе думал.

— Иначе? — испуганно говорит она.

— Он бы знал: чтобы любить, надо ненавидеть. А когда вот тут... — Сокол бьет себя кулаком по груди, на которой сверкает серебряный всадник — герб Литвы,— ...когда вот тут разгорается и любовь и ненависть, руки сами берутся за оружие.

Соколу кажется, что и Адомас?.. Маркаускене никогда еще об этом не думала. Она смотрит на мужа — понурив голову, он трет кулаком щеку, и трехдневная щетина шуршит, как жнивье. Конечно, и ему не приходило в голову, что бы делал Адомас сейчас, если бы не... Хороший ведь был ребенок. Хоть учитель и говаривал, что с лентой, что не слушается, но хороший был и головастый. В деревне бабы своих детей держали впроголодь, лупили розгами. Адомас был единственным сыном, да еще последышем, а Маркаускасы — это вам не голодранцы, чтоб привязать родного сына к коровьим хвостам и жалеть для него куска получше. Каждую вторую субботу сам Маркаускас или Андрус ездили в город за Адомасом; воскресным вечером или рано утром в понедельник его отвозили в школу. Как-то мальчик обмолвился матери — директор вызывает отца. Мол, пустяки какие-то... придрались... Мать запретила говорить отцу и сама уехала с сыном «к доктору». Директор рассказал, что Адомас камнем разбил обелиск на могиле погибшего солдата. «Мы заплатим,— сказала Маркаускене.— Сколько стоят эти досочки?» Директор вылупил глаза, обиделся ужасно, а потом негромко сказал: «Я не слышал, что вы сказали. Я ничего не слышал. Но ребенок... Если он не знает, куда руки приложить, то вы ему скажите... так мы хлопот не оберемся...» Маркаускене обещала выговорить Адомасу, хотя и не видела особой вины в том, что сын швырял камешком. Еще бы крест был, а то — межевой столбик, да и только. Когда сын летом вернулся на каникулы, учитель... Сокол заходил к ним. Расспрашивал Адомаса о всякой всячине, главное — что думают его одноклассники в гимназии, в старших классах. Адомас проводил учителя до ворот, потом оба куда-то ушли. Маркаускас смотрела, как они идут по дороге, и таяла — ее сын шагает с учителем как равный! Казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди и улетит голубем... как в псалме поется...

В карманах Адомаса она не раз находила патроны да пустые гильзы. «Сыночек, смотри, а то еще взорвется...» — просила она каждый раз, когда он садился на велосипед и куда-то уезжал, не находила себе места. («Не высекла его как следует. А ведь надо было... Ей-богу, надо было».)

Однажды вечером на Адомасовом велосипеде прикатил человек из соседней деревни и сказал: «Мертвый ваш, можете забрать. Когда щенкам дают волю... Винтовка у них была, пуляли из нее у леса. Вот и допулялись...»

Ни слезы, ни причитания ничего не изменили. Ничего не изменилось и от слов утешения, которые говорили соседи и учитель. Сын

лежал в гробу белый и красивый, но глухой к материнской боли и неснопениям от которых содрогалась изба, слепой к августовскому солнцу и неровному пламени свечей.

Ксендз перекрестил могилу, желтый песок посыпался на гроб... И кто может знать, что бы сейчас Адомас... Сокол знает, да? Откуда ему знать...

— Адомас бы не склонил головы! — Сокол произносит эти слова торжественно, как присягу, и Маркаускене приходит в умиление. По щекам катится теплая слеза, оседает в уголке губ.

— Как знать...—Маркаускасу трудно говорить.

— Я уверен!

— Раз так... раз это правда... то ведь один черт...

У Маркаускене глаза лезут на лоб. Что он говорит? Что он несет? Он хоть немного соображает, о господи?!

Сокол встает, оправляет пиджак, трогает пояс с подвешенными лимонками.

— Что один черт, Маркаускас?

— Один черт... сына бы у нас так и так не было.

— Это не один черт, когда большая рыба рыбешку глотает, слышишь!

— И проглотит.

— Еще неизвестно! Мы должны превратиться в ершей, чтоб стать поперек горла.

Шуршит брезентовый плащ.

— Никому обо мне ни-ни. Обстоятельства заставляют нас иногда забывать о жалости. Ах да, одна просьба — налей-ка, Тересе, нам горячего молока.

Сокол подает Тересе солдатскую фляжку, обтянутую зеленым шершавым сукном.

— Ну вот еще.—Маркаускене всплескивает руками.— Может, положить чего в дорогу, учитель?.. Вы скажите! Мяса с хлебушком или сыр?..

— С голоду мы не помираем, хозяйка, да и не забираем у добрых людей. Ну, разве что сыр, если сушеный.

— Будто нам жалко... Своему ничего не жалко...

Маркаускене достает из шкафчика два желтых, словно воск, сыра и заворачивает в газету.

— Колбасу положи. И колбаса там на полочке должна быть,— говорит Маркаускас каким-то чужим голосом.— Люди мучаются, а мы круг колбасы пожалеем...

К окну приплюснулось лицо парня, стоявшего у ворот. Парень барабанит по стеклу. Маркаускас вздрагивает.

— Будьте здоровы. С богом, Тересе.— Сокол подходит к девушке и холодными пальцами пожимает ее руку.— Моя ученица... Смотри, Андриюсу ни слова.— Резко поворачивается, у дверей останавливается.— Послушай, Маркаускас, проводи.

У Маркаускаса отекли ноги, в спину как будто нож всажен. Изба большая, не просто ее пройти.

— Еще раз спрашиваю,— шепчет Сокол в темноте сеней,— как Андрюс?

«Он бы увел Адомаса... Пришел бы вот так и увел. А тот, будто теленок-сосунок, побежал бы за ним... А может, нас всех... гонят на бойню?.. Раньше или позже нас прикончат. Какие глаза были у Андрюса, когда он получил землю! Мою землю... моего отца... Андрюс ведь может и меня... Он берет у меня лошадей и даже спасибо... Он берет мою телегу — и ни слова... Он все берет, потому что он... Его-то Сокол не уведет. Адомаса бы увел, а Андрюса не уведет. Почему не уведет?»

Может увести! Навсегда увести. Но тогда... Что тогда истребителям скажешь?..»

— Не слишком нахрапист? — Теплый молочный душок ударяет в лицо Маркаускасу. — Послушай, Маркаускас, может, стоит с Андрюсом потолковать, а?

Край намокшего брезентового капюшона касается лица Маркаускаса, царапнув, словно тупая бритва.

— Нет... пока. Нет, ничего...

— Возвращайся в избу! — Сокол хватается его за локоть, молчит, глядя в сторону, а потом тяжело дышит прямо в ухо. — Послушай, Маркаускас, мне иногда думается: вот говорю о будущем, а дождусь ли завтрашнего утра? Видишь, какие черные мысли лезут.

— Ну вот еще...

— А хорошо б дождаться, Маркаускас. Я — учитель.

Сокол в сердцах толкает дверь сеней и выходит на двор.

Маркаускас упирается руками в подоконник и следит, прижавшись лбом к стеклу. Мутные сумерки. Шуршит дождь. Удаляются шаги. Но он чувствует эти шаги всем телом, словно его бросили наземь и по нему гуляют сапоги с широкими голенищами... Он вздрагивает и, оторвавшись от окна, выходит на середину избы. Смотрит на женщин. И вдруг вскипает гневом:

— Чего уставились? Свекла на поле!..

IV

Андрюс развалился на мешках, посасывает сигарку и цыркает слюной сквозь зубы. Под балкой раскачивается керосиновая лампа. Желтое пламя едва теплится, и лица мужчин в полумраке кажутся вытянутыми, угловатыми. Руки движутся медленно, словно поднимая тяжести.

— Отбивайся. Или бери.

— Король крестей есть?

— Еще чего...

— Эх, была не была — хрясть!

— Го-го-го!..

Аксомайтис гогочет так, что лампа бы мигом потухла, виси она чуть ниже. Андрюс, бывает, иногда слышит его голос за версту и каждый раз усмехается: наплодил на куцем своем участке целый полк ребят и вечно доволен, хохочет, будто горя не знает. Но сейчас не до Аксомайтиса: Андрюс мрачно слушает унылый гул жерновов, его мысли — совсем как жернова — крутятся, перемальвают одно и то же.

— За что, говоришь, Райниса забрали?

Он спрашивает тихо, даже слишком тихо, но Кряуна расслышал. Бросает взгляд исподлобья и сердито стискивает карты в руке.

— Сдаюсь. Вот не везет, пропастина.

— Опять в дураках, по второму разу, го-го-го!

— Не идет карта.

— Бутылку бы полагалось поставить.

— Может, когда...

Аксомайтис снова хохочет: он-то знает Кряуну как облупленного!.. Тот за копейку удавится, верхом на брюхе на базар ускачет. В кулаки пробиться не успел, с Маркаускасом не сравнялся, но старая закваска по сей день в нем бродит.

Кряуна задирает штанину и чешет икру, поросшую черной шерстью, яростно скребет ногтями. Наконец вспоминает, о чем спрашивал Андрюс.

— А кто их знает, за что берут? Земля. На ком клеймо кулака стоит...

— Не всех же кулаков...

— Сегодня не всех, а завтра, может, и всех... А если кто еще капнет?.. Всяко бывает...

Рокочет мельница, дрожат дощатые стены, и Андриюсу кажется: вот-вот раздвинутся обтесанные топором балки и перекладыны и рухнут на него, раздавят. Он втягивает голову в плечи, ерзая, смотрит на захламленный пол. От едкого дыма самосада першит в горле, хорошо бы чем-нибудь прополоскать! Этого добра на мельнице всегда хватает. Да и сам мельник, бывает, предложит. Пятнадцать рублей — и весь разговор. Эка важность — пятнадцать. По пятерке на брата. И прополоскал бы. Червячка бы заморил. А то грызет, холера.

— Юозас! — кричит Андриус. — Ты слышишь, Мельничный Юозас!

Скрипят потолочные доски, и из дыры высовываются ноги. Они опускаются, из дыры вылезает человек и садится на лестнице — мука на нем как снег. С виду старик, хоть и одних лет с Андриусом. В один год их занесло ветром в эти края — Андриуса к Маркаускасу, Юозаса на мельницу. Оттого и прозвание получил — Мельничный Юозас. Вряд ли кто теперь его фамилию помнит — Мельничный Юозас, и точка...

— Еще не твой черед! — Зубы Юозаса сверкают.

— Нет ли этой... двойной перегонки?

Мужики, словно их шилом пырнули, оглянулись, выпучили глаза.

— Все деревенские псы подохнут — Андриус ставит! — Аксомайтис вскакивает с мешков, где сидел, и валится на спину — даже ноги задрал.

— Скинемся, мужики! — Андриус малость растерян. — Или вы нет? Ну, раз нет...

Но Мельничный Юозас говорит:

— Нету. Перевелась.

Никто не верит. Такого еще не бывало, чтоб Юозас отказал, чтоб у него не оказалось самогонки. Только подмигнет, загремит ключами, исчезнет за узкой дверцей и тут же появится с бутылкой в руке. «Двойной перегонки!» — скажет... Мужики будут пить из срезанной гильзы, морщиться, а потом капнут из бутылки на подоконник и, чиркнув спичкой, попытаются зажечь лужицу. Нагнувшись будут смотреть, не покажется ли голубое пламя. «Горит! Горит!» — наконец обрадуются они, и гильза снова пойдет по кругу. И уже меньше будут морщиться — добрая самогоночка, двойной перегонки.

— Ей-богу, нету. Ни капли.

Юозас с грохотом спускается по лестнице, садится на мешок и моргает белыми ресницами.

— Истребителям спасибо скажите. Притащились и шарят по углам. Бандитов, значит, ищут. Мол, я лесных прячу...

— Нашли? Забрали? — Кряуна даже губами зачмокал и сглотнул слюну.

— Целую канистру! Говорю им — керосин, а они: мол, вдруг ты в ней бандита держишь. Хитрые, сволочи, извините за выражение. Видать, запах учуяли.

Мужики огорченно качают головами. Андриус достал табак и скручивает новую сигарку. «Нету — и не надо, — думает он. — Я даже и не хотел, так, дурь какая-то нашла. Вот и ладно, что отобрали. Да Юозасу муку девать некуда! С центнера два килограмма «на пыль», еще два килограмма законных, за помол. А сколько за день? А за неделю? Да еще самогонка, эта моча сивой кобылы... Куда он и девает столько муки да зерна!.. Каждый божий день по несколько центнеров,

холера. Хоть мое-то какое дело, если по правде? Мое зерно, моя мука? Маркаускаса. Мне на килограммы Маркаускаса наплевать. Но ты, Юозас, все равно жулик. Я это тебе и в лицо скажу — жулик! Тьфу!.. И везучий жулик! Трудно ли было пару лет побатрачить?! Хозяин унес ноги — черт знает куда, говорят, в Германию, — а ты остался за него. Куда там остался — власти тебя поставили. Ты теперь не Мельничный Юозас, а мельник. Да, Юозас, ты — мельник!»

— Не огорчайся, Андрюс! — Аксомайтис наотмашь хлопает Андрюса по спине.

Андрюс вздрагивает, тонкая бумажка рвется, табачные крошки сыплются наземь.

Крутятся, трещат дубовые шестерни — белые, припорошенные мукой, они вот-вот зацепят Андрюса, затянут, сотрут в порошок.

— Чем Андрюсу плохо? — не отстает Аксомайтис. — Андрюс теперь барин.

— Только маеты больше, пропастина.

— Кому маета, а кому и нет. Такая земля, постройки, в хлевах скотина...

— Не его, не его. У Маркаускаса рука тяжелая.

Андрюс вставляет самокрутку в рот и сосет не закуривая. Бойтся вытащить спички, чтоб не рассыпались — руки предательски дрожат. И головы не поднимает, словно на лбу написаны его мысли — вдруг прочитают. Хоть и так они что-то много знают. Откуда им знать?

— Кряуна, твой черед! — раздается голос Мельничного Юозаса.

Кряуна проворно вскакивает, подтягивает штаны и лезет по лестнице на чердак. На четвереньках карабкается, будто кот.

— Да хватит чепуху болтать! — наконец выдавликает Андрюс.

— Говорим, пока язык узлом не завязан.

— А недурно было бы. — Андрюс встает с мешка. — Пойду лошадей посмотрю.

Тяжелые, белесые сумерки, словно набухшая водой сермяга, окутывают Андрюса, мокрой полкой закрывая лицо и руки. От запруды прилетает ледяной ветер, пронизывает до костей. Трясет озноб.

У коновязи — телеги; лошади спокойно жуют овес. Андрюс облокачивается на перила и смотрит на падающую воду. Вода шумит, исходит пеной, брызгает с лопастью вертящегося колеса и там, внизу, став узким ручьем, пропадает в кустах. Грохочет мельница, кипит и бурлит вода, словно в громадном котле. Не первый год сюда приезжает Андрюс, не первый раз стоит на деревянном мосту. Минутку, который же? Ну да, восьмой... Восемь лет, как таскает мешки Маркаускаса. Грех сказать, последние три года уже не то. «Тут — твое, а тут — мое», — говорит он теперь Маркаускасу, и хозяин хоть бы пикнул. Молчит в тряпочку.

...Когда Андрюс проложил две борозды через все поле и когда борозды несколько дней спустя подсохли и земля посерела, словно ее осыпали пеплом, Маркаускас сказал за обедом:

— Хочу тебя спросить, Андрюс...

Андрюс поднял глаза.

— Ну?

— У тебя есть земля. Власти отмерили. Хорошо, что ты ее получил, а не какой-нибудь пьяница или перекасти-поле. Но как ты собираешься жить?

— Землю пахать буду, хозяин!

Андрюс ответил твердо: он даже подивился, почему Маркаускас об этом спрашивает, как будто он сам не знает, что главное — земля. А когда есть земля, о чем еще спрашивать?..

— Пахать ты умеешь, Андрюс. Но на чем ты будешь пахать? Тебе ли напоминать, что без лошадей да инвентаря земля стоит целиной?

— В Думблине — пункт аренды лошадей, — смело отрезал Андрюс.

— Был...

— Есть!

— Вчера ночью сгорели и лошади и конюшня.

Андрюс растерялся, но ненадолго.

— Я достану лошадей. Аксомайтис даст. Отработаю. Зерном верну.

— И семена нужны будут.

— И семена достану.

— Аксомайтис даст?

— Для этого базар есть. Куплю.

— А телега, а гумно?... На себе повезешь, сам цепом молотить будешь?

Андрюс чувствовал, что Маркаускас понемножку разрушает его сказочный домик. Выдернет еще одно бревно, второе — и рухнет домик, исчезнут Андрюсовы мечты о земле, об отдельном житье.

— Я буду жить, ты не думай, хозяин! — гневно крикнул Андрюс.

— Ладно уж, живи, — спокойно сказал Маркаускас.

И лишь позднее, кажется на другой день, как бы невзначай добавил:

— Моим умом, не лучше ли тебе исполу эти гектары? Оба вместе обрабатываем... всю землю по-старому, а ты осенью с этих восьми гектаров получаешь пол-урожая. Ну, если не хочешь, ты скажи. Но сперва все прикинь, Андрюс. Я только намекнул. А худа тебе не желаю, ты уж поверь.

Андрюс не скоро ответил, только через месяц, когда ни Аксомайтис, ни Кряуна ему лошадь не одолжили — у самих работ по горло. А когда лошади гуляли без дела, они отвечали: «Пускай попасутся, передохнут...»

— Так, может, хозяин, исполу, — наконец выдал Андрюс тихо и жалобно, словно собственной кровью записывая черту души.

— Ну, раз ты просишь... — Маркаускас и виду не подал, что рад.

Андрюс работал как в прежние годы, не присаживался целыми днями, а осенью, получив свою «половину», погрузил на телегу несколько мешков ржи, усадил Тересе и укатил на базар. Сладкое чувство, когда телегу окружают покупатели, спрашивают о цене, торгуются, достают из кошельков скомканные, потертые рубли! От денег пухнут карманы, горит лицо, живее бьется сердце. «Вот холера! Хоть раз и я чего-то стою...» Он вел Тересе по неровному булыжнику, мало говорил, только стрелял глазами по сторонам.

— Может, купить тебе чего? Ты скажи, — сжал он руку Тересе и посмотрел ей прямо в глаза.

— Да бог с тобой, Андрюс!

— А вот и куплю. Пошли, Тересе.

Они долго торчали в магазине. Андрюс спрашивал, сколько стоит то да сколько это, а потом повернулся к Тересе и махнул рукой:

— Да нет тут ничего!.. И не пропихнешься. Лучше уж я... Пошли!..

Они вышли на площадь. Весело галдели школьники. Малыши выбирали из развалин целые кирпичи и складывали в кучу, а дети побольше рыли ямы и сажали липки. Рабочие вставляли окна в новом двухэтажном доме. Из громкоговорителя хриплый голос выкрикивал: «Широко развернув социалистическое соревнование за досрочное выполнение государственных заданий, крестьяне Даугшягирского совхоза дружно подписали письмо...»

В закуской было полно пьяных, но они отыскивали два свободных места у стола, заставленного грязной посудой. Тересе, комкая уголок платка, с опаской поглядывала на незнакомых мужчин, которые говорили наперебой, кричали, пытались затянуть песню.

— Гульнем, Тересе,— подмигнул Андриус и сдвинул фуражку на затылок.— Отчего б нам не гульнуть? Скажешь, не на что? Ха, теперь нас дешево не возьмешь!

Рядом, положив голову на руки, дремал старик. Кто-то говорил о поставках и павшей корове, о детях, подорвавшихся на гранате, и сошедшей с ума женщине.

На залитый чем-то столик поставили для них два стакана водки и две тарелки с ячневой кашей и мясными огрызками.

— Ну, Тересе.— Андриус поднял стакан и посмотрел на Тересе как на картинку.— Привез я, значит, сегодня и продал, привезу другой раз и еще продам. Денег что дерьма.— Он пощупал внутренний карман пиджака и снова подмигнул Тересе.— А ты выпей.

— Да не знаю я...

— Ладно уж, пей!

Андриус опрокинул стакан, вытер рукавом губы и осклабился, словно проглотил лягушку. Тересе отхлебнула, поморщилась, но, поддавшись уговорам Андриуса, выпила до дна.

— Ты хлеб, хлеб нюхни. Хлебный дух враз все снимает,— учил Андриус.— Отчего б нам не выпить, Тересе? Не за чужие пьем!

Тересе только улыбалась и тыкала вилкой в тарелку, вяло жевала глинистый хлеб.

На столе снова появилось два полных стакана. Выпили по второму разу. Тересе растегнула ватник, скинула с головы платок. Ее щеки разругались, она была просто чудо. Вдруг Тересе расхохоталась:

— Я, наверно, пьяная, Андриус? Ты взглядишь как следует, я пьяная или нет?

Андриус первый раз угощал Тересе; она сидела счастливая и чуть растерянная — как это так: пришли, сели, напились...

— Ты молодец! — похвалил ее Андриус.

— Нет, я пьяная.— И она снова рассмеялась и ничего уже не видела и не слышала вокруг.

Когда они ехали домой, Тересе вцепилась Андриусу в локоть («Чтоб не выпасть из телеги»), то и дело спрашивала, не пьяная ли, хихикала — ей было весело как никогда. Попробовала даже тихонько песню затянуть. Но голову Андриуса быстро продул ветер, и он, щупая карманы с деньгами, уже прикидывал, сколько центнеров осталось продать и сколько за них выручит; а если б с этих гектаров все самому взять, если б не половина Маркаускасу, чтоб его холера...

— Ты тоже хороша, Тересе. Отдала свою землю Маркаускасу...

— Какая она моя...

— Раз власти дали — значит, твоя! Знаешь, что,— неожиданно бросил он,— забери-ка ты у него свои документы.

— На что мне эти бумажки...

— Зато в моих руках они — вольные деньги. Еще шесть гектаров исполу. Поняла? Вот взбесится Маркаускас. Забери.

— Да я... нет, нет. Да неудобно... Кормит ведь... Как это я заберу? Это уж ни в какие ворота!

— Ты как кошка к ихним ногам ластишься. Боишься слово сказать, свое потребовать! — Андриус вспыхнул.— Ты готова этого кулака в задницу целовать!

— Да какой он...

— Кулак!

Тересе прикусила губу и вдруг протрезвела. Замолчала и до самого дома не сказала ему ни слова.

Как ни верти, с этой испољиной Маркаускас его обвел вокруг пальца, решил Андрюс. Вот старый хрен! Отказаться, не согласиться! Но дело идет к весне, скоро выходить в поле, а что будешь сеять, если все зерно продал? И снова Андрюс с Маркаускасом трудились, не разгибая спины, целыми днями. Андрюс служил Маркаускасу, Маркаускас — Андрюсу. Но Андрюс все время помнил — хозяин его надувает, хозяину больше пользы, хозяин катается как сыр в масле. «Кулак — классовый враг, и если мы его не уничтожим...» — вычитал Андрюс в газете. Газеты читать он не любил, но, бывало, когда попадались в руки, листал и, наткнувшись на статейку про кулаков, непременно зачитывал вслух. И поглядывал при этом на Маркаускасов — что они запоют. Маркаускас обычно прикидывался, что не слышит, а Маркаускене вздыхала, случалось, даже слезу пускала. Если в избе была Тересе, она подсакивала, вырывала газету из рук Андрюса и совала в плиту. Андрюс хохотал — громко, зло.

Исполщик. Андрюс — исполщик, батрак, а Маркаускас — как был, так и есть хозяин.

Чертыхнувшись, Андрюс плюет в пенистую воду, словно кому-то в лицо. Хотя... не кому-то. Андрюс знает, твердо знает, кто стоит у него поперек дороги, кто связал его по рукам и ногам.

По размокшей дороге шлепают, приближаясь, шаги. Человек идет не спеша, ссутулившись, втянув голову в поставленный воротник полушубка. Гремят под его тяжелыми сапогами бревнышки моста, и человек, не сказав ни слова, удаляется. Андрюсу приходит в голову, что раньше в деревне человек никогда не проходил мимо не поздоровавшись, не сняв шапки. Наверно, нездешний. Ходят тут всякие...

Андрюсу становится не по себе. Он собирает со дна телеги клевер и швыряет лошадям. Только теперь видит, что лошадей так и не разнуздал. Вот взбесился бы Маркаускас! Разнуздав лошадей, он мочится на колесо телеги. Пора на мельницу, а то еще очередь пропустишь...

— Где тебя черт носит? — кричит Мельничный Юозас. — Мешки подымай!

Андрюс надевает петлю на горловину мешка, затягивает потуже и, напрягшись, хватается за толстую пеньковую веревку. Мешок поднимается, раскачиваясь в воздухе. Скрипят на чердаке блоки, открывается дверца в потолке и снова захлопывается, спрятав мешок с зерном. Юозас наверху расслабляет петлю и спускает веревку. Андрюс прицепляет следующий мешок. Рывок, два, три, четыре рывка — и мешок снова бьет по дверце. От шершавой веревки горят ладони. Болят руки. Да и ноги ноют... «Целый день за плугом. Чего я надрываюсь, когда волен...»

Рокочут жернова, трясется мельница, мука пахнет свежим хлебом. Андрюс топчет по лестнице вверх, по лестнице вниз, с пустыми мешками под мышкой, с полными на спине. Аксомайтис дремлет, уткнув подбородок в грудь. Юозас сказал — сегодня его зерно будет молоть после всех. Власть установила часы помола, и Юозас работает по часам, хотя, конечно, может и тянуть, если не отблагодаришь.

— Андрюс!

Андрюс держит руку под лотком и чувствует, как в мешок через пальцы сыплется мука — теплая, словно зола в костре.

— Я уже. Андрюс, — говорит Кряуна. — Ты приходи в воскресенье вечером.

— А что?

— Да так. Моя Анелюке вечеринку устраивает. Так втихаря повеселимся, сам знаешь, время какое, пропастина.

— Там видно будет.

— Или Маркаускас не пустит?

Мука обжигает руку Андриуса.

— Кто он мне? Папаша?

Кряуна смеется, даже закашлялся, поперхнувшись.

— Ну так приходи, Андриус. Анелюке пиво поставила.

— Не знаю, может...

Кряуна выходит в дверь, а Андриус думает: «Три года назад он бы меня не позвал. А теперь, ишь, «приходи». Как ни крути, восемь гектаров. Наконец-то и меня разглядел».

Андриус перетаскивает мешки на телегу, аккуратно складывает, накрывает попоной. Садится наверх и негромко кричит на лошадей. Лошади лениво шлепают по грязи. От кустов вишни и сирени, разросшихся у дороги, темнота еще гуще. У Андриуса по спине пробегают мурашки, и он снова кричит:

— Поше-ел!

Телега тархтит, подсакивая на рытвинах, а Андриус хлещет лошадей яростно, как цыган. Оглядывается через плечо. Дорога пустынная, но ему кажется, что за ним кто-то гонится, кто-то подстерегает его за этим вишенником, за тополем, за этим забором...

Еще далеко от хутора он услышал злобный лай пса.

V

Пранис Наравас едва тащит облепленные грязью сапоги. Голова так и гудит от речей, которых наслушался за целый день.

«...Американские империалисты угрожают миру атомной бомбой...»

Чтоб их гром поразил, этих империалистов и их страшную бомбу...

«...примером для нас должно служить крестьянство России, Украины и Белоруссии, которое решительно свернуло на путь коллективизации и в настоящий момент живет...»

Парень, возвращавшийся из армии, зашел воды напиться и рассказал, какие там поля — ни конца, ни края, — а машины сами жнут и молотят пшеницу. Только вот солома у них пропадает. А без соломы откуда корма брать да навоз?..

«...следует включить в списки всех, у кого было земли свыше... кто держал наемную силу... кто саботирует...»

Где же весы, на которые поставишь каждого и взвесишь?..

«...Вы — Советская власть, и...»

Откуда ему знать, что такое быть властью на селе!

Потирает рукой небритое лицо, смахивает испарину со вспотевшего под шапкой лба. «Эх, лучше уж не думать. И так вот день-деньской... Сколько таких дней и ночей? Без отдыха, без покоя. Власть... Тоже мне власть! Камешек на дороге: кто идет, тот и пинает. А бывает, и сам. Нет уж... Чтоб рабочие в городе не голодали, ты завтра спросишь у Скауджюса и у Валуkene: «Почему молоко не сдаете? Почему с поставками мяса тянете?» А Маркаускаса ты выгонишь в лес за дровами для школы. Чтоб дети не мерзли. Зато Аксомайтене отнесешь двенадцать червонцев и при этом скажешь: «Власть дает за новорожденного...» Ах, нужен ты, мил человек, очень даже нужен...»

Дорога огибает ольшаник и бежит теперь по опушке леса. В сумерках маячит крест. Поодаль, на пригорке. Приземистый и крепкий торчит из куста сирени. Пранис еще был малышом — коров пас, когда

в летний зной налетела гроза и мальчик Мотузы спрятался под клен; сверкнула молния, расщепила дерево пополам, а верхушка, падая, убила ребенка. Осенью отец Праниса сказал Мотузе: «Дай-ка, шурин, я из этого клена память о твоём сыне сделаю». Мотуза согласился, и отец зимними вечерами при свете лучины стругал, резал, сопел, отгонял детей, чтобы те не зудели над ухом, а весной на месте клена поставил крест с маленькой часовенкой. Собрались люди, смотрели на часовенку и видели Иисуса, упавшего на колени под тяжестью креста. Долго смотрели, все качали головами, шапки сняли, но тут кто-то шепнул, что Христос слишком уж смахивает на самого Мотузу. Люди выпучили глаза, возмутились, обозвали отца богохульником, а старик Маркаукас схватил топор и замахнулся: «Это же идол! Сейчас его изрублю!» Отец подскочил, обхватил руками желтый кленовый крест. «И меня руби! И меня руби, мил человек!» — закричал он. Маркаукас отшвырнул топор и в воскресенье привез ксендза — показать это святотатство. Но ксендз освятил крест, похвалил отца и сунул ему три тысячи кайзеровских марок. Отец в тот же вечер позвал Мотузу, пошел с ним в корчму и пропил все деньги.

Пранис Наравас останавливается, поворачивается к кресту. От дождя, зноя и стука дерево потрескалось, почернело. На мир смотрит скорбное и равнодушное ко всему лицо Христа.

— Давай поменяемся крестами,— с горькой улыбкой шепчет ему Наравас.— Ты мне дай деревянный, а я тебе — крест своих бед. Давай поменяемся, а? Говорят, ты всемогущ, вот и поноси хоть немножко мой. Молчишь? Нет, ты не Христос. Ты Мотуза со своим крестом, а может, Аксомайтис... Или мой отец — у него было такое же сухое скелетное лицо и длинные руки. Эти руки вырезали тебя...

На дороге громяхают колеса. В коляске сидят двое.

Пранис Наравас трогает пальцами зажатый под мышкой портфельчик с бумагами и двенадцатью червонцами для Аксомайтене, еще раз оглядывается на потрескавшуюся часовенку, на деревянное, искаженное страданием лицо Христа.

Фыркают лошади.

Пранис бредет по обочине дороги, а повозка приближается, догоняет.

* * *

Впереди уже маячат поредевшие деревья хутора, чернеют умытые дождем крыши построек, и Юргис Наравас останавливается. Мужчины, едва поспевавшие за ним, сбились в кучу. Натужно дышат, подкладками фуражек вытирают пот со лба. Все молчат — никто не знает, что полагается говорить. Туманное утро: плывут раскисшие, набухшие водой тучи; вот-вот хлынет дождь и кончится так и не начавшийся день.

Его широкие плечи поднимаются, под пиджаком проступают острые лопатки, он весь как-то подтягивается, застывает на минутку и тут же, вздрогнув, обмякает, понутив голову; автомат сползает с плеча, и он берет оружие в руки.

Хутор все ближе, его шаги все медленней, и он думает, что подчас нечеловечески трудно бывает вернуться домой.

По пустому двору ветер гоняет расписные кленовые листья. Скрипят перекошенные ворота. Из дверей хлева высунула голову лошадь и заржала, увидев людей.

Дверь открыта, и он, махнув своим людям, чтоб остались на дворе, один входит в избу. Звякает щекотка, в нос бьет затхлый запах родной избы. Женщина, сидящая у окна, поднимает голову, вскакивает, но ее сдерживает внезапная мысль и она только потуже затягивает уголки черного платка.

— Ты... Ты чего сюда притащился, Юргис?

Захлебнувшись желчью, женщина заслоняет руками лицо и опускается на стул. Она плачет, жалобно всхлипывая, тщетно пытается унять рыдания.

— Из-за тебя нас господь наказал...

Прислонившись к перегородке, стоит паренек, высокий, но совсем еще щупленький. Юргис ловит его взгляд, прямой, открытый и мучительный, не выдерживает его и направляется к двери.

На доске, на белой простыне, лежит человек, и Юргису кажется, что он далекий, чужой ему. Ведь это неправда, что ему сообщили сегодня утром, это ошибка...

Он подходит, встает у изголовья, крепко-крепко сжимает губы, но все равно вырывается имя:

— Пранис...

Как будто прилег отдохнуть после работы. Седеющие волосы гладко причесаны, большие, тяжелые руки...

— Брат мой...

Юргис налег грудью на автомат, поставленный на пол, смотрит на старшего брата...

...Вот они бегут с Пранисом в лес по малину, он босиком наступает на гадюку, но Пранис успевает палкой перешибить ей голову...

...Вот они косят прибитый дождем ячмень, он едва поднимает косу, ноют натруженные руки, а Пранис говорит:

— Ты передохни, Юргис, я один докошу...

...Вот он устроился в городе, таскает бревна на лесопилке, а субботним вечером возвращается домой.

— Ну как там, лучше? — спрашивает Пранис.

— Еще хуже. Но теперь-то я знаю, кто в этом виноват.

...Вот он три года спустя стучится в окно к брату.

— Кто там?..

— Я. Юргис...

— Кто?.. — не узнает брат. Если и узнал, то думает, что померещилось.

Снимает крюк с двери, и Юргис чувствует на своих плечах дрожащие руки Праниса.

— Откуда ты, Юргис? Мы-то думали, ты погиб в этой заварухе...

Увидев оружие Юргиса, Пранис замолкает. Потом спрашивает:

— Ты против них?

— Не я один, Пранис.

— Немцы же такая силища...

— Там видно будет, чья сила больше.

— Дай-то бог.

...Вот брат укрывает раненого Юргиса в сене, а сам сидит на чердаке и в слуховое оконце поглядывает на дорогу...

Мелькают картины прошлого. Юргис вспоминает, сколько раз собирался побывать у Праниса без надобности, просто так, посидеть с ним за столом, никуда не спеша и не глядя с опаской в окно, поговорить о погоде, здоровье и родичах, помолчать, захмелев от спокойствия и тепла, и потом сказать: «Спасибо тебе...» Теперь, если и скажешь, не услышит. «Это мне надо лежать на этой доске, не тебе! Уже который год гуляю по огню, а ты сделал только один шагок». «Из-за тебя нас господь наказал» — звенят в ушах слова. «А как же, если б не я, Пранис не стал бы председателем и сейчас хоронили бы другого. Он бы жил еще. Но чего стоит жизнь, когда сидишь и дрожишь, едва только скрипнет калитка? Нет, Пранис, ты не мог иначе, ты сердцем понимал правду и шел за нее».

— Брат...

Юргис поднимает голову и только теперь видит женщин за белым столом. Положа руки на открытые псалтыри, они чего-то ждут, в упор глядя на него. Парторг утром сказал: «Похорони, Наравас, брата как положено. Как нашего человека, как активиста...» Утром все было ясно, а теперь? Задуть восковые свечи, снять со стены Христа... «Из-за тебя нас господь...» Жена Праниса ни за что не согласится... Женщины разнесут по деревне: мертвого и то в покое не оставил. Родного брата осквернил... И кто поймет, кто одобрит?

А что скажут его люди?

Он оборачивается к двери. Она распахнута настежь, и народные защитники, столпившись, пристав на цыпочки, глядят на него. Зорко глядят, и Юргис идет к двери. Мужчины расступаются, пропуская его, и выходят вслед за ним из сеней.

— Что будем делать? — спрашивает Юргис, сев у забора на кучу мокрых камней.— Что делать будем, Маляука?

Человек на шестом десятке по-медвежьки поводит плечами, подтягивает штаны, сжимает в руке дуло винтовки.

— Когда мои оба сына погибли от руки этих... от бандюг-то...

Он замолкает, сглатывает горький комок и прячет глаза. Старик все время вспоминает сыновей, вместе с которыми, потушив горны в своей кузнице, повесив на дверь замок, пришел в отряд народных защитников. Лютая ненависть к убийцам жгла душу старика. Каждый должен сражаться против бандитов, а если нет... Тогда уж Маляука сжимал кулаки, стискивал зубы, с трудом справляясь с нахлынувшей яростью.

— Как — что делать?.. Парторг сказал...

— А ты, Скринска?

— И я как Маляука... Но что нам с этими бабами делать? Ведь завоют...

Как нарочно раздается песнопение. Мужчины растерянно прислушиваются, а Скринска вскакивает.

— Не говорил я? Не говорил?..

Юргис молчит, опустив голову, поглаживая пальцами черные усики. Рядом стоят товарищи по оружию, и Юргис с облегчением думает, что и в этот тяжкий час он не один. Оставив в поле начатую борозду, отложив мотыгу или молот, они взяли в руки винтовки — чтобы прикончить притаившегося за кустом врага. И сейчас Юргис чувствует — его парни отомстят и за Праниса... Слова песнопения о «шести досках гробовых» да «трех аршинах сырой земли» падают на него словно камни.

Моросит.

— Пойду... Хочу еще побыть...

В сенцах он сталкивается с пареньком. «Вылитый Пранис», — думает Юргис, словно впервые увидев племянника.

— Дядя...

— Как мама?

— И не спрашивайте... Дядя, со сколько лет можно записаться в народные защитники?

— Не записаться, а винтовку брать надо. А ты расти...

— Я бы мог, дядя...

— Расти и все на ус мотай.

Он входит и снова застывает у гроба. Рядом стоит племянник, на одно лицо с Пранисом, и Юргис кладет руку ему на плечо, привлекает его к своему шершавому пиджаку, пахнущему потом и дождем.

Женщины заунывными голосами тянут бесконечное песнопение.

* * *

Утро медленно скидывает клочья тумана и дождя. Черные мокрые поля вздрагивают под пронизывающим ветром, беспорядочно мельтешат сучья деревьев. В бороздах и канавах блестит, переливаясь, вода. Продирается сквозь кусты ольшаника набухшая речка Эглине, взбивая мутную пену у крутых берегов, оплетенных корнями деревьев.

Исхлестанная дождем земля негромко и жалобно вздыхает, и если б не весело зеленеющие на буграх озимые, подумалось бы, что она мертва.

После полудня на дороге появляется телега.

Тересе с выполосканным бельем на плече и ведром в руке возвращается от речки. Она поднимает голову, свободной рукой проводит по глазам и, сделав шаг, едва не спотыкается.

Лошади тяжело тащат телегу. Колеса тарахтят, подскакивая на рытвинах. В повозке по сторонам большого гроба сидят, ссутулившись, мужчины. На облучке рядом с вожжами и кнутом покачивается женщина. Ветер развеивает ее черный платок, словно траурный флаг; женщина плачет. Пустые осенние поля дрожат от ее плача; в тяжелом, вперемежку с туманом воздухе висит страдание.

Тересе стоит посреди поля, смотрит сквозь слезы на удаляющуюся телегу.

В воскресенье ударил первый мороз.

Она сидит у окна, смотрит на падающие редкие снежинки. Бугристая земля на глазах сереет, белеет втоптанная в грязь трава, оживают черные ветви ивы. Весь мир становится иным, и хорошо на него смотреть. Тересе всегда ждала первого снега — для нее это был настоящий праздник. Обязательно лепила снежок и запускала в спину Андриусу. Иногда, бывало, и в хозяйина бросит, и тот не ругался. Разве что: «Не шали, не маленькая». Вот и теперь она выбежала бы во двор, голыми руками разгребла бы снег, но ноги как будто связаны, и Тересе не отрывает взгляда от окна.

За дощатой перегородкой, в кухоньке, скребется мать. Целый божий день она слоняется из угла в угол, стонет да вздыхает. В час обедни затихла — присела на край кровати и вполголоса молилась, пропуская четки сквозь пальцы, листала пожелтевшие, затрепанные страницы молитвенника. Теперь снова семенит по неровному глиняному полу. То возьмет голик и поскребет у плиты, то громыхнет кастрюлей — переставит, то поленья сложит на плиту, чтоб подсохли, то пошвыряет их в угол. И все бормочет под нос, Иисуса Христа поминает. Мол, что она, немощная старуха, в святой день дома сидит, господь простит, но чтоб Тересе, здоровая девка, в костел не пошла... Это уж, господь наш, Иисусе Христе... И ведь не первое воскресенье! Положим, работала бы, хозяйских свиной да коров кормила, как в прежнее время. Но ведь без зазрения совести лодыря гоняет!.. Хозяйева в воскресенье ее отпускают, сами со скотиной мучаются, а она...

— Господи наш, Иисусе Христе — ну, ни стыда ни сраму...

Оконце хоть и заделано на зиму, все щели забиты паклей, рамы оклеены газетной бумагой, но тянет из всех углов — доски изъедены жуком, бревна прогнили, и Тересе трет посиневшие руки и прячет в рукава вязаной кофты.

Ветер гоняет снег по двору, завихряется, в рытвинах уже белеет сухой ледок.

— Если б не слякоть, я бы, ей-богу, пошла. Подвез бы кто. Говорила ведь и еще раз скажу — что нашли, то и оставим. Все проходит, один господь вечен. Ежели от него отступимся, к кому еще нам прибегнуть, Тереселе?

Трещат доски кровати, мать встает и, наверное, идет к плите.

— Вроде бы топили, а лежанка стылая... Что такое теперь человек? Вместо мухи — хлоп, и нету его! Вот я и говорю, будет так, как в книгах царицы Савской написано: исчезнут королевства да графства и человек от человека будет жить в семи милях. Никак, ты вьюшку не задвинула, Тересе!

Мать стоит у перекошенной двери — исхудалая, почерневшая, только в больших глазах под белым платком поблескивают голубые огоньки. Тересе жалко мать. Иногда ей кажется — вот подойдет к ней, возьмет на руки, как девочку, отнесет на кровать, уложит, подоткнет одеяло, поцелует и скажет: «Ты отдыхай, мама, ни о чем не думай, все обойдется». А ведь не подходит... И редко слово хорошее маме скажет, все молчит, словно рот у нее зашит, смотрит мимо и думает, думает без конца, а иногда в мыслях спросит: «Что ты видела хорошего в жизни, мама? Да ничего,— отвечает сама.— Так почему же вздыхаешь, почему четок из рук не выпускаешь? Потому что теперь не часто по огородам Маркаускаса на коленках ходишь и у тебя больше времени? — снова спрашивает она и сама отвечает: — Не богохульствуй! Неужто и ты с безбожниками? О господи наш!.. Мама, Андриус говорит... Да ты и сама знаешь, мама, у меня земля есть, и у Андриуса есть, и мы с ним будем жить... Будем жить, мама...» Но все так и остается в голове, потому что говорить трудней, чем про себя складывать слова.

— Присохла ты там, что ли? Вьюшку, говорю!

— Задвинула.

— Задвинула, когда все тепло в трубу улетело. Взяла бы книгу святую да почитала вслух. Слыханное ли дело, чтоб здоровая девка так и сидела сиднем.

Так ли уж часто она сидит без дела? На днях развесила стирку в сарае, присела на козлах и уставилась в землю; все еще видела похоронную телегу, слышала плач. Недолго посидела, самую малость. И тут, как на грех, в дверь просунула голову Маркаускене: «А это еще что! Тересе, как тебе не стыдно! Села и сидишь как чурбан, а что в хлеву навоз по колено — тебе и дела нет. Принеси-ка соломы, подстели». Тересе поначалу не поняла, что говорит ей Маркаускене, и даже не шевельнулась. «Ты с ума сошла, Тересе! Тебе говорят! Соломы побросай!» Тересе пошла к хлеву, взяла вилы, но они были тяжелые, свинцовые. А в ушах — плач.

— Мама! — Тересе хочет промолчать, но не в силах.— За что Нараваса застрелили?

Старуха приподнимает передник, громко сморкается, вытирает слезящиеся глаза.

— Откуда мне знать. За то, что властям служил.

— Хороший был человек.

— Такая сумятица, не поймешь.— И подойдя, тихо, словно кто-то чужой сидит за перегородкой, добавляет: — Наверно, работа Пандиря. Этот — зверюга, чуть что — и пулю. Говорят, вместо него теперь учитель. Не какой-нибудь ирод будет командиром лесных, а ученый человек. Господи наш, Иисусе Христе, береги его... И местный, всех знает.

— Дети Нараваса в школу ходили.

— Вот-вот, в позапрошлом, помню, забежала к Наравасам — не скажу сейчас зачем, только помню — обедали. И учитель с ними. Посадил младшего на колени, сам кушает и его кормит. И приговаривает: мол, мой ученик растет. За веру идут лесные...

«И убивают за веру?» — этот вопрос висит на кончике языка, но Тересе испуганно сжимает губы.

— Сколько мне еще жить-то, а ты только-только начинаешь. В недобрый час я пустила тебя на эту землю, Тересе. Ох, в недобрый, в недобрый...— Мать гладит прохладными пальцами руку дочери, а глаза ее печальны.

Тересе смотрит на вихри снега за окном, неожиданно поднимает голову и, вздрогнув как от холода, застывает.

— Андриус.

— Кто?

— Андриус идет.

Старуха приседает, смотрит в окно.

— Господи наш, Иисусе Христе! Хоть и безбожник, а все-таки... Надень-ка новый жакет, приберись!

Тересе не двигается с места. Мать у дверей подметает пол, ногой отбрасывает поленья, рукой смахивает крошки со стола. Садится на кровать и открывает где попало свою книгу.

«И сказал господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и Скитальцем на земле...»

На дворе гулко гремит мерзлая земля. Звякает щеколда, скрипит дверь кухоньки.

— Добрый день.— Голос сухой, с хрипотцой.

— Во веки веков!

— Да вы всегда...

— Не научилась еще языку безбожников.

Для Андриуса это не в новинку, он и не думает обижаться. Бывает, сам посмеивается над этими словами старухи, но теперь только пожимает плечами, поворачивается к двери, словно собираясь тут же уйти, но выдыхает клуб пара и говорит:

— Думал, согреюсь, а тут немногим теплей, чем на дворе.

Тересе теперь только вскакивает со скамьи и торопливо надевает жакет.

Андриус просовывает голову в дверь избы и стоит, ссутулившись, чтоб не задеть головой балку. Он такой большой, плечистый, что избенка как бы приседает, съезживается, окна и те жмурятся.

— Садись, Андриус,— говорит Тересе и возвращается на свое прежнее место, у окна.

Андриус закрывает дверь, бросает на стол шапку и растопыренными пальцами приглаживает длинные волосы.

— Маркаускас в костел уехал? — спрашивает из-за перегородки мать.

— А кто дома управится?

— Вот-вот, господи наш, а бывало...

— Что было, тому не бывать.

— Много ты понимаешь! — сердится старуха.

— Не надо, Андриус,— успокаивает Тересе; ей не по душе, что Андриус задира — все против да против. А мог бы и промолчать, поласковой с людьми обходиться. Зачем на рожон лезть?..

Андриус машет рукой и садится, опустив голову. Зачем он пришел? Каждый день ведь встречается с Тересе, оба с утра до вечера и в поле и дома, кажется, так и положено; здесь она или там, где и что она делает, Андриусу все равно, он знает: Тересе где-то рядом, с ней он сядет обедать или ужинать. Всю неделю так, с раннего утра понедельника до позднего субботнего вечера. Сейчас — воскресенье.

Неужели он хватился Тересе? Почему он места себе не находит? Ночь не спал. Длинные теперь ночи, а он даже глаз не сомкнул. Ждал, вытянувшись, словно струна, и прислушивался: не раздадутся ли шаги, шорох у дверей или окон? На чердаке пищали мыши, у хлева гремел цепью пес. Рассвело утро, он встал с тяжелой головой.

— В город зачем ездил?

Андрюс вздрагивает и поднимает глаза на Тересе. Глаза расширены, веки дрожат.

— Почему спрашиваешь?

— Вчера некогда было спросить.

— Лошадям подковы нужны были. Мало ли чего надо в городе. Тересе снова надолго замолкает.

— Ты не слышал? — входит в комнату старуха. — Говорят, на кладбище опять крест светился!..

— Что образ девы Марии светился, об этом говорят.

— Взаправду?

— Говорят, взаправду. — Глаза Андрюса хитро поблескивают, но старуха не понимает подковырки.

— Господи наш, Иисусе Христе. Не к добру такие знамения. Кровь о небесном возмездии взывает.

Старуха вздыхает и возвращается на кухню, оставляя дверь открытой. Тересе идет за ней. Звякает ведром, пьет и, возвращаясь, закрывает дверь. Андрюс улыбается. Но почему у него язык не поворачивается? В голове вертятся всякие мысли, перед глазами черт-те что маячит, и он никак не может отогнать тревогу.

«...Последний дурень, было чего изводиться? Другой бы на моем месте повистывал. А то сходил бы в деревню и напился. Кряуна не раз звал, а я все нет да нет. В картишки бы перекинулись. Карты — отменное лекарство, почти как самогонка. Надо бы к Кряуне зайти. Отчего б не зайти? Кто я? Вчерашний голоштанник? Нет, чихал я на тебя, Кряуна... Чихал я на всех!»

Андрюс берет холодную руку девушки, сжимает в своей руке и отпускает, словно испугавшись чего-то, но пальцы Тересе остаются в его грубой ладони.

— Давай посидим. Посидим вот так, — говорит Тересе и придвигается поближе, прислонившись головой к плечу Андрюса.

Полузакрыв ресницы, она видит, как в комнатку наплывают серые сумерки, как они сгущаются, заполняя собой углы, и темнеют, словно спекшаяся кровь.

— Хорошо, что ударил мороз, — чувствует она щекой шепот Андрюса. — А то бы рожь под снегом взопрела.

— Хорошо взошла...

— Два гектара. Знаешь, сколько суслонов ржи с двух гектаров? Если год хороший.

— Много.

— Много! — смеется Андрюс. — Пожалуй, сотни четыре...

Тересе ужас как нравятся такие будничные и обыкновенные речи Андрюса. Так бы и слушала этот голос, он как доносящаяся издали музыка, понятная и добрая, баюкающая и несущая куда-то... Туда, где стоит отмытый добела стол и белые подоконники, где весело потрескивают в плите дрова и ласково бормочут кастрюли, где тепло и уютно, потому что там — твой дом.

— Ты маме говорила?

Она видит себя — невесту в белом, и видит сильные руки: левая обхватила большой каравай, а правая режет хлеб...

— Ты говорила, Тересюке? — шепчет Андрюс.

Тересе растерянно смотрит на Андрюса.

— Только в костеле...
 — Ах вот как! — таращит глаза Андриус. — Нет, этому не бывать, так ей и передай.
 — Тише, Андриус. Я ведь давно знала.
 — Что ты знала?..
 — Что мама... только в костеле.
 — Нет, нет. — Андриус трясет головой, волосы падают на лоб, на глаза. — Нет, нет, ты не маленькая...

Тересе с закрытыми глазами, не думая пойдет, куда бы ни повел Андриус. Но далеко ли уйдешь, если тебя родная мать оттолкнет? И что люди скажут? Андриусу наплевать, что о нем говорят, но Тересе... Нет, она знает — будет так, как захочет Андриус, и никакие сплетни ей не указ.

Выстрелы хотя и далекие, но такие неожиданные, что Тересе замирает и хватается Андриуса за руку.

— Это ничего... Ничего... — успокаивает ее Андриус.

— Господи наш, Иисусе Христе, — стонет за стеной старуха.

Снова бабахает да стрекочет вдалеке.

— Сцепились...

Тересе закрывает глаза, съезживается, словно пытаюсь уйти в себя от этого страшного мира. Может, это... учитель? Может, это в него стреляют? Окружили... нашли... ранили... «Моя ученица», — сказал он. И почему он назвался Соколом? Песня есть такая: «По лесу зеленому сокол летал...» Красивое имя — Сокол. «Андриусу ни слова», — предупредил он. А так хотелось ему рассказать, обговорить все. Конечно, Андриус не поймет. Андриус ничего не поймет. Для него Сокол — бандит. Господи, ужас какой, Сокол — бандит... Тересе была уже взрослой девушкой, когда учитель уговорил ее участвовать в представлении. И Маркаускаса уломал — тот разрешил ей субботними вечерами уходить из дому. Тересе досталась роль жрицы — хранительницы вечного огня. Слов немного, но такие красивые, что сердце таяло, когда говорила («О, гневный Перкунас, пронзи меня стрелами молний! Когда прискачет на коне мой парень и вызволит меня, я брошусь ему в ноги и ему одному буду принадлежать!..»). Голос Тересе дрожал, на глазах блестели слезы, учитель ее похвалил. Сам показал что делать и как говорить и все время хвалил. А когда вечером, уже в сумерках, после репетиции они выходили из школы, учитель провожал их через всю деревню и всю дорогу рассказывал о древних литовцах, об их вольной жизни и великой отваге, «как в лесах, на охоте, так и в войну, когда рубили врагам головы». Нет, Тересе не может забыть... Никогда этого не забудет. И если учитель... Сокол ушел в лес, значит, он... за свободу... А что Пранис Наравас погиб, а что под Рудгире?.. Это, наверно, не Сокол... Точно не он. Тогда другие... такие же, из леса... Они же против власти идут. Против той власти, что дала землю Андриусу!.. Ах, ей-то земля ни к чему! Но Андриусу... Когда они сложат в кучу эти гектары, это будет их земля — Андриуса и Тересе. Их жизнь, о которой они давно мечтают.

Стрекочет автомат. Потом выстрелы замолкают. Слышен только лай.

— Иди, Андриус. Пора.

Андриус крепко сжимает девушку в объятиях. Даже кости хрустнули.

— Ты же боишься одна.

— Я не одна.

— Ты боишься, Тересюке. Знаю — боишься.

— Иди. Мама...

Андриус встает.

— Кровь речками льется, Неманом течет,— вздыхает старая Юрконене и снова хватается за свою книгу: — «И сказал господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».

— Домой иди. Пойдешь домой? — Глядят добрые и любящие глаза Тересе.

— Домой,— говорит Андрюс и думает: «Долгий вечер, что мне делать дома-то? Смотреть на Маркаускасов, слушать их шаги? Нет, в избе и сбеситься недолго. А если вдобавок и эта ночь такая и следующая...»

Тересе упирается головой в грудь Андрюса, потом чмокает его в лицо.

— Иди и береги себя, Андрюс,— шепчет она ему на ухо.— Такие теперь ночи...

Закрывает дверь сеней на один крючок, дверь кухоньки — на второй. И снова садится у окна, снова глядит в поле. Гуляет ветер, кидая снег, маячит неподалеку черный ольшаник, а над всем этим — мутное низкое небо.

По кухне шаркает ногами мать.

Собаки в деревне все еще лают. На большаке раздается песня:

А этот поезд пыльный
Уехал навсегда.
Прощай, моя девица...

Тересе сжимает руками голову и вздыхает.

— Что на ужин соберем? — спрашивает мать.

VI

К вечеру Маркаускене совсем умаялась, а правая рука распухла, стала тяжелая, как колода. Не с ее здоровьем так маяться без передышку. Молотьба в хозяйстве страшнее всего. Машина большая, четверка лошадей вращает ее, глотает она солому, как сказочный змей, и только вертись на садке, только подтаскивай снопы да кидай на ток. Пыль не дает продохнуть, разъедает глаза и горло, грудь сипит, словно кузнечные меха. Известное дело, молодым все нипочем. Тересе вертится вьюном — схватит сноп, перевернет, развяжет и кинет на стол. Потом подбежит, зерно подберет... Андрюс огромные, с копну, охапки соломы тащит в открытую дверь гумна. скирдует. Он, правда, никуда не спешит, все делает медленно, но так и так успевает. Но почему он смотрит волком? Раньше Маркаускене не видела его таким, а теперь он с каждым днем все мрачней да мрачней. Нет, она умрет, но не забудет, как Андрюс еще весной вошел в избу и увидел, что она режет свежий каравай хлеба. Длинные, дымящиеся еще ломти она укладывала на противень.

— Собираетесь, хозяйка? — спросил он вроде бы с заботой.

— Откуда знать, господи,— вздохнула она и засунула противень в печь.

— Другие сала натопили.

— Я тоже кадушку приготовила, только бы дали взять.

— И постройки в мешки сгрузили.

— Постройки?

— И землю хотят забрать — хоть сверху соскребут, где пожирней, с навозом.

Маркаускене ничего ему не ответила, только покачала головой и, отвернувшись, заплакала. Андриус, видно, все-таки застеснялся, плюнул и ушел на двор.

Ах, Маркаускене знает, очень даже хорошо понимает: нечего надеяться, чтоб Андриус ей посочувствовал. Да ей это и ни к чему. Но зачем камень за пазухой держать, зачем ее заживо хоронить? Чует ее сердце — добром это не кончится. Сказала бы хозяину, но разве от него услышать что-нибудь, кроме: «Ни бельмеса ты не смыслишь». С хозяином не поговоришь по душам, не посоветуешься. Думает, что за несколько центнеров зерна человека купить можно. Просвети ты его, господи...

— Откормной на ночь ничего не давай, — напоминает Маркаускас.

— Уже завтра?

— А когда еще? Рождество на носу. Завтра затемно забьем.

Маркаускас выливает воду в корыто и опускает в колодец жердь. Пустое ведро стучит о сруб, потом плюхается в воду.

— Может, Тересе свиной покормит?

— Тересе на вейлке. Нельзя отрывать.

Опустив морды в обледеневшее корыто, лошади пьют воду. Поднимают головы, стучат желтыми зубами. С храпа на свежий снег капают большие капли. Снова наклоняют головы, стригут ушами.

— Фью, фью, фью! — свистит им Маркаускас.

Гнедко встряхивается, весело мотает головой и убегает от корыта. Посреди двора останавливается, словно испугавшись чего-то, бьет задними копытами по снегу и, подбежав к закрытым воротам, смотрит на белые поля. Сивка, нюхая снег, пьтится от корыта и ложится на землю, валяется в снегу.

— Фью, фью! — свистит Маркаускас все еще пьющей Буланке.

Она медлительная, спокойная, молодая еще кобыла. Волос гладкий, блестит, коротко подстриженная грива лохматая. Маркаускас чешет ее гриву, гладит за теплыми ушами. Весной Буланка ожеребится. Третий будет. Она приводит красивых жеребят, крепконогих, широких в груди, и для Маркаускаса нет картины милее резвящегося на выгоне жеребенка, который смотрит на мир, как ребенок, большими бархатными глазами.

Буланка тихонько ржет, и Маркаускас, похлопав ее по крупу, направляется к хлеву.

— Ну! — кричит он во весь голос.

Лошади послушно следуют за ним.

Хлопает дверь хлева, твякает пес.

Маркаускене кличет кур, насыпает им крупы и медленно идет в погреб за мелкой картошкой для свиней. Двор просторен и пуст. Ветер носит соломинки, гоняет по земле снег. Небо низкое, над самыми верхушками тополей. И какое-то черное, угрожающее. Видно, ветер разбушуетя вовсю. Рано в этом году метели, как никогда. Да и морозы нынче...

Женщина тащит из погреба одну корзину, потом вторую. У колодца окатывает картошку водой, и картофелины оживают, краснеют, будто яблочки.

— Фонарь! — Голос Маркаускаса от гумна.

Она все бросает и спешит зажечь фонарь. Ей не надо повторять. Так уж привыкла за эти долгие годы здесь. Куцым было их счастье — быстро все потускнело, пропало, словно цветные сны детских лет. Она даже оглянуться не успела. Делала все что следовало, что ей велели. Шла, бежала как белка в колесе — никуда не вырвешься, ворота затворены. Но она и не пробовала вырваться. Эта мысль не приходила ей в голову, упаси боже. Одного только хотела — родить ре-

бенка на радость себе, вырастить его. Но побеги, едва успев оторваться от пня, усыхали. К чему прислонишься в старости?

— Пойдете полдничать?

Маркаускене пытается перекричать треск веялки. Неизвестно, услышали ее или нет — ни один не поднял головы. Тересе крутит железную рукоять веялки, колыхаясь всем телом, — не человек, а пугало на ветру.

— Полдничать, спрашиваю?! — снова кричит она.

Андрюс взваливает мешок на спину Маркаускасу, и тот аж приседает под ним. В дверях отзывается:

— Когда кончим.

Куча непровеянного зерна велика, и еще не скоро... Маркаускене черпает горсть чистой пшеницы. Прохладные зерна, пахнущие хлебом и летом, словно родниковая вода, струятся меж пальцев, и по всему телу пробегает какое-то доброе чувство. Кровь согревается, кружится голова, и когда она делает шаг, почему-то заплетаются ноги.

— Как знать, кто будет есть пирог из этой пшенички? — говорит Андрюс, буравя ее глазами, и Маркаускене швыряет зерна — они обожгли руку — и выходит на двор.

Стремительно сгущаются сумерки. Поднимается ветер.

Женщина размещивает корм для свиней, сваливает в ведра и тащит в хлев. Свиньи визжат, лезут на нее, толкаются пяточками. В корытах полно навозу — сперва все надо вычистить. Темно, мокро. Но работай, никто за тебя не сделает.

Наконец Маркаускене переводит дух — наконец-то! — и, прихватив в дровяном сарае охапку хвороста, бредет по занесенной снегом тропе в избу. В избе неприятно, даже страшновато, как на заброшенном сеновале, на котором гуляют сквозняки. Как будто из каждого угла к ней протянулись руки, кто-то вдруг вылезет из темноты, и она ступит ногой в лужу крови...

Маркаускене чистит картошку, а руки не слушаются, она не чувствует ножа.

Когда все собираются, изба оживает. Пусть мало разговора, но все равно тяжесть спадает с плеч. И Маркаускене успокаивается — ее мысли уже помещаются в четырех закоптелых стенах, она видит всех за столом, она чувствует — хоть в эту минуту — тепло родного дома.

Окна занавешаны плотными дерматидами. У яркой десятилинейной лампы устраивается с газетой Маркаускас.

— Ты только подумай — «все как один крестьяне с красным обюзом»... Тыфу, врут, змеиные выползки! В глаза брешут, хвастаются. Будто мы не знаем. — Хозяин обводит застолье налитыми желчью глазами.

Андрюс скрипит стулом.

— Это еще как поглядеть. Может, для тебя, хозяин, вранье, а для меня — чистая правда, — отвечает он.

— Все за правду!

— Еще неизвестно за чью.

— За правду! Правда одна.

— Одна?

Андрюс ест глазами Маркаускаса, хочет как следует его отбрызгать, но не находит подходящих слов. И что в газете пишут, не знает — не читал ведь. Но когда Маркаускас вот так распаляется, Андрюс рад: да, он прав, Маркаускас охотно бы власти нож в спину всадил! Как пить дать всадил бы нож этот, и Андрюс не ошибся, когда так про себя думал. Все они одного поля ягода.

— Нет, хозяин! — качает головой Андриус, а его шея наливается кровью. — Одной правды нет. Теперь наша правда, тех, которые работают.

— Скажешь, крестьянин когда-нибудь лодыря гонял?

— Все на одной полке, значит? Все равны, да? Все работали, только бог оделил неодинаково? Так получается, да?

— Кто лодырничал, кто пропил, прогулял или в карты продул...

— А я?! Я?

— Если б у твоего отца было больше земли...

— Отец! Отца ты мне не поминай! — Мысль о родном доме обжигает Андриуса.

Тересе хочется, чтоб в избе было тихо, чтоб Андриус не лез на рожон.

— Ты не спорь, Андриус. Не заводись.

Андриус бьет кулаком по столу, словно Тересе виноватее всех.

— А ты не холуйствуй!

— Андриус! — Тересе пугается этого слова и смотрит на Андриуса во все глаза.

— Не понимаешь, так молчи!..

Тересе снует из угла в угол. Сердито швыряет у плиты хворост, гремит пустым ведром.

— Не ходи. Такая метель... — хочет удержать ее хозяин, но Тересе полураздетая убегает за водой.

Выходит и Андриус, «чтоб послушать собак». Ветер швыряет в глаза горсть снега и, завывая, улетает куда-то. У дверей нанесен сугроб. Скрипит журавль, булькает вода. Подойти к Тересе, положить руку на плечо? Нет, пусть она не думает, что Андриус в чем-то виноват. Обиделась... Тоже мне барышня! Не станет же он извиняться! А то потом с девки спесь не собьешь. Топчется, оглядывается кругом.

После ужина хозяин приносит из сеней свиной нож, долго вертит его в руках и, достав с полочки в углу оселок, садится точить. Нож длинный и острый. Совсем как кинжал. Маркаускас медленно проводит ножом по стертному оселку, пробует пальцем холодно поблескивающее лезвие, изредка зло зыря на Андриуса.

Андриус бродит по избе, долго стоит, прислонясь к стене, и наконец уходит в свой чулан. Тересе моет посуду. Хозяйка пытается удержать ее — куда пойдешь в такую непогоду, вот тут на кухне постели! Но Тересе не поддается — надевает ватник и выходит.

Изба пустеет. Тихо, только ветер воет за окном. Маркаускене задувает лампу и долго еще шуршит в потемках. Взбалтывает бутылку со снадобьем, натирает руки и ноги. По всей избе разносится запах самогона. Еще весной залила первачом гадюку, и теперь бутылка все время стоит за сеником в углу кровати.

Маркаускас долго ворочается, пыхтит, все не может забыть обидных слов Андриуса, но наконец усталость перемогает его, и он засыпает. Только у женщины не смыкаются глаза. Ее давит непроглядная темень. Встать бы да сорвать с окна дерюжку! Но она лежит не двигаясь, мрак связал ее по рукам и ногам.

И все-таки она встает, шлепает по полу, проверяет дверной крюк. Подходит к каждому окну, осторожно приподымает краешек дерюжки, глядит на двор, прислушивается и, глубоко вздохнув, садится на край кровати. Молится.

Задвигался Маркаускас.

— Забыл часы завести... — говорит он и со скрипом выбирается из кровати. Стучат деревянные башмаки. Дзирь, дзирь! — скрипит пружина. Часы стучат, словно твердые шаги по скованной стужей земле.

Тихо скрипят шаги. Удаляются? Приближаются? Скрип, скрип, скрип...

Неизвестно, сколько спала Маркаускене (а может, и не засыпала вовсе), но вдруг она поднимает голову: за избой слышны шаги. Приглушенный шепот. Дребезжит стекло окна.

— Боже, отец! — стонет женщина. Кажется, сердце упало наземь и катится по полу, словно клубок ниток.

Снова дребезжит окно.

— Может, Сокол?.. — гадает Маркаускас и, перебравшись через жену, шарит босыми ногами в поисках башмаков и все не находит. Вскрывает у хлева пес, заливается лаем.

— Кто там?

— Свои, пусти, — отвечают снаружи.

Маркаускас молчит.

Снова стучат в окно.

— Открывай, чего ждешь!

— Откуда мне знать, кто... — Голос Маркаускаса меняется, дрожит. Нет, это не Сокол!

— Отец, не пускай их, — шепчет женщина. — Не подходи к двери, отец...

Грохочет наружная дверь.

— Откройте!

— Истребители... — говорит Маркаускас и горбится, опускает голову. Длинные большие руки бессильно повисают — точь-в-точь подрубленные ветки дерева.

— Открывай! — кричат и остервенело лупят сапогами в дверь.

На дворе темно, смутно маячат яблони в саду. Если бы окна Андриясова чулана выходили на двор, он бы видел дверь. Хоть и так знает, кто стучит. Правда, эти первые шаги, которые он расслышал еще в полночь, чуть не свели Андрияса с ума: холера знает, подумал он, вдруг это бандиты шляются. Придут, постучат, и хозяин вмиг откроет. Чего они там бродят, чего тянут? Ведь не одного новосела увели ночью, поставили на колени на пашне и пулю в лоб. Андриус чувствует — Маркаускас не заступится. Для Маркаускаса он что загноившаяся заноза под ногтем. Верно Скринска говорил... Ведь если б не Скринска... Всю ночь Андриус не мог заснуть. Бесконечная, пакостная ночь, но теперь он наконец знает, кто там, за дверью.

— Открывай, мать твою!

Андриус торчит в одной рубашке у окна. Чулан не топлён, все тело колют острые иголки. Его трясет озноб, зубы стучат, так раззвонились эти проклятые зубы, что вся комната гудит.

Звякает железная щеколда, гремят шаги. Андриус забирается под одеяло, но не может унять стук зубов. Он весь трясется, голова гудит, в ушах стоит звон. Никогда он еще так не дрожал от холода. Что-то трясет его изнутри, ледяные пальцы касаются не кожи, а добираются до живого мяса... Может, потому что много ночей он не спал и ждал этой вот ночи... этого часа... Со страхом ждал, с надеждой, стиснув зубы и крепко сжав кулаки. Он много передумал за эти ночи, и вот оно!..

...Неизвестно еще, когда и как все случилось бы, если б он не съездил тогда в волость. Продал два мешка пшеницы и пошел по городу. И тут откуда ни возьмись Скринска, друг детства. Пристал как репейник — поставь бутылку, давно не виделись. Андриус и поставил. Согрелись оба, разговорились.

— Не боишься в деревне жить? — спросил Скринска.

— А кого бояться-то?

— Он еще спрашивает! Бандюг.

— Холера их...

— Думаешь, я бы это взял? — Скринска похлопал по прикладу винтовки.— Но когда эти суки однажды теркой мой зад изувечили, такое бешенство напало, что говорю: погодите, еще посмотрим кто кого... Тебе, вообще-то, надо тоже в народные защитники. Примем.

— В истребители-то?

— Не важно, как называть.

«Вот показал бы кулакам! — подумал Андрюс.— Попомнили бы они меня. А Маркаускас узнал бы и с ходу откинул бы копыта...» Но вдруг в голове Андрюса мелькнуло: под Рудгире ухлопали девятерых. Будто бревна сложили на телегу и увезли потом их свои. Бандиты, говорят, там засаду устроили.

— Да я, знаешь, нет... Нет, нет... Я землю хочу пахать! — выдавил он и опрокинул стаканчик.

Скринска ухмыльнулся, как будто Андрюс черт-те какую глупость ляпнул.

— Пока бандюги шляются, землю пахать не будешь.

— А я вот пашу.

— На кулака пашешь. Кулаку по старинке служишь, Андрюс! И долго еще собираешься служить?

Андрюс откусил от луковицы как от яблока и, не морщась, стал жевать.

— А когда Маркаускас на тебя бандитов натравит, поздно будет. Думаешь, к нему бандюги не захаживают?

Андрюс вспомнил, как, возвращаясь с мельницы, он увидел две тени, мелькнувшие в саду. Тени тут же исчезли за вишнями. Маркаускасы казались испуганными, и когда Андрюс спросил, кто приходил, хозяин даже выронил из рук мешок с мукой. «Никто не приходил, может, кто мимо шел...» Андрюс спросил у Тересе, но та отвела глаза: ничего, мол, не знает и никого не видела. Но Андрюса не проведешь...

— Ха, не захаживают! Видел как-то вечером. Двоих.

Скринска уставился на Андрюса, озорно подмигнул ему и наполнил стаканчик.

— А что я говорю! Если еще не донес на тебя Маркаускас, то мигом донесет. Это уж как пить дать.

— А что ты думаешь...

— Когда это было? — спохватился Скринска.

— Чего?

— Бандюги, спрашиваю, когда к Маркаускасу заходили?

— Да не скажу... Помню, пахали, приходил Пранис Наравас... Потом я на мельницу уехал... В тот же вечер. В тот же, это я точно помню.

— Говоришь, Пранис Наравас был?

— Был!

— И в тот же вечер — бандюги?

— В тот самый!

— А когда Пранис Наравас погиб?

— Через неделю, что ли... Да, через неделю...

Выпили еще по одной, и тогда Скринска достал из кармана мятый листок бумаги, карандаш и положил перед Андрюсом.

— Напиши-ка, Андрюс. На бумаге все выложи. Что знаешь, что видел...

...Скрипит дверь чулана, и луч света, лизнув стену и столик, ослепляет Андрюса. Андрюс закрывает глаза, но все равно чувствует лицом обжигающий свет.

— Кто тут? — Сухой и скрипучий мужской голос.

— Андрюс,— говорит Маркаускас и добавляет, вдруг вспомнив:— Новосел...

Свет все больше обжигает лицо, наконец сползает пониже.

— Документы!

Андрюс опирается на локоть, стаскивает со стула штаны и чужими пальцами залезает в карман.

— Живо!

— Это новосел,— повторяет Маркаускас.— Тут его вся эта половина избы.

Человек опускает автомат, берет паспорт. Долго листает, рассматривает.

— Фамилия как?

— Марчюлинас.

— Имя?

— Андрюс.

Мужчина закрывает паспорт, отдает.

— Новосел?

— Новосел.

— Бандитов нету?

— В чулане нету.

Человек с Маркаускасом выходит. Темнота сгущается еще больше, и Андрюс снова стучит зубами. Вот холера! Никак не согреться!

* * *

На столе дымятся щи, сваренные на сальнике, картошка в мундире. Изба полна теплым вкусным запахом, и мужчины гремят ложками, налегая на тарелки и миски, но никто не говорит ни слова.

«Будто всю неделю не жрали»,— думает Маркаускас. Уже утро, но ему кусок в горло не лезет, он не чувствует вкуса, щи почему-то пахнут ветром.

— А ты чего не ешь, хозяин? Подсаживайся, кушай,— приглашает Юргис Наравас, приглаживая пальцами черные усики.

— Да нет...— качает головой Маркаускас.

— А что ж хозяйка так на нас смотрит? Не жалея, не жалея, женщина.

«...Они тут свои порядки вводят, сам Юргис Наравас командует, а я для них ничто, пустое место, потому что у них и оружие и власть. Вари для них щи да кусок сала в чугунок положи. Да пропади они пропадом! Чтоб вам щами глотку ошпарило, чтоб вам кишки скрутило, чтоб кровью вас несло. И спасибо не скажете, знаю. Приходят — и давай. Лесные приходят — и им давай. Но те хоть свои люди, настоящие литовцы. А вы кто такие? Голодранцы да большевики...»

Маркаускас поглядывает исподлобья и чувствует, что в груди все кипит да бурлит. Отдал все поставки — и по молоку, и по яйцам, и по мясу. Давно ли восемь тысяч выложил, и еще им мало? Какое они имеют право приказывать: свари нам щей! Нет самого главного. Какого черта они притащились ночью? Молчат, ни слова не скажут. Ведь не просто так пришли — покушать...

Маркаускене несет мясо, швыряет на стол вилки. Шестеро мужчин, раскрасневшихся и веселых, ломают хлеб, поддевают вилами сало — и жрут, наворачивают.

— Вот не знал, что крепкие хозяева такие малоежки,— смеется Юргис Наравас, и смех его такой злобный, что Маркаускас думает: «Совсем не в брата... Пранис мог жить и жить, а этот... Этого надо было прихлопнуть, не Праниса...»

— Компания не нравится,— отзывается Скринска, сжимая коленями винтовку.— Ого, если б тут сидели бандюги, он бы и бутылку на стол выставил.

— Верно, Маркаускас? — Глаза Юргиса Нараваса впиваются в Маркаускаса, но тот не спешит с ответом, и Наравас спрашивает в лоб: — Бандиты приходят?

— Не приходили.

— Неужто ни разу не были?

— Не были.

— Смотри-ка, Маркаускас, да ты у меня святой! Так-таки и не были?

Юргис Наравас кладет вилку, вытирает сальные пальцы о полу белого дубленого полусубка и говорит сидящим в конце стола:

— Скринска, сходи, заменишь Маляуку.

Тут же открывается дверь, и с клубами мороза вваливается Тересе, а за ней, скособочившись, Маляука.

— Вот какую красотку поймал. Говорит, новоселка, на работу пришла.

Маляука как-то подозрительно хохочет, потом прохаживается насчет мороза и, швырнув шапку на лавку, садится на место Скрински.

— Ого, да тут пир горой! Только кулаки такой пир могут устроить. А где будем пировать, когда кулаков не станет?

— Ешь, Маляука, побыстрее, а то светает,— торопит Юргис Наравас и, встав из-за стола, закуривает, зло затягиваясь дымом.— Значит, Маркаускас, ты говоришь, что и не слышал о бандитах?

— Кто говорит, что не слышал? Слышал.

— Чего слышал?

— Что есть такие.

— А видать не видал?

— Бог миловал.

— И ты, Маркаускене, не видала?

— Спаси-сохрани, не видала...

— Ну и ну — не видали! А в тот день, когда мой брат Пранис переписывал твое имущество, бандиты не приходили?

— В какой день?.. Когда?..

— Ах, не знаешь? — Юргис Наравас пыхтит и трет пальцами черные усики.— Выдал? Как Иуда за тридцать три серебряника! Почему Пранис погиб? Может, скажешь — руки у тебя чистые?!

Юргис стискивает зубы. «Конечно, пока у бандитов в деревне будет прибежище, голыми руками их не возьмешь. Они мигом тебя из засады... Они живы потому, что есть такие, как ты, Маркаускас... Здесь корень всего, и если его не выкорчевать... Нет, нет, иначе и быть не может... Должны корчевать его без жалости. Когда-нибудь найдутся мудрецы, которые будут говорить: они ошибались, они не понимали... Пусть эти праведники сейчас, вот теперь, придут поковыряться вот сюда, в эту деревню... Сразу схлопочут пулю...»

Наравас зло затягивается дымом и глядит из-под кустистых бровей на сереющий двор.

Тересе стоит у плиты и ждет вопроса: не было ли бандитов? Неужто ответишь: «Были. Сокол заходил и еще один...» Нет, она этого не скажет. Она повторит то, что говорили хозяева. Пусть у нее язык отсохнет, если она выдаст учителя. Даже Андрюсу не обмолвилась, поскольку знает — это тайна, большая тайна. Но Юргис Наравас не спрашивает у Тересе, он как будто не видит ее; глаза мужчин обращены только на хозяев, они почему-то не выпускают их на двор.

Входит Андриос. Косится на Маркаускаса, на народных защитников, сидящих за столом, и отступает в угол.

— Ого, сколько гостей! — пробует пошутить он, но голос срыгается, и он, словно подавившись костью, замолкает.

«Андриоса спросят», — приходит на ум Тересе, но мужчинам и Андриос не нужен.

— Поел, Малышка? — Юргис Наравас наконец широким взмахом руки отшвыривает окурки.

— Когда у кулаков батрачил, в страду картошкой и холодным борщом кормили. А теперь все на стол тащат, твою мать, хотят добrotу свою показать.

— Попрошу без молитвы! — одергивает его Юргис Наравас и, потрогав козырек фуражки, подтягивается, засовывает большой палец правой руки за ремень. — Так вот что, Маркаускас, и ты, Маркаускасене, — не спеша говорит он и замолкает. — Так вот что — одевайтесь, поехали.

Маркаускас как-то жалобно улыбается, смотрит на жену, на вооруженных народных защитников, стоящих у стен и двери.

— Куда... поехали?

— Господи боже... — лепечет Маркаускасене и ловит ртом воздух.

Маркаускас встает, пошатнувшись, всем своим весом опирается на стол. Столешница трещит, край стола отлетает, словно лучина.

Женщина валится на кровать и, вылупив глаза, открыв рот, смотрит на мужа.

— Советую поторопиться. А то голые, как стоите, уедете.

Маркаускас смотрит прямо перед собой и ничего не видит.

Жил себе человек, пятый десяток на исходе; шел целыми днями, как вол в ярме, не давал ни себе, ни жене роздыху; в три погибели гнул чужих, потому что один с землей управиться не мог. Отрывал от себя кусок повкусней, вез на базар и клал цент к центру, судился с соседями за перепаканную между и теленка, забредшего в яровые; за избой, отгородив новым забором большой участок, сажал яблони, груши и сливы, а вокруг двора — тополя и липы, чтоб цвели и давали плоды, чтоб зеленели и шелестели, укрывали от северного ветра и чужого глаза. Думал о спокойной старости и сытых детях. Не хотел, чтоб его топтали, хотел сам быть наверху («Если не я соседа, то сосед меня»). Так Маркаускас понимал свою жизнь и думал, что иначе быть не может. Думал: его правда, благословенная богом, вечна. И вот... Забери с собой сколько можешь поднять. Забери...

— За что? — спрашивает Маркаускас.

Никто не отвечает.

— За что забираете?

— Всех кулаков под корень! — Ответ короткий, как звук топором.

Он идет через заснеженный двор по нерасчищенной тропе. За ним — Малышка с винтовкой.

Тяжело тащить ноги, когда тебя гонят словно убийцу. Но это только начало, самое начало пути, а Маркаускас знает — этой дороге нет конца... Вернется ли он домой, увидит ли в конце деревни с бугра тополь, машущий ему острой верхушкой?

Визжат двери хлева, оттуда бьет теплом и лошадиным потом. Лошади поворачивают морды к хозяину, похрапывают. Маркаускас проводит рукой по податливой спине Буланки, взнуздывает ее. Кобыла послушно наклоняет голову, Маркаускас обнимает ее за шею. Пальцы онемели, застыли — не продеть ремешок в пряжку. Стоит, прижав к себе голову Буланки. Любил он лошадей, берет, потому что хорошие лошади — все хозяйство: вовремя обработанное поле, вове-

мя убранные хлеба. Но его лошади не только телеги с навозом таскали — в базарный день или на престольный праздник, выгнув шеи, летели они пыльными дорогами, и любо было смотреть, как отступают на обочину пешеходы и одноконные упряжки. Сам кормил лошадей, сам чистил, не доверяя батракам, если б мог, сам и поля обрабатывал, сам бы всюду ездил.

— Давай, давай! — говорят ему.

Эти слова — как удар нагайки по голой спине, и Маркаускас вздрагивает, ежится, а перед глазами плывут красные круги, мысли путаются. Все, кончена жизнь. Конец! Не твои лошади, не твой хутор. Не твой, не твой... добро, нажитое отцами и тобой, уже не твое...

Выводит Маркаускас упирающихся, сонных лошадей в дверь, поднимает голову и чуть не спотыкается. Андрюс... Что ж это он издали? Сейчас... «А чтоб мне сквозь землю! — скулит Маркаускас. — Где были мои глаза? За пазухой гадюку пригрел...»

В свинарнике визжат откормленные свиньи, мычат недоенные, выгоняемые из хлева коровы, блеют вырвавшиеся из рук овцы. Андрюс водит мутным взглядом вокруг, слоняется по двору без толку. «Жить с ним можно было, что правда, то правда», — думает Андрюс, но тут же он себя одергивает — кулак! Его постройки, скотина, все его, а что твое, а? И ты ведь человек, у тебя тоже две руки, а почему они пустые, холера! Кулак он, как и все кулаки, и Андрюс только чуть-чуть ускорил то, что все равно бы случилось. Не сегодня, так завтра...

Андрюс смотрит на Маркаускаса, которого теперь ведут к амбару. Их глаза сталкиваются, как остро отточенные ножи; глаза наносят смертельный удар, метят в сердце. Маркаускас останавливается от боли в груди, спотыкается.

«Вот дурак был. Надо бы словечко шепнуть Соколу, ведь спрашивал... Что я еще ждал, на что надеялся?..»

«Не очень-то сладко, хозяин, начисто всего лишиться. Хоть теперь-то в шкуре батрака побываешь. А ну-ка, залезай в мою шкуру, враз поймешь, что значит ничего не иметь за душой...»

— Давай, давай. — Дуло винтовки утыкается в спину Маркаускаса.

Андрюс кривит губы, его лицо искажает улыбка победителя, и он, окинув все вокруг хозяйским взглядом, спешит к гумну.

— Телегу оставь! Телега моя.

Человек с автоматом за спиной выталкивает телегу с гумна, но Андрюс прикладывает плечом к грядкам, упирается, и телега — ни с места.

— Отойди! — хрипит человек с автоматом.

— Моя, говорю же...

— Твоя! Все твое! Лошади, коровы... Тут все твое, а что кулацкое? А ну-ка, отойди!

Человек сбрасывает со спины автомат и подходит к Андрюсу. Андрюс стоит, прислонясь к телеге, и не думает отступить.

— Своего не отдам!

Глаза у человека черные, аж блестят.

— Вот и Тересе может сказать. Тересе!

Тересе растерянно смотрит на человека с автоматом.

— Его телега, Андрюса, — говорит она, а человек вдруг оборачивается и впивается яростным взглядом в нее.

— Вот хапуги! Нажиться, руки нагреть!..

Тересе все пятится, пятится.

— Тересе, ведь одна корова, эта, черно-белая, твоя! Слышишь, скажи им, а то уведут. Одна твоя, черно-белая, а которая со звездой — моя... Нельзя молчать, Тересе!

Человек, оглядевшись, смачно ругается и отходит в сторону.

— Не отдавай коровы, Тересе, скажи, что твоя! — шипит Андрус.— Уведут, холеры, и пищи пропало. Скажешь, они за ней смотрели? Мы смотрели, наша!

Тересе плятятся на вооруженных людей, которые носятся по двору, забегают в распахнутые двери всех построек.

— Тересе..

— Мне ничего не надо.

— Спятила!

Тересе поворачивается, уныло бредет в избу.

Андрус оглядывается в поисках помощи и радуется, завидев Скринску.

* * *

Поднимается солнце. Большое, алое, искрящееся, как отменно раздутый горн кузнеца.

Со двора с визгом полозьев вылетает трое пароконных саней. На первых, которыми правит, выполняя обозную повинность, Аксомайтис, сидят Маркаускасы и четверо народных защитников.

Отчаянно, страшно кричит женщина; сквозь слезы, как сквозь дымку, смотрит она на удаляющиеся постройки, деревья, землю под снегом...

Лают-заливаются деревенские псы, гремят цепями, а в окнах придорожных изб видны испуганные лица. Никто не выйдет к воротам, никто не скажет «прощай».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

И днем и ночью как с петель на шее. От слухов да толков голова идет кругом. Поди угадай, кого слушать, кому верить. На одном конце деревни, слышишь, поют:

Выходила на берег Катюша,
На высокий...

На другом — иная песня:

Литовец, прикуси язык,
Коль правит нами...

Тересе даже уши затыкает. Куда ни пойдет, за что ни возьмется, всюду преследуют ее страх и неуверенность, а сердце, кажется ей, перегорело и на его месте — кусок угля. Но руки опускать некогда. Надо вертеться вьюном и всюду поспевать — хутор просторен и пуст, неужто бросишь все на ветер. Как и при Маркаускасах, утром и вечером проторяла она тропинку в огиб ольшаника. По сугробам и гололеду, по весенней распутице и по лугу, желтеющему одуванчиками да лютиками.

Прилетели аисты, сели на гребень крыши гумна, долго стучали, глядели на потрепанное ветрами гнездо, на опустевший двор и черные поля. Качали головами, хлопали крыльями, а потом с разбегу

взмыли в облачное небо и долго кружили над хутором, словно не веря — это ли их родное гнездо? Снова опустились на крышу, разгуливали по ней, сердито кричали. Тревожные, испуганные. Но дни выдались теплые, пора было чинить гнездо, заботиться о потомстве. Надо было жить и продолжать род аистов. Прилетела чужая пара аистов, и над гумном долго стучались клювы, хлопали большие крылья, летали перья. Тересе с грустью смотрела из окна на сражение аистов¹ и наконец обрадовалась: «Отогнали негодников, защитили родное гнездо...» Но в один прекрасный день шла мимо гумна и увидела — на земле два разбитых серых яйца. Недалеко от гнезда уныло стояли на крыше аисты — ветер ерошил перья.

— К чему бы это — аисты яйца из гнезда выбросили? — спросила Тересе.

— Я не колдун, — ухмыльнулся Андриус. Потом всерьез добавил: — Может, засуху чувят. Говорят, перед засухой они яйца выкидывают.

Тересе вскоре забыла об этом, заботы затянули ее как в омут. Ночью гремят выстрелы, небо освещает зарево пожаров; днем приходят вести — одного убили, другого топорами изрубили, а там выкурили тайник, словно осиное гнездо... Если б не мать, Тересе и не знала бы о всех этих ужасах — ведь в деревню носу не кажет, а Андриус ей не рассказывает. Если Тересе о чем-нибудь обмолвится, негромко брякнет: «Ага, говорят...» — и весь разговор. Ничего не видел, не слышал и не знает. Видно, и у него кусок хлеба поперек горла стоит.

А поля уже пахнут свежим хлебом. Ни вони пороха, ни дыма пожаров здесь не услышишь; в длинных и тучных колосьях — хлеб. Но Тересе не знает... она сомневается, что это уже хлеб ее снов, каравай которого держит Андриус, — вдруг кусок его застрянет в горле... Что посеял Маркаускас, то пожнет Андриус. Ох, Андриус тоже сеял, что правда, то правда; но его рожь — в ложбинке, где супесь; осенью она вымокла, пошла плешинами, выросла редкая, хилая, колосья терялись в зарослях бурьяна. Стоит ли ему там маяться, когда рукой подать, на суглинке, рожь в человеческий рост, два-три взмаха косой — и снош...

Пот заливает глаза, разъедает, словно соль рану. Тересе ничего не видит под ногами, но с прокоса не сходит — набирает в охалку аккуратно скошенные стебли, стягивает перевязлом, закручивает концы и кладет наземь снош — длинный и прямой, шелестящий остями колосьев. Не распрямляя ноющей спины, тыльной стороной ладони проводит по лбу и снова, спотыкаясь, догоняет далеко ушедшего Андриуса. Тересе нельзя отставать; у Андриуса не будет повода подумывать, а то и сказать: «При Маркаускасе-то как наскипидаренная, а теперь плетется нога за ногу...»

Андриус кончает прокос, плюет на стертый оселок и принимается править косу.

Солнце высоко. Сонное, мглистое, неяркое, а земля раскалена, словно печной под, и все обмерло, пожухло.

Андриус ступает по жнивью не спеша, размеренным шагом, неся в руке наточенную косу. Даже на плечо не положит. Проходит мимо, словно тень, без звука, не останавливаясь ни на миг.

Чах, чах, чах! — машет косой Андриус, глядя на ложащуюся рожь, и кажется, только о ней думает и видит только ее.

Прокос длинный. Тересе кладет снош и часто дышит пересохшим ртом. Воздух спертый, духота, хоть бы ветерок подул — душа бы ожила. Но тихо, покойно — даже ости обвисших колосьев не шелхнут.

— Передых,— говорит Андрюс, бросая на сноп косу. Стоит, свесив руки, и смотрит на семящую по прокоосу Тересе. Вдруг сам наклоняется, в два приема набирает полную охалку колосьев и расстиляет у ее ног. Тересе скупно улыбается и, разделив охалку пополам, связывает два большущих снопа.

— Передых, Тересюке,— повторяет Андрюс и, выйдя на лужок, садится в тени ивы.

Тересе снимает платок и проводит им по лицу, по глазам. Сбросив шлепанцы, босиком идет по лугу, исчезает в малиннике за кустами ивняка и зарослями ольхи.

Андрюс ложится на спину. Сквозь пропотевшую рубашку пробивается приятная прохлада. Вот лежать бы так и лежать, утонув в траве, слушая мирный шорох жучков, забыв об огромном и запутанном мире, забыв даже кто ты, откуда и куда идешь. Не твоей голове понять, что творится вокруг, даже самого себя тебе не понять; ты знаешь одно — надо жить, надо взять причитающееся за труд этого дня и за пот долгих лет. И сейчас! Ведь сейчас все у тебя под рукой и все твое!

— Хочешь?

Андрюс приоткрывает глаза. Тересе стоит рядом; платок сполз на плечо. Ее коричневые ноги исчирканы стерней, в царапинах до колен. Коленки серые, а кожа бедер белым-бела...

— Дай руку.

В большую и жаркую ладонь она сыпает щепотку малины. Мягкие ягоды щекочут задубелую кожу, словно губы ягненка.

Тересе отступает на шаг, садится, потом расстиляет под головой платок и растягивается. Она слышит, как чмокают губы Андрюса, краем глаза видит, как вздымается его грудь.

— Вкуснота! — говорит Андрюс. Он отбрасывает руку на траву, и пальцы, нащупав щавель, обрывают листочки.

— Канавка пересохла, воды — ни капли.

— Надо было из дому прихватить.

— После обеда кувшин возьму.

Небо высокое, тусклое, без облачка. Только бы не начались дожди, думает Тересе. В косовицу обычно как заладит...

— Когда еще уберем эту рожь... — вздыхает она и кладет руку совсем рядом с беспокойной рукой Андрюса. Пальцы касаются пальцев и, словно испугавшись, застывают.

— Только начали.— Андрюс сжимает кончики ее пальцев мягко, как бы в истоме.

— Ни конца, ни края не видать.

Андрюс крепче стискивает пальцы девушки.

— Управимся, Тересюке. Со всем управимся, и увидишь, как заживем! Лучше, чем Маркаускасы жили.

Тересе улыбается, глядя на густые ветки ивы. Сама не знает — радоваться ей или нет. Она хотела бы радоваться, конечно, но как тут...

— Мы же... на чужом...

Рука Андрюса отталкивает руку Тересе и снова принимается за травинки. Выдергивает и отбрасывает подальше.

— Не придуривайся. Тут все наше! На-ше!

— Как знать...

Может, Андрюсу и нет разницы — он уж такой... Ему на все наплевать — ходит в штанах Маркаускаса, в сапогах Маркаускаса, и хоть бы хны. «Я тут хозяин!» — словно говорит он. Одна Тересе никак не может в это поверить...

Снова встречаются их пальцы и сплетаются, словно корни ольхи.

— Послушай, Тересе, я жду, когда мы... Сама знаешь, Тересе,— говорит Андрюс, не поднимая головы, все еще лежа на спине.— А то какая у нас жизнь? Не жизнь это...

Тересе кончиком языка проводит по спекшимся губам. Но и язык сухой.

— Мы с тобой каждый день...

Пальцы Андрюса что жар из печки.

— Приходит ночь — и тебя нет.

Жар из пальцев Андрюса вдруг хлынул в руку Тересе, и вот он уже у нее в груди.

Андрюс приподнимается на локте, поворачивается лицом к Тересе и смотрит на девушку странно сверкающими глазами. Потом медленно наклоняется; он все ближе. Тересе слышит, как он тяжело дышит, чувствует на своем лице шершавые губы, и ее обнаженные руки обхватывают крепкую шею Андрюса, словно ржаной сноп.

— Андрюс...

— Тересе...

В этих негромких словах все — любовь, преданность, желание забыть, убежать...

— Осенью работ поубавится, тогда и свадьбу сыграем. А вот в костел твоя мамаша меня не затащит!

Тересе одергивает платье и, подогнув ноги, ложится на бок. Расчесывая пальцами густые волосы Андрюса, разделяет слипшиеся от пота прядки.

— Как ты скажешь, Андрюс.

— Я — так!

— Кликнешь — я все брошу и прибегу.

— Кликну, Тересе. Вот погуляем тогда, мочи нет.

— Валюкене туфли продает. Лакированные, с ремешком да пряжкой. Сала просит.

— Отрежь от куска. Валюкене — спекулянтка, но туфли возьми.

— Пять кило сала...

— Пять? Может, за четыре отдаст...

Андрюс садится, обхватив руками колени. Его глаза с жадностью впииваются в ржаное поле, и он внезапно все забывает — и ее, Тересе, лежащую рядом, и свои слова о женитьбе. Все исчезло, растаяло, как туман на ветру, и осталась рожь — главная и единственная забота. Андрюс глубоко дышит, широко открыв рот, втягивает в легкие крепкий, густой ржаной дух, такой живительный и сытный, что невидимые руки поднимают Андрюса с земли и ставят на ноги.

Лучи солнца, нечаянно пробившись сквозь густую листву ивы, освещают лицо Тересе. Она прикрывает глаза рукой и сквозь дрожащие ресницы видит, как Андрюс сует под мышку косу и плюет на оселок. Дзир-дзар! дзир-дзар! — звук дребезжащий, как будто бьют по треснувшему чугуну, аж в ушах гудит.

Шаги Андрюса затихают.

«Хватит валяться, хватит», — стучит кровь в висках. Понежить бы еще усталые руки и спину! Но шагов Андрюса не слышно, ушел.

Тересе встает и, подняв с земли платок, торопливо бежит по колкой стерне.

* * *

Аксомайтис сидит на крыльце амбара, в тени, и лупит молотком по снарядной гильзе, зажатой меж колен. Дужка от старого ведра прыгает в руке, еле удерживаясь.

— Что это вы делаете, папа? — спрашивает Болюс.

— Не суй нос, а то оттяпаю.

Аксомайтис отмеривает пядь от конца прута и снова принимается лупить — уже острым концом молотка.

— Дужку испортите,— говорит сын.

Зимой отец вытесал поленец, обстругал со всех сторон, натянул на него дужку от старого ведра, и мальчишка, привязав веревкой к башмаку эту «рельсу», катался по обледенелой тропе от избы до хлева; потом даже на замерзшем болотце пробовал. Сколько раз падал, ушибался, но было весело! На что теперь отцу дужка?

— Вы бы лучше мне новую рельсу сделали...

— Куплю.

— А если не купите?

— Башмаки обещал — разве не купил?

— То башмаки.

— Куплю все что надо.

— Мне очень надо, папа,— канючит Болюс.

— Сбегай посмотри, где корова.

Мальчик убегает.

Аксомайтис улыбается, провожая взглядом сына, но улыбка эта короткая и тревожная. Он переламывает дужку, длинный конец швыряет на крыльцо, а короткий разглядывает, вертит в руках.

— Дурак ты, Казис,— говорит он себе.— Как будто крюк поможет? — Помолчав, он стучает молотком по дужке и добавляет:— Спору нет, если в дверь...

В среду постучали в окно. Была ночь, и Аксомайтисов разбудило негромкое постукивание по стеклу. Казис первым поднял голову, приподнялся на локте и прислушался.

— Маге,— потрогал он жену.

— Я не сплю. Слышу.

Казис почувствовал, как задрожало жаркое тело жены, и, выбравшись из кровати, босиком зашлепал по комнате. Осторожно приподнял краешек дерюжки, посмотрел во двор. У высоких ив маячила тень. Другая тень двигалась у забора. Под окном человека не было видно, какое-то время стояла тишина. Вдруг за стеклом появилась белая рука, и Аксомайтис, вздрогнув, отпрянул. Снова раздался стук.

— Что делать? — прошептал он; то ли у жены спрашивал, то ли у самого себя.— Что делать-то?

— Боже мой, боже!.. — стонала Маге.

— За последней коровой пришли! Мало им телки? Все заберут, живьем нас съедят...

«За то, что перед большевиками выслуживаешься,— сказали лесные тогда и объяснили: — За то, что помогал Маркаускасов увозить...» А теперь?.. Кто знает, за что, теперь.

— Папа, я боюсь,— прошептал Болюс, а Петруте юркнула в кровать к матери. В колыбели заплакал маленький Антанелис.

Казис в бессилье сжимал тяжелые кулаки. Все тело как бы налилось свинцом.

— Боже ты мой... Казимерас,— лепетала жена, обняв девочку.

Аксомайтис натянул штаны, взял в руки деревянные башмаки.

— Будь что будет, дверь не открывай!

— А ты?

— Я бегу. Не могу я!.. Закроешь окно.

Он ушел в боковую комнатушку. Окно в палисадник было не зашлужено. Посмотрел в него, отцепил крючки, бесшумно открыл обе створки и, перешагнув подоконник, сполз на грядки. Босые ноги почувствовали прохладу росы на цветах. Полежал за кустом пионов, прислушался. Кругом была тишина. В воздухе — запах пионов, острый и хмельной. С чистого неба поверх яблонь глядел стертый

диск месяца, где-то в кустах засвиристела ранняя пташка. За избой громыхнуло окно.

Аксомайтис перебрался через низкую изгородь и бросился между яблонями. Бежал, нагнувшись, трусливо оглядываясь, словно вор. В одной руке башмак, в другой — второй. «А если они дверь будут ломать?!» — подумал уже у ольшаника и остановился как вкопанный. Замерло сердце, застыло, а потом так трепыхнулось, что, казалось, выпрыгнет из груди. Казис смотрел издали на смутные очертания своего хутора, и его охватил ужас. Не за себя — за жену и детей. И слушал, не закричит ли кто... жена или дети. Всем телом подавшись в сторону хутора, с башмаками в руках, он слушал не только ушами — и широко открытым ртом, и расширенными глазами, готов был каждую минуту броситься назад. Но там, на хуторе, только пес лаял. Нет, нет, ему нельзя возвращаться. Он должен что-то сделать. Ведь решил же на что-то, убегая из дому. Никак не мог вспомнить, решил что-нибудь или нет, когда прыгал из окна. Искать помощи в деревне, будить мужиков? Но пойдет ли кто на них с голыми руками?.. С палкой против их винтовок? О, если б случились народные защитники! Но они сейчас в городке, а до городка — десять километров.

У Аксомайтиса заболела правая нога, видно, напоролся на ветку. Он надел башмак. И тогда у него мелькнула мысль — он ухватился за нее как утопающий за соломинку. Забрался поглубже в ольшаник и изо всей мочи закричал:

— Разбойники напали! Разбойники! Спасите, люди добрые!

Пронзительный голос Аксомайтиса разорвал ночную тишину, несся над полями, словно удары по рельсу.

— Люди добрые, разбойники!

Проснулись собаки в деревне, залаяли на всех концах, завыли. Но Казис оцепенел от новой мысли. А если они побегут на голос и сцапают его? Его крик словно пальцем показывает, где он. Нет, он не может тут стоять. А куда уйдешь, куда убежишь со своего участка?

Аксомайтис забрался поглубже в ольшаник. Темно в чаще, не найдут. А если наткнутся нечаянно?

Забрался на березу, высокую, густую, и почувствовал себя в безопасности. До зари сам черт его не отыщет, а при свете они гулять не любят.

— Разбойники! — снова завопил он, и даже листва в ольшанике загудела от его крика.

Собаки в деревне лаяли все яростнее, и от шума, который они подняли, вряд ли кто мог еще спать. Но не загорелся ни один огонек, ни из одного дома не вышел человек.

— Люди!

Аксомайтис присидел на березе до утра ни жив ни мертв. Когда на рассвете он вернулся домой, жена застонала:

— Боже ты мой, что теперь будет! Они-то ушли, как только ты закричал... Но что теперь будет? Они ж не простят...

Казис сел на лавку и подпер руками тяжелую голову. Молчал — сам не знал, чем все это кончится...

— Мастерись, Казимерас?

В ушах — железный звон, и молоток в руках вдруг превращается в пудовый молот.

Перед ним Андрус — без пиджака, руки в брюки, — и Аксомайтис моргает, глядя на соседа, а его лицо проясняется.

— Присаживайся.

— Крюк?

— Да вот, постукиваю... Из-за каждой чепухи к кузнецу не бежишь...

Аксомайтис не говорит, для чего крюк, а то пристанет с распросами: никак, ночью гости к тебе приходят? Ночью к нему никто не приходит, и Казис ничего не знает. Да, кричал, ну и что? К нему в хлев пытались забраться. Воры, конечно. Будто воров не бывает? Нет, в то утро он и не заикнулся никому о бандитах. Только скажи — сразу пронесется по всей деревне, и тогда жди парней с винтовками, которые спросят: «Бандитов покрываешь? Почему нам не сообщил? Рука руку, да?..» Паршивцы, будто им понять, что ждет тебя за такое сообщение.

— Отменный крюк.

Андрюс вроде ничего больше не замечает.

— Поросята из хлева выскакивают. Надоело за ними бегать. И жена зудит: устрой да устрой хорошую запорку...

— Теперь-то уж не выскочат...

— Не выскочат...

Аксомайтис переводит дух, смахивает со лба пот и, откатив ногой гильзу, лезет в карман за кисетом. Но Андрюс первым достает пачку.

— Папироску возьми.

— Одна солома. Самосад позабористей,— говорит Казис и думает: «Однако быстро ты барином заделался. Ловкач...»

— Я тоже до сигарет не охотник,— признается Андрюс.— Да вот был в городе и прихватил... Ни тебе резать табак, ни крутить. Готовый товар, вот что хорошо.

Два голубоватых дымка рассеиваются над головами, перебивая терпкий запах растущего у забора донника и сладковатый — спелого тмина. Из открытой двери избы выбегает Магде, худая, усталая, с попискивающим младенцем на руках, и, взяв у изгороди мотыгу, босиком шлепает на огород. У кучи хвороста суетится рябая наседка, скликающая разбежавшихся цыплят.

Казис сидит, не выпуская изо рта самокрутки, прищуря глаз — дым разъедает. Небольшой у него хуторок, можно сказать, пустой, но жить можно. В старое время, правда, еще чуть-чуть — и пришлось бы сложить пожитки в котомки и отправиться куда глаза глядят — с живым и мертвым инвентарем сидел в кармане Маркаускаса. Но времена вдруг переменялись, литы сменились рублями, Аксомайтис продал на базаре барана и отдал весь долг. Не выдержав, так расхотелся тогда, что хутор заимодавца зазвенел, словно просторная горница, а сам Маркаускас почернел, побелел, снова почернел лицом, что-то пискнул сквозь зубы, но промолчал.

Что и говорить — теперь жить можно, все на иной лад! Только вот ночью... и люди разное говорят...

— Не слышал, в Мачюнай — колхоз...

Андрюс приподнимает голову:

— Вот и сунули в мешок.

Казис плюет на окурок, бросив наземь, аккуратно растирает каблуком — такая сушь, с огнем шутки плохи.

— В воскресенье брата видел, рассказывал. Он тоже записался. Говорит, сложили, что у кою есть, в кучу, работать будут и жить.

— Кто знает...

— Не моего ума это дело, Андрюс, но я так прикинул: будто власть захочет, чтоб нам стало хуже? Тогда и ей придется туго — мы ведь и рабочего в городе и саму власть кормим.

— Будет видно, Казимерас. Никто ничего не знает... — Андрюс разводит руками, качает головой.

— Вот что я думаю: управлюсь-ка с косовицей и не поленюсь, съезжу в Мачюнай. Своими глазами все увижу и пальцами потрогаю и тогда скажу: так-то и так-то...

— Езжай,— недовольно бросает Андриус; он бы словцо покрепче вернул, но это сейчас некстати.

— А вот и съезжу! — кипятится Аксомайтис.— Еще перед картошкой выберусь! — Замолкает и думает о чем-то.— И еще говорил брат: выбрали они председателя, тот две недели попредседательствовал — пришли ночные и кокнули.

— У нас вроде не слышать.

Аксомайтис слатывает горькую слюну и говорит тусклым голосом, пряча обиду:

— У нас как у Христа за пазухой. Под крылышком у Сокола живем.

— Люди не ругают Сокола.

— Смотря кто...

Аксомайтис лишнего не скажет, понимает: лучше держать язык за зубами. Да и что он может сказать, сам-то ведь ничего толком не знает, сидит как мышь под метлой. Слышал разговоры, что Сокол как-то застал мужиков, распиливающих уже срубленную сосну, поставил их на колени и пригрозил, чтоб не воровали лес, не уничтожали деревья. Велел и другим передать. Говорили, однажды Панцирь набросился на человека: почему тот долго дверь не открывал; выставил автомат — вот-вот выстрелит, но Сокол заступился. Всякое говорят. Известное дело — разговоры... «А кто твою телку угнал? — мелькает мысль.— А кто ночью в окно стучался?» Казис сжимает кулаки и даже не чувствует, как гибает крюк.

Андриус встает, потягивается, широко расставив ноги. Рубашка выбивается из брюк, широкие рукава сползают, обнажая до локтей жилистые руки. Шея наливается кровью. Зачем он сюда пришел? Аксомайтиса никогда не поймешь — то он такой, то сякой; вечно норовит уколоть человека, говорит и недоговаривает. И как теперь о своем деле сказать? Андриус-то к таким хлопотам непривычный. Это его всегда звали, ему приказывали. И в голову не приходило, что наступит день, когда Андриусу не хватит его собственных рук. И двух рук Тересе в придачу — четырех рук ему уже мало. Понятно, женится вот на Тересе, дети пойдут — те подрастут, помогут, но когда это еще будет. Работа не ждет, рожь на корню. Нет, иначе никак не выкрутиться, и пусть Аксомайтис не думает, что Андриус черт-те куда оглобли воротит.

— Рожь убрал? — спрашивает он.

— Вчера. Сегодня после обеда, может, привезу воза два. Где в снопах травы нет, солома так и хрустит.

— Известное дело. сколько у тебя там ржи. А я, холера, бьюсь-бьюсь — и конца не видно.

Казис молчит, потом, оживившись, поднимает глаза на Андриуса и звонко хохочет:

— Хо-хо-хо, у тебя поле глазом не объять!

Андриус берет гильзу, поднимает, словно взвешивая в руке, заглядывает в один конец, в другой и аккуратно ставит на землю. Стучит на нее ногой и стоит, потупив глаза.

— И моя земля, и Тересе...

— И Маркаускаса...

— Хлеб на поле не оставишь, совесть не позволяет.

Казиса так и подзуживает нечистая сила, не может он усидеть спокойно — трется задом о доски крыльца, ерзает.

— Смотри не надорвись.

Андрюс совсем сбит с толку. Плюнул бы да ушел, но... Как будто он ему куда желает.

— Зубаст ты, Казимерас. Побыл бы в моей шкуре...

— Не сладко тебе, нет,— спокойно говорит Казис, кажется, даже без подковырки, и Андрюс не может больше тянуть, время не ждет.

— Может, говорю, пришел бы рожь косить? И жену бы прихватил. Казис бухает молотком по неструганой доске крыльца.

— Ну, скажем, завтра...

— Много дашь?

Нет, в голосе Казиса ни следа насмешки.

— Захочешь деньгами — так деньгами, а нет — пуд ржи. За день на двоих — два пуда.

Андрюс ждет, что ответит Аксомайтис, но тот вроде колеблется. Мало ему, что ли?

— Не думаю, что много ржи накосил.

— Рожь неважнецкая, это правда,— соглашается Казис.

— За день — два пуда, за другой — еще два пуда... Ну, как хочешь, могу и рублями.

Аксомайтис встает напротив Андрюса, перебрасывая молоток из руки в руку. Смотрит ничего не выражающим взглядом мимо него и говорит:

— И много уже людей нанял?

Андрюс оглядывается, как будто его окружили со всех сторон.

— Казимерас... соседушка. Да какое тут наниманье? Зову помочь, даром-то не хочу.

Глаза Казиса наконец поймали взгляд Андрюса, и они смотрят друг на друга остро, до боли.

— Хватит, Маркаускасу напомугался...

— Ты не путай, Казимерас!

— Ты не Маркаускас, хотя что дальше будет, оно неизвестно.

Андрюс делает шаг назад, хватая за козырек фуражку, нахлобучивает ее на лоб. Губы плотно сжимаются, подрагивают.

— А, понимаю. Хорошо тебя понимаю, Казимерас. Завидуешь? Мне завидуешь?

Казис хохочет — не хохот, гром среди бела дня.

— Кто ж нищему рубашки с чужого плеча позавидует? Говорю, не слишком ли размахался? Сегодня поденщиков ищешь, а завтра батрака возьмешь?

Андрюс готов сквозь землю провалиться от стыда. Лучше б Казимерас ему по щеке съездил, тогда бы только лицо горело. А сейчас... Неужели правда так обжигает? Да какая это правда — проснись, Андрюс!

Андрюс бежит по двору, хлопает калиткой, обернувшись, хочет что-то крикнуть, но только машет рукой и исчезает за углом избы.

Аксомайтис глядит ему вслед, потом, еще раз рассмеявшись — теперь уже негромко, про себя,— берет с крыльца амбара крюк и уходит в избу.

На пороге сидит полосатая кошка и умывается. «Только бы гостей не накликала», — думает Казис.

* * *

Руки и ноги, исцарапанные бодяком и рожью, горят огнем. Она приподнимает платье, чтобы шершавая кайма подола не задевала за икры, и бредет по росистой траве. Хорошо вот так идти по росистой траве, совсем не чувствуешь усталости, словно вместе с увесистыми снопами оставила ее в чистом поле.

Сегодня не тянули допоздна, как в другие дни. Андриус прилетел от Аксомайтиса, выругался, пообещал кому-то «показать», а потом, едва солнце повисло над лесом, положил косу на плечо и сказал:

— Пошел в деревню. Такую помочь созову, что у-у!..— завыл он, покосившись на хутор Аксомайтиса.

Вечерних хлопот у Тересе не счесть. Пригнала с выгона коров — наевшись клевера, семенили усталые, чуть ли не верхом на вымени,— подоила, процедила молоко, дала поесть свиньям, курам и собаке. Принесла из погреба запотевший кувшинчик с молоком, налила себе кружку, взяла кусок хлеба. Она знала, в шкафчике — сало, колбаса, но что-то не хотелось.

Поставила Андриусу на стол ужин, прикрыла газетой от мух и ушла.

Так много песен расчудесных
Тебе, сестрица, я спою...—

дрожит, как струна, тонкий, красивый голос Болюса Аксомайтиса, и Тересе знает — мальчик ведет корову домой. Каждый вечер он так поет — то ли заглушает страх в сумерках, то ли ему просто нравится, что в вечерней тишине его голос разносится далеко-далеко.

Но не сейчас: не в этом месте,
Вдали от дома, в чужом краю..

Мимо редкого ольшаника Тересе направляется к речке Эглине, где тесно переплелись кусты черемухи и ивняка. С ветки взлетает птичка, и Тересе, испугавшись, хочет повернуть назад, но звонкий говор ручья останавливает ее. Медленно, осторожно ступает она по сухому хворосту, крадется к ручью, словно косяка к водопою. Речушка неширокая и неглубокая, есть места, где Тересе может перепрыгнуть ее не разбежавшись. Она входит в воду, приподнимает платье и горстями льет теплую воду на горячие ноги. Господи, как хорошо, как легко стало! Нет, нет! Она не выдержит, разденется. Мокрыми пальцами расстегивает ворот, швыряет платье на берег, сдирает с себя сорочку и плещется в воде, словно белая гусыня. Льет воду на лицо, на шею, на грудь. Старые, сгорбленные ольхи смотрят на нее, качают верхушками, шепчут: хороша девка... По корням деревьев и камням журчит вода, молочными брызгами льется с рук девушки и радуется, что не течет впустую, что может снять с человека пот и усталость.

Как будто шевельнулись ветки черемухи! Тересе поднимает голову, прикрывая ладонями белую грудь, оглядывается. Померещилось, конечно. Чего она так испугалась, ведь ее дом рядом!

И от заката до рассвета
Ты с соловьями ждешь одна,—

несется над полями песня мальчугана. Уже издалека, видно от самого дома, говорит он девушкам. Вот шельмец! Чуть от земли оторвался, а уже как выводит! Весь в отца, голосистый паренек.

Тересе снова наклоняется, бьет руками по воде, но тревога, закравшаяся в сердце, гонит ее на берег.

Не жди от парня ты ответа,
Он не вернется никогда...

повторяет голос и замолкает.

В деревне хлопают двери хлевов, мычат коровы, где-то жалобно блеет теленок — видно, забыли привести его с паров. Изредка раздастся женский голос, звякнет подойник, который моют у колодца.

Тересе вытирается рубашкой, надевает на голое тело ситцевое платье и чувствует в себе такой прилив сил, что, кажется, снова пошла бы вязать снопы. Закидывает руки за голову, поднимает голову и сквозь редкие ветки ольхи смотрит на потускневшее небо, словно вздумала сосчитать звезды. Кто-то появился рядом — она не увидела, а почувствовала его всем телом и вздрогнула. Руки медленно опускаются, и она ахает... В трех шагах от нее, раздвинув кусты черемухи, притаился человек, и его глаза в вечернем полумраке блестят, словно бутылочное стекло. Он молчит и смотрит страшными глазами, и от этого взгляда у Тересе немеют и подгибаются ноги; вот-вот не выдержит, упадет; она нашаривает рукой дерево, чтоб прислониться к нему.

— Ах! — снова выдыхает она, и на сей раз человек слышит ее, потому что делает шаг вперед.

— Испугалась? Это ты зря, Тересе.

Только теперь она узнает его — учитель! Сокол. Но сердце все равно колотится, ее кидает в озноб.

— Вы видели, когда я?..

Рука Сокола касается ее плеча, легонько пожимает. Он улыбается, потом смеется:

— Я только что... Иду мимо, слышу: кто-то... Да это же моя ученица.

Наконец улыбается и Тересе. С сожалением, а может, с гордостью она говорит:

— Я уже не ученица.

Сокол проводит рукой по плечам девушки, качает головой.

— Не можешь себе представить, Тересе, что значит встретить своего человека, побыть с ним, поговорить.

Если б не широкий ремень, стягивающий пиджак, да автомат в руке, Тересе по-детски обрадовалась бы: учитель ее проведал, учитель с ней говорит... Но сейчас они далеко друг от друга, очень уж далеко, хотя, если мерить шагами...

— Собачья жизнь, если говорить начистоту. Все один да один. А когда сойдемся вместе, все словно голодные волки. Нервы, Тересе. Нервы перенапряжены, сдают...

— Работали бы учителем...

— Ты не думай, Тересе, что легко лгать детям. Я говорил детям правду, хотел, чтоб они знали, что их родина — Литва, но кто-то донес, я чудом избежал смерти.

Вечерняя прохлада проникает сквозь тонкое платье, плечи Тересе покрываются гусиной кожей, ее снова бросает в озноб.

— Тебе холодно?

— Ничего...

— Дай накину на плечи пиджак... Правда, есть кто тебя греет...

Тересе опускает голову и комкает в руках влажную рубашку.

— Когда свадьба?

— Не знаю.

— Чего Андрус ждет?

— Работы непроворот... Говорит, когда управимся...

— Работа, — недобрый смехом смеется Сокол. — Если б ты, Тересе, не была... Послушай... Нет, ты хорошая девушка, и потому я тебе говорю: не спеши. Не спеши, Тересе, со свадьбой.

Тересе пожимает плечами, она ничего не понимает.

— Да мы и не торопимся.

— Все как на волоске. И если этот волосок оборвется, я не хочу, чтоб ты оказалась на нем.

Тересе смотрит во все глаза. Сокол по-отцовски обнимает ее за плечи, привлекает к себе и, как-то странно давясь, сипит:

— Тересе, Тересе...

Девушка упирается ладонями в широкую грудь Сокола. Скрипнув зубами, Сокол опускает ее.

— К нам не зайдете? — Голос Тересе срывается, она пугается этого вопроса.

Сокол набрасывает автомат на плечо, оправляет пиджак. Где-то злобно разлаялись собаки, словно защищаясь от волков. По большаку тарахтит телега.

— В другой раз. Как-нибудь. Что в деревне слышно?

— Никуда не выхожу.

— Андриус ходит. Не рассказывает?

— Да нет. Работа.

— Работа! — Снова этот сиплый, злой смешок. — Могла бы ему напомнить, пусть не забудет, что он новосел.

— Да что я...

— Ты можешь. Если захочешь. Будь здорова, Тересе. Меня ты не видела.

Сокол прыгает через ручей. Шелестит куст рябины, и он исчезает.

Тересе припускается бегом через луг, не разбирая дороги. Ветки ольхи хлещут по обнаженным рукам, в кровь раздирают лицо, но она не чувствует боли. Она боится остановиться — только бы не окликнули ее, не позвали. Переводит дух у своей избы.

— Гоняешь, значит. Будто телка, бзыришь, — говорит с крыльца мать.

— Показалось... кто-то...

— В избу иди.

Тересе прислоняется лбом к прогнившим бревнам избенки. Она не понимает, что с ней творится. Вот бы поговорить с кем-нибудь, выложить все, что накопилось, может, все бы стало на место, но будто разинешь рот? Господи боже, вот жизнь-то!

— Спать иди! — не выдерживает мать.

— Сейчас, мама.

И все стоит, словно ее связали по рукам и ногам.

* * *

Не лай собак спугнул Сокола, не потому он бросился в кусты. Он испугался себя, своих мыслей, своих дрогнувших рук; испугался близости Тересе, не Тересе даже — просто близости женщины; от этой близости кровь ударила в голову, в любую минуту он мог потерять рассудок. Но она ведь его ученица, и Сокол не вправе забывать об этом. Пускай он бывший учитель, все-таки... все-таки лучше убраться и не пятнать свое имя.

Свое имя? Ты же бережешь то, чего и след простыл...

«Литовцами родились мы, литовцами нам быть вовек», — когда-то пел отец. В сражении под Гедрайчай с поляками его ранило, он вернулся домой, опираясь на палку, преисполнившись ненависти к захватчикам, для которых земля соседей — лакомый кусок. К двенадцати десятинам власти прибавили семь гектаров помещичьего поля, и отец создавал свой «рай», лепил свое гнездо, как ласточка: по соломинке, по крупнице, по пылинке. И все рассказывал, как бил «шляхту», как «священную землю отцов кровушкой поливал». Потом непременно затягивал песню: «Литовцами родились мы...» Тут он, бывало,

смахивал слезу и в умилении обнимал сына. «Альбертас, сын мой,— говорил он,— ты не думай, что люди там зазря головы сложили. За Литву, Альбертас! Я-то человек маленький и темный, но слова взводного открыли мне глаза: нет ничего прекраснее, как погибнуть за Литву! Ты слышишь, Альбертас? Я тебя отдам учиться, с дырявой мотней буду ходить, но отдам, и ты увидишь — твой отец говорил правду!»

Альбертас учился в гимназии, отец, приставив к работе жену и трех дочек, кое-как сводил концы с концами: что ни повезет на базар — отдаст по дешевке, что ни купит — дорого с него дерут. И все чаще стал ругать «клопов», пролезших к власти: не за них он боролся, не за них на всю жизнь охромел! Где это видано, чтоб литовец литовца душил! Почему в седую старину князь вместе с землепашцем охотился и из одного рога мед пил?

Рассказы отца ложились в душу Альбертаса, словно семена во взрыхленную почву. В гимназии для него не было предмета интересней истории Литвы. Читал о прошлом все что только мог достать, а из «Нрава» Симонаса Даукантаса знал наизусть, слова в слово, целые страницы («Единство, правда и любовь к ближнему между ними процветали, братьями друг друга они называли...»). Надеялся стать государственным мужем, разбудить дремлющий дух нации. Но в седьмом классе отец не смог наскрести сто пятьдесят литов за учебу, и директор гимназии, он же капеллан, показал Альбертасу на дверь. Полгода в волостном молочном пункте, два месяца на учительских курсах, и он получил школу — половину избы Мотузы, обращенную окнами на стремительный ручей Эглине.

...Выбравшись на опушку, Сокол сворачивает к деревне.

Одиннадцать лет жил здесь, одиннадцать лет ходил по этим дорогам и тропам; знал каждого встречного, и каждый издали снимал перед ним шапку. «Но это было... да, было когда-то, давным-давно. Тогда я верил, потом дрогнул, разочаровался. Отец был несобразованным, но и тут наши мысли сошлись. Сороковой год отец встретил с распростертыми объятиями, голосовал за депутата от сейма, говорил о новой жизни. Но вскоре притих, присмирел, стиснув зубы. А как-то сказал: «Знаешь, Альбертас, если литовцу нет места на земле отцов, то не за такую власть я голосовал». «Да, отец, где были наши глаза?» — спросил я не столько отца, сколько себя. Немцев отец встретил без особой радости, но и не плакал; только когда навалились поставки да реквизиции, стал плевать: почему нам, литовцам, не дают самим управлять своей страной?»

Ноги сами несут Сокола мимо ольшаника, по берегу речушки, и в сумерках еще издали он видит серый дом с белыми ставнями. Школа. Одиннадцать лет звенел тяжелый медный колокольчик, одиннадцать лет он, войдя в комнату, где сидели вместе все четыре класса, говорил: «Доброе утро, ученики». Отвечали: «Доброе утро, учитель». В этом хоре был и голос Алексюкаса Астраускаса. Легко вскочит за первой партой, вытянется в струнку: «Доброе утро...» И смотрит своими серыми глазенками, нельзя ли чем услужить учителю. Способный был ребенок, четыре года — на одних пятерках. Но тут его образование и кончилось. Семья большая, он старший — сиди дома. Нет, трудно забыть ту весну. Алексюкас в четвертом классе, и учитель вздумал показать старшим ученикам Пуню, древний и знаменитый замок Пиленай, о котором столько рассказывал. Пешком не дойдешь — как-никак тридцать километров. «Чт(о) нам делать. Дети?»

Поговорите с родителями, может, кто лошадей даст...» И наутро дети сказали: нет, нет и нет. Учитель сам ходил, уламывал. «И выдумашь же, учитель,— пожал плечами Астрадакас.— Детей катать... Оси у телеги стертые. Разве что лошадь...» Он пошел на третий хутор, на пятый. Наконец Наравас... Пранцишкус Наравас дал телегу, а Скауджюс — вторую лошадь. И вот ранним майским утром, на рассвете, от школы тронулась длинная телега, полная галдящих детей. На облучке — учитель, рядом с ним — Алексюкас. «Дайте я повозничаю, учитель...» Алексюкас правит, как взрослый, но на шоссе отдает вожжи: проносится машина, лошади выгибают шеи, пугаются. Громяхают колеса по булыжнику, гулко дуднит под колесами мост через Неман... Пригорки, ложбинки, еловые перелески, белые сады. Незнакомые края, и дети с разинутыми ртами выглядывают из-за грядок телеги, словно птенцы из ласточкиного гнезда. Когда они наконец взбираются на городище, перед глазами открываются крутые берега Немана, речка Пуняле в объятиях цветущей сирени, туманный бор, луга, забрызганные воском одуванчиков... У самого учителя слова застревают в горле. Голос срывается, когда он рассказывает о славной истории, о легендах и преданиях, о древних временах и читает стихи, которые выучил для этой поездки:

Литовец! Припади устами
К земле, где праотцев могилы!
Пески здесь кровью пропитались,
И дух отцов придаст нам силы!..

Он видит слезы на глазах Алексюкаса, видит, как дергается нижняя губа.

Возвращались дети притихшие, что-то потерявшие и что-то обретшие, повзрослевшие на несколько лет. Под вечер дальняя дорога дала о себе знать, и они задремали. Заморгал и Алексюкас. «Прислонись ко мне, смелее...» Алексюкас прильнул к нему, голова свесилась на грудь учителя. Мальчик спал тревожным сном, наверное, ему снился древний замок Пиленай, защитники которого не сдались врагу. Уставшие лошади с трудом тащили телегу, учитель не понукал их, он смотрел на дорожную пыль и думал о будущем этого сероглазого мальчика. Он верил, оно будет лучше, интереснее, чем у других деревенских пареньков.

Сокол вздрагивает и оглядывается. Где теперь Алексюкас Астрадакас? Ни имени, ни фамилии не осталось. Ясень... Ты его так нарек и вручил винтовку. «Учитель,— он тебя поначалу иначе не называл,— учитель, когда отец узнал, куда я ухожу, он рассердился. Он отрекся от меня, он меня проклял...» Тогда ты еще мог ему сказать: «Возвращайся-ка домой, Алексюкас...» Еще можно было. Но ты только по плечу его похлопал: «Молодец, Алексас. Переменится время, и отцу станет стыдно...» Переменится время... Ты часто повторял эти слова, верил в них. А сейчас — веришь?

Сокол резко поворачивается и торопливо удаляется от школы, словно испугавшись своих мыслей.

«...Верил. Как я мог взяться за оружие без веры... А вот сейчас... сейчас... Признайся хоть себе — ты еще веришь в эти свои новые времена?

Веришь?

Верил. До вчерашнего дня верил. Смешно подумать — до вчерашнего. Можно ли так мгновенно утратить веру? Нет, нет. Я только дрогнул, сомнения раздирают душу... Говоришь, только со вчерашнего дня?..

В штабе округа все время твердили: «О нас думают. Глаза сво-

бодных наций обращены на нас. Америка никогда не согласится, чтобы Литва оставалась под русским игом...» И так далее и тому подобное... И еще добавляли: «Ждем гостя оттуда...» Дождались, встретились. Созвали нас, командиров отрядов. Встретились на острове посреди болота, в лесу Жалёйи, сели за стол и посматривали друг на друга. Курили, поплеывали и молчали. Кто-то вытащил газетку и предложил соседу, а тот: «Подотрись. Я знаю одно — надо стрелять, с меня хватит». А вот и гость наконец — свежесбрившийся, надушенный, в военной форме с иголки. «Здравствуйте, освободители Литвы!» Кто-то буркнул что-то в ответ, кто-то промолчал. Гость острил, расспрашивал о том, расспрашивал о сем, заливал про жизнь в деревне и городе, обещал перемены — тогда уж никто не будет забыт, «хорошие места обеспечены...».

— Но когда это будет? — желчно спросил я.

— Терпение, воины, сражайтесь, Америка поможет...

— Старая песенка... Здесь нас бьют истребители, а они там языками помогают.

Не понравилось гостю, глазами сверкнул, но промолчал, будто не расслышал, и более сурово изложил «инструкцию центра»:

— Ни капли жалости к тем, кто нас не поддерживает. Главное — террор. Литовская нация гибнет...

Я не мог выдержать:

— Если идти этим путем, сами перестреляем литовскую нацию. Мало ли уже литовцев уложили!..

Видно, для гостя это было уже слишком. Даже не заметил, как взметнулась рука с пистолетом, и мою щеку опалила пуля. Таков был его ответ. Я вернулся к своим людям, но что расскажу, какие вести передам «оттуда»? Что скажу Ясеню, если он спросит: «Сокол (теперь он уже не говорит «учитель»), Сокол, еще долго?» Весной ему стукнуло семнадцать, он устал, хочет домой, а дом как никогда далеко...

Что ему ответить?»

Лес густой, но Сокол знает все дороги и звериные тропы. Он идет медленно, спешить ему некуда. Тепло и покойно, благоухают малиники, терпко пахнет папоротником.

Что он расскажет своим людям?

Дурацкая мысль мелькнула у него вчера. Он подумал: сложить оружие и сдать истребителям! Он испугался ее, этой мысли. Пожалуй, больше, чем выстрела заморского гостя. Начнешь выдавать и тех, кого в глаза не видал, тебя отправят туда, откуда не возвращаются. Лучше уж еще подышать воздухом родных полей, пока можно... И ждать, пока тебя прихлопнут? Ждать одного — только смерти? И убивать самому? Тихо, из-за угла...

Сокол задевает плечом ствол сосны и стоит так, свесив тяжелую голову.

II

Андрюс косится на солнце, потом обводит взглядом ржаное поле. Осталась самая малость, успеют. Как ни верти, четыре пары — не одна, заняли прокос — сразу заметно. Маркаускас, правда, убирал рожь в девять-десять кос. Два дня — и празднуешь конец жатвы. Хозяин не любил тянуть с уборкой. Даже косилку купил, но за несколько уроков доконал. Андрюс как-то вытащил ее из сарая; и так смотрел и саяк, хотел к кузнецу отвезти, но подумал — не починит же быстро, холера, и оставил посреди двора. Обойдемся и без косилки! Только б дожди не начались и еще недельку продержалось бы ведро — под крышу свез бы рожь, сухую что сахар. Но небо уже который день хмурится, а ночью реют зарницы, вдалеке погромыхивает гром, и Ан-

Дрюс долго не засыпает: быть дождю — хоть лопни, не успеешь все взять.

Тересе, радостная и бодрая, ни на шаг не отстает от Андрияса; ей тоже веселее, что не одна в поле, что кругом тараторят женщины, вжикают косы. Андриясу бывает вправду жаль Тересе — работает не покладая рук и даже не спросит, на что ей эта морока. Идет, бежит, как будто так и быть должно. Кто бы выдюжил на ее месте?

Андрюс с трудом втыкает черенок косы в спекшуюся землю, твердую, словно ток, и, проводя оселком по лезвию, смотрит на дочку Кряуны Анеле. Слово сорока, скачет она за отцом. А отец, откинувшись, чиркает косой, прокос у него шириной в шаг — и ему легче и дочке. Хитер, холера. Все равно спасибо, не отказался, второй день на толоку приходит. Правда, поначалу отнекивался: мол, свою рожь еще не сvez, — но Анеле так и загорелась: да что ты, отец, надо подсобить человеку, раз просит! Известное дело, у чужих не дома: хихи да ха-ха и милости просим к столу. Известная любительница вечеринок, и вообще — черт ее нес, да уронил. Это тебе не Тересе — медлительная и спокойная.

Андрюс кончает прокос, вытирает потный лоб рукавом рубашки и щиплет Тересе за бок.

— Конец виден, Тересюке. Чуешь?

— Ну, знаешь! Будто клещами...

И мимо Анеле не проходит, и ей запускает ногти в мягкое место. Но та с ходу охаживает его колосьями по лицу — даже фуражка слетает.

— Вот шальная...

— погоди, еще не то тебе устрою!..

Карие глаза блестят, как у чертовки, и Андрюс отбегаёт в сторонку, чтоб она еще чего не выкинула.

— Анеле, хватит дурить! — кричит Симас Скауджюс.

Анеле стала на дороге, не дает ему махать косой.

— Он мне еще будет приказывать, ха! — Анеле стоит подбоченясь, невысокая, но крепенькая, и смотрит на Симаса в упор. — А может, мне это по вкусу, а, Симас?

— Вот нашло на девку...

— А у тебя, видать, перегорело, как у недоеной коровы вымя?

Гремит смех. Анеле, наклонясь, знай вяжет снопы, знай мелькает красными икрами, а Симас все еще моргает, не зная, как туг ее похлестче отбрызнуть.

Останавливаться, шутить, вдаваться в разговоры некогда, и Андрюс ступает по стерне размеренным, широким шагом хозяина. За его спиной шуршит стерня под ногами Тересе. Она тоже спешит, не отстает ни на шаг. Иначе нельзя — она хозяйка, и Андриясу нравится, что она такая. Пускай все видят — не лентяйку Андрияс выбрал.

Андрюс машет косой и думает: долго ждать не станет, нужна не приходящая, а истая хозяйка всему дому, чтоб сам мог поесть как человек и чтоб коровы не мычали да свиньи не визжали с голоду. По правде, и теперь грех сказать — Тересе делает, что ей положено. Но тогда и ее мать можно будет... Старуха совсем, можно сказать, ветхая, но в избе... Мало ли дела? И в огороде пригодится...

— Жми, Андрюс, жми! — хихикает Анеле, топая на другой конец поля начинать прокос. — Как уколёт тебя Тересе в зад комлями, сесть не сможешь.

— Не твоя забота, — невпопад бросает Андрюс.

Вжик!.. Вжик!.. Вжик!..

«Вот распалилась девка, а...» Губы Андрияса раздвигает усмешка.

...Он возвращался тогда от председателя сельсовета. Был теплый майский вечер, на поля опускался туман, придорожные усадьбы утопали в сумерках. В болотцах квакали лягушки, в ольшаниках взалб пели соловьи, идти было легко, ноги сами несли.

У ворот Кряуны изгородь подпирали три паренька. Старший из них дымил самокруткой, но, завидев Андруса, швырнул ее в канаву. Все замолчали.

С другого конца избы из открытых окон горницы доносился гнусавый женский голос:

— Свято-ой Берна-ард...

— Молись за на-ас!..— откликнулся хор.

— Свято-ой Фили-ип...

— Молись за на-ас.

Андрус остановился перед пареньками.

— Что ж не молитесь, раз пришли?

Они подтолкнули друг друга, фыркнули.

— Да... да выгнали,— подтянул штаны старший.

— Выгнали? За что выгнали?

— Да этот вот,— щелкнул он босого долговязого паренька,— этот вот жеребец воздух испортил, а тот дуралей как рассмеется, аж в штаны напустил... Так и струился ручеек через всю избу.

Андрус расхохотался от души, так давно уже не смеялся.

— Ну и не везет же, ох-хо-хо!..

— Ничего, мы уже придумали: дай только бабы домой пойдут...

Тут они загоготали втроем, и Андрус не расслышал, что они собираются отмочить.

Возле хлева бродил сам Кряуна.

— Знаешь, у тебя как на похоронах.

Кряуна прислонил вилы к стене, вытряхнул из деревянных башмаков соломинки.

— Девки развлекаются. Что делать нынче молодым? Да еще старухи на них насели...

Кряуна позвал Андруса в избу. Из сеней он заглянул в открытую дверь горницы. На шкафчике мигали два огарка, освещающая образ матери божьей Островоротной; по бокам стояли два больших веника белой и лиловой сирени, ее удушливый запах проникал даже в сени. Кто молился на коленях, кто сидел на лавке—бабы с детьми, девушки, видны были и широкие мужские спины.

— Сми-илуйся над на-ами!— тянули ленивые, усталые голоса.

Они сели за стол в кухне, и Кряуна, пошарив в потемках под лавкой, достал бутылку.

— С яровыми управился?

— Сколько осилил, столько посеял. Хватит.

— А картошка?

— Самую малость посадить успел. Кропотливая работа.

— Твое здоровье, Андрус!

— Твое тоже!

Они сидели в полумраке, на ощупь наливали водку в стакан, ломали хлеб, жевали сало и говорили о себе и близком сенокосе, о войне в Корее и втором муже соседки. А в горнице звенело песнопение:

Мукой своею и верой своею
Покой нам даруй, пресвятая...

В сенях загремели шаги, загудели женщины. Вбежала Анеле, огляделась и бросилась было назад, но отец схватил ее за руку и усадил.

— Не узнала тебя, Андрус, богатый будешь.

— У меня и сейчас всего завались.

— А девок?

От Анеле дохнуло жаром, и Андрюс подал ей наполненный стаканчик:

— Хлопни.

Анеле выпила, вытерла рукой пухлые губы и хихикнула.

Взвизгнул аккордеон, и мужские голоса поначалу запели несмело, а потом изо всей мочи рванули:

Так много песен расчудесных...

— Придешь потанцевать? — Анеле положила ладонь на руку Андрюса и, поднявшись, добавила: — Может, там чего прибрать надо. Я сейчас!

Хлопнула дверь, и нет Анеле.

— Ты выпей, Андрюс, — напомнил Кряуна и придвинулся к Андрюсу, обнял за плечи. — Жениться тебе надо, Андрюс. Хоть плачь, жена нужна.

— Знаю.

— Ни черта ты не знаешь, пропастина, что тебе нужно. Не так себе девку в кровать взять, а такую, чтоб умела все бабье хозяйство в руках держать. Ты меня слышишь, Андрюс? Выпей, говорю.

Андрюс выпил до дна и стукнул стаканчиком по столу.

— Тересе — работяга, — гнул свое Кряуна. — и сердце у нее золотое. Я ж не говорю, что она тебе не пара! Я тебе говорю: прикинь все как есть и осмотришься. Подальше, за свой плетень погляди, ты слышишь, Андрюс?

Вернулась Анеле и под села к гостю.

— Может, закуску какую сделать? — забеспокоилась она.

— Да будешь ты ночью, не стоит.

— Выпьем! — напомнил отец.

Жаркая ляжка Анеле огнем обжигала Андрюса, и он даже отодвинулся, но та, чтоб ее холера, за ним!

— Станцуем?

Андрюс был в гостях, и Анеле знала права хозяйки.

— Да что я там...

— Не упирайся, Андрюс, когда девушка приглашает! — наставительно сказал Кряуна, закатив пустую бутылку под лавку.

Ноги были тяжелые, глаза видели все как в тумане, и Андрюс по медвежьей топтался на месте. Кружилось несколько пар, из углов глядели на них ребятишки, у стен фыркали робкие девчата.

После второго танца Андрюс заупрямился — пойдет-де домой, — и Анеле снова воспользовалась правами хозяйки, проводила до калитки. Стали под кустом сирени, свесившим ветки над забором. Андрюс смотрит на дорогу, Анеле — на Андрюса.

— Чего так редко заходишь?

— Да все недосуг.

— Завтра приходи.

— Не знаю, — ответил Андрюс. Завтра он целый день будет раскидывать навоз на картофельном поле, так что вечером...

— Приходи, — дохнула ему прямо в лицо Анеле.

Андрюс обнял девушку, потискал, потыкался бородой, хотел позвать в вишенник, но на дороге слонялись пареньки да почему-то припомнилась Тересе, и вдруг его охватила лень, устал он после дневных трудов.

— Приду как-нибудь, — пообещал он и один как перст побрел по дороге.

Не пошел ни завтра, ни послезавтра. А Кряуна при каждой встрече все долбил: оглядись, выйди за свой хутор, девок пруд пруди, хоть и Тересе ничего, худого слова не скажу. И непременно добавлял:

— Анеле все уши мне прожужжала. Нравишься ты ей, пропастина...

Андрюс все ждал: вот управится с работами, выпадет свободный часок — как-нибудь вечером...

Но работа подгоняла работу, хоть ты тресни... Может, когда рожь скосит.

...Вжик! Вжик! Вжик!

«Вот холера». Андрюсу становится стыдно своих мыслей, он оглядывается на Тересе. С Анеле и не сравнить. Трещотка. Ну и пускай ее трещит, пускай отец сватает, а Андрюс помолчит, ему нужна помощь Кряуны. А вот если в жены Анеле взять, Кряуна всегда под боком будет, хоть каждый день работать зови...

Машет косой и задевает лютик на лугу. Конец прокоса. Тересе связывает сноп перевяслом, бросает. Пряжки волос упали на лоб, слиплись от пота. Щеки покраснелись, аж блестят.

— Устал?

Кажется, не глазами, а самим сердцем смотрит на него Тересе. И от этого открытого взгляда Андрюс тает как воск.

— О, если б я мог... Если б было кому работать, ты бы у меня как барыня сидела.

И торопливо удаляется, словно испугавшись, что его слова услышат посторонние уши.

* * *

Уже после заката ставят последний суслон.

Андрюс давно потерял счет и не знает, сколько снопов накосил. Как будто важно сколько. Много! Очень много! И когда придется каждый сноп уложить на телегу, а потом выбросить на ток, он еще лучше почувствует — много ржи взял!

К воротам выходи,
Помощников прими,—

петушиным голосом затягивает Кряуна. Старается, даже щеки покраснели. Никто не подпевает, и песня, словно воробей, выпущенный из горсти, вспорхнула и сгинула в темноте.

— Чего воды в рот набрали? — оборачивается он к девушкам, идущим за ним, но те за разговорами не слышат.

Тересе бежит на выгон и спускает коров с цепи — заодно пригонит, не придется лишний раз бегать.

Из ольшаников и ивняков ползет темнота, черной пеленой застывая поля, и только за гумном верхушки тополей еще теплятся в гаснущих лучах заката. По высокому дымчатому небу летит самолет — белый и сверкающий, как отвал плуга, — и исчезает за лесом, темнеющим вдалеке, там, где зашло солнце.

Тересе привязывает коров у хлева, а сама несется в избу и тут же выбегает обратно с лоханью и полотенцем в руках. Лохань она ставит на обомшелое корыто, из которого поят скотину, полотенце бросает на изгородь и снова — в избу.

Гремит о сруб колодца ведро, плещется вода, визжит Анеле, которая обрызгала мужиков и теперь боится подойти поближе. Из открытых окон и распахнутой настезь сенной двери плывет жаркий дух свежееиспеченного хлеба и слышен сердитый голос матери Тересе:

— Не командуй тут, а то плюну и уйду. Стану я тут маяться день-деньской! О господи наш, Иисусе Христе, когда все... когда так... бич божий...

Андрюс стаскивает рубашку, выбивает ее о тополь, набрасывает на изгородь и, раскорячившись, набирает полные горсти воды. Косится на похихикивающую Анеле и думает: «Пусть только попробует меня обрызгать. Искушал бы холеру, как курицу». Но Анеле, словно устав от шалостей, подходит и начинает умываться. Нагибается, ворот расстегнут. Здоровенные груди бултыхаются в блузке, аж глазам больно.

К воротам выходи,
Помощников прими!..

Кряуна снова вспоминает песню, пробует так, пробует этак и ругается:

— Вот пропастина! Не звучит.

— Будет звучать! Да еще как! — обещает Андрюс и зовет свою помощь в избу.

Тересе зажигает лампу, и из темноты появляется длинный стол: на тарелках с золотой каемочкой нарезанное сало — толстенное, с пядь, ломти розового скиландиса, кружочки колбасы, посреди стола — гора хлеба... Масло, сыр, пустые стаканы... Пахнет огурцами...

— Подсаживайтесь, располагайтесь, — Андрюс подталкивает всех к столу и разводит руками. — Чем богаты, тем и рады, если что не так, не обессудьте.

— Когда люди мучаются... может, без куска хлеба... когда кровь льется... — бормочет в кухне Юрконене, словно сова, глядя из темноты на освещенную комнату.

— А главное-то и запоматывал! — приседает Андрюс, поворачивается на одной ноге — и в дверь.

Визжит ключ в дверях амбара. Темно. Хоть бы спички взял. Но неужто он в чужом амбаре? Запускает руку в сусек с прошлогодним ячменем и на самом дне нашаривает бутылку, потом другую. В дверях мелькает тень. Андрюс вздрагивает, бутылку выскальзывает из рук и стукается о пол.

— Тересе?

Он хватает бутылку — вот везет, не разбил!

— Может, чего надо?

Тень не отвечает, только шлепает босыми ногами все ближе и ближе. Андрюс приваливается плечом к столбику сусека и чувствует, как тот подается.

— Андрюс... — жарко шепчет Анеле, и Андрюсу становится трудно дышать в нагнетом за день амбаре.

— Ты... а я-то... думал... — Андрюс делает шаг к двери.

Скрипят половицы.

— Андрюс... — Она обнимает его за плечи. — Почему ты бежишь от меня, Андрюс?

В обеих руках — по литровой бутылки, он не знает, что с ними делать. Поводит плечами и ухмыляется в потемках.

— Вот еще... холера...

— Почему ни разу не пришел? Я жду... каждую ночь жду...

Словно огнем обожгло лицо. И руки у нее хваткие, не отпускают. Если б не бутылки...

— Не дури, Анеле. Пошли к столу.

— Ты мне ничего не скажешь?

— Отойди.

— Гонишь, да?

— Отойди, а?..

Анеле, задохнувшись, ловит ртом воздух, потом отскакивает назад, упирается обеими руками в косяки двери.

— Ах, вот оно как, Андрюс?! Я все ждала, верила. А ты к этой обезьяне присосался!

Андрюс поднимает обе руки — две черные бутылки — и, кажется, ткнет ими в выставленную грудь, чтоб проложить себе дорогу.

— Не дури, говорят!

— Вот оно как... А я-то еще думала... Тьфу!

Анеле как ветер летит через двор в избу. Андрюс вытирает рукавом лицо, минуту топчется на крыльце амбара, наморщив лоб, и потом идет за ней. Никуда не денешься, надо идти, помочь ждет.

— Пошел за самогонкой — и хоть беги вдогонку! — встречает его Кряуна.

— Темно, едва нашел.— Андрюс ставит бутылки, стараясь не глядеть на Анеле, которая уже сидит за столом среди женщин.

— Таким мужикам в потемках только в своей ширинке копать-ся! — бросает Анеле и поднимает стакан.— Налей!

Гремит смех, даже пламя лампы раздувается. Андрюс кое-как справляется с яростью. Бутылка в его руках дрожит, стучит по краю стакана.

— За рожь Маркаускаса! — кричит Анеле и опрокидывает стакан.

— Анеле! — сердится Кряуна.

Гости переглядываются, прячут улыбки.

— О, господи наш, Иисусе Христе! Беги да кричи — Содом и Гоморра! — вздыхает старуха на кухне.

Тересе берет ведро и уходит доить коров.

Андрюс смотрит затуманившимся взглядом на самогон, поблескивающий в стакане, и сдавленным голосом говорит:

— Выпьем... Что ж, выпьем, соседи...

Горькие слова заливает водкой. Не водка — полынный настой.

III

Аксомайтис махал косой в саду под белым наливом, чтоб дети, собирая падалицы, не примяли траву, и видел, как возвращалась с уборки ржи толока Андрюса. «Слово за слово — и Андрюс рассердился, — думает он. — Соседи, самые близкие, все время будем встречаться, всю жизнь. Если беда прижала или надо занять какую чепуху, посоветоваться... Нехорошо жить по соседству, как бодливым коровам, но что мне оставалось делать? Хорошо тебя раскусил, Андрюс, вижу, куда метишь. Говорят, похоже когда-то отец старого Маркаускаса начинал — батраком был, а женился на хозяйской дочке. Не то время нынче, Андрюс, и землю тебе дали не для того, чтоб я на тебя спину гнул. Пускай уж Кряуна подлизывается, учуяв лакомый кусок. Не иначе — чует пес, чем это все пахнет...»

Казис не любит зря артачиться, но не хочет быть и кочкой, над которой каждая собака на ходу ногу поднимает.

Взяв с земли яблоко, запускает в него зубы и ест, хотя вкуса — никакого. «Мое яблоко. Мой садик, изба, хлевок... Хоть ты лопни, надо хлевок перестроить. Здесь все мое, и хорошо, что я не пошел работать на Андрюса. Постой, что это я ему сказал? А, что вдоволь на Маркаускаса набатрачился. Правду сказал. Хоть подавись своим богатством, а я — нет... Мое яблоко, моя изба, мой хлевок, и с меня хватит. Будет колхоз — все отдам. Но хотел бы и тогда на тебя посмотреть, Андрюс...»

Аксомайтис сгребает руками траву, засовывает под мышку. Даст лошади на ночь, пускай наестся; выгон выщипан до черноты, а завтра спозаранку жнивье пахать. Косу вешает на ветку ивы возле амбара, оселок кладет на полочку под стрехой. Так уж заведено: у каждой вещи свое место, свое положение, когда чего надо — с закрытыми глазами находишь. Дети и то вытащат какую вещь на середину двора и тут же волокут обратно — вдруг отец хватится.

Болюс усадил Петруте в тележку, катает — тележка тарахтит по каменистой неровной тропе. Магде стоит на коленях у коровьего вымени и, не морщась, терпит удары хвостом по плечам и голове.

— Болюс, чем греметь, лучше б комаров от коровы отгонял.

Слова отца — приказ для Болюса, и он, оставив Петруте, выдирает у забора большой куст полыни и машет им возле брюха коровы.

Аксомайтис останавливается рядом с женой, хочет сказать, что у Андрюса уже закончили, но, черт возьми, с чего это он все об Андрюсе да об Андрюсе, будто больше разговора нету... Но не знает, о чем спросить, и бросает, что на язык подвернулось:

— Поросята едят?

Магде поворачивает к нему лицо, заострившееся и посеревшее — один нос торчит. Ну просто шило, ей-богу.

— Даже корытце обгрызли.

— У Валюкене один издох. Краснуха.

— Не приведи господи.

— Вот и говорю...

Пахнет парным молоком. Казис будет пить его с варенной в мундире картошкой — он уже чувствует и запах картошки и запах зеленого лука. Проголодался. Длинные теперь дни, а полдничать не всегда находишь время.

Вечер. Поздно.

— За лошадью схожу.

— Поешь сперва.

— Потом.

Жена тискает соски вымени. Болюс шуршит кустом полыни, свободной рукой хлопает себя по ногам. Петруте слезла с тележки и ревмя ревет.

Аксомайтис набрасывает на плечо уздечку и уходит вдоль гумна, его провожают вечерние звуки родного хутора, привычные и милые сердцу.

Проселок — коляя телеги — усеян соломинками: когда везли рожь, нападали. Справа желтеет ячмень, слева остро пахнет темно-зеленая, словно кустики руты в палисаднике, картофельная ботва. Здесь клочок клеверища, там лужайка, петля речки, ольшаник. Шесть гектаров небогатой земли. Перебивались кое-как, как могли воевали с нуждой, но беды словно чирьи: один залечил, другой выскочил. Да еще хлестче жжет, еще сильнее дергается набухший стержень. Спасибо, что Магде все свою молитву твердит: вот спихнем этот день, а завтра, гляди, лучше будет. Молитва старая, но не надоедает. Возьмешь да и поверишь в нее, как ребенок в сказку. Авось завтра и вправду иначе...

«И откуда эти камни берутся? Когда едешь с полным возом, колеса подпрыгивают, колосья осыпаются — чистое зерно пропадает... Отнесу-ка парочку, пускай где-нибудь с краю полежат. Осенью, хоть плачь, надо с поля камни собрать. Не можешь на косу налечь — гремит, как по булыжнику, а при пахоте плуг швыряет, лемех зубится. Будто из-под земли растут. Собираешь-собираешь, огромные кучи камней насобирал, а вспаши поле, пройдишь бороной — и глянь, снова торчат, смеются над тобой. Интересно, как у них на одном большом

поле-то? Неужто и при колхозах камни из земли лезут? Или у них машина есть, чтоб камни собирать? Газеты пишут, кругом будут машины! Коров и то машина будет доить. Передохнет Магде, не придется соски тягать. Тогда и я сам, чёрт меня не возьмет, корову по дою. Нажму чего надо — и течет. А теперь тискаешь-тискаешь — и больше в рукав, чем в подойник. Ну да, это как по той молитве — завтра лучше... Но ведь до этого «завтра» еще не одна ночь. Кто сказал, что летом ночи коротки? Когда не можешь спать спокойно, ночи нет конца.

Полыхнула молния. Извивается, будто змея. Видать, далеко, грома не слышно. А туча большущая, черная. И так быстро занимается, заволакивает край неба, гасит закатную зарю. Может, пронесет, а то и хлынет. Дождь сейчас очень даже к месту. Для картошки в самый раз и для огородов. Да и яровые так быстро бы не дошли, зерно бы уродилось покрупнее. Хорошо бы не затяжной, ночку покапало б — и ладно. И чтоб гром слишком не громыхал. А то дети пугаются, не спят. Этот сосун пищит что поросенок. Магде говорит, надо будет у Юрконене спросить, может, травок каких задать. Эх, какие там травки! Видать, перепугался, когда ночью в окна колотили...

Чего это Чалка места не находит? Ну и заржала, как меня увидела! Топчет стреноженными ногами. Кормежка тут никудышная, осока крупная, не наешься. Хорошо бы на клеверище привязать. Но, может, взойдет клевер по второму разу, а то что зимой делать?! Ладно, Чалка, в хлеву на ясли сенца тебе бросил, найдешь. Я тебя не забываю. Корову, бывает, забуду — Магде даже упрекнет иногда, — а тебя не забываю. Магде пускай за коровой смотрит, а ты моя. Не фыркай, Чалка! Может, пуги бабки натерли? Привязал бы не стреноженную, да ты ж шальная, не слушаешься — вздернешь голову и пошла сигать да ячменем лакомиться. А может, перед дождем беспокоишься? Видать, хлынет. Тучи уже все небо затянули. Ветерок подул, листочки ольхи зашумели. Ладно, Чалка, побежали домой. Ты меня принесешь, что тебе, одно удовольствие. Да и мне хорошо, когда ты трусишь ровной рысцой. И так гордо шею выгибаешь. Не скажешь, что трудовая кляча. Видать, есть в тебе кровь рысака, наверно, от отца, а то мать у тебя, знаю, была так, овечка. Не спросил у Пачесы, когда купал. Спрошу как-нибудь при встрече, хорошо б не забыть. Помолчи, Чалка, потерпи. Сейчас так понесемся, что молния нас не догонит. Дай только выдерну колышек...

Вот сверкнула! И как вдарит. Чалка, ты спятила!.. Да что тут... и опять... Чалка!.. Они меня ждали... Где Чалка?.. Луг мягкий и теплый... Пахнет вареной картошкой и зеленым луком... А она все доит... И этот... пищит... Магде, почему ты ребенка... я сейчас... Магде... они меня ждали...

Теплая земля — и мягкая...

Магде, забери ребенка... не видишь, что ли...

Земля... холодная...

Завтра... будет лучше... Лучше... лучше... лу...»

...Лошадь со спутанными передними ногами несется вприпрыжку прямо через ячменное поле, влетает в распахнутые ворота хутора.

В черном небе сверкают молнии.

Казис Аксомайтис лежит, уткнувшись лицом в истерзанный копытами Чалки лужок, вцепившись пальцами в холодную, росистую землю.

* * *

Андрюс как лег, так и встал не сомкнув глаз. Срывает с окна полосатую дерюжку, снимает крючки, толкает раму. Полной грудью вдыхает утреннюю прохладу — она пахнет свежей росой и вянущей

рожьё. Садится, кладет руку на подоконник и в бороздках пальцев видит засохшую кровь. Крепко, до боли зажмуривается, мотает головой, но не может стряхнуть страшную картину; она как запекшаяся кровь — мыл, да не смыл...

Выстрелы застали их врасплох, они съежились, застыли. Словно под окном бабахнуло.

— О господи наш, Иисусе Христе,— завопила Юрконене.

Еще раз грохнуло, и Кряуна отскочил от окна.

— Вот пропастина! Начинается...

Бесшумно положили они вилки на стол, кое-как прожевали куски, с трудом проглотили. Сидели, подобрившись, и ждали, не смея слова сказать. Но наступила тишина. Зашумела ива, где-то вдалеке прогремел гром.

— Господи наш, Иисусе Христе, бежим домой! — первой опомнилась старуха.— Тересе, ты слышишь?

— Нет, это не к добру! — встал и Кряуна.— Истинная правда, лучше домой податься. Анелюке!

Изба мигом опустела, и Андриус, оставшись один, переминался посреди комнаты, не зная, за что хвататься. Потом наконец догадался — задвинул засов, задул лампу и сел на кровать. Удалились шаги соседей, только пес лаял взахлеб у хлева. Больше ничего. Может, так просто, успокаивал себя Андриус. Шли истребители, для храбрости бабахнули господу богу в окошко — и вся недолга. Если б сцепились... Нет, тогда не так... у Рудгирес целый час палили... Что это?

Не то сова заухала, не то ребенок заплакал. За плотно занавешенными окнами сверкнула молния, по жестяной крыше избы забарабанили редкие капли.

— Угу-гу-гу-гу...

Андриус подскочил к торцовому окошку, приподнял тряпку, уставился на поселок. Трепетала, рябила темнота, в саду высились яблоны, большие, как скирды.

— Угу-гу-гу...

Между деревьями, заслонившими дорогу, замаячила тень. Она приближалась, и быстро.

— Угу... Что теперь будет-то? О, господи, господи... Угу-гу...

Женский голос показался знакомым, но Андриусу никак не удавалось вспомнить. И вдруг — Аксомайтене?! Андриус отшатнулся от окна и скорчился, словно от удара под ложечку.

Дернули за ручку двери, постучали. Задребезжало стекло в окне.

— Андриус... соседка... За что ж его? В чем он провинился? Андриус...

«Нету Казимераса!.. Эти три выстрела... При чем тут я? «И много уже людей нанял?..» Завидовал... смеялся... Может, и меня?.. Еще ночью? Или завтра?..»

— Сосед... Он там лежит... у ольшаника... За что?.. О, господи, господи...

Женщина опустила на лавочку под окном и, жалобно всхлипывая, все спрашивала да спрашивала: за что?

Андриус потянулся, с трудом обрывая невидимые веревки, стягивавшие его тело, вдохнул полной грудью спертый воздух избы и бросился к двери:

— Пошли!

Они свернули с проселка и побежали прямо по ржищу, спотыкаясь в темноте. Моросил дождь, но черные тучи стремительно уходили на юг, и у Андриуса мелькнула мысль: «Если не промочит суслонны, завтра все свезу».

Андрюс запряг Сивку, они с Магде сели в телегу и выехали со двора.

Аксомайтис лежал окостеневший, и Магде уткнулась ему в грудь, обхватила руками, заголосила. Андрюс постоял рядом, свесив голову, и напомнил:

— Возьмем, что ли...

Труп был тяжел, Андрюс едва дотащил его до телеги. Уложил на доски и дернул лошадь. Магде положила голову Казимераса себе на колени, чтоб не билась о днище, и все просила:

— Не гони... Медленней езжай... Трясет...

В избе заплакали дети, Магде зарыдала еще страшнее, и Андрюс, свесив руки, глядел на Казимераса, которого они уложили на две сдвинутые лавки, такого длинного и крупного, что ему казалось — Казимерас вот-вот вскочит, сядет и недобро рассмеется: «Сегодня поденщиков ищешь, а завтра батрака возьмешь?» Невеселый смех, обжигает, как огонь в печи.

По лавке побежала змейкой кровь, закапала на глиняный пол.

Андрюс поежился и сказал:

— В сельсовет надо сообщить. Пускай в волость бегут...

Но никто не расслышал.

...Андрюс выводит коров, накосив, приносит лошадям клевера. Останавливается в воротах и глядит на хутор Аксомайтиса. Лает пес, кто-то ходит по двору — за деревьями не разберешь. В такой час раньше дымилась бы труба, а теперь... Как Магде жить? Трое ребятишек... Хоть бы старший побольше был... Или хоть бы родители у нее были... Бедная баба...

Приходит Тересе, Андрюс все ей рассказывает. Но Тересе даже не ахает: ночью слышала плач Аксомайтене и сама обо всем догадалась...

— Кто мог подумать, что так вот невинного человека...

Тересе вздыхает, закрывает ладонью глаза.

— Господи, ужас-то какой...

Потом поднимает голову и смотрит на него, а глаза испуганные, вот-вот заплачет.

— Андрюс,— говорит она тихо и с такой нескрываемой любовью, что в груди у него что-то тревожно перевернулось,— Андрюс, я боюсь...

Он понимает страхи Тересе. Смотрит на свои руки и прячет их в карманы штанов. Запекшаяся кровь... Может, это знак, что теперь его черед?..

— Свиной покорми, за рожьё поедем...— Голос какой-то скрипучий, даже самому странно.

Андрюс выводит из хлева лошадей, поит у колодца.

Солнце высоко, за вершинами тополей, густые тени пляшут на лужайке двора, где сверкает роса. Руки и ноги пудовые, чужие совсем. Может, оттого, что снова не спал, а может...

На крыше в общипанном ветрами гнезде торчат аисты. Тоже какие-то общипанные, жалкие, нахохлившись, печально смотрят они на мир. Дожда ждут? Обмелели болота, высохли топи и канавы. Тяжело жить без лягушек. Но, видно, вот-вот хлынет дождь. Который день небо хмурится, и как заладит...

Подпрыгивает пес, заливаётся злобным лаем.

Андрюс привязывает Воронка к телеге, а на Гнедка надевает кожаную сбрую. Пес дергает цепь, лает взахлеб.

Скрипят ворота, и во двор входят двое. Юргис Наравас в расстегнутой гимнастерке, простоволосый — фуражка на плече, засунута под ремень винтовки. Другой пониже ростом, румяный голстяк...

Вроде знакомый. Где же Андрюс его видел? С ним, что ли, цапался из-за этой вот телеги, когда Маркаускаса увозили? Он самый, холера!..

— Что слышно, Марчулинас? — спрашивает Юргис Наравас, продолжая озираться вокруг.

— Вам лучше новости знать. — Андрюс засовывает Гнедку в зубы удила.

— Что мы знаем, то наше. Видишь, чего ночью было.

— Видел.

— Чья работа?

— Зачем спрашивать? Бандитов.

Из-за гумна появляется еще один — Маляука. Автомат на груди. Необъятные галифе обвисли, болтается кончик узкого ремешка.

— Товарищ лейтенант, может, пошарить? — Он показывает взглядом на гумно, и Юргис Наравас, одобрительно кивнув, спрашивает у Андрюса:

— Не видел бандитов? Не слышал?

— Ни видеть, ни слышать не хочу.

— Отвечай прямо, без уверток! Пошли в амбар.

Андрюс усмехается:

— А что там?

— Посмотрим, какой у тебя домовой сидит да богатство тебе наживает.

Прицепились, теперь не отвяжутся. Столько дел, рожь что твой сахар в суслонах, а тут прохладжайся с ними...

Андрюс отпирает амбар, распахивает дверь и зло бросает:

— Идите, смотрите.

— Первым иди. Показывай!

Они заглядывают во все углы, в сусеки, вслед за Андрюсом поднимаются на чердак, выстукивают прикладами стены, потолок, пол.

Выйдя во двор, видят у хлева Тересе.

— А это кто? Жена?

— Нет.

— Кто же, если не жена?

Андрюс молчит, а Маляука бесстыдно ухмыляется и хихикает:

— Товарищ лейтенант, неужто он не мужик?

— Не время для шуток! Кто она, спрашиваю?

Андрюс опускает голову, глаза его загораются, и он как-то надсадно кричит:

— Новоселка — вот кто! Как и я, такая же. Бывшая батрачка Маркаускаса!

Юргис Наравас снижает тон:

— На лбу не написано. Спросить-то ведь можно?

— Я не кулак, чтоб со мной...

— Когда вокруг такое творится... Когда из-за каждого угла в тебя могут... Теперь разговор короткий, кругом пули свистят.

— Надо различать...

— Только рожь от бодяка просто отличить.

— Чего тут рассусоливать: съездил в зубы, пустил юшку...

Андрюс косится на Тересе, которая стоит посреди двора и глязет на мужчин. Вот куриный разум! За дело бы взялась, ушла бы с глаз долой.

— Сходи коров на другое место отведи, — не выдержав, приказывает он, но Юргис Наравас останавливает ее:

— Коровы подождут. Где живешь?

— Вон там, видите, у ольшаника. С матерью.

— Может, напоила бы нас, хозяйюшка, жажда мучает. Молочка бы...

«Так и думал, холера,— свирепеет Андрюс.— Не приди Тересе, я бы отбрехался: ничего нет, ничего не знаю... Теперь как рассядутся, как начнут клянчить, конца не будет...»

Тересе смотрит на Андрюса, приседает и спешит в избу. Дверь оставляет распахнутой, словно приглашая зайти.

Кто вытягивается на лужайке двора и кладет рядом винтовку, кто садится на кирпичи у забора. Маляука прислоняется спиной к срубу колодца, ставит меж ног автомат, а, увидев Тересе с кувшином и стаканом, первым протягивает руку:

— Дай-ка сюда, не могу как пить охота!

Мужчины пьют холодное молоко по два стакана, а потом еще по одному. И когда большой кувшин пустеет, Тересе спрашивает:

— Еще принести?

— Спасибо, хозяйюшка,— благодарит Юргис Наравас и, пригладив пальцами черные усики, большими руками обхватывает дуло винтовки.

Андрюс переминается с ноги на ногу посреди двора, значительно поглядывая то на поля, то на небо. Но мужчины, устроившись поудобней, разговаривают, отпускают шуточки, изредка справляясь о чем-нибудь у Андрюса. Давно ли тут живет? Нет ли кого из родни в бандитах? А из соседей? О чем в деревне говорят? Андрюс качает головой, разводит руками — все нет да нет. Тогда они принимаются за Тересе, но та только плечами пожимает, а руки у нее так и дрожат — бог весть что можно подумать! Андрюсу противно на них смотреть и слушать их разговоры, но тут мужчины затихают, их охватывает дрема.

От усталости смыкаются глаза и у командира. Ах, горек его хлеб да на горячих углях выпечен. И никто ведь не навязывал, сам такой хлеб выбрал. А вот брату Пранису он его всучил. По сей день сердце Юргиса Нараваса не на месте. «Брат брата на погибель толкнул!» — говорит при каждой встрече жена Праниса. Будто Юргис худа желал! Он же не мог иначе! Хотел открыть Пранису глаза, чтоб тот огляделся вокруг. Конечно, если бы продолжались те, старые, времена, брат взял бы липовое полено, нож и резцы отца. Но в наше страшное время его руки были нужны для другого, а винтовку взять он не успел.

Юргис Наравас, отгоняя усталость и тяжелые мысли, рывком вскакивает, чистит брюки, набрасывает винтовку на плечо.

— Трогаем, ребята!

Потом поворачивается к Андрюсу:

— Доставишь нас в волость.

Андрюс делает шаг назад и прислоняется спиной к тополю.

— Как же это... так? — аж заикается он.

— Отвезешь, говорю.

— Да не могу я.

— Не можешь?!

— Нет... Если староста прикажет — да, а без старосты... нет...

Взгляд Андрюса натывается на внезапно побелевшие глаза Юргиса Нараваса, и они смотрят друг на друга, словно играют в гляделки.

— Твою мать, в морду его, лейтенант! — подбегает Маляука и замахивается на Андрюса кулаком. — Мы его охраняем, а он нам помочь не желает!

Юргис Наравас отталкивает Маляуку в сторону, его черные усики взлетают, нижняя губа подергивается.

— Ишь ты какой! А что мы три ночи без сна, что с другого конца волости сюда прилетели — на это ему начхать. Мы за бандюгами гоняемся, а ему лошадей жалко...

— В харю! — скачет Маляука, даже автомат с плеча снял; у старика дрожат руки, не может он вытерпеть, что Андриус отнекивается.

— Рожь в поле.— Андриус смотрит за изгородь, где белеют суслоны.

— Устроился в кулацком гнезде, все у него кулацкое!.. А что вчера два наших парня погибли — это ерунда! Ему рожь жалко!..

— Такое ведро... Рожь что порох...

На крыше гумна стучит клювом аист. Трещит, запрокинув клюв, хлопает крыльями. Поднимается, делает круг и снова садится в гнездо.

Вооруженные люди вскакивают на пустую телегу, Андриус отвязывает вожжи и изо всей мочи хлещет лошадей. Телега вылетает из распахнутых ворот и мчится по дорожке мимо яблонь.

Тересе провожает взглядом телегу, потом идет на онемевших ногах в гумно. Тут она вспоминает минувшую ночь, Аксомайтиса и застывает посреди двора.

Телега тарахтит по большаку, громыкает по доскам моста через Эглине. И замолкает.

От хутора Аксомайтисов плывет надрывный плач.

Перевел с литовского ВИРГИЛИУС ЧЕПАЙТИС.

(Окончание следует)



ЕВГ. ВИНОКУРОВ

★

УДАЧА

Хлеба кус, да миска суповая,
да шинель — и вот и песня вся!
Жил я, на удачу уповая,
бремя нетяжелое неся...

Шел тогда в простор полей не плача,
спал свернувшись — вот и все дела!
...А того не знал я, что удача
у меня тогда уже была.

* *
* *

Что ж, надо постепенно приучаться
не уходить от повседневных дел...
Удел отца иль просто домочадца —
на свете самый праведный удел!

Среди семьи, степенный, словно турок,
сиди, но в магазин пойдешь — и вот
какой-нибудь затейливый проулок
тебя к реке дымящей подведет...

И как юнец, что в этот час не в школе,
стоишь с кошелкой рыжих бураков,
почуяв голос тайной дикой воли
от ветра, от реки, от облаков.

ПОСРЕДИ ДЕЛИ

В пиджаках московского пошива
Мы стоим и смотрим на него...
Вот он пляшет, шестирукий Шива,
Вечных превращений божество.

Средь старинных златоверхих зданий
Гид бубнит, все зная назубок...
Разрушений или созиданий?
Кто же ты? Чего ж ты все же бог?

Мы стоим среди дневного лязга,
 Среди нормальной спешки городской...
 Отчего, скажи мне, эта пляска?
 Что случилось? С радости какой?

Курим... Неужели вечно это?
 Вьется дым московских папирос...
 И, танцуя, не дает ответа
 Развеселый бог метаморфоз.

* * *

И было нам тогда не до красот,
 когда в лицо врезается осот,
 а миномет тебя щекочет сверху.
 Или стремишься: чтоб не оплошал!
 Ломая шею, словно на пожар
 несешься на вечернюю поверку.

И все-таки все это неспроста...
 Нас тоже посещала красота,
 когда, валяясь под кустом ракиты,
 куражишься, сменившийся с поста,
 и деревенской девушки уста
 с доверием к тебе полураскрыты...

МУЗА

Слова не мальчика, но мужа...
 А ну, попробуй-ка верни!
 Она вдруг упорхнула, Муза,
 напомнив фронтовые дни.

Не скрипнула и половица,
 она покинула меня,
 проказливая шаловница,
 среди трупов, танков и огня...

БУДДА

В Индии, среди развалин храма,
 где висит полупрозрачный зной,
 Сакья-Муни Будда Гаутама
 в зарослях предстал передо мной.

Под зазывный хохот обезьяний
 он, переступивший за предел,
 он, противник всяческих желаний,
 ничего на свете не хотел.

Вьет гнездо старающийся аист...
 И от верха прямо до земли,
 в похоти чудовищной кривляясь,
 стацию лианы обвили.

Лес вопит в напористом комплоте...
 И свое чего-то в свой черед
 молчаливо говорит природе
 бронзовый потрескавшийся рот.

* * *

С детских лет и мне завет завещан
 скромности. Его я берегу...
 Но я видел раздевание женщин
 на пустом рассветном берегу.
 Над рекой заря, белея, стыла.
 Маленький кустарничек. Плоты...
 Предо мной тогда предстала сила
 женской откровенной наготы.
 И на миг вдруг все оцепенело:
 оказались вдруг тогда слиты
 белизна немислимая тела
 с белизной надречной чистоты.

СОРОК

Мне уж стукнуло
 сорок —
 поднимаюсь с трудом,
 но еще без подпорок
 простою, словно дом.

Я уж где-то
 на грани.
 Все же тверд
 на излом.
 Тонну влаги,
 табаня,
 опрокину веслом.

Мне уж стукнуло
 сорок —
 далеко не старик,
 но уже стал мне дорог
 каждый отнятый
 миг.

И почти без надсада
 та взята
 высота.
 И рука волосата,
 но немного седа.

Мне уж стукнуло
 сорок —
 я уж на рубеже...

...В тайный смысл
 поговорок
 я поверил уже!

СОСНА

Я хаживать к врачам подчас ленился.
 Не ведал медицины. Не ходок.
 ...И наконец-то вот она, больница,
 И градусника вот он, холодок...

Здесь все полно сырой больничной ленью.
 То ночь — томленье, то вся ночь — без сна...
 ...И за окном зовет к выздоровленью
 Могутная больничная сосна.

* * *

Мне нравится обыденная речь,
 Слова простые: хлеб, вода, поленья...
 Я те слова хотел бы уберечь
 От непреодолимого забвенья!

Я был от верной гибели спасен...
 ...В словах высоких, знаю, мало проку.
 Но славьтесь те, что слышал я сквозь сон:
 — Спадает жар. Он спит. Ну, слава богу!..

СТАРИКИ

Если мне когда-то станет худо
 И знакомым сразу надоем —
 Слава богу, что сейчас покуда
 Я не стар и не больной совсем!
 Верю: ты придешь ко мне, дружище,
 Хоть и будет путь ко мне далек,
 И добавим мы к духовной пище
 Весело заваренный чаек.
 Нам судьбу не надо молодую!..
 Счастливы и так наверняка —
 И сидим друг с другом, в блюде дужа,
 Два судьбу понявших старика.

* * *

В чем тут загвоздка, не пойму.
 Уж все давно решилось, брат!
 Но голос был тогда ему:
 — Займися музыкой, Сократ...

Что за советы мудрецу?
 Такого быть не должно впредь!
 Скажи: мыслителю ль к лицу
 С утра на дудочке гудеть?

Что скоро будешь глух и нем,
 Уже гуторят у оград,
 А голос снова между тем:
 — Займися музыкой. Сократ...

Так в чем же суть? Так где же связь?
Чтоб, руки уперев в бока,
По камере как ферт пройдясь,
Ты оторвал бы трепака?

Вот в этой чаше не вино,
А нечто горше во сто крат!
...Но голос все твердит одно:
— Займися музыкой, Сократ...

* * *

Хоть вспоминать об этом нет резона,
но галифе новейшего фасона
я в эти годы, помнится, носил,
одеколоном обжигал я поры,
на сапогах позванивали шпоры
и голосом мальчишеским басил.
Когда входил, трещала танцплощадка!..

...Но все же у меня была тетрадка.
Бродил, воздевши очи к небесам...
И дело не в мундире офицера,
я весь тому принадлежал всецело,
тому, чему... не мог сказать и сам...



ВИКТОР КОЗЬКО

★

ВИСОКОСНЫЙ ГОД*

Повесть

Обкатка Сибирью

Пришла зима. Белыми снегами легла на желтые и черные провалы от шахтовых выработок, залепила, занесла прокопченные заборы, крыши, щербатые, искрящиеся от угольной пыли дороги. Поселок посвежел и помолодел. С первых же дней навалились морозы. Нас пугали морозами еще в Белоруссии. Но беда пришла совсем с другой стороны. Сибирский мороз не тяжел, нет пронизывающих, как в Европе, ветров, нет сырости. Воздух сух, чист и неподвижен. В морозные дни на небе появляется солнце. Раздвигается горизонт, яснеют дали. И хочется шагать и шагать в эти дали.

Хороша сибирская зима, но были мы белоруссами. И как волка ни корми, он все равно в лес глядит. Леня Дрозд, Коля Казерук, Толик Беленький и я понесли на почту письмо. С недавних пор мы стали писать письма ежедневно: любимым и нелюбимым воспитателям и учителям, детдомовским парням и девочкам. Безбожно привирали насчет жестоких сибирских морозов, красочно описывали свою фе-зеушницкую, в общем-то, однообразную жизнь. И ни слова не говорили, как мы скучаем по белорусской оттепели, по детдому.

Толя Беленький запнулся и упал.

— Сколько бы раз согласился упасть, чтоб хоть на денек очутиться в детдоме, в Белоруссии? — спросил я его.

— Пошел бы пешком и через каждый бы шаг падал, — ответил он без улыбки.

— Не выдержал бы.

— Я бы выдержал, — поднял правую бровь, будто прикидывая расстояние, Коля Казерук. — Дополз бы...

Мы все одновременно взглянули на заходящее красно-алое солнце, на запад.

— Недолго осталось ждать. Скоро будем учиться делать пассатижи. За каждые пассатижи будут платить по тринадцать копеек.

— Двести пассатихей, и жесткий вагон до детдома обеспечен, — перебивает Дрозд Казерук, — всего лишь двести...

— Сделаю, — поджимает губы Беленький.

Но до пассатихей еще далеко. Пока я колочу березовые чурки. Почему-то принято в каждом детдоме учить ребят столярному мастерству. Обучение начинается весной с прилетом птиц, со скворе-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 9 с. 1.

чен. Неделю все детдомовцы пилят, строгают. Неделю по детдомовскому двору ветер кружит белую витую стружку. Руки, ноги ребят, их штаны и рубашки в прикипевших белых кружках смолы. За скворечнями обычно следуют табуретки. Тут уж смола на одежде чернеет, энтузиастов столярного дела становится все меньше. Все реже заходит в мастерскую директор детдома, все чаще куда-то подозрительно исчезает мастер, обычно старик из столяров-самоучек. В его отсутствие ребята спешно сбивают себе чемоданы. Страсть у детдомовцев к чемоданам такая же, как у старух к сундукам. Оно и понятно — все вокруг не совсем лично мое, а общее, или, по-детдомовскому, казенное. От зубной щетки до носового платка. А так хочется, чтобы у тебя было что-нибудь по-настоящему только твое. Пусть даже это твое — никому не нужный хлам с городской свалки: ржавый болт, перегоревшая лампочка. До чего же хорошо, когда опустеет комната, вытащить из-под кровати чемодан, оглядеться по сторонам и раскрыть его, посмотреть и погрузиться над своим богатством. А потом спрятать чемодан от всевидящего ока воспитателя. Он каждый день утром, в полдень, перед отбоем, зимой, летом, осенью будет приказывать тебе: «Не захламляй комнату, сдай чемодан в кладовку...»

Ты клятвенно заверяешь, что непременно сегодня сдашь. И так круглый год живешь в заботах о своей личной собственности, кажущейся тебе бесценной. И каждый раз перед отбоем маленькая радость: а чемодан-то под кроватью. И чемодан этот — первый предвестник неведомой и прекрасной жизни за стенами детдома.

Вот и стучат по весне дружно и весело молотки, радуют сердце директора, но недолго. Вскоре на мастерскую навешивается замок. Мастер исчезает совсем. А шалевка, сороковка и обапал гниют под забором до новой весны и прилета птиц...

Истопник заезжал в мастерскую с тележкой и грузил в нее чурки лопатой. На этих чурках мы отработывали удар: кистевой, локтевой и плечевой. На чурки, зажатые в тиски, ложились большой и указательный пальцы, и надо было умудриться не попасть по ним, рубануть молотком со всего плеча в малюсенький кружок между указательным и большим пальцами. Левая рука, пальцы у каждого из нас были в кровоподтеках и ссадинах. На возвышении возле выстроившихся в два ряда тисков, как Будда, восседал мастер в своем неизменном в искорку костюме, в сатиновых блестящих нарукавниках и следил, чтобы не было халтуры.

— Пятнадцать минут на кистевой. Начали. И-раз, и-два... — Он охватывал взглядом всех и улыбался почти счастливо, когда кто-нибудь из нас вскрикивал. Наш мастер всего лишь год назад прошел ту школу, которую мы проходили сейчас, и его, наверное, радовали воспоминания.

И все же пришел и наш праздник. Мы получили металл. Синюшные, невероятной толщины заготовки для пассатижей. У мастера пропала улыбка. Он любил металл. И мы полюбили.

— Даешь двести пассатижей, — подмигнул мне Леня Дрозд.

— Я триста. Кто больше?

— Хватит с меня и двухсот, — мрачно, зажимая заготовку в тиски, буркнул Казерук.

— Никому не надо повторять, как работать с напильником? — в последний раз спросил Дмитрий Васильевич.

— Да чего там... Ясно...

Взвизгнул, закричал под напильниками металл. Посыпалась на верстак серая стружка. Все двадцать пять пар первых напильников вышли из строя, годились разве только для очистки морковки. У мастера, как месяц назад в колхозе, покраснели и воспалились глаза.

Едва успев перекусить, придя из мастерской, мы заталкивали под кровати бушлаты и заваливались спать, кто потому, что стояла зима и было скучно, а кто просто за компанию, как медведь впрок.

У наших воспитателей и учителей в Белоруссии, наверное, кончилась бумага. Отвечали нам только девчата да друзья спрашивали, как попасть в наше чудесное ФЗО, а мы из-под кроватей делились друг с другом детдомовскими воспоминаниями. Вспоминали сад, лес, речку, каждую ее излучину. И письма домой после этого получались особенно душевными и веселыми, а тоска становилась все глуше.

Наступили октябрьские праздники. ФЗО опустело, остались только детдомовцы. В тишине и одиночестве особенно бросалась в глаза убогость нашего жилья. Выщербленные, в потеках воды, промасленные, протертые до штукатурки задами и спинами стены коридоров, пропитанные мазутом и машинным маслом полы. И повсюду запах мазута, машинного масла и кислого варева. А за окном черный от копоти снег, грязный и лохматый иней на проводах.

Серо и зябко покатались дни и после праздников. Единственным утешением был металл, работа. Мы набросились на нее, как собака на кость. Металл стал к нам добрее, уступчивее и податливее. Больше не визжали напильники. Они входили в металл твердо и послушно, гнали крупные опилки. И синела от злости сталь, напрягались и постанывали тиски.

Я стою рядом с Дроздом. Напротив нас за проволочной сеткой Казерук и Беленький. Мы сдаем мастеру после смены по две пары пассатижей каждый. Это рекорд. Дмитрий Васильевич с каждым днем все придирчивее и придирчивее меряет их штангенциркулем и даже микрометром. Но время брака кончилось, мы набили руку, и мастер только хмыкает. Наконец он не выдерживает.

— Что вы так гоните, ребята? — спрашивает он меня и Дрозда.

Дрозд хитрый. Улыбается и тут же отворачивается. Я отвечаю мастеру грубо и резко:

— Деньги нужны. За деньги стараемся.

Дмитрий Васильевич смотрит на меня с ехидненькой улыбочкой:

— Курить начали? Тринадцать копеек — пачка «Прибоя» и коробка спичек. Так?

— Хуже, Дмитрий Васильевич. Тринадцать копеек — маленькая кружка пива с верхом...

Улыбка мастера гаснет:

— А если серьезно?..

— Очень серьезно, Дмитрий Васильевич, — рубит вдруг Дрозд. — Мы в Белоруссию хотим съездить на день-два, в детдом...

— Я отпускаю вас сегодня. — Мастер не смотрит на нас. — Поспите, а лучше сходите в бор.

Вечером Дмитрий Васильевич приходит к нам в комнату. Долго рассказывает о себе, о своем доме в деревне на Украине и приглашает нас к себе в гости. Мы отправляемся вчетвером и остаемся у него ночевать. А на следующей практике мастер всей группе раздает заготовки молотков, а наша четверка получает слесарные ножницы.

— За них платят подороже, пятьдесят копеек пара, — говорит он. — Тоже не заработок. Но мы что-нибудь придумаем.

Я исхожу потом. Мы делаем ножницы. Мастер прав: это не заработок. Заготовки отштамповали специально для нас, фезеушников, чтобы мы больше потели и учились: у каждой припуск по полсантиметра. А что такое опилить полсантиметра напильником... Десять потов, кровавые мозоли, боль в пояснице. Кроме того, к новому изделию надо еще приноровиться. И мы вспоминаем, что ножницы стоят пятьдесят копеек, только тогда, когда сдаем их мастеру. Мастер при-

нимает от нас изделия все так же с улыбкой. Больно уж часто он улыбается, а если улыбается — значит, жди пакостей. Мы все время настороже.

Но ничто в нашей жизни и в наших отношениях не меняется. Мы по-прежнему усердно опиливаем слесарные ножницы, ручные тиски, круглогубцы и плоскогубцы. А вечерами подсчитываем, кто уже сколько километров проехал до Белоруссии. Михайло Волков, открывший здесь уголь, первые русские землепроходцы двигались пешком быстрее нас. Подсчитывать заработок помогает нам и Дмитрий Васильевич. Вечерами он пропадает в нашей комнате. Поначалу было неуютно с ним. Но сейчас привыкли. У него тоже была несладкая жизнь. Хуже еще, чем у нас. В детдоме нам не надо было думать о завтрашнем дне, о еде: придет время — накормят, спать уложат. А ему у отца с матерью не всегда удавалось и поспать и поесть вовремя.

Мы принимаем Дмитрия Васильевича за своего, и он чувствует это. И однажды вечером, собравшись уходить, уже попрощавшись, снова садится к столу.

— Вот какое дело, — трудно и издалека начинает Дмитрий Васильевич, — в общем, спасибо вам. План по изделиям наша группа уже перевыполнила. Давно такого в нашем ФЗО не было. Но... вы только не подумайте, это правда. В ФЗО на практических занятиях никто еще не зарабатывал двадцать шесть рублей, да и то получите ли вы их, вопрос...

Мы ничего не можем понять.

— Как же так, Дмитрий Васильевич, мы же считали вместе?

— Теоретически все верно. Но практически... Не всегда эти деньги и выплачивают. Есть что-нибудь в кассе училища — выдают по пятерке каждому. Нет...

— Будем жаловаться, Дмитрий Васильевич. Нам же на дорогу надо, — одновременно угрожает и умоляет Казерук.

— А кому жаловаться?

— Министру своему, Зеленко.

— Министр вас кормит, обувает, учит. И на том спасибо... Деньги вы заработаете в другом месте. Завтра после теории, после обеда, никуда не расходитесь, ждите меня.

На следующий день мастер заходит в нашу комнату без своей обычной хитрой улыбки.

— Переодевайтесь. Работа сельскохозяйственная. Не ахти... Но... пятьдесят копеек час. Очищать снег у парников, что-то там еще с навозом. Какая уж есть работа... — Дмитрий Васильевич разводит руками.

Но нам не до выбора. Нам все равно. Только бы на денек попасть в детдом, пройтись в форменной одежде по его двору и... А что значит это «и», что делать в детдоме дальше, я не знаю, теряюсь. Неужели это проходит тоска по родным местам, неужели я начинаю привыкать к Сибири? Не хочу, не хочу я привыкать. Мой дом в Белоруссии. Там я голодал, замерзал, там я мечтал о богатой Сибири. Сибирь — хорошее место, распрекрасное место, край мужественных и сильных людей. Но это не мое, мое не здесь. Чтобы жить в Сибири, быть человеком, нужно ровно столько мужества, сколько нужно для того, чтобы быть им в Белоруссии. Я выбираю Белоруссию. Она меня выбирает. И чтобы оживить память, я представляю себе детдомовский двор. Два тополя у ворот, обглоданные внизу осями телег. Заросли кукурузы слева от поросшей муравой дороги, справа — длинный оштукатуренный и побеленный барак, корпус, в котором мы жили. Высокое крыльцо. На этом крыльце в последний вечер перед нашим

отъездом в ФЗО девочки дарили нам платки... Узкая стежка от крыльца и через сад в столовую. Старая полусохшая груша-дичок возле стежки, колючая и корявая, такая же старая, с высушенной вершиной яблоня. А за ними ухоженные садовые деревья. Но мне больше всего дороги эти заброшенные, тоскливо вскинувшие к небу сухие ветки два дерева. Здесь, возле них, ясным августовским полднем у меня в первый раз забилось сердце. Я стоял, а мимо меня пробежала девочка из нашей группы. Я хорошо знал ее, но в ту минуту будто увидел впервые. Уже чуть желтоватое, катящееся в осень солнце желтым пятном лежало на траве. Повсюду была тень, только одно светлое, чуть желтое пятно, как круг света от циркового прожектора. И в этом кругу появилась девочка в желтую горошину коротком платье. Мгновение — и она с высоко поднятой головой пронеслась мимо меня, лишь скользнул по ее лицу и платью солнечный луч и тут же снова упал на траву.

...Упрямо, изо дня в день, мы ходим на парники, отбрасываем от них снег. Переносим с места на место пропыленные и замороженные рамы. Оплата почасовая, и каждый раз мы возвращаемся в ФЗО затемно. На парниках вместе с нами работают женщины. Они не понимают нашего упрямства.

— У вас, наверное, уже дети, семья, трудитесь так изо дня в день, — говорят они нам. — Семьи-то большие?

— Огромные. По сто человек у каждого, — отвечаем мы им.

— Сопляки еще заигрывать, — обижаются женщины.

Наиболее проникательные сочувствуют:

— Кто их знает, может, у них и правда уже дети. Не глядите, что молодые. Нынче весь народ с ума сходит.

Но работой нашей они довольны. Одним, без мужиков, управляться с парниками нелегко, с нами и веселее. И когда парники наконец обихожены, мы расстаемся друзьями. На прощанье рассказываем им про свои семьи, зачем нам нужны деньги. Они провожают нас наказом:

— Только глядите не пропейте...

После парников мы разгружаем вагоны с шахтовым лесом, загружаем машины углем. Эта работа хотя потруднее и погрязнее, но прибыльнее. А грязи мы не боимся и того, что трудно, тоже. В детстве мы не каждый день ели свой кондер бесплатно, тоже и косили, и пахали, и лес рубили.

С жадностью спрашиваем шахтеров, какая же она, шахта, что нам предстоит в ней делать. Нас и пугают и успокаивают:

— Яма, сырая, холодная.

— Страшная работа та, которую не делаешь. А в шахте даже хорошо — ни холода, ни жары. Каждый день баня, вода газированная...

Слушаем, запоминаем и с нетерпением и опаской ждем все приближающийся день первого спуска под землю. Думаем каждый про себя: «Если действительно страшно, то как бы не испугаться, не срейфить, не выказывать своего испуга».

На шахте нас уже многие знают в лицо, и однажды снабженец, у которого мы всегда получаем работу, радостно сообщает нам:

— Калым, ребята, горит. Вагон с дустом на подходе. Кладу сто рублей. Согласны?

Какой может быть разговор? Мы, конечно, согласны. Нам хорош и дуст, пусть это даже будет чемерица. Если за нее платят сто рублей, мы перенесем ее из вагона в склад горстями. Но снабженец суетится.

— Нет, вы, ребята, не так. Вы скажите определенно, великим

и могучим русским языком — мы согласны. Есть разгрузить вагон дуста.

— Согласны, — говорю я снабженцу.

Но снабженец не унимается:

— Какие-то вы не такие, как все. Как цыплята инкубаторские. По виду-цыплята и цыплята. Обличьем в будущих куриц. А приглядишься — не то. Всему верите и послушны, как солдат, только что прошедший курс молодого бойца. Я давно к вам присматриваюсь... Скажите вы мне, что вы за люди?

— А ты как думаешь? — спрашивает его Дрозд.

— Вот и я говорю. Бессонница уже у меня. Всю жизнь спал покойно. А тут мучиться начал. Беспокойство одно с вами. Грузчики наши поселковые все норовят меня на кривой козе объехать, перехитрить. Это я понимаю, а вас понять никак не могу. Вечно мучаешься — обмануть вас или быть честным с вами.

— Мучайся последнюю ночь, — говорит Дрозд. — Вагон с дустом разгрузим и больше к тебе не пойдем.

— Смотрите же, завтра в восемь ноль-ноль быть всем как штык у склада.

Мы отпросились у мастера с занятий. И на следующий день затемно пришли на разгрузочную площадку. Снабженец был уже на месте.

— Деньги большие, — сказал он. — Чтоб был порядок, как в танковых войсках.

— Опять не выспался? — спросил я его.

— Не выспался, — согласился он. — Думал, закончите вагон — бутылку вам от себя поставлю. Разобраться мне надо...

Вагон с дустом стоял у склада. Кладовщик со снабженцем выдали нам рукавицы. Потом снабженец принес респираторы.

— Сейчас настоящими шахтерами станете, — сказал он, погромыхая респираторами. — Ну, кто первый?

— А зачем? — спросил Казерук.

— Для порядку. В шахте без техники безопасности ни шагу. Так что отставить разговоры, орлы.

Мы облачились в респираторы. Поохотали друг над другом и принялись за работу. Десятка два тачек дались нам без труда. А дальше мы начали потеть. Противогазы не спасали от дуста. Он проникал сквозь плотно обхватившую лицо и затылок резину, скапливался, смешивался с потом и разъедал кожу. Мы задыхались в респираторах. Первым не выдержал Беленький:

— Вы, орлы, как хотите, а я разоблакаюсь.

Глядя на него, сняли респиратор Дрозд и я с Казеруком. Но мы были еще далеки от отчаянья. Мы еще не осознали, во что ввязались. В полумраке утра не было заметно облака дуста, окутавшего вагон и склад, мы заметили его, когда взошло солнце. И работать, дышать стало невыносимо. Мы кашляли, как туберкулезники, рвали легкие. А дуста в вагоне не убывало, нам предстояло перевезти в склад тридцать тонн его.

— Я теперь знаю, — говорил Коля Казерук, — почему от дуста погибают клопы. Они умирают от кашля.

— Клопы сегодня лопаются и умирают от хохота над нами. Тридцать тонн хватит, чтобы перетравить всех фезеушников в округе. Мы...

Я споткнулся и упал. Тачка слетела со сходен и опрокинулась. Густое сизое облако взметнулось на крыши склада. Мы оставили тачку лежать на боку, побросали лопаты и отошли от вагона. Хохотали и плакали одновременно. Дуст уже был в нас — в легких, в

желудке, в сердце. Но он еще не заслонил, не отравил нашей памяти. В сознании каждого громыхали колеса. Уже отправлялся в Белоруссию, в наш детдом, поезд, и дуст был билетом на него.

Мы продолжали острить и пересмеиваться, когда уже стало совсем немого. Но что-то переменялось в нашем смехе, был он не веселым, грустным: смех сквозь дуст. Вагон был полон. А силы уже иссякали. Рубашки наши пропитались потом и затвердели, все тело и мысль были пропитаны и пронизаны запахом дуста. Нам казалось, что у нас кровоточат глаза, губы, лицо. Кружилась голова, цветные мошки прыгали в глазах. И день был глухим, бесконечным. Только упрямство держало нас у вагона. В полдень к нам пришел снабженец:

— Я думал, вы уже сворачиваетесь..

— Это точно. Мы уже свернулись,— сказал я ему.— Еще час, и из наших шкур можно будет делать барабаны. Это будут хорошие барабаны, звонкие.

— Я вас понял,— сказал снабженец.— В вас нет немецкой исполтельности. Респираторы вы сняли. На технику безопасности вы плюете. Это хорошо. Это как у нас водится.

— Зачем же ты заставлял нас надевать их? — подступил к нему Коля Казерук.

— Для порядку и вашей проверки,— ответил снабженец.— Работать только с респираторами, так гласит инструкция по обращению с дустом. А теперь мочите носовые платки и завязывайте ими нос и рот. Так делают все на дусте.

— Проверки еще будут? — спросил Дрозд.

— У меня же бессонница, поймите вы,— сказал снабженец.— Я должен разобраться в каждом человеке, прояснить его для себя. А вы засекречены для меня, военная тайна. Надрываетесь за рубль, а сами не курите, не пьете и сберкнижек, как я полагаю, не имеете. Какой же у вас интерес к жизни?

— Ты обещал бутылку? — спросил Дрозд.

Снабженец обрадовался:

— Наконец-то слышу голос мужика.

— На три рубля принеси нам поесть.

Наш работодатель убежал. И вскоре принес котлет, хлеба и бутылку «московской».

— Это от меня, от чистой души,— сказал он,— без вычета из зарплаты.

Мы ели, не чувствуя вкуса еды. И хлеб и котлеты казались нам приготовленными на дусте. Бутылку отложили до конца работы.

— Кладу на кон сто двадцать рублей,— сказал снабженец,— только разгрузите вагон сегодня... Не убегайте.

Беленький обдал его облаком дуста, и он ушел не отряхнувшись. А мы продолжали свою каторжную работу. Мы уже стали дустоустойчивыми; кроме запаха дуста, на земле для нас не существовало больше никаких других запахов.

Мы продолжали выгружать дуст. По крутым сходням возили его в склад. И когда в сусек опрокинута последняя тачка, в нас нет ни радости, ни Белоруссии, ни детдома. Не ощущаем мы радости и от водки, которую пьем вместе со снабженцем. Пресная, без запаха и вкуса водица.

— Откройте же мне себя,— просит нас снабженец.— В чем ваш смысл, устав вашей жизни?

— Иди ты... знаешь куда,— говорит ему Дрозд.— Прицепился, как будто всю жизнь разгружал дуст.

— Вот и вся кругом такая молодежь пошла.— сетует снабже-

нец.— Я думал, хоть вы другие. Не с кем и поговорить человеку. Куда только мир катится? А в вас я видел наличие недоступной для меня мечты.

— Спи спокойно,— говорим мы ему на прощанье,— мечты нет. Один только dust.

На следующий день мы не пошли на занятия. Не могли двинуть ни рукой, ни ногой. Молча лежали на кроватях и смотрели на висящее за окном красное солнце. Ребята, уходя на занятия, принесли из столовой наши завтраки. Мы не прикоснулись к ним, нас рвало от одной только мысли о еде. Хотелось забыться, уснуть, но и сон не шел. В общежитии было пусто, и к нам никто не заходил, мы никого и не хотели видеть. Как вдруг открылась дверь. На пороге стоял Дмитрий Васильевич. Он нам меньше всего был нужен сейчас.

— У вас тут что, дезинфекцию проводили? — Мастер только глубоко втянул в себя воздух, но не решился переступить порог.

— Клопов много развелось,— ответил мастеру Беленький.

— Угорели?

— Угорели...

— Будет врать-то,— перебил Беленького я.— Вроде бы маленько устали, Дмитрий Васильевич. Ну, и там же... угорели... А чо?

— Смотри ты: «маленько», «чо».— Мастер заходит в комнату, плотно закрывает дверь.— Да ты, паря, гляжу, сибиряком становишься. И на занятия не ходишь, мастеру правду-матку в глаза не боишься резать...

— А чо... что, не стоило бы правду говорить? — Я сажусь на кровать.

— Иной раз, может быть, и не стоило бы,— подсаживается ко мне Дмитрий Васильевич.— Как-никак, я ведь над вами мастер.— Он поочередно оглядывает меня, Дрозда, Казерука, Беленького: — Ну и видок у вас, скажу я вам. Кто вас жевал?.. Так вот, к тому, стоило бы или не стоило. Я вас вчера с занятий отпускал, а вы и сегодня прогуливаете. Мне за вас перед замполитом отчитываться. Пойдете сами к нему, будете объяснительную писать...

Мастер пытается строжиться. Но строгости в его голосе нет. Нет и у нас боязни перед ним, перед замполитом. Мы готовы к разговору с ним. Я готов.

У меня в подушке, завязанные в платок, лежат тридцать рублей, заработанные вчера. Еще сто наших общих рублей хранится дома у мастера. Дорога в Белоруссию и назад обеспечена. Но я не испытываю от этого никакой радости.

Мне грустно. Я по-прежнему рвусь в Белоруссию. Не будь у меня сейчас денег, я, наверное, опять пошел бы их зарабатывать. Кидал бы снег, грузил бы уголь, взялся бы даже и за вагон с дустом, разгрузил бы его один. Но деньги лежат у меня под подушкой, и я не знаю, что мне с ними делать, как поступить. Я хочу и боюсь поездки в детдом. Кто меня там ждет? Сравнимо ли мое стремление туда с тем, как меня там встретят? Память о детдоме для меня самая светлая и радостная. Пусть уж лучше навсегда остается во мне это щемящее чувство тоски по тополю у дороги, по усыхающей груше у стежки, по девчонке с высоко поднятой головой, пронесшейся мимо меня. Может быть, я все это придумал, но я уже более полугодя живу этим, и это помогает мне жить. Я верю — так было, и мне не надо другой памяти, новой грусти. Пусть во мне остается недосыгаемый, навсегда потерянный островок, к которому я буду стремиться всю жизнь. И тогда, я верю, пройдет время, и эта фезеушницкая тоска озарится новой, светлой памятью.

Будет в моей жизни серый и тяжелый день, но память моя взор-

вет его и осветит радостью уже прожитого. И тогда пережитое покажется прекрасным, ярким и счастливым. Я буду вспоминать парники, уголь, дуст, и Сибирь не будет казаться мне чужой. Я не мерз и не голодал в Сибири. Я привился к ней. Мы, детдомовцы, прививаемся нелегко, но зато уж навсегда. И никогда ничего не забываем.

...Роится уже в солнечных лучах над моей головой застарелая пыль. Я и не заметил, когда пришло утро, когда проснулся. А может быть, я еще продолжаю спать. Где я и что со мной происходит? Где бы я сейчас хотел быть?

Скрипят ворота сарая. Это отец, со света он не видит меня. Я поднимаюсь и сажусь на одеяле.

— Выспался?

— Выспался...

— Не жестко было?

— Нет...

— Что тебе снилось на новом месте?

— Ничего...

Отец обижен, он собирается уходить.

— Подожди,— прошу я его, и он добреет:

— Я знал, чувствовал, что ты уже не спишь.

— Как же ты это чувствовал?

— погоди, подрастет твой сын, сам поймешь как.

Мы вместе выходим во двор. Росно, свежо. Тихо слезятся отпотевшие за ночь стекла окон. Мы заходим в палисадник, садимся на прохладную скамейку в тени вьющихся побегов фасоли. Возле самой скамейки густо растет горох, на светло-зеленых усиках его, тощих стручках прозрачные капли росы. Я срываю один из стручков, жую. Чуть сладковатая прохлада приятно освежает рот.

— Зеленый еще,— смотрит на меня отец.— Не поспел еще.

— А к полудню поспеет? — быстро спрашиваю я его.

Отец не отвечает. Неужели он помнит? Нет, едва ли...

— В позапрошлом году я копал здесь яму, картошку на зиму, закапывал...

— Да... — отзываюсь я.

— В позапрошлом году... И выкопал тарелки. Деревянный ящик истлел, и тарелки почему-то разбитые. Фарфор весь побит, а алюминиевый весь погнил...

Мы молчим.

— Разбитая посуда — к счастью,— говорит отец. И тут же без всякого перехода: — Ты помнишь ее?

— Кого? — Чувствую, что краснею.— Не помню... Почти не помню...

Я обманываю его. Я все помню...

Незадолго до рассвета

Ночь стала днем. Горела станция, склады, бензохранилище и пристанционные халупы. Мутилось в дыму ночное небо. Разрывы зениток кромсали и рвали его вдоль и поперек, лучи прожекторов тут же склеивали. На станции непрерывно рвались снаряды. Временами взрывы их заглушали рокот идущих на снижение бомбардировщиков, смешивались с ним. И тогда Ульяне казалось, что это сама земля скрежещет от боли зубами. На секунду-другую воцарялась тишина. А грохот и гром продолжались. Тонко посвистывая, сверля воздух, гналась за городом очередная бомба.

Земля вздрагивала, вполнеба всплескивалось зарево. Вспыхивали и качались леса. Качался, будто сорванный с якорей и брошенный штормом в море, темноликий и послушный волнам городишко. Кувыркался между небом и землей, силясь зацепиться хоть за верхушки раскрасневшихся и непрочных деревьев. И не мог зацепиться. Он покорно съезживался, отступал. От домов, от леса на Ульяну бежали длинные лохматые тени. Гасло пламя, и тени прятались до нового взрыва бомб, всплеска огня.

Налеты на станцию с приходом новой зимы участились. Станция теперь горела почти каждую ночь. Ульяне казалось, что она привыкла уже и к бомбардировкам и к войне. Но по городу поползли слухи: станцию бомбят потому, что наши войска стоят рядом, освобождение близко. И опять вернулся страх. Страх, как жажда,— выжить, дотянуть до прихода своих. Жажда жизни снимала людей с насиженных мест. И как весной в половодье, потекли людские ручьи. Засновали из городов в деревни, из деревень в города, в леса, болота, глушь, где потише.

Решилась уйти из города и Ульяна. Переждав бомбежку, ранним утром, еще до света, одела она ребятишек, захватила все, что было в доме из еды, на минуточку — когда навешивала замок — припала лбом к стылой доске родного дома и пошла. Тамарка на груди, Димка за матерью своим ходом, только ручонка в руке матери, как бычок в поводу.

За три дня перед этим к Ульяне наведалься свояченица Трофима. Рассказывала, что в их деревне пока, слава богу, тихо. Немцы стоят, но вроде бы не шибко зверствуют. У свояченицы, в ее деревне, и надумала Ульяна переждать лихую беспокойную годину.

Уже километрах в пяти от города Ульяну с детишками нагнала немецкая машина. В другое время она сошла бы на обочину, еще бы и затаилась в кусту, но сейчас заметила среди солдат нескольких женщин и проголосовала. Машина остановилась. Ульяна забралась в кузов, женщины уступили ей место позатишнее, поближе к кабине. И машина тихо покатила по спокойной и ровной, бьющей синью в глаза зимней дороге. Ехали молча, женщины не спрашивали Ульяну, куда она держит путь, не пытались узнать их дорог и она. Немцы всматривались в молчаливый, грузный от снега зимний лес и цепко держались за автоматы. Но беда пришла к ним не со стороны леса, а с неба.

Низко над землей, так что с деревьев посыпался снег, повисли два наших самолета.

— Рус Иван, рус Иван,— загалдели, припали к бортам немцы, скинули рогатые каски и припрятали автоматы. Но самолеты прильнули еще ниже к дороге.

— Погибель, бабоньки, погибель...— запричитали женщины.

— У кого есть красная косынка? Выбросьте красную косынку.

Красной косынки ни у кого не нашлось. Женщины посрывали платки и начали махать ими самолетам. Немцы не мешали им. От самолетов отделились и поплыли желтые облачка.

— Не разглядели, родимые... Стреляют, бабоньки, стреляют...

Ветви деревьев, стоящих у обочин, закачались, схватился ветерок. Белая метелица переметывала дорогу. Самолеты прошли почти над машиной. Ульяна на минуту вскинула голову, в глаза ударил красный цвет звезд на крыльях. Она ни на секунду не забывала, что это наши самолеты, что у них на крыльях красные звезды. Но никогда не могла подумать, что они такие красные, будто и не рисованные, а живые. Ульяна вскрикнула. Красный живой цвет звезд вошел ей в сердце, и ему стало и тесно и больно в груди от радости.

Она сознавала, что может погибнуть в немецкой машине вместе с немцами, но, целуя Димку с Томой, шептывала:

— Надо, родные, так стреляйте, метче стреляйте.

Самолеты зашли на новый круг. Немцы забарабанили автоматами по железу кабины. Машина остановилась, Ульяна бросилась следом за женщинами в лес. Снег был глубоким, и Димка все время увязал в нем и оглядывался назад, туда, где оставалась машина, над которой кружили самолеты. У матери не было сил взять сына на руки, и она тащила его за собой, схватив за воротник пальто. Лес становился все гуще и гуще. Когда за ее спиной раздался взрыв, она лишь перевела дыхание и хотела идти дальше. Но заупрямился и застонал Дима. Ульяна склонилась над ним:

— Что тебе?

— Сапог... Нет сапога...

Дима оперся о мать и вытащил из снега правую ногу. На ней не было ни сапога, ни портянки.

— Где же ты потерял?

— Не знаю, не помню...

— Не в машине оставил?

— В лесу я еще сапогом шел...

— Больно? — спросила Ульяна, прикидывая, что же ей делать.

— Нет... — простонал ободренный сочувствием матери сын. Нога его, изрезанная зернистым и крупным, как соль, снегом, кровоточила на морозе. Мать сняла с себя бушлат, усадила на него сына, положила рядом дочь и принялась искать потерянный сапог. Но каждый след в лесу не перещупаешь, а женщины уже давно перемели проложенную ими стезжку. Когда она вернулась к детям, Дима плакал, стоя, как журавль, на одной ноге. На белом снегу возле него растекались красные капли крови. Голая нога была уже синей от холода. Дима смотрел, как она сочится кровью, и скулил. Попискивала без матери и Тамара.

Ульяна обмотала ногу сына платком и прихрамывающего потащила за собой на дорогу, к машине. Шли медленно. Еще издали заметила, что машина горит, заметила снующих возле нее немцев и сжавшихся, стоящих отдельной кучкой женщин. И она затаилась. Немцы отгеснили автоматами женщин почти к самому огню, в черный и смрадный дым, и почти в упор расстреляли их.

Ульяна крепко в губы поцеловала сына. Дима долго и непонимающе смотрел матери в глаза.

— Вернется наш папа, расскажешь все ему сам, мужичок ты мой, защитник, — не выдержала мать.

— Что, мама? — так ничего и не понял сын. — Про сапог, мама?

— Про сапог, про сапог, сынок...

И они по целику, таясь дороги, тронулись в путь. Быстро выбились из сил и снова ступили на торный, укатанный зимник. Заслышав людские голоса и шум машин, сворачивали в лес, таились под деревьями. Трижды раскручивался и сползал с ноги Димки платок, пока совсем не истерся и не истрепался. Тогда Ульяна приспособила кофту, а потом разорвала на себе и нижнюю сорочку. Под конец пути пришлось пустить в дело и Димкину шапку. Так с шапкой на правой ноге, с лоскутом, чуть прикрывающим голову, Димка с матерью и сестренкой ступили в деревню.

Ульяна с детьми присела передохнуть на первой же занесенной снегом деревенской завалинке. Дима припал к ней и задремал. И Ульяна не торопилась его будить. Деревенская улица была пустынной и тихой. Нигде не дымились трубы, не лаяли собаки. И тропки, ведущие от калиток домов, были еле приметны. Не пахло

в деревне ни хлебом, ни жильем, ни человеком, ни скотиной. «Напрасно, напрасно,—корила себя Ульяна,—тащила я сюда с детьми. Что уж бог послал, дождалась бы в своем селище...» Но родной дом был далеко, и надо было посветлу пока искать свояченицу и устраиваться хотя бы на ночлег.

Настаса, так звали свояченицу, не очень обрадовалась гостье из города. Жила она одиноко. Слыла в своем селе за знахарку, и в доме у нее всегда был достаток. Детей у нее не было. Уже в девках она окривела на правый глаз — подсадила корова рогом на дойке, и навсегда осталась Настаса в векувах. Так ее и звали: Настаса-векува. По молодости порок свой переживала трудно, людей не больно привечала, сторонилась и родни. Жила больше лесом, полем, как божий человек, одна, сама по себе. Но лес и болота, всю дрыгву-трясину на них знала, как лесной зверь.

За это тоже не любили и побаивались ее люди.

— Случайно, проходом, или специально ко мне? — нацелилась одним глазом Настаса на Ульяну, не пригласив даже сесть, отдышаться.

— Проходом к матери,— решив не навязываться, сказала Ульяна.— Да вот с сыном беда приключилась, зашла к тебе перемогнуться.

— Ой ты, горе, горе,—запричитала свояченица.— Носит же тебя нелегкая с детьми, пожалела б хоть их... И мне сегодня с тобой не к часу валандаться.

— Я ненадолго,— сказала Ульяна.— Передохну, и ноги в руки.

— Не к тому я,— обиделась свояченица.— Всякое у меня с Трофимом было, а чтоб детей его гнать из своего дома, этому не бывать. Места не проживешь. Картоха у меня еще есть, припрятала надежно. Сгниет, а злыдням не достанется. И какой-никакой обуток сладим твоему сыну...

На этих словах Настаса выскользнула из избы, погромела, пошебаршила чем-то в сенях и вынесла ладную пару новых сапог, великоватых по Димкиной ноге. Но с портянками они сошли.

И вскоре, отогревшись, Дима довольно топал по избе. Ульяна твердо решила пробираться к матери: день, самое большее два, пока нога не отойдет у сына. А там снова в дорогу.

— Ты не сердись на меня,— будто подслушав Ульяну, заговорила Настаса.— Рада б я была тебя приветить, да некогда. Придется мне сегодня оставить тебя одну.

— На что сердиться,— сказала Ульяна.— У тебя свое. Ни к чему тебе еще мои хлопоты.

— Будешь так говорить, и на детей твоих не погляжу, выгоню с хаты на мороз,— взвилась Настаса.— Ох, гордость...

— А без гордости, тетка Настаса, я бы уже давно со свету сгинула... Ей и живу.

— А ты знай, перед кем гордиться.

— Устала я без меры, вот и плету абы что,— сказала Ульяна.

— Терпи, доню, терпи. Недолго осталось. Уже развидняется. Ты молодая, все твои болячки зарастут, как на собаке.

— Духу не хватает. Силы есть, а дух уже весь вышел. Состарилась я за эти три года на целый век.

— Не ты одна.— Настаса присела рядом с Ульяной, обхватила ее за плечи.— Ты оглядись только. Всем одинаково сегодня, а все держатся. На что уж я недоделок, а и то к людям льну. А тебе сам бог велел. Ты на меня не кривдуй и из родни своей не выкидывай. Пока я с тобой, есть что на душе, выговорись. Грех в себе кривду носить.

— Смерть за мной гонится,— сказала Ульяна.— Когда иду, тяну детей на себе, еще ничего, отступает она. А приостановилась — вот она, рядом. Устала уже и бояться и ховаться. Бывает, сама призываю к себе смерть. За три года нагляделась такого, что жизни ни своей, ни чужой не жалко. Волчице сегодня легче прожить. Ничего не могу ни понять, ни переменить, ни остановить. Зачем только разум мне дан? Дети мои меня на том свете проклянут за то, что я их родила. Вот что мне страшно.

— Лякотная у тебя забота,— сказала Настаса.— Твои дети тебя согнули, они же тебя и выпрямят. Мне б твои хлопоты, я б песенки пела. Три года такой войны, такой войны, а ты девку успела родить. Дочку и сына согреваешь, кормишь, поишь, в самом пекле живое от огня сберегаешь, а волчице завидуешь. Я тоже завидовала, пока на свет глядела не душой, а одним только своим глазом, как в щелку. Я уже тут, среди болот, засыхала, и не надо мне было ничего. Бог мне не дал ни сына, ни дочки. Ничего не оторвалось от моей пуповины и не упало на эту землю. И у меня к ней не было ни интереса, ни любви. Вот ты мать двоих детей. А мне только сейчас, когда пришла война, все кругом стали родичами. У меня одна кровь со всеми, я это почувствовала. Я сейчас тоже мать, хотя в руки не брала дитя, ни одного не нянчила.

Настаса вдруг сорвала с головы платок — сивые волосы всколыхнулись и поплыли на сухое морщинистое лицо.

— Равнять тебя со мной, так мне до тебя, как земле до неба. Но сегодня и я счастливая. И скажу тебе, донька, по секрету. Может, я на смерть сейчас иду, а счастливая. Чему быть, того не миновать. А теперь ты у меня ничего не выпытывай. Оставайся тут за хозяйку.

Настаса собрала на стол, усадила Ульяну, но сама есть не стала. Посмотрела, как ест гостя, наказала еще раз что где лежит, клонула ее сухими губами в лоб, в щеки, в губы, перекрестила. Стукнули двери, мелькнул за окном ее платок. И Ульяна осталась одна в чужом и непривычном ей доме. Непривычной была и тишина на улице. Тишь и покой мешали, никак не давали настроиться на что-либо одно, и Ульяна думала обо всем сразу: о войне, Настасе, детях, Трофиме и ни о чем.

В избе было прохладно. Возле печи лежали приготовленные Настасой сухие сучья. Сучья были тонкие, ломанные без топора, через колено. Ульяна представила, как Настаса ходила за ними в лес, увязала в сугробах. Тянулась за ними к деревьям, привставала на цыпочки. Фуфайка расстегивалась, из-под нее выбивался платок, ползли на глаз волосы, застилал глаз пот. Распаренная, сухими, как сучья, руками она ломала себе топливо и еле живая, согнувшись в три погибели под вязанкой хвороста, снова тонула в сугробах. С сердцем кидала сучья посередине хаты и долго отдыхала, устало подперев тяжелую голову рукой. И Ульяне стало жалко этих одиноких, бобыльных сучьев, у нее не поднялась рука сунуть их в печь.

Она собрала какое только было в доме тряпье, свалила его на деревянные нары у русской печи, запрятала в это логово детей, зарылась сама. Ждала, сама не зная чего. Дочка похныкала, похныкала и успокоилась у материнской груди, пригелась, уснула. Спал и Дима. А к Ульяне сон не шел, и она не знала почему. Вымоталась за день без меры, а в глаза будто песку насыпали. Тело ныло и гудело. Усталость в нем была давняя, застарелая, та, при которой чувствуешь каждую косточку, и чтобы шевельнуть рукой или ногой, надо прикладывать силы, приказывать себе.

Под нарами скребется, будто по сердцу, голодная мышь. Мысль все время возвращается к этой мышке. Ульяне становится ее жалко,

как самое себя. Кажется, что это вовсе не мышь, а ее собственная потерянная душа рвется из затхлого и холодного подпола к теплу и жизни. Но постепенно мышь становится противна упрямством, страхом, бессмысленной и темной жаждой жизни, противна от тонких и подвижных усиков до голого хвоста. Усталое тело протестует и не находит себе места на жестких нарах, среди пахнущего чужим потом и духом тряпья. Молочный запах и спокойное дыхание детей проясняют помутившееся сознание. Вера и покой приходят, когда ночь уже кончается, и под глазами залегает синева, под глазами и возле губ прорезаются тонкие, как комариное жало, морщинки. Завтра она узнает о них без зеркала. Узнает по вздоху сына, по новому слову, пришедшему за ночь к дочери, по ее крепнущему топотку, по яснеющим осмысленным глазам детей, по тем новым, неведомым ей раньше черточкам на лице, в характере, в их поведении. Вот где она и видит и считает свои морщины. Чем румяней и здоровей щеки детей, тем морщинистее ее лицо. В этом и война и беда.

Ульяна прислушивается. Мышь уже успокоилась.

Проснулся, поднял голову из тряпья, как галчонок из гнезда, Дима. Послушал и захныкал:

— Есть хочу...

— Что же я тебе дам? У нас ничего нет.

— Ага, а на печке картошка. И Тамара картошки поест...

Картошка действительно лежала на печке, но она была сырой.

— Распали печку,— просит Дима.— И мы печеников напечем.

— В печке черти...

— Ну и пусть... Я есть хочу, чертям картошки дам...

Дима подпрыгивал на нарах, но не мог уцепиться за скользкий, обтертый и засаленный край печи. Ульяна не выдержала, встала и подсобила ему. Дима забрался на печь, взял по картошине в руку и громко, так, что во сне вздрогнула Тамара, закричал:

— Мама, картошка! Пеки картошку!

— Ой, не кричи, сынка, ешь ее сырой. Ничего не будет. Зубы только станут здоровей.

Звякнула щеколда у двери. Кто-то шел в избу. Ульяна напряглась и затихла. Замолчал и Дима.

— Есть тут живая душа? — Голос был женский, старческий.

— Проходи, бабка, есть,— ответила Ульяна.

— Ну, вдвоем хоть веселее будет. Я в землянке пряталась. Сейчас выглянула, а дом мой сгорел... На головешечки помолилась и пошла... Куда тут мои кости старые приткнутся?

— Ложись с нами,— подвинулась Ульяна,— теплее будет.

Ульяне не спалось. Было тесно и душно. Она легла не раздеваясь, в сапогах, в бушлате. Старуха разбередила душу. Вспомнился свой покинутый дом. Ульяне было и жалко и не жалко его. Но в дом было вложено столько трудов, что хотелось, чтобы он уцелел, стоял. И чего бы ему не стоять — срублен на сухом высоком месте. Штандарты дубовые, крепкие, гнить им не от чего. Пол над землей высоко. Стены еще крепкие, как зуб, ни шашеля, ни червяка. Недоштукатурены, но это не беда. Трофим вернется с войны, пусть тоже не заботится, пусть отдыхает. Она сама доштукатурит стены, покрасит полы, выложит из кирпичей по двору дорожку. Кирпич к кирпичику, как деды мостили Гомель. Дорожку посыплет белым речным песком с чертовыми пальцами. Будут дети играть в песок и собирать чертовы пальцы. Для детей же обсадит огород подсолнухами, бобом и горохом. Пусть забавляются. Под окнами разведет желтые георгины, пустит по штакетнику фиолетовый вьюнок, цепкий хмель. Для Трофима посадит рядку табака, среди его развесистых дурманых

листьев будут в полдень прятаться от жары, купаться в песке куры. А чтоб в доме совсем запахло жильем, как только разживутся, купят корову. Трофим любит молоко... Где он сейчас, Трофим? За все годы войны по пальцам можно пересчитать, сколько раз видели его. А дети и не представляют, что у них есть отец. Диме только раз довелось посмотреть на батьку и то смотрел больше на винтовку, чем на него. Винтовка ему уже дороже, чем батька. Трофим постучался в полночь в окно, ворвался в комнату, в камешник сунул ружье, обдал запахом самосада, пороха и пота, скользнул щетиной по лицу, на минуту припал к детям:

— Береги.

И исчез.

Ульяна прислушалась. Тонко посвистывала, забыв про сторевший дом, старуха, бесшумно и ровно дышал сын, подтянув колени к подбородку, спала дочь. Мать склонилась над ее распаренным потным личиком, зацеловала, заласкала его губами, притянула к себе послушную и легкую, будто птичью, головенку, припала к ней губами. «Ягодка моя несчастная, лобик мой чистый, глазки ясные, долюшка твоя горькая. Все верну тебе, все отдам. И папа будет у тебя и мама. И долго-долго мы будем с тобой жить. Молочком одним тебя поить буду. Пушинке не дам сесть на тебя». Погладила сына. Он встрепенулся не просыпаясь, обхватил руку матери, прижал к себе.

Ульяна подождала, пока он успокоится, осторожно высвободила руку и поднялась. Вышла на крыльцо глянуть, что творится на улице.

Ночи как и не бывало. Но не было и дня. Полуразбитые дома со слепыми провалами вместо окон и дверей, сплошными провалами стен то вырисовывались как на картинке, то пожирались теменью. И эта промозглая молчаливая темень была страшнее слепящего света разрывов. Свет разрывов гас мгновенно, но в эти мгновения от подступившего к деревне леса бежали, все удлинняясь и удлинняясь, темные извивающиеся тени, тени бежали и от уродливых в ночи домов. И женщине казалось, что тени эти живые существа и они в любую минуту могут дотянуться до нее, обвить и смять.

Уже закрывая дверь, у порога наступила она на что-то мягкое и хрусткое. Присмотрелась. По полу к щели в двери шли мыши. Шли густо, впритык, одна к другой. Ульяна прикусила губу, чтобы не закричать. Она боялась мышей, но тут не побрезговала, наклонилась, перекрыла им дорогу руками. Мыши ползли к свежей струе воздуха, попискивали, налезая одна на другую. Женщина шурнула рукой, отбросила их на середину комнаты. Но они тут же снова поползли.

— Куда же вы,— шепотом, боясь своего голоса, спросила Ульяна.— Куда вас несет из тепла?

А мыши шли и шли деловито и напористо.

— Не пуцу! Не пуцу! — заплакала женщина, и как мать, которая пытается удержать в доме сына, как покинутая жена, умоляющая мужа не сиротить детей, она легла поперек порога на пол. Но потом поднялась и обессиленно пошла к нарам.

Хотела лечь рядом с детьми, но, побоявшись потревожить их, разбудить и говорливую старуху, полезла на печь.

Первым ее желанием было немедленно бежать из этого дома. Но теперь она решила дожидаться утра. Иначе все пришлось бы рассказывать старухе, а говорить с ней у Ульяны не было сил и желания.

Она села на краешке печи, свесив ноги к полатам. На какое-то мгновение почувствовала себя девчонкой, сидящей на обрывистом берегу деревенской речки, улыбнулась, попробовала даже побол-

тать ногами. Но тяжелые яловые сапоги чиркнули подковами каблучков о кирпич. И женщине стало обидно за эти тяжелые яловые сапоги, за теплый, но нелепый и тоже тяжелый бушлат, под которым уже чешется бог знает когда мытое тело. Она застыдилась самой себя, загнанной ни за что ни про что бог знает куда, не нужной никому, кроме детей. Забилась в самый угол печи, оперлась спиной о стену и, чуть скосив глаза, принялась осматривать в прощеек между камином и стеной избу.

Сквозь этот просвет Ульяне хорошо было видно окно. Стекла его почти все время мигали красным светом, как светофоры. За каждой вспышкой раздавался удар, и стекла позванивали, будто в ознобе. «Выдержит или нет до утра? — подумала Ульяна и вспомнила про свой дом. — Целы ли в нем сейчас стекла? Забыла, совсем из головы выпало закрыть ставни». Свет, вспыхнувший в окне, выхватил из темени дверь, камин. Ульяна заметила открытую вьюшку и задвинула ее. Закрыла глаза и задремала.

И приснилось ей, что она вовсе не спит и будто она дома, в постели, в своей комнате. По правую руку от нее лежит сын, по левую — дочь. Дети спят. А на улице бушует гроза, в окна бьют молнии. А у нее в доме не закрыта вьюшка. И надо подняться, закрыть ее, чтобы через дымоход в дом не влетела молния. Но она не может подняться: только надумает — как зашевелятся дети. Сын с правой стороны клонит ее голову к подушке, дочь — с левой. И оба плачут, умоляют сквозь сон: «Не уходи, мама, не уходи. Как мы без тебя жить будем?..»

Молния уже нацелена на ее дом. Большой и громадный человек не человек — черт с лысого болота выпустил молнию на черную ладонь и потехи своей ради направил в Ульяну. Надо закрыть вьюшку, но Ульяна не может оторваться от детей, канатами привязали они ее к себе. Она смотрит в черный зев печи и видит в нем свою смерть: нагнала все же, настигла. «Погоди, — думает Ульяна, глядя на свою смерть. — Сейчас закрою вьюшку и заслонку, и жарься в печи».

Ульяна приподнимается, но детский воздушный красный шарик уже в предпечье. Выпрыгнул из черной и густой, как собачья шерсть, сажки, подскочил, свалился на пол и покатился волчком, нечистой силой поплыл по дому к кровати. Жаром обожгло шею...

Ульяна взмахнула руками, обхватила детские головенки, чтобы не повыжгло им глаза, притянула к своей груди.

...Снаряд ударил в лущняк двери. Выворотил дверь, разворотил камин. Осколок попал Ульяне в шею. Взрывная волна подняла и бросила ее на деревянные полаты, на детей, словно предоставляя им в последний раз взглянуть на свою мать. А смерть ее была мгновенной и легкой.

Она лежала на деревянных нарах, подтянув к себе ноги в тяжелых рыжих сапогах, среди тряпья и хлама, откинув на темную рогожку бескровное спокойное лицо. Синие и красные сполохи беспокойной ночи судорожно, но безразлично ощупывали ее начавшее уже светлеть и заостряться лицо. Ребятишки ползали по телу матери, кричали и плакали. Хватали неподвижные руки, стремясь поднять ее и поставить на ноги.

Старуха соскочила с полатей еще до того, как на них рухнуло тело женщины. И сейчас она смотрела на детей. В распахнутые, без стекла окна било пламя горящей на огороде копны сена, и ей были хорошо видны наливающиеся синью губы женщины, синеющие от крика и плача лица детей. Руки их были в материнской крови, они терли ими глаза. И под щекам их, казалось, катится кровь. Старуха на своем веку насмотрелась всякого, и ей не то чтобы не было жалко

детей, она была безразлична к их судьбе. Она привыкла к смерти, как привыкают к смене времен года. Но такое она видела впервые и не могла остаться равнодушной, испугалась, забыла даже про свой сгоревший дом. Закрыла лицо руками, чтобы не видеть детей, и отошла к окну, пробормотала: «Пронеси и пощади», перекрестилась на пламя пожара и выбежала сквозь проем двери на улицу. Дверь была сорвана и валялась под кирпичами на полу.

Девочка, уставши, положила голову на руку матери, обхватила, прижалась к ней и уснула. Мальчишка еще некоторое время всхлипывал, потом поднялся и стал поднимать сестру. Но та цепко держалась за руку матери и не давалась ему. Тогда Дима закидал сестру тряпьем, сполз с полатей и пошел к выходу. Запнулся о кирпичи, упал и пополз по ним. У порога поднялся и, держась за лущняк, в последний раз оглядел горку наваленных на полу, серых от пыли и когда-то сжигавшего их жара кирпичей, истерзанную, но все еще белую печь, за нею темные, так пугающие его сейчас полати. На всю жизнь запомнил, как сфотографировал, чужое тело матери на них. Длинную белую-белую шею, темную рану на ней. Это была уже не его мать. Его мать не могла оставаться такой спокойной, когда он с Тамарой плачет и просит поднять ее. Она бы не выпустила его сейчас из дому, а эта лежит и молчит. Чужая женщина.

Дима уже знал, что на свете есть смерть. Он уже видел, как умирали старухи, старики, женщины, дети падали и не поднимались. Это было страшно. Но это были чужие ему люди. Детское сознание не могло вместить в себе смерть матери, этого не могло случиться никогда. Мать была его единственным посредником и единственной связью с миром. Детский эгоизм и ощущение беспомощности соединялись не только жалостью к себе, сестре, матери, но и обидой на мать, обидой на ее безразличие и неподвижность. Мать была необходима, чтобы взять на руки Тому, взять на руки Диму и пойти искать отца, хлеба, тепла. И надо было сию же минуту растолкать, разбудить ее; у Димы с Тамарой не хватало для этого сил. Надо было найти людей, надо было поднять мир на ноги, чтобы он вернул им мать.

Дима шагнул за порог. Копешка в огороде уже догорела. Ветер разметывал по снегу золу. Над землей продолжалась ночь.

Мальчишке стало холодно. Он сошел с крыльца и выбежал на улицу. За углом дома начиналась горка. То ли днем была оттепель, то ли от пожаров, но горка притаяла и сейчас была покрыта льдом. Дима попробовал съехать с нее, но поскользнулся и упал. Постоял в ложбинке, прислушиваясь к тишине, и начал подниматься. Опять раза три или четыре поскользнулся. И тут решил покататься. Мир, улица остались привычны и неизменяемы. Снег был холоден и мокр, ночь темна, вспышки от взрывов снарядов ярки, и сами взрывы громки. Все было таким же, как и до того, когда мать потеряла голос и перестала двигаться. Значит, будет и рассвет. А на свету все станет как прежде. И Дима, разогнавшись, покатился вниз. Ударил в лицо ветер и высушил его глаза. Под ногами хрустко и весело постреливал лед. Диму зашатало, заподбрасывало на наледях. Он расставил руки. Но не удержался и шлепнулся. А дальше катился на заднице, прижав к коленям пальто.

Внизу улица поворачивала, и на повороте мальчишку занесло в сугроб. Скорость пригнула его голову вниз, и, врезавшись в снег, он клюнул в него лицом. Засмеялся, стряхивая таявшие на носу снежинки.

Он торопился накататься, пока не начался рассвет и не вышли на улицу люди. Люди бы разбудили мать, и она стала бы ругать его за

то, что он протирает по льду последнее пальто и светящиеся, как сито, штанишки. Он подпрыгивал на ухабах, хватал горстями снег, толкал его в рот. Ведь это впервые он без надзора взрослых катался на горке. Но вот, готовясь к новому спуску, он заметил, как в ложбине мелькнули какие-то тени, и Дима что было сил побежал вниз к ним.

В ложбине было пустынно. Но Дима видел, что тени скрылись за домом, и несколько раз обошел его. Никого. Постоял, прислушался. И скорее почувствовал, чем увидел, что кто-то опять идет по дороге. Он снова выбежал на улицу. Три человека в белом и четвертый в сером, пригибаясь к обочине, уходили от него. Дима бросился бежать за ними. Люди тоже надали. Тогда он закричал. И дорога стала пустынной. Дима испугался. Он бежал что было мочи и кричал, кричал. Падал, обивая до крови об острые хряпы льда руки, и не слышал боли.

Кончилась деревня. Дальше было поле и лес. Бежать было некуда. И Дима остановился, повернулся и тяжело зашоркал сапогами, пошел в деревню.

— Стой! — настиг его мужской окрик.

— Дяденька!.. — завопил Дима.

— Тихо, — пригнул его к земле чей-то шепот.

Дима боязливо поднял голову, увидел перед собой трех солдат в белых маскхалатах, с автоматами наперевес, увидел красные звездочки на их ушанках. И не выдержал, завопил снова:

— Дяденьки!...

— Тихо, кому сказано? — Но этот шепот был уже не страшен Диме.

— Что тебе, малыш? — спросил его один из солдат.

— Дяденьки, — приглушенно, но радостно заговорил Дима. — Немцы маму мою убили. Лежит, не поднимается. И сестра с ней. Сестра живая.

Из-за спины одного из солдат вышла Настаса и молча прижала Диму к себе, к холодной и сырой фуфайке. Дима заплакал.

Красноармейцы о чем-то засовещались, потом заспорили. Уже подбирался рассвет. И Дима старался рассмотреть лица солдат: добрые они или злые. Но света все же было мало. А солдаты были так одинаковы в своих маскхалатах и очень походили друг на друга.

— Оставайся! — приказали они Настасе.

— Родня, — глухо ответила она им. — Там еще одна живая душа, девочка.

Солдаты повернулись и пошли к лесу.

— Стойте, — крикнула им вслед Настаса, — впереди чертова прорва, трясина, болото! Вам одним не пройти.

Солдаты остановились.

— Я управлюсь до света туда и назад. Пойду с вами.

— У тебя дети! — уже на ходу отозвался один из солдат.

— Всюду дети, — сказала Настаса. — Все мы дети.

— Нет, — ответил все тот же солдат. — Оставайся с детьми. У меня тоже двое.

— Возьму грех на себя, пойду с вами.

Настаса оторвала от себя ручонки Димы, поставила его на землю и оттолкнула.

— За деревней стог сена, — сказала она солдатам. — Он будет гореть часа три. Мальчик переждет нас там. При хорошей ходьбе за это время управимся...

— Ну, что, мужик, — сказал Диме крайний из красноармейцев. — Пойдем пока до стога с нами, да не реви.

— Я не реву... А мама? Тома?

— На, поешь,— перебил Диму все тот же солдат.

И Дима вспомнил, что голоден, очень голоден, что больше всего на свете он хочет сейчас есть. Он протянул руку. Ему вложили в нее кусок хлеба.

Хлеб был посыпан сахаром. И он проглотил его, даже не заметив. Солдаты взяли Диму на руки. Он облизывал липкие, в сахаре пальцы и удивлялся, почему хлеб был сладким, а пальцы солеными.

Солдаты остановились возле стога сена. Один из них чиркнул спичкой и поджег стог.

— Жди нас здесь,— сказал он Диме.— Жди. Утром мы вернемся в деревню. Грейся, мужик.

Настаса так и не подошла к нему, не раскрыла рта. Первой и тронулась она по целику к лесу.

Завороженный разгорающимся сеном и теплом, Дима ничего не слышал и не видел. Когда обогрелся, никого уже рядом с ним не было. И горящий стог сена и жар от него стали страшны ему, страшны были и начинающийся за деревней в поле день и одиночество. Пугала уходящая вдаль, в поле, в лес ровная цепочка следов. Он бросился бежать по этим следам. Но солдаты шагали широко. И Дима тут же утонул в снегу, пополз, потерял шапку. Захлебываясь от обиды и слез, возвратился к огню.

Он не помнит, как долго горел стог сена. Может быть, он спал. Но когда огонь погас, Дима пошел в деревню. Деревня была все так же пустынна и горела. Утренний бойкий ветер разметал золу, раздул пригашенные головешки и разнес огонь по домам и сараям. Дима бродил у пожарищ, пытаясь разыскать дом, в котором были его мать и сестра. Но все дома были похожи друг на друга и нисколько не похожи на тот, из которого он ушел ночью. Дима быстро устал. И вскоре уже просто так брел по притихшей и пустой деревне. А дальше он не помнит, что с ним было...

— У меня она перед глазами как живая...— говорит отец.

Я молчу. Мне надо подняться, уйти.

— И ни одной нигде ее фотокарточки,— продолжает отец.— Документов не нашел...

— У нее были рыжие яловые, с длинными голенищами сапоги.

— Да... А ты откуда знаешь? Я сам сшил.— Отец рывком поворачивается ко мне.

— Паспорт и документы были за голенищами этих рыжих сапог. Паспорт потертый, так потертый, что корочка казалась байковой, зеленая, мелкие нитки во все стороны. А откуда помню, сам не знаю. Память...

— Ты что же не сказал мне сразу, где документы?— Отец хватается за плечо.

— Война... Ты Настасу простил?

— Сам не знаю! Ее счастье, что она погибла.

— Я, наверное, к тебе больше никогда не приеду,— говорю я отцу.

Мы долго молчим. Потом отец начинает рассказ:

— Я нашел и похоронил твою мать через две недели после того, как ее убили... Две недели не дожидаясь нашего прихода. Мне дали всего три часа. Переодеть, обмыть не смогли. Не смогли снять сапоги...

— Хватит,— прошу я отца.

— Подожди... Томочку нашли мертвой под печью... На полу расстелен теплый клетчатый мамин платок. А Томочка под печью и на щеках замерзли слезы...

— Ты это мне нарочно рассказываешь?

Я вскакиваю. И нет для меня теплого ясного дня. Нет надо мной синего светлого неба. Опять разрывы снарядов, запахи гари и пороха. Я существую одновременно в разных возрастах и не знаю, в каком из них больше моего «я». Оборванный, перемазанный кровью мальчишка — во мне живет его память. Подросток-пастух с увазанным в навозе березовым прутом — это моя злость или, скорее, озлобленность голодного и холодного времени, настырность и совесть. Собственно я — это первый встречный прилично одетый парень с городской улицы, внешне даже самодовольный и преуспевающий. Все это вмещается в меня, не придумано мной. Бывают минуты, когда все вместе они берут меня в кольцо, которое не способно прорвать все солдаты мира. И тогда во мне разбивается все сегодняшнее благополучие, оставляя место только правде. А самая беспощадная правда — это правда о себе. И я сейчас в ее кольце, в кольце всех моих «я», собравшихся из разных времен.

— Ты сегодня заговоришь, Дима... Пусть твоя память объяснит меня в настоящем,— обращаюсь я к себе, к мальчишке из далекого предракетного дня.

Мальчишка молчит отчужденно и жалко, лишь укоризненно, не мигая, смотрит красными кроличьими глазами.

— Крутишься, как гад на угольях? — поддевает меня подросток-пастух.

— Кручусь... Жжет. Не могу вспомнить, не могу понять, действительно ли в тот раз я пытался спасти сестру. Убежал из дому, чтобы позвать людей, или просто сбежал? Сбежал, спасая себя.

Мальчишка молчит. Его красными кроличьими глазами смотрит моя беспощадная память. А тот, взрослый и самодовольный, стоит в стороне и ухмыляется всепонимающе. Ненавижу его в эту минуту. Его час уже прошел. Это он, не я, спорил с отцом.

— Ты спасал и спасался,— разумно объясняет самодовольный.— Диалектика.

— Да. Диалектика. А моей сестре было только два года, и она ничего не знала о диалектике. Она замерзла под печью, как цыпленок, на полувсклипе. А я живой. Мне иногда говорят, что все, о чем я рассказываю, вспоминаю, я придумал. В четыре, даже в пять-шесть лет я не смог бы столько запомнить. Но я сам помню все. И это нелегко. Особенно стало тяжело теперь, сейчас, когда я понял, что смог бы спасти сестру...

— И погиб бы сам! — издали, уходя, кричит тот, самодовольный, кем я чуть было не стал.

— Может быть, я попросту сбежал от мертвой матери, от замерзающей сестры? Как позднее, после войны, сбежал из отцовского и мачехино дома?..

— Но тогда, после войны, никого не надо было спасать,— говорит пастух.

— Никого, только себя... Мать погибла из-за меня, Тамара замерзла из-за меня, отец дважды совал голову в петлю из-за меня. А я жив. Жив и почитаем. Пью вино, ем высшего сорта хлеб, балагурю. Когда же настанет мой черед расплачиваться за все? Чем? Тем, чтобы не делать никому добра и зла? Так нет, понимаешь, нет на земле подобного бездеятельного существа.

— Но отец ведь тоже виноват в том, что ты сбежал из дома,— говорит подросток-пастух.

— Я сам так думал, пока у меня не появился на свет сын.

Часто перебираю в памяти свою жизнь. Но в ней так мало, почти нет таких минут, где от меня требовалось бы все. Все мелкое, жи-

тейское, обычное. Работа, учеба, учеба, работа... И неизвестно, как я себя поведу, когда придет тот единственный случай, который потребует меня не по частям, как сейчас, а всего сразу. Не придется ли мне снова разрываться на тысячи частей и казнить себя?

Шахта

Я шел по основному штреку, который знал так, что мог бы пройти его, выключив свет. Без света мог бы перебраться через все мостки и переходы у конвейеров. Я наперечет знал все поломанные доски на тротуаре, знал каждую нишу и каждый пускатель в них. Эти пускатели я устанавливал сам, вместе со всей бригадой ладил мостки и стлал конвейера. Все мне в этом штреке было знакомо и привычно. И шел я по нему неторопливым шагом, будто в гости, как всегда ходят шахтеры на работу.

До моих монтажников оставалось еще с километр. И тут я поймал себя на том, что тороплюсь. Перебираясь через переход, у последнего конвейера я поскользнулся, сломал поручень и едва не упал на ленту транспортера. Однако не остановился, будто ничего и не случилось. Только за переходом, когда уже не стало слышно повизгивания роликов ленточного конвейера, я испугался и замер. Но ничего не понял. И снова пошел, вернее, побежал дальше. И снова едва не упал. Запутался в штанине брезентовой робы, которую разорвал у перехода. Сел на тротуар, переобулся, заправил штанины в сапоги. А пока я был занят этим, перед глазами все плыла и плыла черная резиновая лента конвейера, груженная углем. И на этой ленте в черной массе угля, проползающей под низкими мостиками, я увидел себя — лента везла меня, а я барахтался и никак не мог встать на ноги. Не знаю, что для меня было страшного в том, что я увидел себя на транспортере. Хотя это строжайше и запрещалось, но мы, монтажники и забойщики помоложе, часто въезжали в основной штрек на ленте конвейера. Что испугало меня сейчас? Откуда страх?

Я побежал. Нет, с моими монтажниками ничего не может случиться. Что может случиться с Казеруком, Беленьким, Дроздом? Ведь я знаю их с детства, мы же друзья. После ФЗО даже расстаться не захотели и работаем на одной шахте, в одной детдомовской бригаде.

Но и этот самый убедительный для меня довод не мог заглушить тревоги. Я ни на минуту не забывал, что сегодня у моих монтажников за все три года работы в шахте самое опасное задание. Им надо было в старой, заброшенной, местами уже передавленной выработке разобрать и перенести в новую, только что нарезанную лаву скребковый конвейер. Я корил себя за то, что согласился на предложение начальника участка заменить ушедшего в отпуск механика. Это из-за моей новой должности я сегодня задержался с выходом в шахту, закрывал наряды. И без меня, без бригадира, погибли монтажники. Я уже почти видел, как это произошло. Все Беленький, торопливый Толик Беленький. С двухпудовым рештаком на спине он полз через передавленную выработку, торопился, ему было душно. Выработка почти не проветривалась. В нос бил запах сероводорода и гниющего дерева. Беленький задел рештаком прогнившую стойку. Стойка переломилась, на Толика рухнула огнива и пошла порода.

«Нервы. Все нервы. Слышишь, все нервы!» — закричал я все той же стойке и ударил по ней кулаком. Это весна. Я обхватил стойку обеими руками. Мне надо было успокоиться. Я вглядывался в черную шахтовую плесень, оплевшую дерево, пока у меня не закружилась голова... В этом году была очень длинная зима. И все время морозы

под пятьдесят. А когда морозы и туман, и нет долго солнца, и все зима и зима, нервы не выдерживают.

Все, что я говорил себе, было правильно. Более того, весна для шахтеров такая же страдная пора, как и для хлеборобов. Весной всегда горит план. И начальство объявляет выходные дни повышенной добычи. А тут еще паводковые воды. Сквозь шурфы, штольни, а то и просто трещины они врываются в шахты, и если и обходится без несчастий, то все равно работать становится опасно.

А в эту зиму снегов навалило в логах за восемь метров, и таяли они весной высокосного года небывало дружно. Вот-вот должна была тронуться река. И наш шахтерский поселок еще с зимы был поделен на участки, на каждом из них были спасательные команды.

Весной, кажется, и сам воздух, которым дышали шахтеры, был пропитан ожиданием тревоги, неизвестно откуда подкрадывающейся опасности. Во всем, конечно, были виноваты долгие месяцы зимы, работа под землей при скудном свете шахтерской лампочки и скрытая, запрятанная за семью печатями тоска по твердой, промороженной или мягкой, раскисшей земле под ногами.

Шахтер — это, конечно, и почетно и гордо. Но шахтер — человек. Он зачинается и рождается под небом, солнцем, для жизни на земле, где поют птицы, идут дожди, падают снега, на деревьях набухают почки, а работает он в подземелье, и жизнь его проходит поэтому в скрытой мечте по солнцу и свету, по зелени трав.

Говорят, что в конце концов шахтер так привыкает к шахте, будто срастается с ней. К шахте, по-моему, привыкнуть невозможно, привыкают к работе в ней — без сквозняков, дождя и ветра, и, привыкнув, некоторые становятся чудаками, разводят рыб, канареек, собак, кроликов и кактусы. Мы, монтажники, не так глухо, как забойщики или проходчики, законопачены в шахту. Болтаемся где-то между землей и подземельем. Сегодня ремонтируем насос на поверхности, завтра стелем конвейер под землей. Забойщики не принимают нас всерьез. Мы для них шараш-монтаж, шарашкина контора, сегодня помонтажу, завтра полежу, нам, говорят они, абы пень колотить, только б день проводить. И это неприятно. Вечная перемена климата к весне выматывает нас и наполняет тоской и беспокоемством.

Я все это хорошо понимал и все-таки опять бежал. Вот и ходок. Два ряда мокрых и ржавых рельсов, распахнутый шлагбаум, раскрученные, уходящие вниз по ходку, в темень, тросы лебедек. Сюда, к лебедкам, мои ребята выносили рештаки, цепи, головки конвейера, грузили в вагонетки и спускали еще глубже вниз, к новой лаве. Спускали... значит, в старой, заброшенной выработке с ними ничего не случилось. Все было тихо и спокойно. Струя воздуха била мне в лицо, и в нем был новый, незнакомый и непонятный для меня, не шахтовый запах. Напрасно я втягивал воздух — кроме того, что запах тревожный, не шахтовый, я ничего не мог понять.

Впереди посветлело. Свет был расплывчатым и далеким. Так неярко и серебряно светится первый иней в темной осенней ночи на уже голой осенней земле. Это горели лампочки на касках моих монтажников. Судя по силе света, они все были в сборе. Я пошел еще тише. Круг света все увеличивался и приближался. Наконец я заметил фигуры людей. Издали пересчитал лампочки: восемь светлых и три красных точки. В бригаде у меня было восемь монтажников, а на три красных точки я в первые минуты не обратил внимания. Мало ли что это могло быть. Сигнальные фонари, которые подвешивают к последней вагонетке, тоже ведь красные. Я был рад и полуслеп, хотя тревога еще не прошла. «Но что бы ни случилось, — думал я, — все восемь живы. А остальное не страшно...»

Исковерканные, едва ли не повязанные в узлы рештаки я заметил после, когда зашипели под мокрыми каблуками сапог Казерука и Дрозда, папиросы. И удивился я не папиросам, не искореженным рештакам, не той силе, которая вязала их в узлы, а мертвому синему отблеску порванного металла. Это был естественный цвет железа. Но в шахте я видел рештаки и таскал их на своей спине только черными от пыли или ржавыми от сырости. А сейчас ржавчина была во многих местах содрана.

Папиросы уже были загашены. Из-под каблуков Дрозда и Казерука выглядывали лишь белые их мундштуки. Я еще ничего не понимал.

Я посмотрел на Свидерникова. Он все еще курил, неторопливо и вкусно, как умеют курить только шахтеры. Беда смотрела на меня красным глазком его папиросы. Папироса — открытый огонь. А для взрыва шахтового газа метана, угольной пыли достаточно искры. Благо что шахта у нас новая, неглубокая и открывается штольной — газообильность небольшая, но пласты мы обрабатываем газоносные. Достаточно искры...

— Погаси! Немедленно погаси папиросу!..

Я кричал на Свидерникова, но еще ничего не понимал, а только соображал, как же все у них произошло, откуда эти груды искореженного металла.

Значит, тормозные... Колодки сгорели, вагонетки побежали. Один... или даже двое из них открывали шламбаумы... У Дрозда с Казеруком белые даже под угольной пылью лица. Значит, они открывали шламбаумы, а вагонетки бежали... Это не каждому дано выдерживать. Я знаю, что это такое. Месяца два назад по уклону за мной гналась приводная головка конвейера. Она настигала меня с воем идущей на землю бомбы, плавила лед, жгла обледенелый тротуар. Я бежал от нее на полусогнутых, ноги подламывались. Головка, двести килограммов железа, шипела и выла за моей спиной. Я боялся не того, что она сшибет и перемелет меня, мне казалось, что за моей спиной рушится выработка и запечатывает меня. Обвал догонял, а впереди был открыт гезенк, яма в двадцать метров. Из нее уже бил свет, и бежать было некуда. У меня погасла лампа. Я прыгнул и ударился каской об огниву, уцепился за нее руками, бросил на нее свое невесомое, чужое тело и повис. Головка прошла подо мной как змея. Я не мог сам отцепиться от стойки, разжать руки. Я боялся и света и темноты. Мне казалось, обвал все же произошел и я запечатан в выработке, как в мешке.

Так было, наверное, и у Казерука с Дроздом. Шесть вагонеток на повороте выскочили из рельсов. Не будь поворота, сорвавшиеся вагонетки догнали бы и раздавили ребят...

А Свидерников все курит.

— ...Сука, ты погасишь папиросу? — устало талдоню я.

Свидерников прицениваясь смотрит на меня. «Что ему от меня надо? — думаю я.— Да... У нас ведь с ним старые счеты. Но неужели он и в эту минуту помнит о старом... Он ведь знает, что я не скажу ему ни слова, знает, что я не обвиню его за спуск шести вагонеток сразу. По правилам техники безопасности разрешается спускать только по одной вагонетке по ходку. Хорошие, умные правила. Но ведь хочется перекрыть норму. Заработать. И ни один самый что ни на есть осторожный монтажник не станет спускать по одной вагонетке. Я тоже. Не шесть, конечно, сразу, но и не по одной». И Свидерников знает меня. Он смотрит на топор, воткнувший в стойку над его головой.

— Слабак ты, Вася! — кричу я Свицерникову. — Разбабился, раскурился, слюнтяй...

Это самое обидное для него. Он ведь первый парень по поселку, самый сильный и смелый. Свицерников не может терпеть меня еще давно, с первой встречи, когда в этот поселок мы приезжали из ФЗО на практику. Шахтерское общежитие — длинный и желтый барак был вполонину окон завален снегом. В комнатах хоть собак морозь. А у шахтеров как раз была получка. Они ходили в майках по коридорам, довольные и веселые. И Свицерников вызывал всех бороться.

— Кто положит Васю? Вася ставит тому бутылку.

Бутылка, еще не початые пол-литра «московской», была у него под мышкой.

— Ну, кто? Нет смелых... Не родился еще человек, который Васю положит...

Мне было очень холодно. В ФЗО я занимался борьбой. Я заступил дорогу Свицерникову; чтобы разглядеть его лицо, мне пришлось встать на носки. Распластав крылья, на волосатой груди Свицерникова бил в глаза сизый орел, по покрасневшему телу перекатывались тугие бугры мышц. И я почувствовал себя маленьким и хилым, оголодавший и охолодавший щенок, жмующийся к теплу человеческого тела. Я хотел уже отойти. Но Свицерников расхохотался.

Мы схватились в полутемном коридоре. Он хотел меня тут же придавить, смять, но я стоял на ногах крепко. Тогда он оторвал меня от пола. Высоко в воздух взлетели мои ноги, и девяносто килограммов отдающих сивухой мяса, костей и мышц обрушились на меня. Вскрикнули половицы, что-то оборвалось во мне, сердце готово было выпрыгнуть из передавленной грудной клетки. Но я выбрался из-под потного мокрого тела, ушел на мост, уполз к дивану. Не дал подныть Свицерникову и провел прием. Самый простенький, но надежный — замок. Поймал его шею и сдавил ее, заломил к груди. Он захрипел, но не сдался. Я вложил в прием всю силу. Свицерников взвыл и лег на лопатки...

Он отдал мне бутылку, но руки его дрожали, а сощуренные глаза были злы и трезвы.

— Васю положил, фезеушник... Гляди, фезеушник...

Руки его дрожали и сейчас. А в глазах такая ярость, что я испугался. Он глыбой сидел на раздавленном рештаке, и я чувствовал, как в этой глыбе под неуклюжей темной шахтерской робой коченеют тугие мышцы. Нет, сейчас я бы ни за что не стал с ним бороться, не стал его раздражать. Вася Свицерников — шалый парень, об этом знают все на шахте. Знает сам начальник шахты и обходит его стононой. Вася гонял начальника в его собственном кабинете. Тот сиганул из кабинета через окно.

Но Свицерников сидел и курил.

— Сука... — вспомнил я и бога и богородицу. Подскочил и выдернул, вывернув Свицерникову губы, папироску. Я топтал ее сапогами, как топчут гадюку. Был к Свицерникову спиной, но чувствовал его, как подраненный зверь чувствует охотника. Едва-едва качнулся свет в выработке — я тут же, не разворачиваясь, присел. Над головой сверкнуло лезвие топора, врубилось в уголь, звякнуло об него, и топор упал у моих ног. Тихо и мягко осыпались комки угля.

— Хорошо, — непонятно к чему сказал Дрозд и цыркнул слюной через щербину.

— Да, ничего, — поддержали его Казерук и Беленький.

Я поднял топор и пошел с ним на Свицерникова.

— А может, не надо? — остановил меня тихий голос Дрозда.

Я видел только широко раскрытые глаза Свицерникова, не ми-

гающие и не просящие пощады; черные густые брови дошли почти до середины лба и оставовились.

— А может, не надо? — опять сказал Дрозд.

Я бросил топор в нишу.

Остаток смены мы крепим выработку. Вторую смену мы стелем конвейер и прячем в завале мятые рештаки. Уже на-гора, когда мы выходим из штольни и идем по галерее, сквозь щели которой тянет сыростью и прелью, весной, Свидерников трогает меня за плечо:

— Ты второй раз положил меня, фезеушник...

— Тебя били когда-нибудь? — спрашиваю я Свидерникова.

— Ха... — невесело улыбается он. — Меня вешали... У меня был тяжелый медный крест... С Закарпатья... Крест на медной цепочке. Хорошо, цепочка не выдержала и оборвалась...

— За что же тебя вешали?

— А так, хохма была... Смотрели, выдержит ли цепочка. Ребята пари заключили...

— А если бы ты попал в меня топором?

— Что, испугался?

— Испугаешься... Я еще на основном знал, что ты бросишь в меня топором, — говорю я Свидерникову, — и что ты куришь в шахте, тоже знал.

— Почему же не вызвал надзора? На основном ведь есть телефон.

— Да, телефон — это всегда удобно, — соглашаюсь я, — снял трубку, крутнул диск. Тут тебе и «скорая», и милиция, и пожарная. Все что душе угодно. А сам ты в своем доме вроде бы и ни к чему. Посторонний, как у нас говорят, пришей кобыле хвост.

— Не понимаю... Ты бы лучше дал мне в морду. И делу конец. Потом бы выпили.

— И опять набили друг другу морды. Ты мне.

— Нет, я себя знаю.

— А я себя не знаю... Но спичек в шахту ты больше, Вася, не возьмешь. Папиросы можно, а спички — нет.

— Панибратство разводишь?

Начальник участка Вениамин Михайлович Карев смотрит мне в глаза. Я тоже смотрю ему в глаза. Так уж принято у шахтеров: любой мало-мальски серьезный разговор ведется с глазу на глаз. Слова роли не играют. В шахте быстро учишься взглядом и материться, и обнимать, и проклинать. Под землей на выражение этих чувств не всегда есть время. Язык часто оказывается совсем ни к чему. Он нужен только новичку.

— Почему панибратство?

Нас разделяет стол. И на его потерявшем цвет, прожженном во многих местах дерматине мы словно скрестили руки и пробуем силу. Кто победит, чья рука дрогнет первой и поползет вниз. Карев смотрит на меня вприщур, шея его напряжена, плечи поданы чуть вперед, локти сползают со стола, а кулаки на весу, глаза его давят меня. Если это игра, то он сейчас дожимает мою руку. Она вот-вот ляжет на стол. По правилам мне надо склонить и голову, спрятать глаза и начать каяться. Каяться я не хочу. Упрямство побежденного бросает меня в последнюю атаку. Атаку, в которой бьют тебя же. Я знаю это, у меня есть опыт, потому что упрямота у меня излишек.

— Иди ты, Карев, знаешь, куда... — говорю я.

— Ага, все же стыдно, — торжествует Карев. Он уверен, что выиграл. Убирает руки со стола, выхватывает из нагрудного карманчика костюма расческу и причесывается. Волосы у него русые и мягкие. Мягкие волосы у многих шахтеров, от ежедневного мытья. Но у Ка-

рева они прямо-таки пушистые. Наэлектризованные расческой, они летят за ней, обвивают ее и тянутся, как паутина, за рукой. Их сухое потрескивание доставляет Кареvu удовольствие — маленькие фанфары победы.

Я слежу за полетом его рук, за выражением его лица, будто вижу Карева впервые. В общем, так оно, наверное, и есть. До этого я особенно не замечал его. Замечал ровно столько, сколько надо по работе. А сейчас он для меня словно сошел с картинки. Карев картинно причесывается, картинно пострижен и розовощек. На его щеках легкий воробьиный пушок. И эта его картинная обыденность и безликость успокаивают и отрезвляют меня.

Что, собственно, произошло? Только что закончилось участковое собрание. Я смещен со всех своих должностей — и механика и бригадира: за плохую воспитательную работу в бригаде. После аварии мы закрепили выработку, поставили все стойки, перетянули затяжками. Попрятали, побросали в завал все негодные рештаки и лесины. Но кто-то все же поставил Карева в известность о происшествии в ходке. И Карев бурно зареагировал. О том, что монтажники курили в шахте, он не знает, но в курсе, что Свидерников бросил в меня топором.

— Механик, — говорит мне сейчас Карев, брезгливо растягивая губы. — На него с топором, а он панибратство разводит. И пить бы с ним пошел?

— Пошел бы и пить. Не с той стороны ты меня пугаешь.

Карев подается вперед, наваливается грудью на стол. Я почти чувствую на себе его дыхание. Мы смотрим в упор друг на друга. Взгляд у него твердый, немигающий, выражение глаз жестокое и одновременно чуть грустное. Он жалеет меня.

— Неглупый парень, а никак не поймешь, что пришло время дать Свидерникову острастку. В этом заинтересован весь коллектив нашей шахты. Свидерникову не место в нашем коллективе. У него это уже второй случай. Нашему начальнику было неудобно обращаться в суд. — Карев делает паузу, доверительно улыбается мне и продолжает: — Да и что тебе растолковывать?.. Повел наш старик себя со Свидерниковым, сам знаешь, совсем не по-геройски... Вот по этому самому ему неудобно в суд обращаться. Но это должен сделать ты.

— Ну почему мне на Свидерникова необходимо подавать в суд? Стань ты на мое место...

— А ты стань на мое, — перебивает меня Карев. — Побудь в моей шкуре. Начальник шахты на каждой планерке у меня спрашивает, работает ли еще на участке Свидерников.

— Слушай, Карев, ты помнишь хотя бы один суд между шахтерами одной шахты? Я тоже не помню. Не думай, я ничего не идеализирую. Но мне просто интересно это. В нашей бригаде работал монтажником парень, ты его знаешь. Был народным заседателем. И вот судили одного нашего шахтера. К заседателю делегации ходили. Не грозили, не уговаривали, а говорили, чтобы думал, когда приговор будут выносить, потому что работать и жить заседателю не в суде, а на шахте, среди шахтеров...

— Ты что же, трусишь? — обрывает меня Карев.

— Нет. Трусишь ты. На чужом горбу хочешь в рай въехать. Но я не к этому вел. Понимаешь, сегодня шахта с ее опасностями, особенностями, может быть, единственное место, где крепче всего сказывается солидарность и каждый человек должен себе отдавать отчет в своих отношениях с другими, быть порядочным. Со Свидерниковым я разберусь сам, без суда. Это как раз тот случай, когда суд не поможет.

Я ведь со Свицерниковым сколько уже лет рядом работаю, и он хороший работник. Для тебя же он просто шахматная фигура в твоей, как я понимаю, крупной игре.

Карев молчит и пристально и долго изучает мое лицо. Не знаю, что он находит в нем, но говорит подкупающе прямо и искренне:

— Ты расчувствовался. А сегодня время сильных людей. Сегодня на жизнь надо смотреть шире. Ты страшно категоричен. А кого сегодня интересует эта твоя категоричность? Ты утверждаешь прямо: Свицерников — хороший работник. Нельзя так. Я, например, начальнику шахты никогда не скажу: сегодня холодно. Я скажу по-другому: сегодня холоднее, чем вчера. А холодно ли? Это уже решать ему... Начальство считает, что Свицерникову не место в нашем коллективе. Вот так сейчас обстоят наши дела.

Я больше не в силах выдерживать принятый мной тон, креплюсь из последних сил. Разговор наш с Каревым не первый, третий день ведем мы его. И сегодня, когда он предельно откровенен, мне надо сказать ему все.

Мне не жалко Свицерникова, пусть он идет под суд. Он бросил в меня топором. Пусть отдадут его под суд Карев и начальник шахты, но не я. Не я...

Я ловлю буквально за хвост этот обрывок мысли, это жалкое «не я». Я готов вывернуть себя наизнанку. «Господи,— ужасаюсь я самому себе,— сколько подлости в тебе. хорошо, не похожем на Карева, праведном, правдивом, честном? А в чем же, в таком случае, заключается предательство? Ты ведь уже предал, предал Свицерникова».

— Карев,— я все еще уговариваю его,— остановись, хватит. Будем считать, что не было этого разговора. Оставь в покое Свицерникова. Да, он виноват. Да, его посадят, если я обращусь в суд. Но я никогда этого не сделаю, слышишь? Никогда. Я тоже, как и ты, хочу быть сильным. Но больше всего я хочу здороваться по утрам со Свицерниковым, со своими ребятами, с тобой за руку и не прятать глаза. Разве ты не знал в жизни минуты, когда тебе хотелось схватиться за топор? Ты и сейчас идешь на Свицерникова с топором. Остановись. У Свицерникова был гнев и растерянность. Ты же идешь на убийство хладнокровно. А ведь Свицерников не шахматная фигура.

— Ты мне тут гнилой либерализм не разводи,— осаживает меня Карев. И в голосе его больше нет подкупающих, задушевных ноток.— Я здесь поставлен уголь добывать. Ясно тебе это?

Его неистовость и напор клонят мою голову книзу. Но в последнюю минуту я с неожиданной для себя радостью кричу ему:

— А я ведь тебя знаю. Знаю, ты понимаешь?

— Еще бы,— оторопело бормочет Карев.— Три года вместе работаем.

— Нет, когда-то в детстве я с такою же, как у тебя, непреклонной готовностью и одержимостью стрелял по воробьям и ласточкам из рогатки. Я был похож на тебя. Первую птаху мне было жалко, жалко до слез. Как я хотел спрятаться от ее смерти, белой пленки на глазах, понуро раскрытого жалкого клюва. А потом в толпе подобных себе подростков бил по птицам как охотник-профессионал. То, что это гадко, что это убийство, я понял позднее. Но непосредственно в минуты убийства, перед тем как послать камень, на меня будто снисходило вдохновение.

— С воспоминаниями детства покончено? — спрашивает Карев и не выдерживает тона, срывается на крик: — Балаган мне здесь устраивать? Я могу и по-другому поставить вопрос...

— Нет, рук ты заламывать не умеешь, нервы шалят у тебя. Тебе

не кажется, что когда мы бьем других, даже справедливо, мы уподобляемся тем, кого бьем?

— Ну что ж, торопись подставить под топор голову еще раз. И стой, не шевелись, чтобы свидерниковы не промахнулись.

— Не обобщай и не передергивай, Карев... А ведь и Свидерников похож на тебя. Оба вы тоже в детстве начинали с рогатки. А теперь за топоры ухватились. Только ты похитрее его и покорнее. Свидерников идет с топором на того, кто ему насолил. А для тебя ничего не стоит занести его над головой любого, если есть выгода.

— Воц,— аккуратно выговаривает Карев. И добавляет: — Ты у меня будешь вкалывать и вкалывать как проклятый.

— Опять, Вениамин Михалыч, ты меня не с той стороны пугаешь. Это ведь для тебя, как я понимаю, работа — проклятье? Свидерников да ты — два сапога пара. В паре коренниками и пойдете. Объездим.

И я ушел в шахту. В паре со Свидерниковым. Карев был человек действия. Он позаботился обо мне со Свидерниковым лично. Дал нам индивидуальное задание. В закрепленном отработанном штреке догнival забытый всеми став ленточного конвейера. Ржавело железо — ролики, «стаканы», «стулья», по которым около года назад двигалась прорезиненная лента. Этого добра в шахте хватало, старье никому не было нужно. Но разговор с Каревым был уже закончен, я не хотел давать ему лишнего повода для торжества. Кроме этого, мне было жаль оборудования. Детдом, в котором я рос, находился в деревне, и мы видели в каждой железке, гвозде, обрывке проволоки смысл и цену. И над этим железом в штреке люди потели, теряли здоровье. Об этом я и сказал Свидерникову, когда тот заворчал и отказался выполнять «глупую лошадиную работу».

Другому монтажнику я, может быть, и постеснялся это говорить. В шахте с оборудованием, железом обращались вольно, размашисто.

— Сознательный какой,— продолжал ворчать Свидерников.— Хотел бы я посмотреть на твою сознательность после месяца такой работы. В получку.

Мы уже таскали ролики, «стаканы» и «стулья». Работа была не тяжелой, но нудной, больше ходишь, чем работаешь. Весу в этом металле немного, но много его и не захватишь. Мы особенно и не старались. К чему стараться, если и так ясно: задание издевательское. Ждали конца смены. В заброшенной выработке было сыро, железо и дерево почернели и осклизли. И мой спор с Каревым представлял сейчас совсем в ином свете. В самом начале я еще придумывал хлесткие ответы. Но уже после пятой или шестой ходки я остыл. Вся моя бравада казалась мне жалкой, а моя победа и моя правда — маленькими. Я мгновенно был поставлен на место, ничто в мире не изменилось. Я ворочаю железо, отрабатываю свой тариф. И так будет продолжаться изо дня в день. Стоит ли из-за этого портить нервы, когда можно жить спокойно и быть в почете?

Каждая новая ходка, каждый новый довод в пользу почета и покоя, здравого смысла и простой житейской мудрости копили во мне ярость. И этой ярости необходимо было выплеснуться, чтобы она не овладела мыслью, чтобы не потерять рассудок.

— Хватит,— сказал я Свидерникову после очередной ходки с металлом.

Он тут же согласился со мной.

— Мы перетащим все эти стулья, ролики, стаканы на основной штрек,— сказал я,— перетащим назло тем, кто послал нас сюда.

— Давай один,— сказал Свидерников.— Ты попытайся, а я посмотрю на тебя.

Свидерников сел на конвейерный став, я полез в завал за проволокой. У меня уже было все обдуманно. Из трех «стульев» я сделал какое-то подобие салазок. Это было нетрудно. «Стулья» напоминали полозья санок, только полозья эти загибались с двух сторон. Пару «стульев» я положил поперек своих санок. И стал нагружать их роликами и «стаканами». Сани получились что надо. Столько металла я, пожалуй бы, не унес на себе вместе со Свидерниковым и за три раза.

Я впрягся и заскрипел по скользкой, сырой почве выработки. С этим возом я обернулся уже три раза. Свидерников продолжал сидеть.

— Скотина,— сказал я ему без всякого напора, спокойно и тихо.— Я тебя сейчас прибью, ты уйдешь отсюда на бюллетень, если сейчас же не встанешь.

— Напугал,— сказал Свидерников и поднялся.— Если ты думаешь, что из благодарности за то, что я не попал в тебя топором, тебе можно говорить мне всякие гадости, что я за это буду обязан тебе по гроб жизни, то ты не знаешь Васю Свидерникова.

Мы со Свидерниковым упирались, как бурлаки на Волге. Срывали свою злость на железе. Каждый из нас старался нагрузить свои сани как можно больше. Проволока врезалась в тело, пот прошиб рубахи. Куртки и телогрейки мы сняли — пот тонкой струйкой сочился по хребту и ягодицам. Губы засолонели и разбухли. Разбухли и отяжелели от напряжения и ноги. Распарился и разбух от нашей работы старый заброшенный штрек. Мы ходили по его кремнистой почве, как трактор-колесник по булыжной мостовой. И от этих шагов срывалась и глухо шлепалась в грязь капель. Мы волочили за собой мертвое ржавое железо, сваливали его в кучу, отвязывали проволоку и бежали за новой порцией.

Так мне приходилось работать только в колхозе на уборке урожая. Там я шел на пшеничную солому с вилами, как на врага, потому что мне надо было накормить хлебом весь мир, потому что голоден был я сам. Сейчас же я таскал железо, чтобы отстоять свою маленькую правду и маленькую победу над Каревым, чтобы победить его второй раз — отработать свой тариф. Меня стремились поставить на место, ткнули мордой в эту вонючую выработку. Карев уже торжествует свою победу в полной уверенности, что мы со Свидерниковым не выполним наряд и ничего не заработаем. Переноска «стульев», «стаканов» и роликов стоит копейки. Но мы ткнем мордой его. Пусть идет проверяет нашу работу. И то, как я прожил сегодня день, что сделал,— это уже не так мало. Когда два человека так впрягаются в работу и их дыхание сливается, рвется от натуги, они могут еще оставаться врагами, но руку друг на друга едва ли поднимут. И железо, над которым они потеют, становится их союзником и посредником.

— Куда ты так торопишься? — хрипит Свидерников.— Рвешь, будто твоя жизнь в этом железе.

— Я читал,— отвечаю я ему,— что самый прекрасный день — это день, в котором человек живет.

— Так что же, у тебя и сегодня очень счастливый день?

— Нет, не то. Я хочу сказать, что в каждом дне, хорошем и плохом, человек должен оставаться человеком.

— А по мне, лишь бы выпить да поспать.

— Зачем же тогда таскаешь со мной железо?

— А в самом деле, зачем? — удивляется Свидерников.— Видимо, в том все дело, что мне неудобно сидеть, когда другие работают. А вообще про тебя мне только одно непонятно: ты детдомовец, слад-

кого нахлебался, как соплей, должен знать, что такое люди. Почему же такой жалостливый, только о добре и говоришь?

Мы уже собираем последние ролики и «стаканы». Идет последний час нашей смены.

— Не будь ты таким добрым,— продолжает он.— В жизнь, если не хочешь быть размазней, хочешь чего-нибудь достичь, надо вгрызаться всеми зубами.

— У каждого свой стиль,— говорю я.— Мы, детдомовцы, ко всему идем с добром. Наверно, как раз именно потому, что зла насмотрелись, наглотались до соплей. И поняли — злом ничего не добьешься. Кто несет зло — тот уже не человек, это только половина человека. А мы во всем хотим остаться людьми, отвоевать, взять обратно то, что у нас отняли,— детство. В детстве ведь нет плохих, там все хорошие. Я не знаю, но чувствую, у тебя тоже не было детства. Но не это еще самое страшное. У тебя не было и друзей. А у меня их очень много. Случись со мной беда — и все сто детдомовцев, с которыми я вместе жил, придут мне на помощь, потому что я им тоже помогал в трудную минуту. Был хотя бы просто рядом с ними. Такая у нас была семья. Мы учились быть друзьями и братьями, учились даже в набегах на чужие сады и огороды, учились верить друг другу, потому что семьи без веры нет. Со всем этим и пошли кто куда — на шахты, на заводы, в ФЗО. Тебя, Свицерников, я тоже знаю по детдому, потому что я тоже был таким, как ты. Первые дни в детдоме. От всех и каждого ждал пакости и первым лез в драку. И меня приручили добром, а не злом. Вот поэтому я и ценю добро. И добро, сделанное руками людей,— это железо, которое сейчас таскаю: ролики, стаканы, стулья...

— Мне уже поздно в детдом,— сказал Свицерников.— Поздно меня приручать.

— Если ты говоришь об этом, то не поздно.

— Я уже ненавижу железо, вот это.— Свицерников пнул ролик. — Карев сволоочь, он хочет сравнить тебя со мной, хочет, чтобы я снова взялся за топор. Но ты не бойся.

— За себя я не боюсь,— сказал я.— Я боюсь за Карева. Ты можешь пойти с топором на него.

— Пойду,— пообещал Свицерников.— Еще один такой наряд, и он у меня, как и начальник шахты, выскочит в окно. Там ведь почти такая же история была. Начальник шахты обещал аккордный наряд, а закрыл как обычно...

Мы бросили в общую кучу на основном последние ролики и «стулья», присели на них передохнуть. Наряд мы выполнили, но на-гора было еще рано. Смена еще не закончилась, и в ламповой от нас все равно бы не принял ни лампы, ни самоспасатели. В основном со стороны ствола замаячил свет. Кто-то шел по штреку.

— Спорим — Карев,— сказал Свицерников.

— Пусть.

Это был действительно Карев. Завидев, что мы сидим, он обрадовался.

— Работнички,— не скрывая улыбки, сказал он.— Я так и знал, прохлаждается.

Он еще не видел, какую гору металла мы перетаскали, и не смотрел на него. Главным для Карева было то, что мы прохлаждаемся.

— Наряд выполнен,— так же с улыбкой ответил Кареву Свицерников.

— Издеваться? — повысил тон начальник участка, но тут же осекся. Свет его лампы заметался по железу, по нашим лицам. Отражатель у нее был посильнее наших, аккумулятор еще не успел

подсесть, и мы не могли видеть выражение его лица. Мы сидели себе и ждали, что скажет Карев. А он, не говоря ни слова, сорвался с места и побежал в заброшенную выработку.

Последний немец

— Матка есть?

— Матку немцы убили...

— Фатер, отец?

— Батка в партизанах. Ему винтовку дали, немцев бье...

— Ох, немчики добрые, та яки ж з дитяти спрос. Что за гамонка у них? Хто-то навучив, вот и ляпеча...— Василиса оставляет в печи чугунок с готовой картошкой и бросается к Диме.— Хватит, мой неразумны, хватит...

Она пытается увести Диму от стола, за которым едят немцы. Но один из них кричит женщине: «Цурюк!» — и поднимается над столом.

Василиса знает, что такое «цурюк», и отходит к печи. Гореликами пошла уже сверху в чугуне картошка. В чугуне, наверное, нет и воды, выкипела вся. Жар от печи бьет женщине в лицо. Она не чувствует жара, сложила на груди руки, будто молится. Перебирает губами:

— Пронеси господи, не дай пропасть Трофимову корню.

— Партызан,— тычут пальцами в сторону Димы немцы и хочут.

— Партызан,— повторяет Дима.

Партизаны, немцы, стрельба, бомбежка, дороги, трупы — ему кажется, все так и должно быть. Он не может представить ничего другого. Он родился перед войной, растет в войне. Ничего, кроме войны, он не знает. Не знает, что, кроме гильз и пуль, можно играть еще надувными зайцами и заводными машинками, что, кроме сырой картошки, есть пряники и даже шоколад. Теплый синий осколок упал возле его ног — интересная игрушка с неба. А взрослые никак не хотят поверить, что его папа партизан и что у него есть винтовка.

— Сам видел,— убеждает Дима немцев.— Папа пришел и винтовку в камешник, к венику поставил...

— Не верьте ему.— У Василисы упало сердце.

Дима топает ногой...

Верьте ему, люди. Верьте им, трех-четырёхлетним. Они лежат под крестами и без крестов по всей Белоруссии, по всему миру. Но их не убило, потому что они не знают, что такое смерть, и никогда не узнают. Замерзая, заходясь плачем у трупов заоченевших матерей, горя живьем в избах, угасая от голода, задыхаясь в обвалившихся щелях и землянках, захлебываясь в воде, они прокляли мир, в котором их заставляют играть в такие игры. Они никогда не захотят вновь появиться на этот свет. В земле покойнее и тише, нет огня, войн, боли.

Немцы хохочут над мальчишкой. У них хорошее настроение. Они благополучно пережили ночь, в которую убило Димину мать. Консервы и суп сытные. Малолетний партизанский убудок им не страшен. А что у него убило мать, это их не касается. После завтрака на сытый желудок им тоже приятно вспомнить жену и детей.

И тот, который кричал Василисе «цурюк!», встает и подталкивает мальчишку к женщине.

— Зонне, сын, партизан зонне...

— Зонне,— бормочет женщина, подхватывает Диму и несет его, сажает на печь.словно на печи он недоступен немцам. У женщины

за сараем, в землянке, своих восьмеро. Они сегодня останутся голодными, их картошка пошла гореликами, сгорела. Женщина растерялась и не догадывается, что самое лучшее — увести Диму к восьмерым в землянку. И будет у нее их девять. А может, и догадывается, но не решается принять девятого. Ведь его надо кормить.

Немцы не торопятся вставать из-за стола, сидят, ковыряют в зубах. Осоловели от горячей еды. Дима с печки голодными глазами следит за ними. От котелка с супом поднимается пар. Немцы видят голодные глаза мальчишки.

— Партизан эссен?

Дима не знает, что такое «эссен», но кивает головой. Немец берет ложку, недоеденный в котелке суп и несет к печи. Дима смотрит в глаза немцу. Он уже не верит в доброту, он уже знает, что в этом мире, кроме матери, никому верить нельзя. И немец не выдерживает, моргает припухшими, в коричневых веснушках веками.

Дима ест. До чего же вкусен горячий суп, овсяный, с мясом. Немец смотрит, хлопает веками, выцветшие глаза его оживают, голубеют. Он, не одеваясь, уходит из избы и появляется, когда Дима уже облизывает котелок.

— Матка! — кричит он Василисе. — Зонне, сыну!..

Бросает на лавку мерзлую лошадиную ляжку. Ляжка сваливается на пол, звенит, ударившись о чугунок, полуоторванная подкова.

Рыжий немец каждый день ходит в землянку к Василисе, проверяет, как матка кормит зонне. Василиса валит детям картошку в одну большую оловянную чашку. И они, как поросята, окружают чашку. Немец морщится, бьет по затылку Василисиного старшего сына. Вываливает из чашки половину картошки на стол, другую половину подвигает Диме:

— Эссен!

С вечера закрутила метелица. Ночью прошел снег, завалил все вокруг. Василиса почти ползет по снегу в землянку к детям. И в это время появляется немец.

— Фауле русшише швайн! — кричит он женщине. Уходит и появляется с лопатой. Расчищает снег.

Василиса боится рыжего немца. Его нерусской доброты. Он помогает женщине. С появлением Димы намного сытнее стало в ее доме. Но как понять, что на уме у этого рыжего? Вдруг покажется ему, что обделяет она Диму? И убьет ее рыжий добродей, и пропадут все ее восьмеро, а вместе с ними и приبلудный Дима. Василиса подкладывает Диме лучшие куски. Валит ему навалом картошки. Дима давится картошкой и кониной. Еда встает ему поперек горла. Он прячется под Василисину юбку от заботливых глаз немца. Лучше бы немец не ходил и не жалел его. Горек хлеб из чужих, не материнских рук. И растет Дима волчком. Подолгу смотрит он, выйдя из землянки, на лес. Может, оттуда покажется отец, может, из-за домов выйдет мать. Но тих лес и пустынна дорога. Каждую ночь снится ему мать. Он поднимает и будит ее и сам просыпается с плачем. Чужая женщина носит его на руках, успокаивает и жалеет. С каждой ночью он для нее все роднее. Стал бы совсем родным, если бы не жалостливый рыжий немец. «Нет на тебя пули, — каждый раз думала женщина, принимая от него то кусок конины, то крупу. — Не правда, найдется и на тебя пуля, достигнет. Отольются коту мышканы слезы...»

И нашлась-таки, наверно, на немца пуля. Три дня не появлялся он во дворе Василисы. Два дня Василиса радовалась, а на третий закучала.

— Что-то не видно твоего немца? — спросила у Димы. — Не иначе убили.

— Я знаю. Его батька мой убил из винтовки, — серьезно сказал Дима.

— Нет, — вздохнула Василиса. — Не твой батька.

— Мой...

— Зачем же твоему батьке бить его, он же добрый немец, жалостливый до тебя.

Дима задумался:

— Но он же немец?

— Немец...

— Вот мой батька его и убил. Он много немцев перебил. Много, тетка Василиса?

— Много...

— И скоро придет домой и заберет к себе меня. Ты не знаешь, тетка Василиса, когда он придет за мной?

— А вот последнего немца убьет и придет.

— А что, сразу кончится война?

— Сразу, Димитр, сразу.

Дима опять задумался. Внимательно посмотрел на Василису, не обманывает ли, и спросил:

— А где он, последний немец?

— Да тут же где-то рядом...

— Я сам убью последнего немца, — серьезно сказал Дима. — Убью, найду батьку и матку, кончу войну...

Василиса только горько вздохнула, но ничего не ответила Диме. Прижала его к себе. Поползли, набежали на Василису ее дети, полезли к ней на руки, но Димы она не выпустила. Когда месяца через два из другой дальней деревни, проведав про смерть Ульяны, пришла ее сестра, горько было Василисе отдавать мальчишку.

— Гляди, Степанида, — говорила она Диминой тетке, — у тебя своих одиннадцать.

— Одно к одному... Где одиннадцать, там и двенадцать. Не обьест.

Дима долго оглядывался на Василису. Степанида шла ходко, он спотыкался, падал, но не плакал.

Коля, Степанидин младший сын, был ровесником Димы, но игры их не ладились. Дима мог в середине игры забыть обо всем, все бросить и убежать в колхозный заброшенный сад, уйти к разбитому льнозаводу и спрятаться там. И весь Степанидин выводок вместе с матерью выходил искать его. Иногда находили быстро, приводили домой. Степанида дорогой на чем свет кляла и сестру, которая оставила ей сына, и самого этого сына, которого, сколько ни корми, а он все в лес глядит. Не дитя, а выродок... только и думай, что на мину или пулю нарвется. Отвечай тогда перед людьми, гляди им в глаза. Сама поднималась у нее рука и хотелось ей поддать Диме. Но Дима вскидывал глаза и так глядел на тетку, что Степанида не могла его ударить. Шлепала своего родного, младшего, Колю и кричала, чтобы не отходил он от Димы ни на шаг, не то спустит шкуру, и солью посыплет, и плакать не даст...

Дима молча сносил теткины попреки, проклятья и оставался равнодушным к ее слезам. Продолжал убежать из дому. Крепко врезались в память ему слова Василисы о последнем немце. И сейчас он искал этого последнего немца, смертью которого закончится война и тогда придут родители и заберут Диму к себе. Все было просто и ясно. Непонятно, как это взрослые сами не додумались до этого. Ви-

димо, уже привыкли к войне, вот они и не торопились убивать последнего немца.

На льнозаводе, в темном полуобрушенном подвале, у Димы был тайник, в который он сносил и прятал неразорвавшиеся мины, стреляные и целые патроны, прикатил даже небольшой снаряд. Все для последнего немца, который был где-то рядом и которого давно уже пришла пора убить. Убить, пока тепло, не начались холода, зима, чтобы снова рвать горох и ходить с отцом в лес.

А война шла своим чередом. Она уже выкатывалась из Белоруссии и косила напоследок всех подряд без разбору. Немцы в последние дни залютовали без меры. Казалось, на этой земле все, что может гореть, выжжено, все под метелку выметено из сундуков и с полок. Но немцы в свой последний час хватились и нашли, чему гореть еще.

Немцы начали поджигать дома сразу с двух сторон. Обстоятельно обливали каждый дом керосином, обкладывали соломой сарай. Степанидин дом стоял в центре. Она с детьми из колхозного сада наблюдала, как огонь близится к ее хате. Надеялась на чудо. Но чуда не случилось. Изба занялась в один момент, и к вечеру ветер уже разносил по осиротевшей и ставшей ненужной деревенской улице золу. Переночевали в землянке. А утром лишились и этого единственного прибежища. Всем жителям было приказано оставить деревню. Степанида прошла по пожарищу, нашла, завернула в платок серую, пропеченную огнем дверную ручку, спрятала ее. Собрала все, что было в землянке, нагрузила детей, нагрузилась сама и пошла со своим выводком на станцию. На путях стояла ручная дрезина. Степанида побросала на нее свой немудрящий скарб, впряглась вместе с детьми, и дрезина покатила в палящий полдень. Дима вместе с другими детьми Степаниды шел по шпалам.

Полотно железной дороги было желтым от солнца. Желтыми были от ржавчины рельсы. Сухим жаром несло от железа, от просмоленных шпал. И лес, обступивший железную дорогу, тоже будто иссох, не нес ни ветерка, ни прохлады. Диме казалось, что он уже много-много лет шагает по обжигающей пятки дороге. Жар высушил в нем все, спеклись лицо, глаза, руки. Тетка взмокла, распарилась на солнце. А он был сухим, как лесной гриб-пыхалка. Он передвигал ноги, пока они слушались его. А как перестали слушаться, упал на горячий рельс. Изо рта его хлынула пена. Дима удивился ей, удивился, что в нем еще есть вода, забил ногами. Ему привиделась мать, он улыбнулся ей и больше ничего не видел и не хотел видеть.

Он не помнил, как Степанида сгребла его на руки, сдернула с себя платок, смочила водой и приложила к голове племянника. Никогда не знал и не узнает, как обрадовалась Степанида, что одним нахлебником стало меньше, что умер он тихо и спокойно, не раздирая ее сердце плачем и криком. Но Дима не умер. Он пришел в себя уже на другой день. И сразу же встал на ноги и вышел из сарая, в котором лежал. Не удивился тетке, увидев ее во дворе. И она ему не удивилась и не выказала никаких чувств. Коля обрадовался и потащил брата в траншею, которая начиналась неподалеку от сарая. Дима не пошел за ним, он не хотел играть. Коля заплакал от обиды. Дима посмотрел на него с удивлением, но без сочувствия.

Война продолжалась и в том углу, к которому прибилась за день пути Степанида. Земля здесь была вспахана еще прилежнее, чем в той деревне, которую она покинула. Нигде не было видно ни одного целого дома, полуразбитые, подкопченные сараюшки, баня, землянки, пожарища, печи вместо домов, траншеи, блиндажи. Желтый-желтый песок вокруг. Редкие с желтыми, пожухшими от пожаров листьями деревья. И Диме показалось, что он все еще идет по раскален-

ной железной дороге. Перед глазами замелькал желтый песок, желтая сухая трава. Голова у него закружилась, и он опять лег в сарае, закрыл глаза и без сна пролежал день и ночь.

Утром Дима поднялся, быстро съел картошку в мундире, которую положила перед ним тетка, и выскользнул из сарая. За день и ночь на улице ничего не изменилось. Все было вчерашнего желтого цвета. Неподалеку от сарая дымила немецкая полевая кухня, вчера ее не было. Немцы завтракали. Дима стоял и смотрел, как немцы едят, потом смотрел, как они мыли котелки. Один из немцев не пошел, как все, мыть котелок: поел, пнул его ногой от себя и завалился на живот. Поманил Диму пальцем.

Живот у немца был большой, и казалось, что он лежит на кочке. Это было смешно. Но Дима не смеялся. Немец, как лягушка, подпрыгнул на своем мягком животе и заболтал ногами. Дима не улыбнулся и не сдвинулся с места. Тогда немец достал губную гармошку и заиграл. «Это он,— подумал Дима.— Это и есть последний немец».

А немец играл себе на губной гармошке и не смотрел на Диму. Он даже прикрыл глаза. И Дима подошел к нему.

Немец тут же открыл глаза.

— Гитлер капут? — спросил он. Глаза его смеялись. Отвисли, смеялись толстые щеки.

— Капут,— сказал Дима.

— Гут! Гут! — обрадовался немец и просвистел какой-то веселый мотив.— Гитлер швайн, Карл — гут,— ткнул он себе гармошкой в грудь и подмигнул Диме.

— Мой батька партизан,— сказал Дима.

— Партизан ниht гут,— забеспокоился немец.— Цукер зюсс. Надо цукер?

— Я тебя убью,— сказал Дима.

Немец посмотрел на него с удивлением:

→ Ниht зюсс цукер?

— Я тебя убью! — закричал Дима.

— Цукер зюсс,— зачмокал языком немец.

— Убью! Убью! Убью! — кричал и топал ногами Дима.— Сегодня убью. Тебя не будет! А мама придет!

Немец вытащил из кармана желтый, в табачных крошках кусок сахара. Дима замолчал. Немец держал сахар на раскрытой ладони. Свободной рукой подтягивал к себе Диму. Дима оглянулся, схватил сахар и убежал.

Немец, довольный, расхохотался. Дима, всхлипывая, скрылся в сарае. Сахаром он поделился с Колей. Вместе с Колей он целый день собирал осколки от снарядов, гильзы и целые патроны. И прятал все это себе за пазуху. Вскоре у него за пазухой было столько железа, что рубашка вот-вот могла порваться. Рваные осколки снарядов царапали живот, но Дима терпел. А когда Коля полез к нему за пазуху, чтобы взять себе несколько осколков и гильз, Дима отвесил ему такой подзатыльник, что Коля с криком понесся в сарай и больше не подходил к Диме.

Дима и уснул с осколками, стреляными гильзами и патронами за пазухой. Ему приснились отец, мать, Тома и бабушка. Взрослые кормили его и Тому желтым жженым сахаром. Дима ел и ел его, но сахар не убывал. И тогда Дима набил сахаром пазуху. Это была после смерти матери его первая спокойная ночь. Он спал, улыбался и проснулся с улыбкой. Сегодня должна была кончиться война. Он верил в это. Димино богатство было при нем, за пазухой. Дима знал, что с ним делать. Только бы не убежал, никуда не спрятался вчерашний немец.

Немец был на прежнем месте, будто и не было дня и ночи. Он лежал на животе, болтал ногами и жмурился на солнце. Увидел Диму, обрадовался, широко заулыбался и помахал рукой. Дима осторожно, чтобы не звякнуло железо, направился к нему.

— Цукер зюсс? — закричал немец и полез в карман.

«Сейчас... Вот сейчас у него рука занята, и я брошу в него осколками и патронами,— решил Дима.— И все кончится...» Немец вытащил руку из кармана и раскрыл ладонь. На ней лежал кусок жженого сахара гораздо больше вчерашнего. Дима стоял и размышлял. «Сахар мне надо взять,— решил наконец он.— Батька никогда не приносил из леса сахар. Соль приносил, сахар нет. И опять принесет соли, а сахара не догадается взять...»

Дима схватил сахар, опустил его за пазуху и нащупал осколки. В это время раздался гул самолетов. Немец сразу же уменьшился в размерах, подобрал живот и закрутил головой.

Самолеты, их было три, появились над деревней неожиданно. И шли почти над самой землей, прямо на Диму и немца, немецкие траншеи, кухню и блиндажи. Немец вскочил и бросился бежать. Обернулся и закричал что-то Диме. Фонтанчиками запрыгала у Диминых ног сухая земля, словно это была и не земля, а вода. И сейчас по этой воде крупными, но невидимыми каплями сек дождь. На земле, словно на воде, вскипали и лопались, рассыпались серые султанчики пыли. Самолеты исчезли. Дима принялся разыскивать, куда спрятался его немец. Над головой снова послышался гул самолетов, они шли на второй круг. И Дима увидел немца.

Тот не успел далеко убежать. Был он метрах в двадцати от Димы. Метрах в двадцати от Димы стояла печь. Голая, на голом месте, ни головешек, ни бревен вокруг, русская огромная печь, будто вчера сложенная и побеленная. Под печь, где в деревенских избах обычно ночуют куры, и пытался забиться немец, голова его по плечи была там. Сейчас он бил ногами землю и воздух, пытаясь втянуть под печь живот. И в это время опять сыпанул по земле крупный невидимый дождь. Дима поднял голову, мелькнула и исчезла красная звездочка на крыльях самолета. Но за этим уходящим самолетом приближался второй.

— Я сам его убью! — закричал Дима этому второму самолету и бросился к печи. Немец уже втянул под печь живот, но зад его застрял.

Дима выхватил из-за пазухи осколок и бросил его в извивающуюся спину немца.

Вздымалась серыми фонтанчиками и сухо шелестела, оседая у Диминых ног, земля. Уходили и снова возвращались самолеты. И снова вздымалась, теперь уже огромными фонтанами, и рушилась, будто падала с неба, земля. Дымила, лежа на боку, немецкая кухня. А Дима стоял в трех шагах от немца. На открытом голом месте. С почерневшим от страха и усердия лицом. Он бросал и бросал в немца осколки, стреляные и целые немецкие и русские патроны. А немец кричал.

Кончились осколки и гильзы. Дима сжимал в руке кусочек сахара, который дал ему немец. В небе был всего один самолет. Два других ушли и не появлялись. Дима поднял руку. У его ног закурилась земля. Вытянутой руке стало горячо, он не понял почему, не успел понять. Ему показалось, что немца ударили палкой. Немец задержался так, что вот-вот мог развалить печь. Дима бросил сахар. Немец стал опадать и начал вылезать из-под печи. Дима слышал, как он хрипит и плюется. Взметнулась и тут же начала темнеть одежда на спине у немца. Он выбросился из печи и перевернулся навзничь.

Дима стоял с поднятой рукой. Из рукава сочилась кровь. Но он не замечал этого. Немец был жив, и Дима нагнулся, схватил комок земли и ударил лежащего на спине перед ним человека в грудь. Глаза у немца стали закатываться, белеть и вскоре стали совсем белыми, белее печи.

Мать тоже лежала на спине, поджав под себя ноги и откинув голову. Мать...

И тут Дима понял, что мать его мертва и никогда уже не вернется к нему. Он закричал и упал. Мелькнула перед глазами белая-белая печь. Это было последнее, что осталось в памяти Димы от войны...

Встреча

- Хватит. Ночь на носу. Пойдем.
- Одну только минутку,— прошу я.
- Идем, хлопча, идем... Их уже ничем не поднимешь.
- Все так, тетка Василиса...

Василиса давно уже не тетка. Василиса — старуха. Она уже одной, а может, и двумя ногами в могиле. И я давно уже не хлопча. Так давно, что мне кажется, никогда и не был маленьким. Нет и никогда не было деревенского замурзанного хлопчика, не бегал он по этому кладбищу, не собирал вместе с другими деревенскими детьми с крестов на летний праздник Спаса яблоки и коржики, что приносили на помин души умерших их родственники. Не мог он этого делать, потому что брать у мертвых — великий грех. Потому что здесь, на этом кладбище, лежат его мать и сестра. Под зелеными подопревшими крестами лежит очень много знакомых когда-то ему, но потом забытых людей.

Тихо. Так тихо, как только может быть на кладбищах. Я стою у края уже почти сравнявшихся с землей двух могильных холмиков. Их венчают два зеленых креста. Один маленький, будто игрушечный, второй большой, высокий, но тонкий, спехом тесанный, спехом ставленный. Военного времени могильные кресты. Я отлучу их от сотен и сотен других. Те, другие, обстоятельны, в них и мастерство и неторопливость вечности. Они угрюмы, кряжисты, страшны. Я всегда спешу от них прочь. Мне кажется, что не люди их ставят, а кресты сами вырастают из могил. Зацветают от моха, седеют от моха. Все они безлики и похожи друг на друга.

На крестах, перед которыми мы остановились, я вижу обопревшие со всех сторон сучки, следы затесов топора, огромные поперечные трещины. Все так и должно быть, их делали из сырой и корявой сосенки. И это чудо, что кресты еще не совсем сопрели. Стоять им уже недолго. Оба они уже подгнили и клонятся друг к другу, будто хотят обняться. Я не знаю, где я стою: у ног или головы сестры и матери. Я не знаю, как хоронят людей. Не знать бы мне этого век.

— Спасибо, тетка Василиса, что привела, показала,— говорю я.— Теперь иди до дому. Иди.

- У тебя крепкое сердце, хлопча?
- Крепкое, тетка Василиса.
- Ой, гляди, хлопча, ой, гляди... Недобрые наши могилки.
- А бывают кладбища добрые?
- Так-то оно так... Да наше особое. Вон там немцы положили,

знаешь, сколько народу. Живых еще землей закидали и танком прошлись. Кровь сквозь землю проступила. Сама не видела, а люди верные говорят: на нашем кладбище у полночь загорают сами собой агеньчики и стогн вырываетца из земли. И ходят па магилам люди

незначие усю ночь да света божага, шукаюць хто сына, хто дочку, хто... Может, и твая матка сядеи них?..

Я слушаю рассказ Василисы, будто пью какое-то приворотное горькое зелье. Ее «агеньчики» и «стоги» будят мою память. Память эта особая: в ней нет ни картин, ни слов, ни действия. Это что-то зыбкое и неуловимое. Сердце каждое мгновение замирает, останавливается и пульсирует снова. Я не в силах противостоять этой памяти. Здесь, на кладбище, переполненный своим и чужим горем, я наконец чувствую себя дома, на родине, как не чувствовал этого в родном доме. Все, что лежат здесь под крестами, и те, чьи кресты давно уже сгнили,— мои родичи. Я не попираю их прах, я сам из этого праха. Опирающаяся на суковатую палку Василиса, лес над моей головой, земля под ногами, воздух, которым дышу,— все это я. Без этого нет и меня. Пока я жив, никуда мне не уйти от этого кладбища. Мертвому все это будет уже безразлично. Но пока жив, «стоги» и «агеньчики» будут во мне.

— Спасибо тебе, тетка Василиса, за все,— говорю я и, замирая, повторяю на родном языке: — Дзякую. Спасибо. А теперь иди по свету, пока не стемнело, себе домой.

— Я не буду закрываться, буду тебя ждать,— говорит Василиса и уходит.

Быстро смеркается. На кладбище уже нет тени. «Добрый вечер,— тихо шепчу я, обращаясь ко всем, и еще тише: — Добрый вечер, мама, добрый вечер, Тома» — и падаю на землю. Но могут ли быть добрые вечера на земле, если на кладбищах стоят такие маленькие, игрушечные кресты? «Мама, мама, я буду здесь целую ночь. Я верю, что из могил по ночам вырывается стогн. Я верю, что ты меня ищешь в полночь. Я тебя тоже искал. Долго, по всему свету. И не перестал искать еще и сейчас. И так по всей нашей Белой Руси. За войну здесь потерялся, погиб каждый четвертый, ты слышишь, мама? Каждый четвертый... А нас было только четверо, и осталось двое. Батяка нашел мне другую матку. Может, она была и неплохой, но она была мне мачехой. А мне нужна была только ты. Я не мог забыть тебя. Не мог назвать эту женщину мамой. Не могу назвать мамой свою тещу. Язык не поворачивается. Мама — это только ты одна. Почему ты перестала мне сниться?»

Ночь стояла над землей. Не было звезд, не было луны. Не было у меня сил, чтобы подняться и уйти в деревню к тетке Василисе. Я лежал на сырой могильной земле. Мне казалось, что я лежу под землей — так тяжело было дышать, так тяжелы были руки и ноги и болела грудь. Я задвигал руками, чтобы ощутить себя живым.

Было уже где-то около полуночи, но агеньчики, про которых говорила Василиса, не загорались и стогн не вырывался из земли. Мертвые молчали. А если бы они вышли из своих могил и заговорили, я бы сказал им... Что я им... мог сказать?

«Я не знаю, что тебе сказать, мама, потому что тебя никогда у меня не было и нет к тебе слов. Я часто вижу, как мой сын ластится к своей матери. И мне всегда больно. Я не знаю, что такое обнять мать. Я обнимаю землю, под которой ты лежишь. Мама, поднимись, встань. Мы возьмем Тому и пойдем. Снаряд больше не ударит в дом, осколок минует тебя. Я подставлю ему свою шею. Я знаю, как уберегу тебя от осколков. Я не дам Томе замерзнуть под печью. Мама, Тома, сестра, я виноват, что слезы примерзли к твоим щекам. Виноват, что выжил, а вы... Встаньте же...»

Беззвездная ночь тихо слушала меня. Черная темь растворила меня в себе. Я уснул, и во сне разрывал серую землю. Мне снилось, что меня похоронили, чтобы я мог разыскать мать и сестру.

Я вырвался из земли, освободился от тяжести сырого песка и огляделся. Больше я не был один. Шесть-семь человек стояли на каждой могиле, держались за кресты, подпирали сосны. А народу все прибывало. Женщины, старики, дети, разодетые, как на праздник, и в рубищах. И вот уже на могилках яблоку негде упасть.

— Пора,— сказал кто-то толстый, стоящий ко мне спиной.— Путь далек...

Тихо над самым моим ухом раздался знакомый женский голос.

Толстый обернулся на этот голос, и я узнал в нем моего немца Карла, который играл на губной гармошке и угощал меня жженым сахаром. Карл двинулся ко мне. Испугаться я не успел. Стогн и ветер прошлись по кладбищу. Взметнулись вверх ветви на соснах. Заплакали дети. А из молодых сосенок, на которые мне указывала Василиса, пошли люди. Земля проваливалась под их ногами и проступала кровь.

— Люди,— снова услышал я знакомый мне голос.

— Мы не люди,— ответили ему из сосняка.— Люди спят спокойно на том свете. А нам нет сна. Рассуди нас, если сможешь.

— Бог рассудит...

— Подать сюда бога! — снова взметнулись от крика ветви у сосен.

— Бога! Бога!

И появился бог. Сел на крест возле меня. Посмотрел на простертые к нему руки и заплакал.

— Я тоже страдал, люди,— сказал он.

— Твоего сына только раз распинали,— ответили ему.

— Его тело не крошили танки.

— На его глазах не мордовали его детей.

— Его не закапывали живьем в землю.

— Ангелы оживили его и унесли на небо.

Я знал, что я единственный живой человек среди мертвых, но мне казалось, что я один мертвый среди живых.

В одноглазкой старухе с простреленной грудью я узнал Настасу. Она была такой же и в той же одежде, в какой я видел ее у горящего стога. Только на голове не было платка, а сивые, без блеска волосы раскосматились и скрутились в колечки, будто от жары.

— Ульяна,— постучала Настаса палкой по кресту.— Выходи. Сын пришел.

Земля ушла из-под моих ног. Появилась мать.

Сотни рук подтолкнули меня к ней.

— Ты зачем пришел ко мне сюда? — спросила меня мать.— Разве у тебя нет других дел?

— Я знаю, почему он пришел,— вырвался вперед Карл.— Он убил меня. И теперь ему нет покоя.

Настаса оттолкнула Карла. Мать взяла Настасу за руку.

— Я не кривдую на тебя,— сказала она Настасе.— Я кривдую на него.— И мать кивнула на Карла.— Он сейчас, на этом свете, ищет справедливости. А на том, у живых, подкармливал моего сына сахаром, хотел быть добрым. Вот она, твоя доброта.— И мать показала рукой на толпу.— Захлебывается слезами, умывается кровью. И слезы, и кровь, и кривдая людская будут на тебе до скончания мира. Нет тебе места ни среди мертвых, ни среди живых. И мучиться тебе до скончания двух светов.

Мать повернулась ко мне.

— Уходи! — сказала она.

— Я тебе еще ничего не рассказал...

— Тебе еще не о чем говорить, — перебила она. — Придет час, мы еще встретимся, и я тебя сама обо всем спрошу. Наговоримся.

— Я хочу, чтобы ты хоть изредка снилась мне, — попросил я.


— Я тебе уже приснилась...

И все мгновенно пропало. Я проснулся.

У-у-у-хо-о-о-д-и-и, у-у-у-хо-о-о-д-и-и — шумел в верхушках сосен северный холодный ветер. Было еще темно. Я поднялся и побрел, вышел на дорогу, но не остался на ней, а пересек ее и пошел по лесной целине. Ветер разметывал тучи. На небе появились окна. И из этих окон холодно светили звезды. Небо быстро серело. Звезды размывались и гасли. Ветер утих. Я снова вышел на дорогу и снова пересек ее. Солнце еще не встало, но край неба на востоке уже адел. В лесу под деревьями стоял полумрак и холодная тишина. Пахнул в лицо свежестью легкий ветер. И лес вспыхнул одновременно со всех сторон. Солнце поднялось до уровня деревьев. Я заторопился и вскоре снова был у родных мне могил, на кладбище. Маленький крест, будто игрушечный, и большой, высокий, но тонкий, спехом поставленный. Клонятся кресты друг к другу, словно хотят обняться. Я хотел поправить их, но раздумал. Тишина наполняет меня покоем и уверенностью. Я покидаю кладбище и никак не могу понять, что со мной. То мне кажется, что под моими ногами проваливается земля, то я будто невесом. Я иду, шагаю по солнечному лучу, и он даже не прогибается подо мною.

Козько Виктор Афанасьевич родился в 1941 году в городе Калининичи Гомельской области. После войны воспитывался в детском доме. Закончив школу-восьмилетку, уехал в Кузбасс, где поступил в горнопромышленное училище, а после его окончания — в Кемеровский индустриально-педагогический техникум. Работал на шахтах Кузбасса, в геологоразведочной партии, в редакции областной молодежной газеты. В 1970 году заочно окончил Литературный институт имени Горького. С прошлого года живет и работает в Минске.

В центральной печати выступает впервые.



О Ч Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

Пятьдесят лет назад завершилось освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. О значении этого события В. И. Ленин говорил 20 ноября 1922 года в своем последнем публичном выступлении — речи на пленуме Московского Совета: «...Взятие Владивостока показало нам (ведь Владивосток далеко, но ведь город-то нашенский)... всеобщее стремление к нам, к нашим завоеваниям».

Освобождение огромного края, простирающегося от Байкала до Тихого океана, с его многонациональным населением знаменовало собой окончание гражданской войны, стало этапом на пути создания СССР.

Юбилею Советского Дальнего Востока посвящается подборка материалов, которую журнал публикует в этом номере.

А. ГУЛЬЧЕНКО,

секретарь Приморского краевого комитета КПСС

★

КРАЙ У ТИХОГО...

I

В центре Владивостока, на пересечении двух самых оживленных магистралей города — Ленинской улицы и Океанского проспекта, перед воротами торгового порта высятся многофигурная скульптурная композиция — памятник борцам за Советскую власть на Дальнем Востоке. В дни всенародных праздников здесь происходят демонстрации, митинги, парады, пионеры несут у памятника караул, почетные гости Владивостока возлагают к подножию венки, живые цветы.

Этот памятник стал символом победы над внутренней контрреволюцией, иностранной интервенцией.

В конце октября 1922 года через этот перекресток на причалы порта к стоящим под парами пароходам и крейсерам спешили последние отряды уходящих войск интервентов и жалкие остатки белогвардейских банд. А всего через несколько часов к бухте уже спустился с последнего перевала авангард народно-революционной армии.

Значение победы на Дальнем Востоке в августе 1923 года точно определил «всероссийский староста» Михаил Иванович Калинин, прибывший по поручению Центрального Комитета партии во Владивосток.

«Мы великолепно понимали, — сказал он на торжественном заседании Владивостокского городского Совета, — что до тех пор, пока не изжита на Дальнем Востоке интервенция, до тех пор не может быть и речи о спокойном существовании Республики...»

Товарищи, завершение, ликвидация интервенции, закончившаяся взятием Владивостока, решила одну и первую задачу Советской Республики, а именно: от Советской Республики отпала ежедневная опасность нападения белобандитов.

Советская Республика только сейчас до известной степени может приступить к более или менее спокойной работе. Но несомненно, товарищи, что, решив одну нашу задачу на Дальнем Востоке взятием Владивостока, самое взятие Владивостока уже ставит перед пролетариатом Республики целый ряд новых, в высшей степени сложных и приобретающих международное значение вопросов...»

«...Советская федерация имеет на Западе город, который является центром, мишенью ненависти буржуазии, но вместе с тем является центром радости и восхищения всех трудящихся масс.

Это город — Петроград.

...Другая наша, восточная граница тоже нуждается в такой же крепости, в таком же маяке, чтобы его могли видеть все, особенно угнетенные массы Востока. Эту задачу перед Советской властью и перед всеми трудящимися мира должны выполнить вы, рабочие, красноармейцы, молодежь. Вы должны создать здесь, во Владивостоке, такую же первоклассную крепость!»

Прошло пятьдесят лет. Срок юбилейный. А юбилей — это не просто повод для торжеств. И даже не только дань памяти людей, так много сделавших ради нас. Юбилей — это прежде всего повод для подытоживания прожитого и пережитого, извлечения уроков из прошлого ради пользы сегодняшней и завтрашней.

История советского Дальнего Востока на редкость сложна, пестра и полна трагических событий. Даже краткое ее изложение потребовало бы многих страниц, да и, видимо, здесь нет в этом особой необходимости. Вместе с тем некоторые непреходящего значения моменты истории полезно, думается, напомнить.

8 ноября (по новому стилю) 1917 года телеграф принес во Владивосток известие о вооруженном восстании в Петрограде. Тут же состоялось экстренное заседание Дальневосточного краевого бюро РСДРП большевиков. Не откладывая дела ни на час, невзирая на позднее время, члены краевого бюро большевиков разошлись в полки гарнизона, на крупнейшие предприятия Владивостока. Требование рабочих и солдатских масс было единодушным: «Вся власть Советам!» Через полторы недели под их нажимом был переизбран исполком Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов. Теперь он в основном состоял из большевиков.

Таково было начало, триумфальное шествие Советской власти от Балтики до Тихого океана. Но потребовалось еще пять долгих лет, прежде чем Советская власть окончательно утвердилась на дальневосточной окраине России. И первую, «сольную» партию в разгуле шомполов и виселиц, грабежа национального достояния, политического цинизма повел мировой империализм, который в страхе перед примером российской «черни» да и в надежде поживиться за счет богатств России бросил свои войска на помощь русской буржуазии.

Не прошло еще и двух месяцев после установления на Дальнем Востоке Советской власти, а на рейде бухты Золотой Рог во Владивостоке уже бросил якорь японский крейсер «Ивами». Через несколько дней рядышком встал английский крейсер «Суффолк». Затем подошел еще один японский крейсер, «Асахи», к ним поспешил присоединиться американский крейсер «Бруклин»... Непрошенные гости заявили с поразительной бесцеремонностью, словно к себе домой.

В те дни Владивостокский Совет заявил протест иностранным консульствам в связи с наглым попранием элементарных международных норм суверенитета. На все следовал циничный ответ: крейсеры прибыли «для поддержания порядка в городе и защиты своих подданных», а впоследствии — для «спасения» русского мужика от коммунистов.

С тех пор прошло полвека, но идеологи империализма не изобрели более правдоподобного объяснения своей разбойничьей политики. Конечно, даже самые оголтелые из них понимают, что навсегда кануло в Лету то время, когда вот так спокойно могли войти иностранные крейсеры на владивостокский рейд да и в любую другую советскую гавань. Но и методы и живая политика заокеанских благодетелей в других районах мира остались прежними. Вспомните Тонкинский залив, залив Кочинос: ведь именно от коммунистов «спасают» и народ Южного

Вьетнама, бомбят Камбоджу, Лаос, чтобы «защитить» жизни американских солдат.

В последние годы в политической практике империалистов родился вроде бы новый термин — вьетнамизация. Но и полвека назад отцы и деды нынешних интервентов точно так же пытались русифицировать войну на Дальнем Востоке. За пять лет в Приморье сменилось множество всяческих «правительств», «атаманов», «правителей». Скоротечны, хотя непременно кровавы были дни их власти, одинаково бесславлен конец. А в результате интервентам снова приходилось самим вступать в бой. Нападали из-за угла, вероломно и подло. Японские империалисты, например, чтобы получить «законный» повод для высадки десанта, организовали провокационный налет на владивостокское отделение японской экспортно-импортной конторы, во время которого были убиты два человека. А через несколько часов интервенты уже выстраивались в колонны на берегу.

Сразу же после высадки интервентов во Владивостоке Владимир Ильич Ленин в телеграмме городскому Совету писал: «Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзии: японцы на верное будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления, и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил...»¹.

Все так и произошло. И как ни мало оставалось времени, как ни мало было сил, предупреждение В. И. Ленина сыграло важную роль на этом этапе борьбы.

Памятник на центральной площади Владивостока сегодня в Приморье не единственный. Их десятки, сотни, более скромных, менее приметных — обелиски, могилы, простые камни. В городах и селах сотни улиц названы именами борцов за Советскую власть. Они напоминают не только о неисчислимых жертвах, принесенных теми, кого спешили «освободить» заморские «друзья русского народа». Они напоминают и о том, как встречает народ непрошенных «освободителей».

Сохранилось красочное свидетельство известного американского журналиста Альберта Риса Вильямса: «Я был во Владивостоке, когда белые сорвали флаг Российской республики и подняли старый флаг русской автократии. Я видел, как грузчики, жившие раньше подобно животным и поднятые Советами до положения человека, зная лишь, что Совет в опасности, бросились к зданию красного штаба и забаррикадировали двери.

Там они дрались, вооруженные лишь ружьями против пулеметов и pistolsами против артиллерии. Их было только 200 против 20 000 чехословаков, английских и японских солдат, но они отказались сдаться, пока в здание не пала зажигательная бомба. Им пришлось выйти на улицу, где их перебили...

«Помощь» и «сочувствие», которые мы им оказали, пришли через несколько недель, когда американские войска высадились на берег и американские солдаты вместе с японцами громили Советы рабочих и крестьян России»².

Грузчики порта, рабочие Дальзавода, шахтеры Сучана, железнодорожники Уссурийска, Спасска, промысловики Ольги, крестьяне Шкотова — труженики всех городов, уездов, волостей поднялись на вооруженную борьбу с интервентами и белогвардейцами. Известно, что в годы гражданской войны именно на Дальнем Востоке особенный размах приняло партизанское движение, то есть в чистом виде народная война. Таким был ответ народа интервентам, таким он остается и сегодня в других уголках мира.

Нынешней весной общественность Приморья широко отметила семидесятипятилетие старейшего в крае полиметаллического рудника, ныне Дальневосточного горно-металлургического комбината имени В. И. Ленина. Мне довелось принимать участие в торжествах по этому случаю.

До революции рудник принадлежал английскому капиталисту. Затем русские рабочие взяли власть в свои руки. Интервентам удалось вернуть рудник

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 216.

² «Город нашенский», стр. 129—130.

прежним хозяевам. Рудник — не рабочих. Те ушли в партизаны и прославили себя героизмом и самоотверженностью. Более чем за полгода до освобождения Владивостока они снова установили Советскую власть на руднике. Впрочем, окончательно советским, народным рудник стал спустя лишь десятилетие: молодое и еще экономически не окрепшее наше государство сдавало его в концессию прежним владельцам.

Сегодня комбинат — крупное современное предприятие. Его горнопроходчики регулярно устанавливают всесоюзные рекорды. Много технических новшеств создано здешними обогатителями, металлургами. Сюда, за тридцать земель от ведущих промышленных и научно-технических центров страны, едут перенимать опыт специалисты. Здесь проводятся всесоюзные конференции, семинары. Поселок Тетюхе практически превратился в город, кстати, на редкость живописный, уютный и благоустроенный во всех отношениях: здесь великолепные стадионы, дворцы культуры, самые современные магазины, школы, кино-театры, больницы, жилые кварталы.

В дни юбилейных торжеств я побывал на двух новых, точнее на будущих, рудниках — Садовом и Лысогорском. С вводом их в действие комбинат еще на долгие годы будет обеспечен сырьевой базой. А ведь не так давно проблема сырья представлялась достаточно острой. Хотя за советские годы были разведаны значительные запасы, но интенсивность разработок многократно увеличилась. Весьма активные поиски долгое время не приносили желаемых результатов. Складывалось мнение, будто в этих местах нет больше рудных запасов. И все же геологи обнаружили руду — на глубине в тысячу метров. История рудника-юбиляра наглядно показывает, что дала Приморью Советская власть.

И в дореволюционное время, и в годы концессии месторождения разрабатывались хищнически: снимались пенки, будущее рудника не заботило хозяев. Хищничество, заложенное в самой природе капитализма, проявляется особенно наглядно в колониальной политике. И можно не сомневаться, что тот прежний владелец рудника не стал бы тратить средства и время на долгие и рискованные поиски нового сырья. Ему было много проще перебросить нажитый капитал в другой район, вложить еще в одно дело, с которого можно получить большой доход. Тем более что богатейших мест в Приморье предостаточно: имеются огромные запасы полиметаллов, вольфрама, угля, строительных материалов и других ценнейших ископаемых; богатейшую сырьевую базу представляет из себя приморская тайга. Это было известно американским, японским, английским и прочим «радетелям свободы» земли русской. И если бы интервентам удалось осуществить свои захватнические планы, они, несомненно, поспешили бы превратить Дальний Восток в сырьевой придаток промышленности своих стран. История Азии, Латинской Америки, Африки знала и сегодня знает множество подобных примеров.

II

Дальний Восток еще представляется иным жителям западных областей страны в его вчерашнем виде: тайга, бескрайняя и экзотическая, да редкие поселения. Наши гости подчас поражаются, обнаружив на Дальнем Востоке все то, что окружает их дома: современные города, современные заводы, кинотеатры.

Понятно, есть у нас и экзотика. Лотос и тигр, пятнистый олень и женьшень, дикий виноград и фазан, кашалот и королевский краб, устрица и трепанг. Но если честно признаться, мы и сами не так уж часто со всем этим встречаемся. Чаще всего просто не до них. Ибо заняты мы совершенно теми же самыми заботами, что и труженики любого другого края страны. Вот только в отличие от многих других мест заботы эти в значительной степени соотносятся с природой.

Природа, а я подразумеваю под этим не только тайгу, но и землю, и недра, и океан, является для Дальнего Востока, его населения фактором, в большой мере определяющим хозяйственную жизнь.

Чтобы более широко, целесообразно и эффективно вовлечь в хозяйственный оборот уникальные богатства огромного края, несколько лет назад создан

Дальневосточный научный центр (ДВНЦ), который возглавляет работу полутора десятков научно-исследовательских институтов. Часть из них совсем молоды, только начинают развертывать исследования, другие существуют по многу лет, их деятельность уже принесла серьезные результаты и для развития теории и для развития производства. Вот два примера.

Стратегической проблемой Дальневосточного геологического института является Тихоокеанский рудный пояс. Учеными выявлен и определен ряд общих закономерностей происхождения, распространения и залегания руд. Рекомендации института помогли открыть крупнейшие месторождения вольфрама, полиметаллов и других полезных ископаемых.

Сравнительно молод Институт биологически активных веществ. Но он с первых лет своего существования вышел на мировой уровень в решении ряда структурно-химических проблем многих биологически важных соединений, в частности тех, что заложены в «корне жизни» — женьшене, в элеутерококке. Столь крупный успех, помимо несомненной талантливости сотрудников института, свидетельствует еще и о благотворности размещения научных подразделений максимально близко к самому объекту изучения. И еще о том, что местная тематика научного коллектива не сужает рамки поиска, не приземляет полета мысли ученого, а подчас приводит к открытию, важному для мировой науки.

Разработки ученых — это будущее нашей промышленности и сельского хозяйства. В современной экономике Дальнего Востока решающую роль играют такие отрасли промышленности, как рыбная, угольная, горнорудная, лесная. Но это не значит, что Дальний Восток представляет собой сырьевую базу других экономически более развитых районов страны. Сама природа, сущность советского социалистического строя исключает подобную ограниченность. На это еще раз обратил внимание XXIV съезд партии, подчеркнувший, что восточные районы страны должны развиваться более быстрыми темпами.

К тому же рыбную промышленность нельзя считать лишь добывающей. Ведь рыбаки не только добывают, но и солят, коптят продукты моря, делают из них консервы, то есть выпускают готовую продукцию. Да и в лесной промышленности сегодня активно начали развиваться деревообработка, фанерное, домостроительное, мебельное производство. Скоро появится перенец лесохимии — Лесозаводский гидролизно-дрожжевой завод. Стоит, правда, упрекнуть соответствующие министерства и Госплан. Видимо, они не осознали еще в полной мере значения лесохимии, очень мало уделяют внимания ее развитию. А ведь она, особенно в наших условиях, золотое дно.

Хозяйство Дальнего Востока, Приморья — органическая, неотделимая часть общесоюзного хозяйственного организма. Дальний Восток дает более трети общесоюзной добычи рыбы. Важное значение приобретает приморский вольфрам. Сегодня на месторождении «Восток-2» только еще строится горно-обогачительный комбинат. А в недалеком будущем он станет одним из основных поставщиков этого крайне важного и «современного» металла.

Развивается новая для Приморья отрасль — фарфоровая промышленность. О ней пока мало кто осведомлен. Хотя слухи о том, что во Владивостоке легко купить фарфоровую посуду, достаточно широко распространились — мне в этом не раз доводилось убеждаться. Разумеется, наши заводы — Владивостокский и Артемовский — не могут еще конкурировать, например, с Ломоносовским или Дулевским в смысле мастерства их прославленных живописцев, скульпторов, технологов. Только Гусевское месторождение уникального по компонентам «фарфорового камня», открытое недалеко от Владивостока, способно на многие десятилетия обеспечить сырьем всю фарфоро-фаянсовую промышленность страны. Да каким сырьем! По белизне, по звону равного такому фарфору трудно сыскать.

У нас вполне могла бы получить развитие и другая определяемая дарами природы отрасль промышленности — фармацевтическая. Но тут вызывает недоумение позиция «невмешательства» прежде всего министерств здравоохранения,

союзного и республиканского. Приморская тайга располагает уникальным лекарственным сырьем как по видам, так и запасам. Элеутерококк, женшень, лимонник — это только самые известные, но далеко не единственные реликтовые лечебные растения. Богат наш край и лекарственным сырьем животного происхождения. Достаточно назвать панты пятнистых оленей, промышленные оленеводческие хозяйства сегодня в Приморье развиты широко. Есть еще совершенно уникальные по лечебным возможностям продукты моря — трепанги, икра морских ежей и т. п. Я не медик, мне трудно судить авторитетно, но все же представляется, что лекарства, столь необходимые людям, полученные из органических природных соединений, вряд ли уступают препаратам, синтезированным чисто химическим путем, например из различных смол, нефти...

Природой, а точнее — географическим положением, Дальнего Востока определяется и другая очень важная его роль в экономике страны — роль ворот во внешний мир. Значение приморских ворот — сначала Владивостока, а потом и Находки — всегда было велико для Советского государства. Отсюда шло освоение многих районов Крайнего Севера, через эти порты и сейчас проходит основной грузопоток в эти районы и из них в Центр. Отсюда поддерживались и внешнеторговые связи Страны Советов. Сегодня, когда столь бурно развивается хозяйство всех дальневосточных областей, когда ширится международная торговля, значение наших портов для страны неизмеримо возрастает. В связи с этим под Находкой в нынешнем пятилетии начато строительство еще одного крупнейшего глубоководного порта, ибо существующим сегодня уже трудно справляться с нагрузкой, а завтра их мощностей явно не будет хватать.

Получает развитие в Приморье пищевая и легкая промышленность. Ее абсолютная и относительная доля постоянно возрастает, а после XXIV съезда партии эта тенденция стала более заметной. Хотя здесь у нас еще непочатый край работы. Сегодня в ней достаточно активно (хотя порой и под некоторым нажимом) участвуют многочисленные предприятия группы «А».

В разговоре о структуре промышленности нельзя избежать одного чрезвычайно важного момента: доли в ней металлообрабатывающего сектора. Как минимум для нормального функционирования какого-либо цельного хозяйственного организма, для оперативного обеспечения нужд других отраслей она должна составлять, так показывают расчеты и практика, 29—30 процентов. В Приморье же она не превышает 20 процентов. Это у нас, пожалуй, одна из самых важных проблем.

Сегодня в металлообрабатывающей промышленности края львиная доля приходится на судоремонт. Крайне необходимое и весьма специфичное производство. Без него немыслимо не только нормальное, а вообще какое-либо функционирование транспортного и промыслового флота. Организовать же это производство чрезвычайно сложно. Ведь если судостроительный завод на определенный, порой весьма значительный срок осваивает несколько типов судов и выпускает их сериями, соответственно стабильно отлаживая свое производство, причем в кооперации с ним действуют десятки предприятий, поставляющих двигатели, оборудование и т. п., то судоремонтный завод принимает к своей стенке суда десятков типов, назначений. Возможно, в будущем — путем специализации судоремонта и обеспечения его заводами-смежниками достаточным количеством сменных агрегатов — эта отрасль промышленности изменит свое лицо. Нынеш же тут требуется высокое мастерство, высокая квалификация, большой опыт. И надо отдать должное приморским судоремонтникам, они всем этим обладают. Судоремонтные заводы — дважды орденоносный Дальзавод, Владивостокский, Находкинский, Приморский и другие — традиционно идут у нас во главе технического прогресса, социалистического соревнования. И все же существующие потребности они удовлетворить не в состоянии, поскольку флоты всех назначений растут стремительно, а темпы наращивания судоремонтных мощностей значительно ниже. В решении этой проблемы мы надеемся на помощь центральных хозяйственных органов. На наш взгляд, было бы целесообразно судоремонтное производство, распыленное пока по разным ведомствам, объединить в одно це-

лое с подчинением, допустим, Министерству судостроительной промышленности СССР.

Наряду с судоремонтом для того же флота нам крайне нужно собственное производство различного судового оборудования, промыслового снаряжения. А с этим как раз дело обстоит неважно. Да и не только флот — многие другие отрасли хозяйства настоятельно требуют для своей повседневной деятельности продукции металлообрабатывающего производства. Надо полагать, плановые органы при дальнейших разработках примут эти нужды во внимание.

Речь при этом идет не об одном лишь Приморском крае.

Производство продукции металлообработки, необходимой для дальнейшего развития экономики Дальнего Востока — с учетом его специализации, — может быть налажено и в других областях региона, ибо в целом они представляют достаточно четко выраженный единый хозяйственный комплекс. Дальневосточный экономический район сложился вполне естественно. Во всех его краях и областях хозяйство очень близко по своему происхождению и структуре. Но вместе с тем существует и определенная дифференциация и специализация, позволяющая хозяйствам разных областей дополнять друг друга. Так, Хабаровск обеспечивает рыбаков судами, Биробиджан поставляет зерновые комбайны, Комсомольск-на-Амуре — сталь, Сахалин — бумагу и т. д. Сейчас обсуждается вопрос о специализации сельского хозяйства Дальневосточного экономического района.

Сельское хозяйство Приморья — это особая и очень сложная проблема. Земель, пригодных для вовлечения в сельскохозяйственный оборот, относительно немного — все леса да горы. Климат исключительно своеобразный. То, что для флоры и фауны тайги обернулось благом — смешение северных и южных пород, — для культурного земледелия оказалось серьезным препятствием. Южные районы края находятся на параллели субтропиков, а сибирские и охотоморские ветры сводят подчас на нет благотворное действие интенсивной солнечной радиации. Близость к морю оборачивается периодическими разрушительными ливнями, от которых погибают посевы, бурно разливающиеся горные реки губят плоды трудов человека.

В то же время край находится слишком далеко от основных сельскохозяйственных районов страны, следовательно, продуктами сельского хозяйства необходимо в значительной степени обеспечивать себя самим. Сейчас, к примеру, партия и правительство поставили перед краевой партийной организацией задачу: потребности населения края в овощах и картофеле, а также в значительной мере в мясе обеспечить за счет производства на месте. Уже сегодня следует с удовлетворением отметить, что проблема производства овощей в принципе разрешена: найдена новая технология их выращивания, пригодная для наших условий.

В последнее время в Приморье заметно повысилась урожайность риса. Ежегодно вступают в строй новые рисосеющие совхозы. Ведется крупное мелиоративное строительство, включенное комсомолом в число всесоюзных ударныхстроек. Кстати, если его, как мы предлагаем, подкрепить развернутым гидротехническим строительством, то появится уникальная возможность поставить барьер на пути разгула стихии.

К сожалению, планирующие органы иногда встречают эти предложения без особого энтузиазма: дескать, высока будет себестоимость электроэнергии, получаемой на столь мелких гидростанциях. Но можно утверждать и прямо противоположное: электроэнергия в данном случае явится, так сказать, попутным продуктом, а значит, «бесплатным». Ведь речь идет не столько о производстве электроэнергии, сколько в первую голову о зарегулировании наших норовистых и опасных рек. Следовательно, мы избавимся от систематических разливов, наводнений, которые с печальной регулярностью приводят к убыткам в сельском хозяйстве, разносят по недоступным местам десятки тысяч кубометров деловой древесины, разрушают дороги, мосты, затопляют десятки населенных пунктов, в том числе такие города, как Лесозаводск, Иман — один из крупнейших на

Дальнем Востоке центров деревообработки. А попутно получим и электроэнергию.

Специалистами в общих чертах сегодня разработана и программа широкой мелиорации, а на ее основе — преобразование всего сельского хозяйства Приморья. Краевой комитет партии и исполком краевого Совета одобрили эту программу. Осуществление ее рассчитано на длительный срок — две-три пятилетки.

Когда рассказываешь даже о задачах, о нерешенных проблемах, невольно появляется мысль, что они тоже своеобразное свидетельство наших возможностей, наших достижений. И тут непременно отметишь: начинать-то приходилось с нуля.

Вот лес. До 1922 года было несколько лесопромышленников, некоторые еще и при Советской власти владели дялянками, но эти лесоразработки представляли собой кустарные предприятия. Собственно лесозаготовительная промышленность зародилась в годы первых пятилеток. Такова же история и рыбной промышленности. Один японский ученый в 20-х годах писал (как показала история, больше с надеждой, чем с научной добросовестностью), что русские никогда не освоят добычу рыбы в Тихом океане. А теперь наш огромный промысловый и перерабатывающий флот работает на любых широтах Мирового океана.

Или рис. Он выращивался и до революции, но вручную. Сегодня во Владивостоке живет Борис Александрович Неунылов, академик ВАСХНИЛ, член-корреспондент Академии наук СССР. Он может рассказать, как на рисовоопытной станции под Спасском-Дальним год за годом, не имея опыта и предшественников, создавали наши молодые специалисты основы полной механизации выращивания риса.

Разве можно с чем-либо сравнить транспортный флот? В 1917 году во Владивостоке было 36 пароходов Доброфлота, к моменту освобождения их осталось пять. А сейчас только флотов и флотилий базируется в Приморье около десятка: сухогрузный, танкерный, рыбодобывающий, китобойный, краболовный, рефрижераторный, научный. И каждый насчитывает по многу десятков и даже сотен судов.

Вот разве что угольную промышленность можно еще с чем-то сравнить. Недавно она отметила столетие. Но за первую половину своего существования до освобождения она дала около 10 тысяч тонн. А за вторую половину — 10 миллионов тонн. Единственно о чем этот факт свидетельствует, так только о развитости хозяйства края, ибо уголь идет на удовлетворение его собственных энергетических потребностей, да еще и завозить приходится.

III

Мы говорили о том, что после освобождения Дальнего Востока от иностранных интервентов и белогвардейцев молодой Советской власти пришлось начинать с нуля. Это верно, но только в отношении хозяйства. Задолго до этого край был хотя и не повсеместно, но заселен, и хотя первоначально, но освоен. Мы сегодня не можем не воздать должного нашим прадедам. Из центральных и южных губерний России год за годом сюда перебирались тысячи крестьянских семей. И попадали из огня да в полымя: бежали от безземелья, нищеты, помещичьего гнета, а находили некорчеванную тайгу, крайнюю нужду, непонятную, подчас враждебную природу. Путем несказанных лишений и бедствий разгадали они загадки нового края, застлели корни, обжили его для нас.

Не только по литературным источникам, официальным документам, но и по рассказам многих приморских семей можно представить, чего это стоило. И вот когда сегодня едешь по краю, видишь просторные, до дальних сопот поля, величественные поселки, когда через глухомань ведет тебя асфальтированное шоссе, когда ночью при подъезде к Владивостоку за десятки километров видишь на горизонте зарево электрических огней, когда круглые сутки не утихает шум на при-

чалах порта, бегут поезда, тогда и приходит на ум простая истина: не тому принадлежит земля, кто пришел на нее с мечом, спалил ее и воткнул повыше свой флаг. И не промысловому, застолбившему «свой» участок и занятому одной заботой — взять что можно от этой земли и уйти. А тот ее хозяин, кто пришел на нее с плотником топором, срубил дом, выкорчевал и вспахал клочок земли. Кто родил детей здесь и передал им землю с наказом беречь ее для их детей.

Еще в прошлом столетии приморская земля, безлюдная и дикая, стала землей русского мужика. Прежде, в средние века, на этой территории существовали крупные процветающие государства. Последнее из них, государство чжурчженей, предков многих нынешних малых дальневосточных народностей, было могуче, с высокой по тем временам материальной и духовной культурой. Долгие десятилетия оно успешно отбивалось от китайских, киданьских, монгольских завоевателей. Но последние оказались сильнее, и в начале XIII столетия государство чжурчженей, разоренное и сожженное, перестало существовать. За шесть последующих веков время и буйная тайга наглухо скрыли места, где некогда были возделанные пашни, дороги, города. Сегодня даже археологам не всегда удается напасть на следы минувшего. Люди, которые сумели избежать гибели и плена, кланми разбрелись по тайге. Были утеряны, забыты почти все достижения прогресса — земледелие, ремесла, обработка металла. Люди кочевали с места на место, ловили рыбу, охотились. С каждым веком их становилось все меньше. Они гибли от голодных зим, от повальных болезней и вражеских набегов. Между прочим, впоследствии и победители почти точно повторяли их судьбу. Поучительный урок истории: захватнические войны никогда не являлись «стимуляторами» цивилизации, прогресса.

Через шесть веков русские принесли сюда свою культуру, надежду на жизнь. Но нужна еще была социальная революция, торжество ленинской национальной политики, прежде чем надежда стала действительностью, а действительность превзошла мечты. Сегодня в великом Союзе равноправных народов, который празднует свой полувековой юбилей, достойное место занимают и малые народности Приморья — удэге, тазы, нанайцы. Советская власть спасла их от голода и от вымирания: обеспечила продуктами питания, послала к ним врачей, учителей. Она не унижала их благотворительностью, милостыней, а осторожно, не ломая вековых укладов, вводила в XX век, приобщала к участию в хозяйстве, к современной духовной культуре. И сегодня в постоянных благоустроенных поселках удэге, нанайцев, тазов есть замечательные охотники, корневщики (искатели корня женьшеня), хотя нередко на свои уголья они уже не уходят на лыжах, а улетают на вертолетах. Но еще больше среди них учителей, медицинских работников, моряков, рабочих, продавцов, шоферов, киномехаников, то есть представителей нынешних массовых профессий.

Попутно хотелось бы отметить еще один момент. Весь советский и зарубежный Дальний Восток, то есть тихоокеанское побережье азиатского материка, включая многочисленные экваториальные архипелаги, представляет собой уникальный не только этнографический, но и социальный «живой музей». Здесь присутствуют практически все известные истории типы общественно-экономических укладов — от родового строя до развитого социализма. Это важно и интересно для науки. Но это еще более важно для практики. И думается, опыт народностей советского Дальнего Востока еще не раз пригодится.

Люди, кадры — главная наша ценность и главный дефицит. Спросите дальневосточника — любого хозяйственника, партийного, советского работника: чего недостает нашему краю? — и можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что услышите одно: людей, народу. Я глубоко убежден, что именно в этом ответ на все вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Можно получить от центральных органов дополнительные ассигнования. поставки оборудования, но они становятся благом лишь тогда, когда пущены в дело, когда есть достаточно кадров, чтобы освоить их. А ежегодный дефицит рабочей силы у нас в Приморье достигает 20 тысяч человек. Дефицит, понятно, исчисляется из расчета уже имеющихся производственных мощностей, а ведь нужно и новые пускать в действие.

Естественный прирост населения не успевает за темпами развития хозяйства края. Пополнение идет в основном за счет переселения из других областей страны. Но было бы заблуждением полагать, что все население края — «свежие», вчерашние переселенцы. Сегодня его основное ядро составляют коренные дальневосточники. Это не только те, у которых еще деды и прадеды переселились сюда. Но и те, кто практически всю сознательную жизнь прожил здесь, детей здесь поставил на ноги. И то, что коренных приморцев становится все больше, это, на мой взгляд, является решающим. Во-первых, потому, что «оседлая» часть населения, разумеется, наиболее стабильный источник пополнения трудовых ресурсов. А во-вторых, реально существует, как мне представляется, несколько особый, дальневосточный характер, сформированный условиями жизни, труда.

Какие профессии наиболее распространены на Дальнем Востоке, в нашем Приморье? Рыбаки, моряки, лесорубы, горняки, геологи, охотники, ученые-естествоиспытатели. Люди, постоянно, часто один на один, имеющие дело с самой природой, стихией. А это, как обязательное условие, вырабатывает в человеке определенные качества: физическую выносливость, готовность в любой момент прийти товарищу на помощь, общительность. Отсюда, наверно, и распространенное мнение о широкой душе дальневосточников.

Работы у нас всегда вдосталь — неотложной, необходимой как воздух, а людей у нас всегда не хватает. Поэтому каждый на счету, от каждого прямо зависит многое, требуется способность действовать самостоятельно, идти первым. Отсюда развитое чувство собственного достоинства, осознание собственной значимости, презрение к нытикам. Край наш пограничный. Отсюда внутренняя собранность, готовность ко всяческим неожиданностям. Приморцы имеют весьма разветвленные контакты с внешним миром, и международные события они умеют оценивать по достоинству. Отсюда крепкая политическая закалка.

Приморье заселялось выходцами из всех союзных республик и обживалось всеми вместе. Каждый что-то приносил свое и брал от всех. И потому здесь начисто отсутствуют националистические предрассудки, на которые ныне так рассчитывают наши идеологические враги, и результаты полувекового существования Союза ССР здесь, быть может, особенно наглядны.

Словом, утверждение об особом дальневосточном характере не столь уж беспочвенно. Он присущ не только коренным дальневосточникам. И так называемые приезжие весьма скоро адаптируются, ибо все эти качества вообще характерны для советских людей. Только в условиях нашего края они просто ярче проявляются, становятся определяющими.

Недавно собирали мы во Владивостоке совещание-семинар по проблемам внедрения автоматизированных систем управления производством. На нем я еще раз с удовольствием встретился с двумя знакомыми молодыми инженерами. Один из них, Юрий Самарович Новик, коренной, «наш», владивостокский институт кончал. Другой, Валерий Александрович Хавтурин, из Ростова. Приехал сюда по распределению. Судьба свела их в одном проектно-институте. Оба «болели» промышленной автоматикой. Составляли один за другим оригинальные и смелые проекты. Проекты одобрялись и, как, к сожалению, еще случается, складывались в архив. Наконец, уже с помощью краевого комитета партии, их заметили, создали в крае сперва участок, а затем управление Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления. Было их сначала — в 1970 году — всего двое. А теперь эти два инженера руководят большой организацией, набрали работ на миллион рублей: ведут монтаж и наладку ЭВМ, проектируют и внедряют всевозможные системы автоматизации производства. Очень нужная для края организация.

Пример этот показывает, что приезжают к нам очень нужные люди. И в то же время заставляет думать: чтобы люди оседали у нас, закреплялись, необходимо создавать для них соответствующие условия.

И моральные — для творчества. Тут уже все зависит от нас самих: надо строить работу так, чтобы каждый имел возможность максимально проявить свои способности, реализовать замыслы

И материальные. В этом отношении, кстати, многое сделано и делается. По решению партии и правительства для дальневосточников установлен ряд льгот. XXIV съезд партии еще раз подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем в восточных районах страны создавать условия для закрепления кадров. Надо полагать, министерства и ведомства, плановые органы, исполняя Директивы съезда, ускорят разработку соответствующих мероприятий.

Наряду с этим, как нам представляется, было бы правильным более активно использовать другой путь компенсации недостатка трудовых ресурсов — опережающими темпами механизировать и автоматизировать промышленное и сельскохозяйственное производство, направляя для этой цели самую современную технику, новые машины и механизмы. Краевая партийная организация, краевой комитет партии настойчиво и последовательно работают в этом направлении.

Достижения Приморья, всего Дальнего Востока, размах задач, которые стоят перед этим краем, показывают, что бывшая окраина России идет ныне в ногу со всей страной по пути научно-технического и социального прогресса.



ИГОРЬ ДУЭЛЬ

★

БЕРЕГ И МОРЕ

Дорога выскакивает на пригорок, и внизу открывается хорошо знакомый поселок колхоза «Новый мир», бухта Андреева. Прошлой зимой мы ходили через нее по льду на мыс Седловидный, который, словно согнутая в локте рука, загородил бухту от волн. За мысом — открытое море. Отсюда вся бухта как на ладони. Кажется, построена она смекалистым мареманом, точно знавшим розу ветров в этих местах, умело прикинувшем, откуда надо загородиться, а где оставить проход.

Сейчас там, где ходили пешком, голубеет вода. Лишь редкие серые льдинки покачиваются на ее поверхности...

Машина идет сквозь странный мартовский листопад. Здешние дубы, всю зиму простояв в листве, теперь, по весне, сбрасывают свой наряд. Жесткие прошлогодние листья хрустят под колесами. В низинах стоит высокий желтый бурьян, тоже жесткий, крепкий — даже сильному ветру не кланяется.

...О председателе «Нового мира» Иване Алексеевиче Шпарийчуке в прошлом году писала Екатерина Лопатина. Отмечала, что к атакам журналистов он не привык и весь погружен в каждодневные колхозные проблемы. А связь между их решением и встречами с корреспондентами не столь уж тесная.

Однако теперь председатель сразу же заговорил об этой связи. Рассказал, что один колхозный снабженец во все поездки за запчастями берет прошлогодний третий номер «Нового мира». В трудных случаях пускает журнал в ход: про нас вон сколько в Москве напечатали, а вы одной несчастной детали не можете найти. Иногда помогает. Но это, конечно, так, в шутку. А вообще популярность у колхоза и в самом деле большая. Недавно приезжали московские кинематографисты. Прочитали она про «Новый мир» — решили снять о нем фильм. Когда закончат — обещали прислать. Можно будет в колхозном клубе показывать.

После выступления журнала в колхоз пришло множество писем из самых разных концов страны. Среди них и письмо выпускника училища культуры Алексея Козлова. Узнав из журнала, что в колхозе нет руководителя художественной самодеятельности, Алексей предложил свои услуги. Сообщил, что и жена его Валентина Тонищева специалист по этой же части. Им сразу ответили, просили приехать. Теперь дали квартиру. И супруги командуют клубными делами. Самодеятельность выступает часто; на конкурсе, в котором участвовали все рыболовецкие колхозы Приморья, новомировские таланты заняли первое место. Старики тоже взялись за дело. Кирилл Пихель, тот самый папа Карло, о котором писал Михаил Роцин, организовал ансамбль эстонского народного танца — выступали не только в колхозе, но и в районе и даже во Владивосток ездили...

Колхозные новостройки имеют внушительный вид. Особенно двухэтажный столярный цех, только что законченный, — стены из белого кирпича, с краснокирпичными узорами. Цех будет делать все столярные работы, связанные с ремонтом судов, а кроме того, оконные рамы и двери для строительства, мебель по заказам колхозников. К потолку цеха приделаны узенькие рельсы. Это под-

весная дорога для животноводческих помещений, с помощью ее ковшей коровам раздавали корм. Потом она пришла в негодность. В столярке ее смонтировали, естественно, ради иных целей — для выгрузки опилок и стружек. Шпарийчук с гордостью сказал, что идея изменить «профессию» этого устройства пришла колхозным механикам.

С удовольствием показывал председатель и другие новинки. В освобожденном здании бывшего столярного цеха теперь коптильня. Коптят селедку, добытую на прибрежном лове. Построили холодильник, палатку «Свежая рыба», которую украсил пластмассовый Нептун с трезубцем. В небольшом помещении — литейной — освоили капроновое литье. Из обрезков дельки, что остаются в сетопосадочном цехе после выкройки тралов, делают очень удобные капроновые иглицы — орудие хотя и маленькое, но необходимое для шитья сетей и их ремонта; изготавливают капроновые втулки к судовым двигателям. Над пирсом — новая диспетчерская, белостенная, как и столярный цех, с узорами из красного кирпича. А на сопке строители заканчивают фундамент колхозного ресторана. Его проект висит в кабинете Шпарийчука — нарядный стеклянный куб. В прошлый приезд председатель жаловался на то, как трудно заказать нужный проект. Планшеты наводили на мысль, что теперь с этим стало легче. Шпарийчук только рукой махнул:

— Так же, как было. Еле выбили проект на пятиэтажный дом — теперь наконец всерьез строим, к Новому году закончим. Проект на перестройку клуба тоже добыли. А на детский садик никак не можем выбить. И оранжерею начали строить, да бросили — нет проекта. Вообще, мало у нас нового.

С этим трудно согласиться — колхозные новостройки говорят сами за себя.

ПРОМЫСЕЛ

«Поля» колхоза «Новый мир» разбросаны по всему Тихому океану. Самое дальнее из них — Бристольский залив Берингова моря, это уже в западном полушарии, за линией перемены дат. От колхоза его отделяет более четырех тысяч километров. В марте здесь промышляло несколько новомировских судов, и среди них — флагман колхозного флота БМРТ (большой морозильный рыболовный траулер) «Коммунист Украины». Сюда и лежал мой путь.

Впервые я побывал на Дальнем Востоке десять лет назад — поехал в эти края сезонным рабочим. Полгода провел на Курильском острове Кунашир, плавал матросом на МРС — малом рыболовном сейнере, «эмереске», а попросту «маруське». И потому знаю, как выглядит судовая машина или, скажем, рулевая рубка.

Но рулевая рубка «Коммуниста Украины» поражает обилием приборов, которые навешаны на все ее переборки, привинчены к палубе так, что свободного места остается мало. Они миниатюрны, эти многочисленные датчики, указатели, пульты, но если собрать их вместе и сложить в трюме «маруськи», то она, пожалуй, не выдержала бы такой тяжести.

Вообще сравнение с «маруськой» много раз приходило в голову, когда я знакомился с БМРТ. На первый взгляд оно может показаться комичным. Но ведь всего десять лет назад именно «маруськи» составляли значительную часть флота дальневосточных рыбозаводов и колхозов. На Кунашире в то время других судов просто не было. И когда перед самым концом путины колхоз «Родина» купил РС — рыболовный сейнер, — он выглядел гигантом по сравнению со всей остальной флотилией острова.

А сегодня эпоха «марусек» навсегда уходит в прошлое. В «Новом мире» РС, которые десять лет назад казались громадными, — самые малые суда. Их не выпускают в такие далекие районы, как Бристоль. И даже на сравнительно близкий промысел — к Южным Курилам — РС не разрешают выходить самостоятельно. Сейнеры выстраивают в караваны, и, словно первоклашки, они совершают переход под наблюдением «взрослого» — крупного судна, на которое возлагается полная ответственность за целостность и сохранность сейнеров.

Конечно, все эти приборы с их многочисленными указателями, стрелками, самописцами значительно облегчают управление судном, процесс лова, весь рыбацкий труд. Но ведь они предъявляют и свои особые требования к морякам.

Я на секунду представил, что в рулевую рубку БМРТ входит принять вахту капитан нашей «маруськи», которого все называли просто Саней. Он был типичным рыбацким капитаном тех лет. Штурманский диплом получил на годовых курсах двухсоттонников, а на курсы поступил, имея образование пять классов. Саня умел не падать духом в сложных ситуациях и дух команды поднять умел, мог показать, как завязывается любой узел и как штопать иглицей порвавшуюся ловушку. Но даже простая прокладка курса давалась ему с огромным трудом.

Так вот Саня в рубке «Коммуниста Украины», видимо, чувствовал бы себя столь же неуверенно, как в кабине космического корабля. К примеру, на траулере стоит специальная установка ВРШ — винт регулируемого шага. Она позволяет почти мгновенно совершать различные маневры — скажем, переходить с переднего хода на задний. Раньше для этого нужно было остановить вал, на который насажен корабельный винт, потом запустить его в обратную сторону. Уходило время. Теперь вал вращается в одну и ту же сторону, а поворачиваются лопасти винта. Причем они могут принимать самые разные положения. Поэтому на швартовке появились совершенно новые приказы: «Двойка — назад! Четверка — вперед!» — цифра означает здесь угол поворота лопасти. Конечно, с помощью ВРШ много проще швартоваться: можно и подойти, снизив скорость до нужного предела, и вовремя отработать назад. Но ведь все эти «двойки — назад» и «четверки — вперед» надо держать в голове, надо точно представлять, как они повлияют на движение судна, и приказ о них надо отдать вовремя.

А Саня на «маруське» швартовался попросту, без затей. особенно когда выходила из строя муфта заднего хода — она чаще всего бывала сломана. Сбавлял скорость, подруливал к пирсу и громко кричал собравшимся зевакам: «Геть с пристани, бо заднего ходу нема!» Предупреждение было совсем не лишним — «маруська» несколько раз так стучалась о дощатый настил, что расщепила крайние доски...

Ночь. На баке ни огонька. Кажется, что стекла рулевой рубки заклеены черной бумагой. Судно идет по приборам, словно самолет. На вахте третий помощник Борис Евланов. Ему двадцать три года. Он самый молодой из штурманов и самый добычливый. Больше восемнадцати на вид Борису не дашь, он похож на десятиклассника, первого ученика — роста небольшого, лицо по-мальчишески румяное, а глаза загораются в такт мыслям.

По радиопеленгатору «Лорану» Евланов проверяет координаты судна. Его задача — точно вывести траулер на знакомую банку, где недавно брали хорошие уловы. Эхограммы с записями конфигурации дна этой банки разложены на столе в штурманской рубке под низко надвинутой лампой. Борис то и дело бегаёт в штурманскую и, возвращаясь назад, смотрит на эхолот — сверяет ту, старую эхограмму с новой, которая сейчас пишется на ленте. Когда обе записи полностью совпадут, станет ясно — траулер на добычливом месте. Борис приказывает сменить курс и, поглядев на ленту эхолота, снова уходит в штурманскую. Еще раз меняется курс. Траулер теперь ближе к прежнему направлению, но придется совершить еще с десятков маневров, прежде чем оно будет точно скопировано. И надо спешить, иначе можно проскочить счастливую изобату, тогда придется возвращаться назад, терять время. Сейчас все зависит от верного глаза штурмана, от его умения понять и оценить то, что показывают приборы. Так и курсирует Борис от эхолота к «Лорану», от него в штурманскую. На море смотрит лишь изредка — только для того, чтобы проверить, нет ли по курсу судов. А больше незачем — до берега сотни миль, волны всюду одинаковые, и их вид никак не может помочь в поисках богатой рыбой банки...

На Саниной «маруське» был всего один прибор — компас со спиртовой картушкой. А рыбу искали глазами. Врубали поисковый прожектор, и вахтенный

штурман крутил его вправо-влево. Луч, словно циркуль, чертил перед носом «маруськи» яркие дуги, и вырванные из темной вершины волн поблескивали в его свете, как антрацит. Так и крутили прожектор до тех пор, пока среди жирного блеска воды не вспыхивали электрические искры. Это выпрыгивала на свет сайра...

Борис наконец добился полного совпадения эхограмм. Теперь судно на той самой изобате, где хорошо ловилось. И сейчас записи эхолота внушают надежду. Над темной пологой линией дна разбросаны серые черточки — скопления рыбы. Евланов по радио командует:

— Майна трал!

На кормовой площадке появляются тральцы, которые до этого покуривали в конце жилого коридора, у выхода на рабочую палубу. Они поддевают полотно гаками, спущенными со стрел, и трал медленно сползает вниз по слипу. Тральцы расходятся по срезам кормы над слипом. Когда весь трал скрывается под водой, они цепляют к тросам доски и снова уходят греться.

На судне — и в коридорах и на палубе — пустынно, буднично. Если не мотаться с переднего мостика на задний и обратно, а сидеть в каюте, то так и не узнаешь, что закончен переход, что траулер уже на своей банке и даже трал выметан за борт.

Странно! На «маруське» такого не могло быть. Как только находили рыбу, вахтенный матрос влетал в кубрик со скоростью шаровой молнии:

— Полундра! Подъем!

Все просыпались мгновенно, с ходу впрыгивали в хитро поставленные перед сном сапоги, а через минуту уже были на палубе. И тут начиналась свистопляска. Под левым бортом, на котором горели люстры — грозди пятисотваттных ламп, — бешено плясала сайра. Тонкие длиннотелые рыбины выпрыгивали из воды, зеленой и прозрачной под ярким светом. И рыба пляска задавала темп движениям рыбаков. Ребята едва успевали разбежаться по правому темному борту, как, перекрывая рев двигателя, неслась сверху хлесткая команда:

— Ловушку!

И только успевай! С носа и с кормы летели толстые болванки — груза. А лебедка в это время уже опускала за борт сеть. Морская стенка — несколько толстых бамбучин — так и норовила прижаться к борту, и рыбаки, упиравшись ногами в палубу, со всей силы отталкивали ее бамбучиной подальше от судна.

А капитан тем временем постепенно выключал люстры левого борта, зажигал свет на правом. Рыба бросалась за светом, всей массой зависала над сетью. И тут наступало главное.

— Подъем!

Вот уже сеть под бортом. Огромный сачок — каплер врезался в живое се ребро. Рыба сыпалась в бункер. Из трюма летел лед. Щелкала заглушка бункера, разрывая поток сайры, отсылая в подставленные ящики сколько положено. И ребята носились по палубе с этими тридцатикилограммовыми ящиками. А палуба узка, скользит под ногами, и волна, предательски мягко подползая к «маруське», бьет ее неожиданно и сильно. Надо успеть прижаться спиной к уже составленному штабелю ящиков. И надо спешить. Рыба под бортом! Надо скорее освободить сеть. Тогда — новый замет.

Таким я и представлял себе всякий лов — лихим всплеском энергии, где все делается бегом, в темпе, где нет чинов, а все становятся равны и расставляются по тем или иным местам не по тому, матрос ты, механик или старпом, а по тому, насколько ловок, какую нагрузку способны вынести твои мускулы. Весь экипаж «маруськи» — семь человек — выкладывался за эти ночные часы до последнего...

Здесь же — на БМРТ — каждый строго по расписанию делает свою работу. Тральцов — две бригады по шесть человек. Они отстаивают вахты, отдыхают и снова на вахту. Так же работают бригады обработчиков на фабрике. В положенное время выходят на свои рабочие места штурмана, механики, электрики, реф-машинисты. И даже сами тральцы — непосредственные добытчики — не крутят-

ся подолгу на палубе, где холодно и крепкий северный ветер забирается под телогрейки.

А уж про камбузников, официантов, дневальных и говорить нечего. Все они занимаются своими делами, и ловят, не ловят — им, в общем-то, неизвестно. Лишь в тех случаях, когда уловы особенно велики и фабрика своими силами не может переработать рыбу, выходят на несколько часов в день на подвахту врач, заведующий производством, старший мастер добычи — словом, те, чья работа не связана с несением вахт в строго определенные часы. Конечно, такая организация дела более рациональна, эффективна, четкость в разграничении обязанностей, методичность приносит пользу промыслу. И все же немного жаль того прежнего лихого, веселого, хотя и очень трудного лова...

Когда трал за бортом, внимание штурмана сосредоточено на двух приборах — эхолоте и ФНР. Главное сейчас ФНР — аппарат, который фиксирует заход рыбы в трал. Борис Евланов приник к экрану ФНР. По его показаниям, камбала есть. Хотя прибор капризный и не всегда стоит ему верить. Эхолот тоже выпускать из поля зрения нельзя — если залезешь на острые скалы, трал оставишь на дне. Сейчас важно точно выбрать момент для подъема, и Борис напряженно ждет. Наконец он определяет, что трал оторвался от дна, и командует по радио:

— Приготовиться корме и машине! — А через несколько минут дает главную команду: — Вира трал!

Теперь он бежит в кормовую рубку.

— Передавай управление! — командует Борис на мостик, и почти тут же голос вахтенного рулевого:

— Управление передано!

Кормовая рубка дублирует основную. Теперь движение судна подчиняется кормовому штурвалу.

Внизу, на освещенной палубе, ползут над слипом ваера, мелькают веревочные отметки сотен и полусотен метров. Ваера медленно наворачиваются на барабаны лебедек. Пока все семьсот метров вылезут из воды, пройдет минут сорок.

Борис смотрит на корму и осторожно поворачивает маленький штурвальчик пульта управления — на таком огромном судне штурвальчик кажется совсем игрушечным, трудно поверить, что траулер его слушается. Но это скоро становится заметно. Зыбь — баллов семь, волна бьет в корму, и она прыгает вверх — вниз, влево — вправо. Ваера сползают в сторону, трутся о края слипа. Борис подворачивает корму, возвращая ваера на прежнее место.

В узкой задней рубке уютная полутьма. Даже ветер, который врывается в открытое окно, не может выдуть тепло.

Евланов вздыхает:

— Уже два месяца от жены ни одного письма. Как думаете, сразу подавать на развод или отложить до выяснения обстоятельств? Отложу, пожалуй. Четыре года — солидный супружеский стаж. Я ведь еще на последнем курсе мореходки женился. А дочь родилась в день, когда первый раз в море уходил. В шестнадцать часов родилась, в двадцать — отход. И ровно год отплавал без смены, на берег пришел в день ее рождения. Четыре месяца дома — и опять в рейс на семь с половиной. Жена дочку по фотографии учила: это папа. Вернулся, она меня так обняла — еле оторвал. Так и живем. Три года я после мореходки в колхозе, из них два и три месяца в море.

Говорит, а глаза нацелены на слип, рука покручивает штурвал.

В приемнике голос мастера Стельмашука:

— Пятьдесят метров осталось, Борис Тимофеевич.

— Добро! — говорит Евланов в микрофон и по рыбацкой привычке, чтоб не сглазить, пошучивает: — Ну что, камешки тянем? — А в голосе напряжение.

Тральцы снова расходятся по боковым отсекам кормы, снова встают над слипом. Через несколько минут появляются из воды траловые доски. Володя Стельмашук движением руки останавливает лебедку. Тральцы прикрепляют доски к бортам. А корму швыряет во все стороны. волна по слипу заползает на

палубу. И трудно понять, как там, на корме, можно просто устоять, не то что работать.

И вот на палубу влезает кутец с рыбой. Оглядев его, Борис говорит:

— Тонн десять, не больше. Ничего, но бывает и лучше. Хорошо бы без камней. — И командует на передний мостик: — Бери управление! Включить эхолот и «Лоран»! Еще раз пройдем по этой изобате. На корме! Когда освободите трал, оттяните подальше от слипа, пойдем против волны, может сорваться.

И убегает в носовую рубку.

Внизу, на кормовой палубе, тральцы уже подтянули трал лебедками. Рыба летится в люк, трепеща, ударяя хвостами по палубе. В основном это крупная желтобрюхая камбала, но попадаетеся и минтай, и огромная, в полметра длиной треска с выпученными глазами, и тощие крабы-стригуны. Все это быстро скрывается в люке.

Тральцы укладывают сеть и уходят греться в коридор. Палуба пустеет. Только гидроакустик Василий Фокин проверяет датчик ФНР — нужно, чтоб все было в полном порядке. Когда Борис Евланов выведет судно на ту самую изобату — новый замет.

...Когда капитану Гуго Тикку сказали, что вторым штурманом на его сейнере пойдет Михаил Макшанцев, старый Гуго спросил, нельзя ли послать этого парня к Армасу или к Гамсу. Макшанцев был первым в колхозе специалистом «со стороны» — приехал сюда после окончания в Ленинграде мореходного училища. А капитана гораздо больше устраивали местные ребята, которые не то что рыбачить — ходить по земле научились у него на глазах. К штурманским дипломмам Тикк относился равнодушно: на промысле не диплом нужен, а понимание рыбы — этому никакая мореходка не научит. Да и сам штурман ему не понравился. Хотя парень коренастый, крепкий, но глаза озорные, смеется часто, балагурит — несолидное поведение.

Макшанцев проплавал на сейнере Тикка год. Солидности не прибавилось, но рыбацкую науку, в которой действительно был новичком, впитывал основательно. И скоро он уже позволял себе кое в чем не соглашаться с учителем. Однажды Тикк, веривший в безошибочность своей интуиции, заявил: «Рыбы сегодня не будет, пойду спать». А Макшанцев все-таки сделал замет. Улов оказался приличным. Проснувшись, капитан обнаружил, что его судно сдает рыбу плавбазе. Целую неделю Тикк ходил обиженный, но потом все же позволил Михаилу ловить самостоятельно.

Двадцатипятилетнего штурмана правление назначило капитаном РС «Алатау». Это было в 1959 году, а вскоре имена трех новомировских капитанов — Вальдемара Гамса, Ивана Шпарийчука, Михаила Макшанцева — стали известны по всему Дальнему Востоку. На своих сейнерах они брали рекордные уловы сельди. Теперь Гамс — капитан колхозного флота. Шпарийчук — председатель колхоза. А Макшанцев пока не собирается оставлять капитанский мостик. Он, если так можно выразиться, капитан-испытатель. Когда колхоз получает судно нового типа, командовать им поручают Макшанцеву. Он осваивал первый в колхозе траулер-рефрижератор «Седанка» и первый морозильщик «Счастье». А три года назад стал капитан-директором ВМРТ. И каждое из этих судов — этап в его морской биографии.

«Седанка» перед уходом из Бристоля в колхоз подходила к «Коммунисту Украины» забрать почту. Ей были устроены торжественные проводы. Макшанцев говорил по «кораблю»:

— Счастливо добраться, ребята! Сто футов под килем. Колхозу привет! Всем нашим привет!

Потом выскочил на крыло рубки.

— Это же наше первое крупное судно! Я его в Хабаровске принимал. С женой вместе летали и по Амуру вместе шли. — Вахтенному штурману приказал: — Ложись параллельным курсом! — И снова стал вспоминать. — Раз в бухте Лаврова целую флотилию затерло льдом, ветер жал в бухту, затрессовал льди-

нам вход. Там морозильщики, плавбазы, траулеров множество и мы — наша «Седанка». Это сейчас она маленькой кажется, а тогда — флагман! Год всего плавала. Ох как не хотелось во льдах до весны оставаться! Ну я и решил рискнуть. Кое-как развернулся и стал кормой вперед пробиваться к выходу. Почему кормой? А чтобы винтом льды разгонять. Разбегались и по пять—семь метров проскакивали. Смотрю — другие капитаны тоже зашевелились. Стали лед толкать с разных сторон. А страшно, льдины здоровые, запросто могут обшивку прорвать. Ну ничего, «Седанка» выдержала. Мы двое суток выбирались и все-таки выбрались. Вторыми были у входа. А за нами уже по растолканному льду другие суда. Вот какая наша «Седанка»!

«Коммунист Украины» с мило провожал уже немолодой, проржавевший на промысле траулер — шел параллельным курсом. Радисты поставили на полную громкость торжественный марш. БМРТ гудел на прощанье басовито, мощно, а Макшанцев долго махал рукой вслед удаляющейся «Седанке».

Макшанцев командует огромным траулером с экипажем в 95 человек легко, весело, кажется, что это не составляет для него особенного труда и груз ответственности не тяготит капитанские плечи.

По судну ходит неторопливо, будто прогуливается. Как бы между делом заглядывает на фабрику. Стоит и смотрит — матросы раскладывают камбалу по противням, ставят их на тележки и закатывают в морозильные камеры. Мастеру смены Анатолию Мишину говорит:

— Что-то у тебя тележки неполные. Обсчитался я или одного противня не хватает?

Мишин с молодой горячностью сыплет словами:

— Не заходит больше, Михаил Андреевич. Вынуть потом совершенно невозможно.

— Возможно.

— Да мы пробовали раз пять уже — ничего не получается.

Капитан обнимает Мишина за плечи и говорит доверительно:

— Я тоже пробовал, Толя. Раз двести. Всегда был полный порядок. И ты давай постарайся. А то нас же с тобой рефмеханик заругает. Я, скажет, холод даю на пятьдесят четыре противня, а вы закатываете пятьдесят три. Как мы с тобой оправдаемся?

А в колхозе про него рассказывают легенды. В 1964 году на селедке в Охотском море РС «Гигант» проваливал план. Обидно, когда вся колхозная флотилия берет отличные уловы, лишь один сейнер подводит. Как и всякий важный вопрос жизни колхоза, положение с «Гигантом» обсуждал партком. Коммунисты предложили правлению отозвать Макшанцева из отпуска и послать капитаном на отстающий сейнер, чтоб поправил дела. Макшанцев не был уверен в успехе — до конца экспедиции оставалось всего двадцать дней. Ему сказали: «Ну все-таки сделай что можешь». Вечером Макшанцев вылетел в Магадан, утром принял РС и сразу вышел на лов. Через десять дней до выполнения плана оставались уже считанные центнеры. И тут, как нарочно, обломалась лопасть винта. «Гигант» едва дотащился до бухты Нагаева. Но на полуживом сейнере вернулась совсем не та команда, которая десять дней назад ушла из порта. Следа не осталось от прежнего неверия в свои силы, покорности неудачливой судьбе. Винт они отремонтировали всего за сутки. И снова на промысел. До конца экспедиции «Гигант» выловил больше 15 тысяч центнеров селедки и значительно перевыполнил план. После этого рыбаки стали дружно утверждать, что у Макшанцева в голове локатор...

В неудачливый день, когда трал несколько раз приходит почти пустым, Макшанцев остается таким же спокойным, как и в дни больших уловов. Он прохаживается по рубке, слушает команды штурмана, посматривает на приборы и ни во что не вмешивается. Потом вдруг говорит как бы между прочим:

— Может, на норд-ост сбегает? Там есть одна баночка, очень симпатичная. Думаю, не должна подвести. — Покажет место на карте и уйдет из рубки.

Штурман меняет курс.

Когда в новом месте делают пробное траление, капитан стоит на заднем мостике. Склонив набок голову, смотрит, как выползает по слипу трал. Улов вполне приличный. И кажется, есть смысл повторить только что проделанный маневр. Но Макшанцев иного мнения:

— А что, если нам с зюйд-оста зайти? Может, попробуем?

Штурман снова меняет курс, хотя подчас бывает удивлен решением капитана. Зачем уходить с рыбного места? Но вот новое траление — и улов оказывается вдвое больше прежнего: опять сработал «капитанский локатор». А после вахты Макшанцев вызовет штурмана и подробно объяснит ему смысл своего маневра.

Если же рыба идет хорошо, Макшанцев за целый день ни разу не выйдет на мостик. Зачем людям мешать?

Но вот однажды в шторм нужно было снимать экипаж с тонущего судна. Операция казалась рискованной, и никто не решался сделать первый шаг. Тогда Макшанцев прыгнул в бот, и рыбаки уже не могли не последовать его примеру.

Таково убеждение Макшанцева: капитан должен делать то, что никто, кроме него, сделать не сможет.

Вся методика лова, которой пользуется Евланов и другие штурмана, до деталей отработана капитан-директором. На «Коммунисте Украины» хранятся эхограммы дна Бристоля за несколько лет. Это своего рода «инвентарная опись» огромного залива со всеми его добычливыми банками. По ним можно составить представление о размерах рыбных концентраций в разных районах. Словом, изучение «эхотек» позволяет разглядеть через слой воды в несколько сот метров, что происходит на дне залива, а потому и сводит до минимума случайность на промысле. Впрочем, Макшанцеву часто бывает не нужно заглядывать в эхограммы. Весь Бристоль и другие районы промысла «сфотографированы» в его памяти. Вот в чем принцип конструкции «капитанского локатора».

Капитану нравится его БМРТ. Нравится потому, что здесь все рыбные проблемы решаются комплексно. Ведь на РС как бывает? Только взяли улов — сразу надо думать, куда его сдать. Не успел вовремя сдать — рыбу вывалишь за борт. Много переходов, много швартовок, много непроизводительных потерь времени. А на БМРТ не пропадает ни центнера рыбы. Ценную сами морозят, а всякую мелочь — прилов — перерабатывают на муку. Для этого на судне есть специальная рыбомучная установка — тукомолка.

— Понимаете, раз мы сдаем мороженую рыбу по системе борт — магазин, все помехи между рыбаком и едоком снимаются. А наша камбала всегда идет первым сортом. Теперь ее даже проверять перестали. Смотрят: с «Коммуниста Украины» — значит, порядок. Честь фирмы!

Честь фирмы новомировского БМРТ подтверждают многие его победы. В 1970 году в соревновании, посвященном столетию В. И. Ленина, он занял первое место по Министерству рыбного хозяйства, вышел победителем во Всесоюзном смотре по культуре производства, не раз завоевывал «Голубой вымпел» министерства. К списку наград судна можно добавить и награды его капитана: две медали — «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», — орден Трудового Красного Знамени.

С промысла я возвращался на колхозном СРТМ «Планктон». По дороге судно прихватил крепкий шторм. Две ночи уснуть было невозможно. Как только ложишься на бок, волна складывает во всех суставах, будто приседаешь лежа. Перед завтраком, обедом, ужином вахтенный штурман объявлял по судовой трансляции: «Внимание! Через десять минут судно сменит курс — и сбавит ход. Всем быстро поесть!»

Старпом Эдуард Вальдман рассказывал, что всю путину стояла такая погода, а рыбалку не прекращали. В северном районе, правда, льды гасили зыбь, но они тоже мешали. Как-то нашли хорошую банку, два дня брали большие уловы, и рыба крупная, чистая. Потом вода над банкой стала замерзать, лед отжимал траулер с добычливого места, пока совсем не выжал.

Теперь все волнения промысла были позади, и Вальдман рассказывал о них спокойно: мысли его уже на берегу, дома.

Жены, семьи — эта тема никогда не исчезает из рыбацких разговоров. Макшанцев, например, говорил, что нашел действенное средство против разлуки:

— Я чаще всех домой пишу, самые длинные письма. Надо всегда напоминать о себе. Тогда будто ты и не уходишь на промысел, будто все время дома.

Но, видимо, средство это все-таки плохо помогает, потому сам же Михаил Андреевич рассказывал, что жена его каждый раз не хочет в море отпускать.

Капитан «Планктона» Дмитрий Павлович Кавкайкин, опытный морской волк, считает, что главное для моряка — с самого начала правильно выбрать жену. И тогда в семейных делах — всегда порядок. Но полный ли порядок? Во время перехода Кавкайкин рассказал, что его сын-первоклассник еще до Нового года выучил всю таблицу умножения. А на берегу выяснилось, что сын капитана уже во втором классе.

Вальдман жаловался, что трое у него детей, а ни одного маленьким не видел. Сейчас он спешит, надеялся, что третьего сына, который тоже в его отсутствие родился, увидит хотя бы полугодовалым.

Нет, вряд ли возможно решить проблему разлук. И чем ближе подходит судно к дому, тем чаще говорят моряки о женах, о семьях. А на берегу с нетерпением ждут мужей, отцов, сыновей. Но бывает и по-другому. На «Планктоне» идет матрос с «Коммуниста Украины». Зовут его Владимир. Молодой парень, высокий, плечистый богатырь. Он списался с судна, проплавав всего три месяца. Теперь возвращается домой. А все дело в двух письмах, которые пришли с последней почтой. Одно от жены, полное упреков, второе от друга, который, извиняясь, что лезет в семейные дела Владимира, намекает: не все в поведении жены нормально — и советует приехать, чтоб разобраться.

И вот какова сила написанных на бумаге слов! Бросил Владимир промысел, судно, идет на «Планктоне», чтобы понять что к чему.

И еще один матрос, списавшийся с «Коммуниста Украины», возвращается домой на «Планктоне» — Виталий Хватов. Он работал на фасовке рыбы и во время шторма получил травму руки. Пришлось списаться. Виталий отстаивает вахты со старпомом Вальдманом — с четырех до восьми и с шестнадцати до двадцати. Моряки издавна называют вахту с четырех до восьми «собачьей», потому что это часы, когда больше всего клонит в сон.

Захожу однажды под вечер в рубку. Хватов говорит:

— Вовремя пришли! Сегодня закат должен быть красивый. Я окошко протер, чтоб лучше видеть.

А протереть окошко не просто. После шторма с наружной стороны выступила соль. Значит, он вылезал на трап и, всем телом свесившись с него, отмывал соль мокрой тряпкой. А рука-то болит.

За закатом следит, будто этот закат ему лично принадлежит, боится, что окажется хуже вчерашнего. Он вроде бы свои владения показывает.

— Такое только на море и увидишь. И вахту нашу зря собачьей называют, как раз на нее все восходы и закаты попадают.

Увидел касаток — обрадовался: «Я их сразу узнал»; рассказывает про ракушки, кораллы, водоросли. Все это его — кровное...

Иные публицисты торопливо пытаются разделить моряков на романтиков и стяжателей. Но что-то не встречаются на судах стяжатели. И романтические атрибуты у моряков не в ходу. Как-то, например, выпустили серию кораблей и названия им дали, напоминающие про мощь стихии: «Буря», «Шторм», «Тайфун», «Циклон», — а моряки, все эти стихийные бедствия испытывавшие на своей шкуре, переименовали эскадру в один день. И пошло гулять по портам ее новое имя — «Дивизия «Хреновая погода».

Словом, не голубые романтики и не мрачные стяжатели промышляют рыбу в Тихом океане, а ребята, которым по вкусу морская работа и которые умеют ее выполнять. Иные из них здесь родились, впитали с молоком матери привязан-

ность к этим местам, к рыбацкому труду. Другие приехали издалека, вышли раз в море и поняли, что нашли свое дело. Вот и Виталий Хватов из таких. В отличие от романтиков он штормов на свою голову не зовет, тихой погоде рад, но когда выпадает буря — работает так же старательно и спокойно, как протирал тряпочкой стекла.

«КРЕПОК ТОТ КОЛЛЕКТИВ...»

Мой рассказ о том, насколько не похож промысел десятилетней давности на нынешний, о высокой квалификации новомировских рыбаков Шпарийчук оборвал на полуслове:

— Да никому это сейчас не нужно! Не дают нам второго БМРТ — и все!

Мне показалось, что председатель придает этому слишком большое значение.

— А вот пойдите сюда, — показал Шпарийчук на окно. — Видите этого парня? Да, да, того, который двор метет. Кто он, по-вашему? Дворник? Нет, не дворник. Он боцман, курсы кончил, стипендию от колхоза получал. И отличный боцман. А соседний участок двора подметает тоже не дворник — рефмашинист. А в слесарях кто у меня ходит, знаете? Чубраков Валентин. А он, между прочим, стармех. В судоремонте работает Лев Никитин — механик первого класса. И еще: сейчас шесть капитанов на берегу без дела болтаются. Куда я их всех поставлю, если нет у меня судов? Мы в последние месяцы и так в колхоз никого не принимаем. Но ведь дети колхозников подрастают, десятилетку кончают, потом идут в мореходки, или в морские школы, или на курсы. В Приморье этих разных школ и курсов очень много. Возвращаются к нам готовыми специалистами, с дипломами. Не можем мы их в колхоз не принять! Принимаем. А потом полгода люди плавают — полгода ждут места. Разве это дело? Колхоз сейчас — мощное предприятие, не хуже любого комбината. Это сложный хозяйственный организм, он должен развиваться! Вы понимаете, что все это значит? Боцманы — в дворниках, механики — в слесарях. Как мне всем этим людям в глаза смотреть?!

...В прошлом году журнал уже писал о проблеме развития новомировского флота. Представители редакции встречались с руководством Министерства рыбного хозяйства СССР, которое разъяснило, что таких судов, как БМРТ, пока вообще мало и целесообразней давать их гослову. Его организации более мощные, более надежные.

Видимо, в масштабе министерства, по большому счету, так оно и есть. А если взять конкретные факты по отдельным хозяйствам, картина несколько меняется. Вот, например, что пишет на первой полосе газета «Камчатский комсомолец» 6 апреля 1972 года:

«А ну-ка, парни!..

БМРТ «Николай Островский»: требуются 29 сильных, умелых, знающих!

БМРТ «Николай Островский» — первое в стране комсомольско-молодежное судно-орденоносец. Экипаж его в 1964 году выловил 150 000 центнеров рыбы, установив мировой рекорд, побить который пока никто не смог.

На днях судно вышло из ремонта. Экипаж готов сражаться за максимальный вылов рыбы в юбилейном году. Но команда еще полностью не укомплектована: требуются двенадцать матросов-обработчиков и пять добытчиков, штурманы, радист, механики, мотористы, электрики и представители других специальностей — всего 29 человек.

Конечно, не может не радовать, что камчатские журналисты стараются помочь рыбакам. Но призыв этот наводит и на другие мысли. Оказывается, в гослову не хватает кадров. В Главном управлении Дальрыба подтвердили, что с кадрами в гослове дело обстоит не лучшим образом. Из-за этого простаивают многие промысловые суда. Словом, картина как раз обратная той, что сложилась в «Новом мире».

По мнению многих работников Дальрыбы, эта парадоксальная ситуация возникла из-за того, что колхозная система зарплаты весьма гибкая. Колхозник

получает только «с хвоста», то есть с момента выхода судна на промысел, рыбаки платят определенный пай за каждый центнер пойманной рыбы, за перевыполнение плана — премию.

Председатель Приморского рыбколхозсоюза Дамир Георгиевич Халецкий заметил по этому поводу: система оплаты настолько проста, что ее усваивают не только сами рыбаки, но и далекие от промысловых дел рыбацкие жены.

В гослове система оплаты труда весьма сложна — районные коэффициенты, доплата за переработку, премиальные, причем один вид премии — процент с оклада, другой — от реального заработка.

Л. И. Брежнев говорил на XV съезде профсоюзов: «Зарботная плата должна повсюду быть заработной, каждый работник должен чувствовать ее прямую зависимость от своего вклада в производственные успехи коллектива». Колхозная система оплаты труда отвечает этому требованию.

Да и отношение к судам, к орудиям лова в «Новом мире» хозяйское, бережное. Оно определяется не только сознанием людей, но и тем, что часть убытков за потерянный, например, трал выплачивает из своего кармана виновник. В общем, новомировские суда эксплуатируются весьма рентабельно. Средний вылов на БМРТ в Находкинском управлении — 65,6 тысячи центнеров рыбы в год. «Коммунист Украины» дает ежегодно 96 тысяч центнеров. Новомировский траулер все три года занимает первое или второе место в Приморье.

Если «Новый мир» получит еще один БМРТ, то судно будет эксплуатироваться столь же успешно, как «Коммунист Украины». Такого мнения придерживается, например, начальник отдела промышленного рыболовства Дальрыбы Валентин Васильевич Киданов, сама должность которого исключает его пристрастность к делам этого колхоза.

Словом, нет оснований считать, что в этом вопросе интересы колхоза вступают в противоречие с интересами государства. И по всем статьям выходит — нужен колхозу БМРТ. Особенно убедительными кажутся доводы председателя «Нового мира» Ивана Шпарийчука: не может колхоз остановиться в своем развитии, не может жить без перспективы дальнейшего роста.

Ради справедливости надо сказать, что флот «Нового мира» за полтора года все же увеличился на одно судно. Тот самый СРТМ «Планктон», о котором уже шла речь, — новое приобретение колхоза. Но какую же битву за него пришлось вести! В каких инстанциях не побывал Шпарийчук! А сдвинулось дело с места только после того, как секретарь парткома колхоза Галина Дмитриевна Морозова выступила на краевой партийной конференции, председатель — на краевом совещании партийно-хозяйственного актива. Тогда разрешили колхозу купить у объединения Дальморрепродукт траулер, да и то не новый. На СРТМ команда — всего 32 человека. Одно такое судно проблемы решить не может, особенно если учесть, что скоро придется списывать несколько старых сейнеров.

В прошлом году «Новый мир» посетила делегация рыбаков Эстонии. Гостям показали береговые предприятия, добывающие суда. Побывали они и в колхозном музее. Здесь по стеллажам расставлены макеты шаланд, шхун, с которых начинался колхоз, макеты современных траулеров, ставных неводов, тралов. На стенах — портреты основателей хозяйства и лучших сегодняшних работников: штурманов, механиков, матросов.

В книге почетных гостей, которая хранится на видном месте, эстонские рыбаки перед отъездом записали: «Нам очень понравилось, что в здешнем хозяйстве уважают тех людей, кто организовал этот колхоз, много работал, чтобы теперь хозяйство велось на столь высоком уровне. Не забыты и те, кто отдал жизнь за свободу родины. Крепок тот коллектив, который помнит прошлое и умеет создавать будущее».

Очень верные слова! История колхоза, расположенного на окраине нашей родины, показывает великие возможности свободного труда. Те общие черты, которые можно увидеть в истории любой фабрики, завода, колхоза, здесь выступают особенно рельефно.

Через три года после своего рождения колхоз стал миллионером, остается им и поныне. Менялись масштабы денежного исчисления, но менялись и масштабы мощи колхозного флота. Почти сорокалетнее миллионерство «Нового мира» хочется подчеркнуть особо. Колхоз никогда не был иждивенцем государства. И все, что сейчас есть в его собственности, создано руками трех поколений здешних рыбаков. Конечно, без развития всей страны развитие колхоза было бы невозможно. Каждый этап его роста неразрывно связан с ростом всего нашего хозяйства. В 30-х годах страна могла дать рыбакам не много: гвозди, соль и дельку. Все делали они сами — строили суда, шили сети, ловили и солили рыбу. Работали не за страх, а за совесть, потому что понимали, как важна их рыба для не слишком богатого в то время народного стола. И еще понимали, что получили от Советского государства не только гвозди, соль и дельку, но и нечто несравненно более важное — освобождение от скупщиков братьев Волгоновых и от всевозможных «благодетелей», которые мечтали отрезать Дальний Восток от нашей родины.

Смена поколений в колхозе — это эстафета мастерства. Оно совершенствовалось с каждым десятилетием. Изменяющийся процесс лова диктовал новые требования. Но подниматься на их уровень новомировцам всегда помогала преемственность в рыбацком искусстве. Молодые перенимали опыт стариков и учились дальше. Потому колхоз всегда имел в своем распоряжении некоторый «задел» квалифицированных кадров. Он был готов к новой перестройке флота немного раньше, чем она начинала осуществляться. И когда наша промышленность в 50-х годах смогла дать рыбакам первые сейнеры заводской постройки, переход от самодельного деревянного флота к РС прошел не то что безболезненно, но органично, естественно. Он был подготовлен предыдущим развитием и просто необходим для последующего. Так же прошел колхоз и второй этап — от мелкого флота к крупным, современным судам.

«Новый мир» успешно решает не одни производственные задачи. Сегодня 900 колхозников — собственники не только флота из 15 судов, но и удобных современных жилых домов, многочисленных береговых производств. Жилищное строительство колхоз намерен расширять и дальше. Планируется постройка поселка на несколько тысяч жителей из домов в пять и девять этажей. Со временем этот поселок сольется с соседним райцентром, превратится в его микрорайон. «Новый мир» сам заботится об удовлетворении разнообразных нужд колхозников. Например, взял на себя содержание ребятишек в детском саду — с родителей плата не взимается, школьники же обеспечиваются бесплатными завтраками.

Береговые предприятия колхоза не только дают дополнительный доход, но и разрешают важную человеческую проблему. Дело в том, что работать до пенсионного возраста в море удастся не многим. Как правило, в сорок пять — пятьдесят лет рыбаки уже перебираются на береговые должности. Часто этот переход оказывается довольно болезненным, человеку приходится уже в немолодом возрасте оставлять коллектив, в котором проработал не одно десятилетие. В «Новом мире» смена образа деятельности для отплававшего рыбака проходит спокойно, как переход рабочего из одного цеха в другой.

Все эти достижения и дают Шпарийчуку полное основание утверждать, что сегодня колхоз — мощное, развитое предприятие, не уступающее многим рыбокомбинатам. И проблемы, которые ныне стоят перед ним, порождены именно высокой степенью его развития, его богатством. Богатство это — и миллионы, лежащие на текущем счету колхоза, и многочисленные специалисты, рыбаки самой высокой квалификации.

Важно, чтобы эти богатства полностью были пущены в дело, чтоб они были применены самым наивыгоднейшим образом.



ПОЭТЫ ЧУКОТКИ

★

ВЛАДИМИР ТЫНЕСКИН

С чукотского

Ярар

Сколько лет этот бубен висит на стене?
Много. Ой, много!
Звук его из далекого детства мерещится мне:
— Бум, бум, бум!..

Музыку страха, музыку горя, музыку буден
в сердце мужчины опять воскрешает
заброшенный бубен.

Вот он
висит на стене,
полон своих дум,
и сердце мое
оживает во мне:
— Бум,
бум,
бум!..

Помнишь ли, стойбище,
помните ль, скалы,
эту игру —
рокот
 то громкий,
то тихий и дробный
на грозном ветру?

Это —
 отец мой
ночью пуржливой,
сам
 старый как ночь,
гонит из полога
вестников голода,
 старость и грусть,
 прочь.

Это —
 бродячий шаман лечит мою сестру...
 — Мама! Где наша сестра?..
 ...Нет ни сестры, ни мамы...

А это —
 все стойбище,
 став на колени —
 ага-ага-га, —
 гонит Келе
 от яранг и оленей,
 и бубен гремит,
 как пурга.

Против духов,
 хвори, ненастья,
 ради людских
 дум
 рад был он биться,
 рад был стараться:
 — Бум! Бум! Бум!..

Сколько лет нашим дедам служил — он забыл.
 Сколько содрано шкур со спины — не заметил.
 Все хотел быть помощником в жизни, а был
 разве что утешителем в смерти.

До свиданья, яранг. На почетной стене
 ты — старей стариков, дослуживших до пенсии.
 Слышишь? — новая музыка в нашем селе
 и другие отныне —
 веселые
 песни!

Перевел АНАТ. ПЧЕЛКИН.

МИХАИЛ ВАЛЬГИРГИН

Олененок

Рад и взрослый
 и ребенок,
 когда беленький
 как снег
 в стаде
 первый олененок
 появляется
 на свет.

Вот лежит он,
 еле дышит,
 озирается кругом.

Ничего еще не слышит,
только
 думает
 бегом:
это — небо,
это — снег.
Кустики. Полянки.
Во-он —
 хозяин, человек
в меховой кухлянке.

А в стороночке,
у пня, —
дерево живое!
Это —
 мама,
что меня
родила сегодня.
А за нею —
 бугорок.

Там яранга,
костерок,
чай
и разговоры.
За ярангой —
 горы.

А за ними?..
 Колесо!
По небу крадется...
Осмотреть,
 однако,
 все
самому придется!

Встал.
А прутики дрожат.
Длинные. Худые.
Робко сделал
первый шаг.
И пошел.
 Впервые.

Перевел АНАТ. ПЧЕЛКИН.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. МИКОЯН

★

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ*

НА ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Особенно остро борьба между сторонниками Ленина и оппозиционерами развернулась в Нижнем Новгороде на XI губернской партийной конференции, которая проходила 19—23 февраля, накануне X съезда партии.

Первая «проба сил» была сделана уже при выборах президиума конференции. От имени губкома Жеханов зачитал список из восьми человек, среди которых — один из лидеров «рабочей оппозиции» Челышев и трое его сторонников (Максимов, Егоров, Тюрин).

Тут же встал Иконников и от делегаций Городской, Сормовской, Выксунской, Сергачской, а также части делегатов из других районов и уездов — тех, где была поддержана «платформа десяти», — предложил другой список, в который, помимо нескольких губернских работников, были включены представители ряда уездных и районных организаций, в подавляющем своем большинстве сторонники ленинской линии. Кроме того, в этом списке был член ЦК РКП Андреев, приехавший на конференцию.

Мы знали, что Андреев возглавляет Цектран¹, на который опирался Троцкий в борьбе вокруг профсоюзов, и что его подпись стоит под платформой Троцкого².

Однако никто из нас не думал, что, представляя на конференции Центральный Комитет партии, Андреев будет выступать против платформы группы членов ЦК, возглавляемой Лениным, в защиту платформы Троцкого.

К сожалению, произошло именно так...

Чтобы поддержать список, предложенный Иконниковым, и нанести дополнительный моральный удар по списку, предложенному Жехановым, мы с Карклиным выступили с заявлением, что снимаем свои кандидатуры из первого списка.

Большинством голосов прошло предложение Иконникова. (Характерно, что ни в тот, ни в другой список не был включен ответственный секретарь губкома Попов!)

Итоги этого голосования поставили в весьма курьезное положение тех членов губкома, которые намечались в состав президиума по первому списку. Не

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

¹ Центральный комитет объединенного профсоюза работников железнодорожного и водного транспорта.

² Позднее Андреев писал в своих воспоминаниях: «Я тогда, увлекшись производственной ролью профсоюзов, занимал неправильную позицию, о чем даже теперь, спустя много лет, без боли не могу вспомнить, хотя мною тотчас же после X съезда эта ошибка на деле была исправлена» (А. А. Андреев. О Владимире Ильиче Ленине. М. 1970, стр. 71). На XI съезде партии Андреев был вновь избран членом ЦК и всю жизнь поддерживал правильную общепартийную линию. У нас установились с ним хорошие товарищеские отношения, которые сохранились до конца его жизни. Пять лет он был кандидатом и двадцать лет членом Политбюро ЦК (до 1952 года). Умер он в декабре 1971 года.

сомневаясь, что будут избраны, все они (кроме меня и Карклина) заранее заняли места за столом президиума. Когда же их список был провален и мы, избранные по второму списку, не мешкая двинулись к столу президиума, они, буквально ошарашенные таким неожиданным поворотом, во главе с Чельшевым стали очищать места в президиуме и спускаться в зал.

Нетрудно представить, как реагировал зал на эту картину. Чтобы успокоить собравшихся, я взял в руки звонок и, когда порядок был восстановлен, обратился с призывом к делегатам от имени избранного президиума:

«Имея в виду, что за последнее время в Нижегородской организации наблюдалось ненормальное положение и 10-я конференция прошла при таких условиях, что выдвигались вопросы непринципиальные и наблюдалось известное разложение, позвольте выразить пожелание, чтобы настоящая конференция положила конец всем этим ненормальностям и начала новую жизнь для Нижегородской организации.

Считаю долгом просить всех делегатов держаться в рамках партийной дисциплины, партийного приличия, чтобы не переходить пределов допустимого, чтобы предметом нашего обсуждения были вопросы принципиальные и чтобы все личное было отнесено на задний план»³.

Вслед за тем избирались мандатная и редакционная комиссии. Вновь столкновение! Предложения губкома опять отклоняются. В обе комиссии были избраны товарищи, выдвинутые от имени группы делегаций.

С приветствием к конференции от ЦК РКП обратился Андреев. «За последнее время,— говорил он в своем выступлении,— часто слышатся слова, очень распространенные слова о глубоком кризисе в нашей партии. Нам кажется, что такого глубокого кризиса наша партия не переживает. Конечно, наши враги стараются преувеличить отдельные стороны болезни нашей партии, пытаются исказить их...»⁴

Странно прозвучали эти «успокоительные» слова представителя ЦК. «Рабочая оппозиция», троцкисты, «децисты» вели разлагающую фракционную работу внутри партии, Ленин вынужден был не раз выступать и устно и в печати с критикой «платформ», которые навязывались тогда партии Троцким, Бухариным, Шляпниковым и другими. Одну из своих статей в «Правде» Ленин так прямо и назвал: «Кризис партии». Такая острая постановка вопроса со стороны Ленина вызывала тревогу и соответственно мобилизовывала членов партии на поддержку ленинской линии в борьбе с оппозицией.

А тут вдруг — этакое непонятное «успокоение»... Когда поступило предложение послать приветствие Центральному Комитету от имени нашей конференции, я предложил в этом приветствии «провести такую мысль, что кризис, переживаемый ЦК партии, будет изжит на X съезде»⁵. Предложение было принято.

На конференции были заслушаны отчеты губернского комитета партии, губернской Ревизионной и Контрольной комиссий, а также доклад о работе губкома комсомола.

Начались прения. Первой на трибуну вышла член губкома Савельева. «Товарищ Попов,— заявила она,— не осветил того, что в губкоме существуют группировки, которые болезненно отражаются на работе... Нет у нас товарищеской атмосферы, товарищеского доверия... Чтобы изжить все ненормальности, следует переизбрать губком...»⁶

Большинство выступавших критиковали руководство губкома за бездеятельность, за группировки.

Резче всех определил свое отношение к практической деятельности губкома сормович, член партии с 1907 года Сергей Коршунов, который долгое время отсутствовал в Сормове, а теперь вернулся и застал там в руководстве гнездо

³ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1181, л. 4.

⁴ Там же, л. 12.

⁵ Там же, л. 15.

⁶ Там же, л. 39.

«рабочей оппозиции». «Когда я приехал в Сормово,— сказал он, то убедился, что организация слишком сильно изменила свою физиономию — она не стала похожа на коммунистическую»⁷.

Да, действительно, верхушка в Сормове решительно выступала против ленинской линии партии. Но массы рабочих-коммунистов смяли оппозицию.

...Кто-то назвал группировкой, мешавшей губкому работать, меня и Иконникова.

Выступавшая работница из губкома Гулевич (из женотдела) так разъяснила существовавшую там обстановку: «Когда была красноармейская конференция, Храмов и Кремницкий были на этой конференции. На другой день мы, работающие в отделах губкома, вдруг узнали, что и Кремницкий и Храмов уехали в ЦК — в такой момент, когда настроение действительно было опасное. В этот момент у нас оказалось полное безвластие... Потом кое-как образовали временное организационное бюро... В губкоме создалась оппозиция по отношению к назначенцу Микояну, которого долго оттирали от работы»⁸.

Да, беспартийная красноармейская конференция, проходившая осенью 1920 года, была памятна многим. Действительно непостижимо, как ответственный секретарь губкома Кремницкий и член бюро губкома Храмов в такой серьезный момент в жизни губернии могли покинуть город для поездки в Москву «по делам»...

А по поводу нашей с Иконниковым «группировки» надо сказать, что дело заключалось, конечно, не в том, что мы как-то случайно «сгруппировались» на почве личных симпатий, а в наших принципиальных идейных позициях — противоположных тем, на которых находились тогдашние руководители губкома. Пришлось выступить на конференции по этому вопросу.

«Некоторые указывали, — говорил я, — что вся вина в двух лицах, которые там (в губкоме) сидят; не будь их, все было бы хорошо... Да, по принципиальным вопросам мы держались одних мнений, но... например, казалось бы, что большинство губкома, стоящее на точке зрения Ленина, должно было часто спорить с «рабочей оппозицией», а между тем никаких споров в губкоме с оппозицией не было, а споры бывали со мною и Иконниковым, хотя мы и не числимся в «рабочей оппозиции». Губком не держится точки зрения «рабочей оппозиции», а посылает в уезды представителей «рабочей оппозиции», и так было в большинстве случаев. Что это, личная группировка или нет? Когда принцип мешает интересам личной группировки, тогда он отходит на задний план... Губком стоит на платформе Ленина, а секретарь и два члена бюро — из «рабочей оппозиции». Назалось, мы были бы заинтересованы, отстаивая принцип, получить секретаря из своей группы, а они предпочитают иметь из «рабочей оппозиции», лишь бы не получить нового человека: «а вдруг он вышибет их с мест?»⁹.

Речь, по существу, шла об остатках той местнической группировки, которая выступала еще против Молотова. Но в отличие от того времени теперь и в организации и в этой группировке были сторонники разных платформ. И поразительно, что местнические интересы преобладали у них над идейно-партийными. Это была не здоровая, не партийная, а гнилая позиция.

Критику в адрес своих идейных сторонников старался всячески замаять Челышев — «душа» группировки, довольно опытный в партийной борьбе, хотя и не отличающийся большой грамотностью. Будучи выходцем из рабочих, он умел спланировать вокруг себя людей. К тому времени Челышев, оставаясь членом нашего губкома, уже несколько месяцев работал в Москве членом ЦКК и входил в руководящее ядро группы Шляпникова. Он приехал в Нижний, чтобы, пользуясь личным авторитетом, оказать влияние на ход конференции и сохранение в новом составе губкома членов старой местнической группировки. Поэтому он всячески выгораживал их от критики.

«Многие товарищи, — заявил Челышев, — в своих речах отмечали последние моменты, переживаемого нашей партией, а мы стараемся... свалить все на

⁷ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1181, л. 53.

⁸ Там же, л. 55.

⁹ Там же, лл. 67—68.

губернский комитет, как будто бы он является виновником всего происходящего... Как только после Всероссийской конференции мы... дали свободу местам проявлять свою инициативу, брожение это начало идти гигантскими шагами. Это не секрет, это происходит во всей нашей партии, и если нам страшен тот развал, который наблюдается у нас, то нельзя приписывать его губернскому комитету...»¹⁰

В защиту руководства губкома выступил также еще один представитель «рабочей оппозиции» — Козин.

Андреев в своем выступлении по отчетному докладу губкома указал, что в такой пролетарской губернии, как Нижегородская, слишком мало членов партии из рабочих (всего одна треть организации). Это было правильное замечание. Следует сказать, что через год — после всероссийской чистки партии, проведенной по инициативе Ленина, — в рядах Нижегородской организации удельный вес рабочих составлял уже 61 процент (против 48 процентов до начала чистки). Однако уже в этом выступлении Андреев допустил выпад против ленинской платформы.

Бурно проходило обсуждение проектов резолюции по отчету губкома. Их было три. Один — от имени делегаций Сормовской, Береговой. Княгининской и других организаций — был внесен мною. В нем отмечалось: «1) что со стороны губкома не было руководства советской, профессиональной и хозяйственной работой губернии; 2) что у губкома как целого не было определенной и руководящей твердой линии по вопросам принципиального характера; 3) что господствующая в губкоме группа в своей работе руководствовалась соображениями групповыми и личными, а не принципиальными и деловыми, что разлагающе влияло на всю партийную организацию как в губернском центре, так и на местах...»¹¹.

Тут взял слово Андреев и заявил: «Я хотел согласовать свою резолюцию с резолюцией тов. Микояна. Мы не согласились с ним в первой части. Я оглашаю ее (читает). Я предлагаю принять резолюцию целиком, а в качестве вводной части наиболее целесообразным считаю принять мою»¹².

То, что он предлагал, сглаживало критику работы губкома, и поэтому мы никак не могли найти с ним общий язык. Вот, например, какие оценки были в его проекте: «1) Губком при всей проделанной им работе недостаточное внимание проявил к усилению организационной работы... 2) Следует также считать, что в деле политического руководства профсоюзами и советскими органами можно было бы сделать значительно больше...»¹³.

Третий проект резолюции (с удовлетворительной оценкой работы губкома) предложил представитель Васильсурского уезда Меркуданов, сторонник группы Шляпникова.

За первый проект резолюции был подан 81 голос (38 против), за второй проект, предложенный Андреевым, — 34 голоса (80 против) и за проект Меркуданова только 20 голосов (78 против)¹⁴.

Это была первая и весьма убедительная победа сторонников ленинской платформы. Но впереди предстояло еще обсуждение коренного вопроса — о внутрипартийной борьбе того времени.

Когда на заседании губкома решался вопрос о докладчике в защиту «платформы десяти», была выдвинута кандидатура Жеханова. Иконников предложил поручить этот доклад мне, поскольку, заявил он, «Микоян лучше нас всех подготовлен для такого выступления».

Подумав, я решил, что, вероятно, тактически будет более правильным доклад сделать Жеханову, а мне выступить в прениях. Однако я оговорил, что время для моего выступления будет таким же, как и у докладчика.

¹⁰ Там же, д. 1191, лл. 67—68.

¹¹ Там же, л. 94.

¹² Там же, л. 93.

¹³ Там же, д. 1181, л. 97.

¹⁴ Там же, л. 94.

Так и решили. Таким образом, получалось, что на конференции должны были выступить фактически два докладчика от ленинской платформы, что нас, сторонников этой платформы, устраивало.

После доклада Жеханова, защищавшего «платформу десяти», выступил Андреев. Он агитировал за тезисы Троцкого, подвергая критике ленинскую «платформу десяти». Остановившись на взглядах «десяти», он говорил, что «никаких задач платформа «десяти» не ставит перед профессиональными союзами, она явится тем дырявым мешком, из которого после X съезда вновь вывалится вопрос о задачах профессионального союза. Мы же указываем конкретные задачи их. Когда платформа «десяти» подходит к решению вопроса, она говорит, что принципиально нужно высказаться за то, чтобы передать учет, распределение рабочей силы в руки профсоюзов. Принципиально мы давно знали, что нужно делать, но весь вопрос в том, что нужно делать в действительности...

Тут говорится о том, что профсоюз есть школа коммунизма для рабочих масс, но этого недостаточно. Тут должны быть конкретные распоряжения, нужно школе коммунистов дать определенные задачи...»¹⁵

Потом стали выступать представители «рабочей оппозиции». Как наиболее грамотный и опытный из них, доклад делал Чернов; с длинной речью выступил Чельшев (оба они подписали платформу Шляпникова). Несколько путано выступил Ищенко: он вроде бы и примкнул к «платформе десяти», но предлагал к ней некоторые поправки в духе позиции Шляпникова. Однако как оратор Ищенко обладал удивительной способностью располагать к себе слушателей.

Произносились речи и в защиту «платформы десяти»: выступали главным образом рядовые коммунисты из рабочих...

Сам я не торопился выступать, решив подождать и послушать, о чем будут говорить представители других платформ. Надо сказать, что к тому времени я уже основательно познакомился с брошюрой Ленина «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках Троцкого и Бухарина» и поэтому, выступая в дискуссии, чувствовал себя достаточно уверенно.

Начал с того, что вопрос о профсоюзах не является главным в этой дискуссии, в этой борьбе.

Основное — это установление правильных отношений между классами, это укрепление диктатуры пролетариата и руководящей роли нашей партии.

Фракционеры, говорил я, рвутся к власти, толкают партию на раскол. Поэтому большее место в моем выступлении заняла критика платформ Шляпникова и Троцкого. Я оспаривал аргументы докладчиков от других направлений, доказывая их несостоятельность. Коснулся также и некоторых речей на нашей конференции, в частности выступления Ищенко, пытавшегося хотя и очень непоследовательно, но все же как-то ближе стать к «платформе десяти»...¹⁶

Довольно ярко выступил с разгромом взглядов Троцкого на профсоюзы старый коммунист Залкинд.

«Спор о профсоюзах, — сказал он. — есть не что иное, как маскировка, которую нужно расшифровать. Ленин правильно указал, что мы переживаем кризис, и именно кризис в положении партии... Если Троцкий получает меньшинство голосов, то это понятно — наши партийные массы понимают в чем дело, и сколько бы Андреев ни говорил хороших слов по поводу платформы Троцкого, он все-таки получит меньшинство, а вот то, что говорит Ленин, то для всех является приемлемым...

Мне кажется, что... профсоюзы представляют из себя усталого путника. Что нужно сделать для того, чтобы помочь этому путнику? Троцкий предлагает ему стакан крепкого кваса... Шляпников предлагает стакан горячительного напитка, и если он выпьет, то в первый момент будет головокружительно идти.

¹⁵ В стенографическом отчете XI губернской конференции этого выступления Андреева не сохранилось, поэтому цитирую его по газете «Нижегородская коммуна», № 42 от 24 февраля 1921 года.

¹⁶ Текст моего выступления, к сожалению, не сохранился в стенографическом отчете с XI губпартконференции (так же как и текст выступления Андреева).

А Ленин предлагает стакан чистой воды. Так что. Андреев, хотя вы в стакан с уксусом и положили много сахара, но усталому путнику принять его нельзя. Это не вылечит его от болезни»¹⁷, — заявил Залкинд под смех зала.

Андреев не удержался и выступил вновь. «Здесь говорят о перетряхивании»¹⁸. Никакого перетряхивания в платформе Троцкого нет, — заявил Андреев. — Никакой новой оппозиции Троцкий не предлагает. Здесь указывали, что мы имеем оппозицию из отдельных лоскутков. Это тоже неверно.

Почему-то главный удар Андреев направил на Ищенко, который, как я уже говорил, пытался примкнуть к ленинской линии. «...Вообще можно сказать про Ищенко, — сказал Андреев, — что он не был последовательным: пустился в невыгодное плавание, в котором он может легко погибнуть. Он защищает «платформу десяти» и в то же время говорит про что-то новое; теперь он плывет к «платформе десяти», но Микоян говорит, что вы не примкнули к ней, как к своему берегу, Ищенко. Судьба Ищенко безнадежная»¹⁹.

Подошло время голосовать. Предстояло выяснить, за какую же платформу выскажется Нижегородская губернская организация. Волнующим был этот момент. В зале 140 делегатов с решающими голосами. Сколько голосов получит каждая платформа?

За платформу Ленина подняли руки 72 делегата, чуть больше половины. За «рабочую оппозицию» — 22 голоса. За позицию Троцкого всего 7. А как же остальные 39 человек, то есть четвертая часть всех делегатов? Они воздержались от определения своей позиции. В какой-то степени нас это даже радовало: ведь большинство из тех, кто воздержался, на уездных конференциях стояли за «рабочую оппозицию». Значит, нам удалось оторвать их от шляпниковцев, но четко определить свою позицию они еще не смогли.

Главная же наша победа — 72 сторонника ленинской линии. Это в два с половиной раза больше, чем сумели набрать обе другие платформы — и троцкистов и шляпниковцев. Такие результаты голосования сбили спесь с поборников позиции Шляпникова; они ходили как побитые.

Конференция в деловой обстановке обсудила и другие вопросы: «О задачах хозяйственного строительства» (доклад Воробьева), «О посевной кампании» (доклад Тера), «Партийное строительство» (доклад Жеханова), «Агитационно-пропагандистская работа партии и политпросвета» (доклад Микояна).

Затем предстояли выборы губкома и делегатов на X Всероссийский партийный съезд.

Как обычно, выборам на конференции предшествовало заседание так называемого «синьорен конвента»²⁰, в который тогда входило у нас по два представителя от делегации каждого района и уезда (независимо от числа объединяемых коммунистов).

Как и обычно, на заседании «синьорен конвента» происходило предварительное обсуждение кандидатур, выдвигаемых в новый состав губкома, а также делегатов на Всероссийский партийный съезд, после чего список кандидатов в состав губкома и делегатов на съезд выносился от имени «синьорен конвента» на окончательное обсуждение и решение конференции.

И тут мы с Иконниковым допустили серьезную тактическую ошибку (поняв это лишь на следующий день).

Будучи удовлетворен, что конференция после острой борьбы внушительным большинством поддержала ленинскую платформу и не одобрила работу старого состава губкома, я решил не участвовать в работе «синьорен конвента», хотя и имел на это право как член президиума конференции. Мне казалось неудобным

¹⁷ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1181, лл. 119—120.

¹⁸ Троцкий, говоря о кризисе профсоюзов, предлагал их «перетряхнуть», поставить у руководства ими людей, способных «закрутить гайки», ввести в работу с массами методы прямого администрирования.

¹⁹ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1181, л. 129.

²⁰ Теперь это называется «советом старейшин».

участвовать в обсуждении своей кандидатуры при определении будущего состава губкома. Так же поступил и Иконников, о чем я, правда, тогда не знал.

Это была ошибка. Сказалась, видимо, наша неопытность в такого рода делах.

...А в это время руководители старого состава губкома всеми правдами и неправдами пробрались на заседание «синьорен конвента» и, хорошо зная лично всех делегатов — участников этого заседания, сумели, воспользовавшись нашим отсутствием, протащить угодный им список «своих» кандидатов в новый состав губкома без всякого учета их политических позиций в прошедшей дискуссии.

Узнал я обо всем этом только на другой день рано утром от Андреева. Он зашел ко мне на квартиру, поздоровался, сел и неожиданно сказал:

— Ну, твоя песня спета. В Нижнем тебе делать больше нечего. Вчера вечером на синьорен конвенте большинством голосов тебя и Иконникова провалили при выдвижении в состав губкома. Собирай свои манатки и уезжай!

Это меня взорвало:

— Никуда я не уеду! Меня направил сюда Центральный Комитет партии, здесь я и буду работать! Почему я должен уезжать?!

Как только Андреев ушел, я созвонился с Иконниковым, Бусаревым и Комиссаровым и попросил их срочно зайти.

Когда они пришли, Бусарев, который был на заседании «синьорен конвента», рассказал подробно о той обстановке, в которой происходило выдвижение и обсуждение кандидатов в новый состав губкома. Помню, он особенно возмущался, поскольку Городской район (который он представлял на «синьорен конвенте»), объединявший 40 процентов всех коммунистов губернии, имел на «конвенте» два голоса, и столько же голосов имели уезды, насчитывавшие не более двух-трех процентов губернской организации. Это вынудило его сделать заявление, что Городской район будет выступать на конференции со своим списком кандидатов в члены губкома безотносительно к списку, который предложит «синьорен конвент»...

Обсудив план действий, мы решили срочно связаться с наиболее влиятельными делегатами конференции — сторонниками ленинской платформы и разъяснить им, что, избрав губком по списку, предлагаемому «синьорен конвентом», они тем самым поручат исполнение принципиально правильных решений конференции людям, политические позиции которых были осуждены этой же конференцией. Поскольку абсурдность такого положения была очевидна, они должны были в индивидуальных беседах с делегатами конференции разъяснить все это — как сторонникам платформы Ленина, так в особенности и тем, кто занимал еще колеблющиеся позиции.

Попутно мы просмотрели проект списка делегатов на X съезд партии и кандидатов в члены губкома, который Бусарев вместе с делегатами — сормовичами и выксунцами предлагал на «синьорен конвенте»: подавляющее большинство в этом списке составляли сторонники ленинской платформы. Было в нем также и несколько сторонников двух других платформ — людей, связанных с массами и пользующихся определенным личным влиянием в местных партийных организациях.

...Вечером открылось последнее заседание партийной конференции.

Вначале делегатам был предложен список кандидатов в новый состав губкома от имени «синьорен конвента». Зачитали и второй список — от имени делегаций Городского, Сормовского, Выксунского, Борского районов, Семеновского, Сергачского, Княгининского уездов, а также части делегаций Канавинского и Берегового районов и ряда уездов.

Голосование показало, что второй список получил большинство голосов.

Потом решался вопрос о делегатах на X съезд партии. Эти выборы приобрели уже общепартийное значение. Согласно сложившейся практике, выборы делегатов проходили по платформам.

И здесь ленинцы одержали внушительную победу! За кандидатов, поддерживающих платформу Ленина, голосовали уже 104 человека (когда голосовалась резолюция, их было 72), за «рабочую оппозицию» — 23, за платформу Троцкого — 8 человек. Теперь уже только пятеро «не определились», воздержавшись от

голосования²¹. А 32 делегата из тех, что «отмалчивались» при голосовании вопроса о профсоюзах, к концу работы конференции примкнули к ленинской платформе.

На X партийный съезд Нижегородская организация посылала своих представителей с решающим голосом. Из них шесть стояли на ленинской платформе (Коршунов, Микоян, Таганов, Тимофеев, Тер и Шмонин). По нашему предложению от «рабочей оппозиции» был избран Чельшев, а от троцкистов — Яркин.

Уже после выборов перед делегатами конференции выступил один из видных деятелей революционного движения в Нижнем Новгороде, Позерн, прибывший из Петрограда²². Он поделился своими впечатлениями о работе конференции и выразил уверенность в том, что разногласия будут преодолены и наша организация станет единой.

Закрывая XI партийную конференцию, я отметил, что нам удалось на этой конференции «решить ряд принципиальных вопросов и выйти на правильную дорогу...».

Конференция высказала свое мнение и дала указания местным организациям и по вопросу о профсоюзах, и о партийном строительстве, и о путях дальнейшего укрепления партийных рядов. На конференции удалось преодолеть всякого рода анархо-синдикалистские «выкрутасы» у ряда наших работников.

Очень важным итогом конференции, заявил я, является решение по вопросу о внутривнутрипартийной жизни. Надо, чтобы «товарищи, которые здесь голосовали по разным вопросам и за и против, сплотились вокруг решений конференции», а укрепленный и оздоровленный новый состав губкома уверенно повел губернскую организацию на «осуществление решений этой конференции».

И действительно, забегая несколько вперед, должен сказать, что следующая, XII партийная конференция, которая состоялась немногим более полугода спустя, прошла в обстановке единства и сплочения Нижегородской губернской партийной организации.

Конечно, все это пришло не сразу. Местные оппозиционеры и групповщики долго еще продолжали «подымать» голову. Их разнузданное поведение на партийных и рабочих собраниях, партийных и беспартийных конференциях и совещаниях продолжалось до самого X съезда партии, который принял окончательное решение по вопросу об оппозиции и положил конец ее открытым выступлениям против ленинской линии нашей партии.

На первом же заседании нового состава губкома, естественно, встал вопрос об избрании бюро. Мы заранее беседовали по этому вопросу с представителями уездов, и результаты сказались: четыре члена бюро (из пяти) были избраны из числа сторонников ленинской платформы (Иконников, Коршунов, Микоян и Тер), а пятый, Чесноков, хотя и примыкал до этого к «рабочей оппозиции», но активной роли там не играл. Меня избрали ответственным секретарем губкома. Только теперь, после пяти бурных месяцев, насыщенных борьбой с местнической группировкой, «рабочей оппозицией» и троцкистами, смог я приступить к той работе, для которой был направлен в Нижний решением Оргбюро ЦК партии осенью 1920 года.

Радовало, что все так хорошо завершилось. Но, как показали дальнейшие события, борьба с группировками, с оппозиционерами внутри губернской организации еще не закончилась. Это мы ощутили уже на следующий день.

БОРЬБА НА ГУБЕРНСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

...В те годы существовала такая практика, когда члены партии, избранные делегатами на съезды Советов, профсоюзов, объединялись во фракцию и там

²¹ ПАГО, ф. 244, оп. 4, д. 6-19, л. 12.

²² Позднее, через два года, я вновь встретился и подружился с ним уже в Ростове, куда он прибыл на работу по решению ЦК в качестве члена Юго-Восточного бюро ЦК партии.

предварительно обсуждали различные организационные вопросы (кандидатуры в президиум съезда, в губисполком или губпрофсовет), а также отчетные доклады и т. п.

Накануне открытия VII губернского съезда Советов собрались на заседание своей фракции коммунисты, избранные на этот съезд. Вначале предстояло обсудить состав бюро самой фракции. Такой список был предложен от имени бюро губкома. Но тут же член губисполкома (представитель «рабочей оппозиции») Столбов зачитал другой список — от фракции президиума губисполкома. В этом списке не было ни одного члена бюро губкома, а открывался он кандидатурой бывшего секретаря губкома Попова. Голосуем. В результате за список, предложенный губкомом, подняли руки 52 человека, за второй список — 67.

Избранные члены бюро фракции занимают свои места, и собрание переходит к обсуждению кандидатур в президиум съезда Советов. И вновь повторяется та же история: за список, предложенный Столбовым (где нет ни одного члена бюро губкома партии), голосов подано больше.

Да, значит, старая местническая группировка, выведенная из губкома, теперь уже превратила губисполком в свою «крепость». За нашей спиной (а мы это проморгали!) они «обработали» многих делегатов съезда, пользуясь личными связями и влиянием. Мы оказались перед неприятным сюрпризом, но решили боя по такому вопросу не давать. А чтобы не допустить повторения таких же результатов при выборах губисполкома и добиться обновления его состава, решили начать соответствующую подготовительную работу среди коммунистов — делегатов съезда.

Нынешнему поколению, наверное, трудно представить себе обстановку, в которой проходили в те времена, например, губернские съезды Советов.

...Зал филармонии с его белыми колоннами и длинными рядами венских стульев переполнен делегатами съезда... Люди сидят в гимнастерках, поношенных пиджаках и кофтах, в шинелях, каких-то шубейках — изможденные недоеданием, кутающиеся от холода. Однако взгляните в их горящие глаза, устремленные на кумачовые полотнища, на сцену... Прошло всего лишь три с небольшим года после Октябрьской революции... Эти люди недавно вернулись с фронтов гражданской войны. Пришли от станков — из цехов заводов и фабрик...

За столом президиума появляется председатель губисполкома и объявляет губернский съезд открытым.. Где-то наверху духовой оркестр мощно грянул «Интернационал»... Люди встают со своих мест... Потом председатель говорит о тех, кто погиб, кого нет сегодня с нами. И в оркестре звучит новая тема — «Вы жертвою пали...».

К столу президиума выходит секретарь губкома и передает делегатам приветствие от имени губернского комитета РКП. Сквозь аплодисменты вновь слышится торжественная мелодия «Интернационала». А потом идут приветствия от Губсовпрофа, от Красной Армии, от женотдела, от Выксунского района...

Первый на съезде — доклад губкома «О текущем моменте».

Выйдя к трибуне и чувствуя приподнятую атмосферу в зале, я понимаю, что должен говорить на заданной торжественным открытием «ноте», и вместе с тем говорить просто и доступно для малограмотного рабочего и неграмотного крестьянина, — словом, должен «зажечь массы».

...Подхожу к самому краю сцены и запросто, доверительно обращаюсь к делегатам: «За последнее время приходится довольно часто менять содержание доклада о текущем моменте...» Вижу, как некоторые в зале улыбаются. И тогда раскрываю суть этих «перемен». Если раньше приходилось агитировать за Советскую власть, то теперь нет таких рабочих или крестьян, которые бы выступали против идей Советской власти... Если недавно страна была окружена десятками фронтов и мы были как бы в кольце, то сейчас по всей территории восстановлена Россия — рабочая и крестьянская... Если еще недавно капиталистические государства не верили, что большевики удержатся, то теперь они стали понимать, что большевиков не так-то легко подавить даже силой...

Потом перехожу к существу вопроса. Капиталисты могут, конечно, подняться против нас еще раз. Они и теперь пытаются при помощи эмигрантов, эсеров и меньшевиков разложить нашу армию и добиться антагонизма между городом и деревней. Но сейчас борьба переходит из области вооруженных столкновений в область экономических отношений. И эти формы борьбы не менее тяжелы для нас...

Потом говорю о том, что особенно всех волнует. Если бы мы могли питать рабочих в полной мере, мы смогли бы увеличить производство на сто и больше процентов. Те заводы, где рабочие получают ударный паек (хотя и это скудный паек!), производят часто на 50, а то и на 100 процентов больше...

Поэтому первое условие восстановления нашей промышленности и преодоления голода — это восстановление крестьянского сельского хозяйства и регулирование его по плану... Если у нас будет засеяна большая площадь земли нужными нам культурами, лучшими способами и средствами и появится больше продовольствия, улучшится и положение на наших заводах... Вот эта ближайшая связь между сельским хозяйством и промышленным производством и заставляет нас направить сейчас максимум усилий на этот фронт...

...Во фракции коммунистов продолжалась борьба, которую навязывала местническая группировка.

Недовольный итогами XI губернской партконференции и переменами в руководстве губкома, председатель губисполкома Ханов, опираясь на поддержку сторонников «рабочей оппозиции», всячески пытался дискредитировать новый состав бюро губкома. При обсуждении отчета о деятельности губисполкома он заявил: «Некоторые прибывшие в Нижний работники стали натравливать некоторые организации на губком и губисполком, и велась демагогическая работа в целом ряде организаций. Натравливание партийных организаций было при ближайшем участии Таганова, Микояна, Иконникова... Необходимо, чтобы ЦК или Политбюро рассмотрело это и сказало свое решительное слово»²³.

Очень резко говорил о бездеятельности президиума губисполкома во главе с Хановым коммунист Сенцов. Он назвал весь этот президиум «мертвым стоячим болотом». Его поддержали Троицкий из Княгинина, Михаил Каганович из Арзамаса, Волосенков из Ардатова. Каганович внес даже конкретное предложение — «избрать новый губисполком». Но тут же против такой резко критической оценки работы губисполкома поднялись представители «рабочей оппозиции» — Столбов и некоторые другие.

Делегат от Ардатовского уезда Волосенков раскрыл подоплеку их выступлений. «Я слышал, — признался он, — как Столбов после первого фракционного заседания сказал: «Если нам не удастся провести свой список, то мы созовем чрезвычайную губпартконференцию и поставим вопрос о перевыборах губкома»²⁴.

Вот так далеко заходили тогда планы наших нижегородских групповщиков! И надо признать, что они успели провести необходимую «обработку» большой части делегатов...

По отчету губисполкома я предложил резолюцию, в которой отмечалось «неудовлетворительное и слабое руководство местных органов и отделов губисполкома, отрыв губисполкома как от уездов, так и от рабочих масс, отсутствие живой революционной работы, сведение губисполкома к одному его президиуму, потеря доверия у рабочих масс к Рабоче-крестьянской инспекции. Фракция единственным выходом считает освежение губисполкома, введение новых работников с мест и из рабочих районов»²⁵.

Вслед за мной выступил Попов и предложил от бюро фракции резолюцию, признающую «работу губисполкома в общем и целом удовлетворительной». Получив при голосовании на один голос больше, эта резолюция и была принята.

²³ ПАГО, ф. 1, оп. 5, д. 294, лл. 2—3.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

Чтобы обновить состав губисполкома, пришлось провести большую дополнительную разъяснительную работу среди делегатов. Список новых кандидатов подробно обсуждался у нас в губкоме. В этот список были включены главным образом сторонники ленинской платформы, среди них много работников с мест, из уездов.

В ходе обсуждения губкомовского списка на заседании фракции съезда некоторые делегации предложили еще один список. Но на этот раз сказалась предварительная работа среди делегатов и решительные действия бюро губкома. Список губкома победил: за него было подано 90 голосов, а за второй список — 71²⁶.

Избранный съездом новый состав губисполкома на пленарном заседании избрал своим председателем Тера, о чем я уже говорил раньше²⁷.

РЕШЕНИЯ ПАРТИИНОГО СЪЕЗДА — В МАССЫ!

Вернулись мы после X Всероссийского партийного съезда вооруженные его решениями, вдохновленные убедительной победой ленинской линии.

В своей книге «Мысли и воспоминания о Ленине»²⁸ я довольно подробно рассказал, как проходил этот исторический съезд нашей партии, принявший по предложению Ленина важнейшее решение о замене продразверстки продналогом, что представляло собой начало перехода к новой экономической политике, обеспечившей сохранение и упрочение теснейшего экономического и политического союза рабочих и крестьян. Съезд, как известно, завершил и профсоюзную дискуссию, весьма убедительно поддержав ленинский курс, отклонив все другие политические платформы, а главное — не только принял действенные меры к восстановлению единства партии, но и поставил неодолимые препятствия всем тем, кто захотел бы впредь подорвать это единство. Поскольку дискуссия закончилась, съезд распустил все фракции и группировки и поручил партийным комитетам «строжайше следить за недопущением каких-либо фракционных выступлений»²⁹.

Предстояла огромная работа по разъяснению решений съезда. Это совпало с проведением первой весенне-посевной кампании в условиях начала новой экономической политики. Делегаты съезда и члены губкома ежедневно бывали в районах, выступали на партийных собраниях, в цехах заводов, на уездных конференциях...

Мы стремились глубже вникать в жизнь, поддерживать более тесные связи непосредственно с партийными ячейками, районными и уездными комитетами партии, чаще бывать на заводах и предприятиях...

Все мы работали тогда, что называется, от зари и до зари, а частенько приходилось трудиться и «после зари». Этого требовали неотложные дела, время, в которое мы жили...

Думаю, что хотя бы некоторое представление о том, как все мы, партийные активисты, были тогда загружены, можно получить, полистав, скажем, страницы местных газет и сохранившихся протоколов партийных комитетов того времени: это, так сказать, наиболее объективные «свидетели» нашей деятельности, вернее, какой-то части этой деятельности.

²⁶ ПАГО, ф. 1, оп. 5, д. 2094, л. 20.

²⁷ Проработав около трех лет председателем Нижегородского губисполкома, Тер в связи с районированием Уральской области был переведен туда заместителем председателя облисполкома и пробыл там до мая 1925 года. После этого его назначили заместителем председателя Центросоюза (1926—1927); около трех лет он был председателем Среднеазиатского ЭКОСО, почти два года — председателем Иваново-Вознесенского облисполкома, а в 30-х годах — заместителем председателя Совнаркома Закавказской Федерации. После этого Тер вновь перешел на работу в Москву: был членом и секретарем Комитета товарных фондов при СТО СССР и заместителем председателя Мособлисполкома. Тер избирался членом ЦИК СССР шести созывов. Умер он 28 января 1934 года после тяжелой операции.

²⁸ А. И. Микоян. Мысли и воспоминания о Ленине. М. Политиздат. 1970.

²⁹ «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М. Политиздат. 1970. Изд. 8-е, т. 2, 1917—1924, стр. 220.

Вот, например, как выглядит — по сохранившимся документам — лично моя загрузка за одну, последнюю, декаду марта 1921 года (то есть сразу же после X съезда партии).

20 марта — доклад о международном и внутреннем положении на беспартийной конференции железнодорожников станции Нижний Новгород³⁰. Почему именно там? Конечно, не случайно. Коммунисты-железнодорожники долго и упорно держались за платформу Шляпникова, и это не давало нам покоя. Надо было противопоставить влиянию «рабочей оппозиции» ленинскую линию. А это означало практически, что надо чаще бывать у железнодорожников, выступать у них, вести с ними индивидуальные беседы...

21 марта — доклад о X съезде РКП на общем собрании коммунистов Городского района...

22 марта — внеочередной пленум губкома партии, созванный главным образом в связи с телеграммой ЦК партии, обязывающей ряд губерний, в том числе и нашу Нижегородскую, в целях обеспечения крестьянских хозяйств семенами для предстоящего сева снять все существующие заградительные отряды и широко оповестить население, что в течение ближайшего месяца закупка семян и их перевозка гужевым транспортом может производиться совершенно свободно. Одновременно ЦК обязывал нас обеспечить широкую агитацию среди крестьян за всемерное расширение посевных площадей и объединение самих крестьян в группы взаимопомощи для лучшего использования инвентаря, разъясняя при этом, что организация такой взаимопомощи не должна проводиться в нарушение права собственности отдельных крестьян на этот инвентарь.

Надо было наметить в связи с этой директивой ЦК конкретные задачи для нашей организации, принять специальное обращение к крестьянству, дать указания местным райкомам и укомам партии, выделить нужных людей и т. п.

На этом же заседании обсуждался вопрос о создании комиссии по улучшению быта рабочих (в области питания, здравоохранения, народного просвещения и т. д.). Возникли сомнения, споры — при каком органе должна быть организована такая комиссия, что должно входить в ее задачи, какими правами она может и должна пользоваться и т. п. Помню, что по всем этим вопросам пришлось выступать, спорить, доказывать... Но в конце концов правильное решение было найдено. У меня только добавилась еще одна обязанность — губком выделил меня своим представителем в эту комиссию...³¹.

23 марта — в «Нижегородской коммуне» опубликовано письмо ко всем членам Нижегородской организации РКП в связи с X съездом партии. В этом письме, написанном мною накануне, подробно излагались решения съезда по трем коренным вопросам: об отношении партии к рабочей массе, пролетариата к крестьянству и о задачах РКП в области изживания внутривластного кризиса³².

24 марта — заседание бюро губкома.

Обсуждался доклад о работе Семеновского уездного комитета партии, докладчик — секретарь укома Комиссаров³³. Особенно встревожило всех нас, членов бюро, сообщение о том, что в некоторых волостях этого уезда крестьяне отказываются создавать посевкомы и селькомы. По этому вопросу после обсуждения было принято решение, обязывающее губпосевком найти «возможные методы подхода к указанным крестьянам».

Заслушали также доклад о работе батальона особого назначения. Время наступило сложное, и коммунисты были обязаны находиться в состоянии полной мобилизационной готовности на случай любых неожиданностей.

³⁰ ПАГО, ф. 35, оп. 1, д. 235, л. 70.

³¹ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 13, д. 601, л. 28.

³² «Нижегородская коммуна», № 63 от 23 марта 1921 года.

³³ С ним мне пришлось работать позднее в Ростове, где Комиссаров был председателем краевой контрольной комиссии. Впоследствии он работал в Москве, был членом президиума ЦКК партии, оставаясь всегда стойким ленинцем. Он был из рабочих, вступивших в партию еще до революции (1914 год).

Мы не имели права забывать, что только на днях в Кронштадте было подавлено контрреволюционное восстание, а в Сибири, Средней Азии, на Тамбовщине и в ряде других районов такие восстания еще продолжались.

«Необходимо обеспечить, — говорил я в своем выступлении по этому вопросу, — обучение военному делу и зачисление в отряды всех коммунистов без различия пола, чтобы ни один не уклонился от обучения, вести обучение членов отряда разным видам оружия — пулеметы, гранаты — и обслуживанию орудий всех родов...»³⁴

25 марта — пленум Балахнинского уездного комитета партии, где мы заслушали и обсудили доклады о деятельности бюро укома, исполкома и посевокома. Кроме того, я выступил там с докладом о X съезде партии.

В тот же день в «Нижегородской коммуне» опубликовано извещение Губполитпросвета о том, что, согласно общему плану проведения Недели профсовета, мне предстояло выступить с докладами: 26 марта — в театре «Волгарь», 27 марта — в кино «Палас», 28 и 29 марта — в городском Советском театре³⁵ (все эти выступления были проведены).

26 марта — в «Нижегородской коммуне» напечатана моя статья «Политический момент и неделя профдвижения». Заканчивалась она так: «Требуется новый революционный подъем активности рабоче-крестьянских масс, который можно вызвать только через профессиональные союзы. Отсюда — важнейшее значение «Недели профдвижения». Перед лицом наступления более опасного врага, чем белые генералы, — нищеты и разорения — «Неделя профдвижения» должна выставить дисциплинированные армии рабочих в ряды строителей коммунизма и борцов с разрухой...»³⁶.

27 марта — доклад о решениях X съезда по национальному вопросу на общем собрании членов партии из национальных меньшинств (латышей, поляков, евреев и др.), проживающих в самом городе, а также в Канавине и Сормове...³⁷.

29 марта — вновь заседание бюро губкома партии с обсуждением доклада о работе губкома комсомола...³⁸.

Перечень дел можно было бы продолжить... Такую же плотную загрузку имели тогда и многие другие наши губернские работники, наш партийный, советский, профсоюзный, комсомольский актив... К тому же надо учесть, что в этом перечне нет еще текущей каждодневной работы, нет десятков людей, с которыми приходилось ежедневно встречаться, беседовать, нет телефонных звонков, многих других заседаний и совещаний... Здесь, повторяю, перечислено только то, что осталось зафиксированным в протоколах губкома и в прессе. Но я думаю, что и из этого перечисления общий характер работы становится примерно ясным.

Хотелось бы сказать два слова об одной форме нашей работы — о так называемых циркулярных письмах губкома в укомы и райкомы, которые писались нами и обычно публиковались в губернской газете. Мы считали, что по тем временам это одна из наиболее эффективных форм связи с низовыми партийными организациями, не говоря, конечно, о живой, непосредственной связи, которая была и остается главной. Тогда ведь радио не было, телефонная и почтовая связь (в особенности с «периферией») сильно хромала... Почти по каждому злободневному вопросу писались такие циркуляры: о работе посевокомов, о проведении сплава леса, о помощи семьям красноармейцев в засевах их полей, о подготовительной кампании и ходе выборов в Городской и Сормовский Советы («Главные критерии подбора кандидатов — революционная, свежая энергия, живая, непосредственная связь с массой, внимательное отношение к нуждам беспартийной рабочей массы»), о ходе посевной и уборочной кампаний, о привлечении крестьян для работы в РКИ, о помощи огородным коммунам рабочих и т. п. Написание

³⁴ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 13, д. 602, лл. 35—36.

³⁵ «Нижегородская коммуна», № 65 от 25 марта 1921 года.

³⁶ «Нижегородская коммуна», № 66 от 26 марта 1921 года.

³⁷ Там же (опубликовано извещение).

³⁸ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 13, д. 602, л. 39.

этих циркуляров ежедневно уходила уйма времени; делалось это главным образом по вечерам, а то и по ночам за счет часов отдыха.

В то время аппараты партийных комитетов были очень маленькие. В их составе очень редко встречались теоретически подготовленные работники, поэтому волей-неволей все основные документы приходилось писать самим секретарям комитетов.

Говоря о многих товарищах, на которых тогда приходилось опираться в работе наряду с другими губкомовскими руководителями и активистами, не могу здесь не вспомнить добрым словом молодую коммунистку Марию Васильевну Стишову за большую помощь, которую она нам тогда повседневно оказывала, ведя протокольные записи заседаний губкома и вообще выполняя обязанности технического секретаря губкома. Аккуратная и исполнительная, дисциплинированная и трудолюбивая, она принесла своей, казалось бы, малозаметной работой немалую пользу нашему общему делу...³⁹.

НАШ БЫТ

Не так давно горьковские журналисты, что называется, с пристрастием расспрашивали меня, бывал ли я в те времена, например, в Нижегородском драматическом театре или на концертах в филармонии.

...Вспоминаю двадцатые годы. Вспоминаю острейшую политическую борьбу, которая шла тогда в нашей организации, отнимая много времени и энергии. Вспоминаю тысячи забот, которые сваливались на наши головы буквально каждый день... С утра до ночи — то в губкоме, то в районах, на заводах, на собраниях, на различных заседаниях...

Бывал я, конечно, и в филармонии, но не на концертах: обычно там проходили общие собрания коммунистов Городского района. Доводилось бывать и в драматическом театре, но не на спектаклях: там проводились более крупные собрания, губернского, так сказать, масштаба — съезды, конференции...

Чем же мы занимались по вечерам, если не было никаких заседаний или собраний? Не говоря уже о том, что таких вечеров вообще было довольно мало, но и в те изредка выпадавшие «свободные» вечера обычно продолжалась работа: писались статьи в «Нижегородскую коммуну», обдумывались планы и тезисы предстоящих завтра докладов и выступлений... Проходили беседы с кем-нибудь из приезжавших в Нижний уездных работников... Часок-другой вырывался на чтение газет и заинтересовавшей книжки...

Пожалуй, здесь уместно рассказать, как вообще мы жили в те годы, как был организован наш быт. Обычно этим интересуется нынешняя молодежь, которая, судя по задаваемым вопросам, даже и не представляет себе всего этого.

Расскажу, как жил я сам, потому что примерно так же жили тогда и многие другие наши руководящие работники.

Я говорил, что примерно через месяц после приезда в Нижний меня поселили в квартире бывшего нижегородского губернатора, где к тому времени жили еще пять работников губкома и губисполкома. Каждый имел в этой общей квартире (ставшей отныне «коммунальной») по комнате. Помню, что только секретарь губисполкома Троицкий, имевший троих детей, занимал две комнаты. Все мы пользовались общей кухней и ванной комнатой.

Вскоре я вызвал с Кавказа свою троюродную сестру Ашхен Туманян. Мы давно любили друг друга и собирались пожениться. Она приехала вместе со своим младшим братом Гаем, который тогда еще не окончил гимназию. По моему совету он поступил работать на Сормовский завод, а через год начал учиться в Свердловском университете.

Оба они устроились в моей комнате: отделили ширмой кровать для Ашхен, а Гай занял кушетку.

³⁹ В настоящее время М. В. Стишова — персональный пенсионер, живет в Москве и ведет на общественных началах работу в области истории партии.

Комната — узкая и длинная, с одним окном. Но главное — теплая, а для нас, южан, не привыкших к русским холодам, это было большим счастьем. К тому же у нас не было никаких забот об отоплении, потому что наша голландская печка топилась из соседней комнаты.

С приездом Ашхен комната приобрела более жилой вид: стало много чище, по-домашнему уютно...

...Вспоминаю, как обсуждали мы тогда с Ашхен вопрос о нашей женитьбе... Время было беспокойное, назревали революционные события в Германии: поговаривали, что скоро туда начнут посылать наших партийных работников для помощи немецким товарищам, и я был уверен, что буду среди них.

В этих условиях мне не хотелось связывать браком ни Ашхен, ни себя. Ведь кто знал, как еще сложится жизнь. Мало ли что могло случиться со мной! Поэтому решили с женитьбой немного обождать.

Но Ашхен надо было работать. Я посоветовал ей сходить в райком партии и попросить устроить на работу. Так она и сделала. Убедившись, что Ашхен — грамотная и толковая коммунистка, товарищи решили взять ее в райком, и вскоре она стала у них работать в аппарате.

Так мы прожили примерно до весны. Когда же стало ясно, что ехать никуда мне пока не придется (январское восстание в Германии было подавлено и дальнейшее развитие там революционных событий явно затягивалось), вновь возник вопрос о нашей женитьбе. Поторапливала и необходимость как-то официально сообщить и домой родным и товарищам по работе в Нижнем о том, что мы с Ашхен муж и жена.

Надо сказать, что в те времена еще не было ныне существующих правил обязательной регистрации браков.

Возник вопрос: будем ли мы как-то «регистрировать» наши супружеские отношения? Если будем, то как быть, например, если мы вдруг разлюбим друг друга? Ведь тогда нам придется рассказывать о своих сугубо личных чувствах и отношениях совсем посторонним людям. По тем временам такие рассуждения были вполне понятны и объяснимы.

Я был против регистрации. Ашхен согласилась со мной. Формальный брак мы отвергли. Просто решили объявить своим родным, друзьям и товарищам, что мы муж и жена.

Вскоре Гай переехал в заводское общежитие. Он давно уже добивался этого, потому что наша квартира находилась далеко от Сормовского завода и ему приходилось тратить много времени на дорогу...

Наш быт с Ашхен наконец-то начинал налаживаться, но неожиданно в Нижний по командировке ЦК партии приехал мой давний друг Леван Гогоберидзе, назначенный начальником Нижегородского губполитпросвета. Жить ему было негде, и пришлось приютить его в нашей комнате. Он спал на той самой кушетке, которую до него занимал Гай. Так мы опять оказались в комнате троим.

Надо сказать, что жили мы очень дружно и весело. Леван стал для нас буквально братом, и мы были очень огорчены, когда он заболел: у него и раньше был туберкулез, а тут, вероятно в связи с переменой климата, болезнь обострилась, и, проработав немного в Нижнем, Леван вынужден был вернуться к себе на родину.

...Не помню случая, когда бы мы с Ашхен крупно поссорились или повысили голос друг на друга. Все вопросы мы обсуждали и решали спокойно, относясь друг к другу с большим уважением и любовью.

Лишь один случай не могу забыть до сих пор...

Как-то ночью я вернулся из Сормова, где проводил партийное собрание. Очень устал, был голоден. Обычно Ашхен, приготовив для меня какой-нибудь горячий ужин, ждала моего возвращения. Так было и на этот раз. Я сел за стол. Ашхен подала, как помню, в глиняном горшочке пшеничную кашу, которая показалась мне очень невкусной. К тому же каша немного подгорела. В другое время это

прошло бы незамеченным. Но, повторяю, в тот раз я очень устал, был чем-то взвинчен и совершенно неожиданно вспыллил:

— Что это ты мне дала? Это же не пшенная каша, а какой-то каменный песок, от которого все зубы сломать можно!..

Ашхен с удивлением посмотрела на меня и, не чувствуя за собой никакой вины, тихо сказала:

— Я не знала, Анастас, когда ты придешь. Мне хотелось, чтобы каша была горячей. Ты пришел в час ночи, ну, вот она и пригорела! К тому же нам две недели как не дают масла. Молока тоже не было, вот я и сделала кашу на воде. Поэтому она и не такая вкусная!

Спокойно сказанные слова Ашхен обдали как будто холодной водой. Стало стыдно за свою вспышку. Я был зол на себя, но в то же время по «кавказской старинке» — из ложной мужской гордости — не хотелось признать свою вину и извиниться перед женой... Это был, пожалуй, единственный случай «ссоры», в которой к тому же виноват был только я сам...

...Помню, я заболел воспалением легких и недели две пролежал в постели. Чувствовал себя плохо, очень ослаб. Врач сказал, что мне нужно усиленное питание. А откуда его взять? Паек тогда все мы получали очень маленький. На рынке купить что-либо на деньги было невозможно, потому что деньги цены не имели: продукты на рынке шли только в обмен на какой-нибудь «товар».

Мысль о том, чтобы попросить для себя «подкрепления» в губком, не приходила в голову...

Ашхен зашла посоветоваться, что делать. Хозяйство у нас было небольшое. Обменять на продукты было нечего. Все мои личные «ценности» состояли из подаренных в ЦК партии Азербайджана (при отъезде из Баку) одеяла, подушки да ручных... женских часов, выданных мне из имущества, конфискованного в ту пору у бакинской буржуазии. Вот их-то Ашхен и предложила пустить в обмен.

Я возразил. Хотелось, чтобы часы остались у Ашхен («Мало ли что может случиться», — подумал я тогда, понимая, что болезнь у меня довольно тяжелая).

Тогда Ашхен предложила снести на рынок мужские ботинки, которые она только что получила «в счет» своей зарплаты в райкоме (в то время в связи с обесцениением денег иногда практиковалась и такая форма зарплаты — выдавать кое-что натурой).

Я согласился, тем более что ботинки не подходили мне по размеру.

...Потом Ашхен рассказывала мне, как она стеснялась появиться на рынке с «открытым товаром». Завернув злосчастные ботинки в газету, она очень долго стояла на базаре в ожидании покупателя. Крестьяне, не видя, что у нее в свертке, проходили мимо. Тогда соседка посоветовала Ашхен вынуть ботинки из газеты и показать их крестьянину, который продавал мясо. Это подействовало. В обмен на ботинки Ашхен получила, кажется, два килограмма мяса. Так состоялся ее первый и последний «торг» на базаре...

...Вспоминаю время, когда Ашхен была беременна. Врачи говорили, что ей надо хорошо, усиленно питаться, а продуктов по-прежнему не хватало. Никаких родственников у нас в Нижнем не было. Я очень боялся за жену и будущего ребенка. Что мне с ними делать здесь, да еще одному?..

Обдумав все, я предложил Ашхен уехать на время родов к матери в Тифлис, где у нее мог быть и уход, а главное — лучшее питание.

Сперва Ашхен возразила, сказав, что к матери ехать она не может. Дело в том, что, когда мы стали жить вместе как муж и жена, Ашхен написала об этом своей матери. Вскоре пришел ответ, полный возмущения и недовольства. Мать чуть ли не проклинала Ашхен за такой, как она писала, «недопустимый» шаг: по старым армянским обычаям, брак между троюродными братьями и сестрами запрещался.

Но я знал мать Ашхен — строгую, но, в общем-то, хорошую и справедливую женщину. Поэтому был уверен, что она ее примет. И потом вряд ли найдется

вообще мать, сказал я Ашхен, которая закрывает перед дочерью дверь, если к тому же дочь ее беременна. Подумав, она решила все же поехать в Тифлис.

Воспользовавшись тем, что мне надо было тогда по делам ехать в Москву, я захватил Ашхен с собой и уже из Москвы отправил ее в Тифлис со своими знакомыми кавказскими товарищами, возвращавшимися из Москвы домой.

Как я и предполагал, мать приняла Ашхен очень сердечно.

...Мы прожили с Ашхен Лазаревной более сорока лет, до конца ее жизни.

...Часто я слышу разговоры о склоках в так называемых коммунальных квартирах. Должен сказать, что у нас в Нижнем ни разу не возникало никаких конфликтов, хотя жили мы в подлинно коммунальной квартире. Женщины готовили на одной кухне. Для всех нас, как я уже говорил, существовала одна ванная комната. Но никогда никаких споров, скандалов, сплетен или пересудов у нас не происходило. Во всяком случае, я ни разу не слышал о какой-либо неприятности в нашей квартире, а тем более о квартирной склоке.

Объясняется это, видимо, тем, что каждый из нас занимался своим делом. Мы много работали, жили дружно. Да и женщины подобрались у нас достаточно культурные и выдержанные. Они жили нашими общими интересами: в их лице мы имели подлинных друзей, товарищей.

В этом смысле домашняя обстановка у нас была самая отличная, несмотря на существовавшие тогда материальные и другие затруднения.

...Хочу рассказать еще об одном маленьком штрихе нашего тогдашнего быта.

В те времена как-то не было заведено, чтобы мы ходили друг к другу просто так, поболтать о том, о сем. Если кто-то и заходил иногда ко мне домой, то только по делу, и то ненадолго.

В качестве угощения обычно предлагался стакан чая (сахар появлялся на столе довольно редко!). Что же касается чего-нибудь покрепче, то следует напомнить, что в те годы действовал сухой закон. Находились, конечно, и тогда любители спиртного, достававшие разными окольными путями самогон. Я уже писал, как безуспешно боролся в Нижнем с выпивками Молотов, когда работал здесь председателем губисполкома, а с ним и другой член губкома, всеми уважаемый старый большевик Таранов.

Короче говоря, выпивки, в том числе и среди руководящего состава, продолжались. С этим злом надо было бороться. Но как?

С речами на сей счет я решил не выступать. Надо было бороться с пьянством разными путями. Мне казалось, что немалую роль должен сыграть тут и личный пример, личное поведение руководителя организации.

Для меня никакой трудности это не представляло. Дело в том, что и на Кавказе, где никогда не было сухого закона, я редко пил даже виноградное вино, не говоря уж о водке. Здесь же, в Нижнем, учитывая обстановку, я вообще решил не брать вина в рот, надеясь, что этому последуют и другие товарищи.

Позднее Михаил Каганович (в те годы нижегородский губпродкомиссар), уже будучи наркомом авиационной промышленности, как-то рассказывал:

— Мы все были удивлены, что Микоян в отличие от других никогда ни слова не говорил в своих речах о борьбе с пьянством. И поэтому решили: наверное, сам пьет, потому и помалкивает! Спрашиваем как-то невзначай у женщины-дворника: «Куда Микоян деваёт винные бутылки?» Она отвечает: «А у него их и не бывает». Мы еще более удивились... Что греха таить,— продолжал Каганович,— слух о том, что «Микоян не пьет», пошел по городу, и каждый из нас, грешных, не раз задумывался, прежде чем «опрокинуть» лишнюю рюмку водки...

Не знаю, конечно, много ли я достиг в этой своей «борьбе с пьянством», но, во всяком случае, среди руководящих работников случаев «шумных» выпивок стало, по-моему, поменьше...

...Гот же Михаил Каганович объяснил мне еще одно «событие», которого я в Нижнем так и не смог понять.

Прихожу как-то домой поздно вечером после длительного заседания бюро губкома. Ашхен вскипятила чайник и с таинственным видом ставит на стол стеклянную банку. В ней оказался мед.

На вопрос, откуда взялся мед, жена ответила, что его принес «какой-то человек и сказал, что для тебя. А кто он — я не спросила».

Упрекнув ее («А может, это взятка?»), я предложил отдать злополучный мед нашему дворнику-женщине:

— У нее много детей, мед пойдет им на пользу!

Много позднее, работая уже в Москве, я рассказал об этом эпизоде Михаилу Кагановичу. Он долго смеялся.

— Так этот мед мы тебе и прислали! Знали, что просто так принести — не возьмешь. Решили передать, не сказав от кого. Уж больно ты тогда худой был. И все ж, выходит, не прошел наш номер! Ну, ладно, хорошо хоть детишкам от него польза была!..

Чтобы закончить с сугубо личными отвлечениями от основных воспоминаний, хочу рассказать о... русской зиме.

Дело в том, что именно в Нижнем я, человек, приехавший с Кавказа, впервые почувствовал настоящую русскую зиму с ее снегами, большими морозами и обледенелыми реками... Ко всему этому пришлось здесь привыкать...

...Начнем хотя бы с того, что протопить громадные комнаты бывшего губернаторского дома, где размещался губком, представляло задачу нелегкую. С топливом было очень трудно.

И все же как здорово, когда прибежишь с мороза, встанешь около голландской печки и греешь, греешь заочневшие руки...

Был у нас в губкоме свой «выезд»: летом фаэтон, зимой сани. И на все — «одна лошадиная сила».

...Запомнилась командировка в Васильсурск. Для такой дальней поездки я получил «спецобмундирование»: доху и валенки большого размера. Люди понимающие дали совет — напихать в валенки побольше сена, а ноги к тому же обернуть в газеты.

Забрался в сани, завернулся с головой в доху, нахлобучил папаху, и отправились мы в путь. Ехали по ледяному полю Волги.

Бегут сани, скрипят полозья, дремлетесь. Возница посвистывает, покрикивает. Оглянется, не заснул ли я.

— Бегать надо, — говорит.

Соскочит сам на лед, идет или бежит за санями и мне велит делать то же самое, чтобы я не замерз. А покидать насиженное место не хочется! Но делать нечего. Соскакиваю, бегу, поглядываю, чтобы не угодить в прорубь (крестьяне обычно отмечают проруби еловыми ветками или палками).

Раньше я думал, что замерзать, наверное, ужасно мучительно, а оказывается, это сладостное ощущение блаженного засыпания, преодолеть которое необходимо немалая сила воли...

В ту поездку меня поразило, что даже в сильный мороз на реке есть места, которые не замерзают. Словоохотливый возница рассказывал, что бывали нередко случаи, когда при большом буране люди из-за плохой видимости сбивались с пути и погибали, проваливаясь в такие проруби... Я начал смотреть на эти чернеющие пятна уже с тревогой: вот ведь какие опасные сюрпризы может преподнести река даже зимой!

...Заснеженные, поразительной красоты леса тянулись вдоль берегов Волги. Тишина нарушалась только скрипом полозьев да понуканием возницы, подгоняющего лошадь. Высунешься из дохи и видишь, как бежит она трусцой, вся покрытая инеем, и идет от нее пар...

...Стало еще морознее: ресницы, брови и усы заиндевели, встречный ветер не давал возможности поднять лицо...

И все же это было удивительное зимнее путешествие!

А потом — Васильсурск: на высоченной горе лепятся избышки, еле видные из-за сугробов...

Устроились мы на ночлег в хорошо натопленной избе. К тому же разместили нас около самой печки. Вот тут-то и понял я, как приятна в мороз русская печка!..

С тех пор прошло больше пятидесяти лет. Живу я давно в среднерусской полосе, но та первая моя зима в Нижнем осталась в памяти навсегда...

Однако возвращаюсь к основным воспоминаниям.

Приблизился к концу первый месяц работы после X Всероссийского партийного съезда. Месяц этот прошел очень напряженно, в постоянных поездках по заводам и предприятиям.

Доклады, заседания, выступления, совещания, встречи с людьми, беседы, споры...

Не без волнения вспоминаю пленум губкома, проходивший в апреле 1921 года вместе с секретарями укомов и райкомов губернии. На этом пленуме вновь избранное бюро губкома отчитывалось о проделанной работе за шесть недель, прошедших после XI губернской партийной конференции. Впервые, уже как секретарь губкома, я чувствовал свою главную ответственность за деятельность губернского комитета партии.

Как-то будет оценена наша работа?

После большого и делового обсуждения отчета бюро губкома пленум принял решение, в котором было сказано следующее: «Пленум губернского комитета, заслушав доклад бюро о его деятельности за период от губернской конференции, отмечает проделанную громадную работу и, одобрив взятый курс и линию поведения бюро, предлагает ему принять все меры к максимальному осуществлению плана работ губкома...»⁴⁰.

Значит, не пропали наши усилия!..

НА БОРЬБУ С ГОЛОДОМ!

Груды практических дел требовали решения. Приближалась весна — и во весь рост вставали заботы, связанные с подготовкой к севу. Видя, какое огромное внимание уделял сельскому хозяйству и крестьянству Ленин, мы все стремились глубже разобраться в этих новых тогда для нас проблемах. Беспокоило проведение двухнедельника по учету семян, состояние сельхозинвентаря и организация его ремонта, вопросы, связанные с укреплением земельных органов, и многое другое. Очень заботили и волнения на некоторых заводах, связанные с продовольственными затруднениями...

...Помню, позвонили как-то в губком из Сормова и сообщили, что рабочие бросили работу, собрались на площади, начали общезаводской митинг и требуют секретаря губкома.

Надо сказать, что сормовичи работали тогда на оборону и получали усиленный продовольственный паек. На каждого работающего полагалось в месяц 45 фунтов муки, 15 фунтов овощей, 1 фунт соли, 1/4 фунта мыла, 1/4 фунта суррогатного кофе и 2 коробки спичек⁴¹. Муку и соль рабочие получали регулярно, хотя в муке иногда бывало и много отрубей...

...Поехал на завод. Митинговавшие уже «выговорились». Поднялся на трибуну, сколоченную из досок, где один из рабочих на виду у всех показал мне образец муки, которую им только выдали. При этом он громко заявил:

— Разве это мука? Посмотрите сами — одни отруби!

Посмотрев на муку, я ответил:

⁴⁰ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1196, л. 1.

⁴¹ Там же, ф. 3, оп. 1, т. 15—21, л. 987.

— Да, мука действительно плохого качества. Много отрубей. Но другой муки сейчас нет, а если бы была, то вы, сормовичи, получили бы ее наверняка в первую очередь. А пока надо терпеть.

И стал разъяснять, в каком тяжелом положении находится республика. Однако очень скоро заметил, что хотя рабочие меня вроде и понимают, но объяснения мои их не удовлетворяют...

Когда я кончил говорить, рабочий, который показывал образец муки, выступил вновь и заявил:

— Тогда мы пошлем делегацию сормовичей к Ленину. Он ценит и уважает нас и обязательно нам поможет.

Я высказался против посылки такой делегации:

— На днях я еду в Москву по делам и обещаю вам этот вопрос поставить в Наркомпроде перед Цюрупой — заместителем Ленина.

Однако сормовичи настаивали на своем:

— Говорить в Наркомпроде не о чем, ведь Наркомпрод-то и посылает нам сюда плохую муку! Без Ленина этот вопрос не решить!

Видя, что сормовичей не переубедишь, я пообещал зайти в Москве и к Ленину.

Только после этого сормовичи разошлись и приступили к работе.

Когда я попал в Москву, то первым делом направился в Наркомпрод к Цюрупе. Объяснил обстановку в Сормове. Цюрупа твердо обещал помочь. Обращаться по этому поводу к Ленину не пришлось. И вскоре действительно в Нижний пришла хорошая мука...

...Сохранился в памяти и другой эпизод.

Сию как-то в губкоме. Раздается телефонный звонок из Канавинского райкома партии: на заводе «Саланин» рабочие прекратили работу, фактически объявили забастовку, не уходят с завода и требуют, чтобы я прибыл к ним.

Перед рабочими этого завода у меня были, так сказать, «двойные» обязательства: как секретаря губкома и их депутата в Горсовете.

...Собрание началось прямо в цеху. Рабочие стали жаловаться на слишком маленький паек, который они тогда получали, и требовали его увеличения до уровня, установленного сормовским рабочим, а это означало увеличение рабочей нормы хлеба на 9 фунтов в месяц.

Высказались два-три человека, а потом рабочие потребовали моего выступления.

— Требование ваше понятно, — заявил я. — Однако до нового урожая государство не располагает такими запасами хлеба, которые позволили бы поднять уровень снабжения населения. Мы не можем повысить сейчас размеры пайка. Даже в нынешних размерах выдавать его аккуратно приходится с большим трудом. Что же касается сормовичей, то им уже давно установлен относительно повышенный паек по сравнению с другими рабочими, потому что сормовичи выполняют специальные и очень ответственные военные заказы. Приравнять к ним других рабочих мы сейчас не имеем никакой реальной возможности... Говорю вам совершенно честно и искренне: надо ждать нового урожая. Если будет хороший урожай, положение облегчится и мы сможем увеличить размеры хлебного пайка.

Не успел я закончить свое выступление, как вдруг слышу женский голос:

— Хоршо вам так говорить, когда вы сами обжираетесь!

Сказано было громко, хотя говорившую не было видно: она стояла за спиной рабочих.

Надо сказать, что в то время я был очень худой и вид у меня был прямо-таки неважный. Мгновенно решил воспользоваться этой ситуацией и попросил, чтобы женщина, которая выкрикнула реплику, вышла вперед. Она вышла очень неохотно.

Перед нами стояла молодая женщина лет тридцати, с большим румянцем на

щеках, редкой для того времени «упитанности». Видимо, дома у нее не так уж было голодно: многие рабочие завода имели своих коров и огороды.

Честно говоря, я очень обрадовался ее внешнему облику: и вообще было приятно, что человек так хорошо выглядит, а в данной ситуации ее цветущий вид меня устраивал, так сказать, «вдвойне».

Указав на нее рукой и улыбаясь, я обратился к рабочим с вопросом:

— Вы поглядите на нее и скажите: кто из нас обжирается?..

Раздался взрыв хохота. Женщина была, что называется, посрамлена и покраснела еще больше.

Все было неожиданно. Сама того не желая, эта «недовольная» женщина оказала мне большую услугу и помогла несколько разрядить обстановку.

Подождав, пока стихнет взрыв смеха, я обратился к рабочим с просьбой приступить к работе, а с хлебом потерпеть до лучших времен.

Рабочие разошлись по местам, и работа возобновилась.

Надо сказать, что новой экономической политике, принятой на X партийном съезде, в первый же год «не повезло». Ее проведение совпало со стихийным бедствием — сильной засухой и неурожаем 1921 года. В некоторых наиболее засушливых районах страны урожай тогда почти полностью погиб. Неурожаем охватил более 30 губерний с населением свыше 30 миллионов человек. Особенно плохо было в Поволжье. Количество голодающих в одних приволжских губерниях (без Крыма и Украины) исчислялось более чем в 17 миллионов человек. Ленин назвал 1921 год годом неслыханной тяжести.

Считалось, что от голода умерло тогда около трех миллионов человек. Поэтому крестьяне из многих районов, пораженных засухой, не могли воспользоваться системой продналога: у них не было не только хлебных излишков, чтобы продать их на рынке, — хлеба не хватало на собственное пропитание. Поэтому вместо продавцов хлеба они стали только его потребителями. Никакого продналога в их областях и районах собрать было невозможно, а это сильно ударило по общему хлебному балансу нашего государства. Более того, потребовалось изыскивать хлебные ресурсы для оказания помощи голодающим.

Советское правительство энергично взялось за организацию помощи голодающим районам как непосредственно продовольствием, так и семенным фондом.

На III сессии ВЦИК (май 1922 года) М. И. Калинин докладывал, что государство послало в голодающие районы в общей сложности около 12 миллионов пудов продовольствия. Более 800 тысяч человек было эвакуировано из этих районов в другие губернии. В озимую кампанию мы отправили туда более 12 миллионов пудов озимых семян, а в яровую — около 40 миллионов пудов семенного зерна. Сказал он и о том, что на средства от собранного специального гражданского налога и на изъятые церковные ценности за границей произведены большие, исчисляемые сотнями тысяч пудов закупки муки...⁴².

Но одной государственной помощи было недостаточно, и партия возглавила всенародную борьбу с голодом.

В результате добровольных пожертвований трудящихся городов и крестьян областей, не пострадавших от засухи, были собраны значительные средства, направленные на борьбу с голодом. Внутри самой России собрали более пяти миллионов пудов хлебных и других продуктов. Кроме того, к каждой «голодающей» губернии прикрепили «урожайную», которая из своих запасов помогала трудящимся, страдавшим от неурожая...

Большую роль в этом всенародном движении сыграла созданная в июле 1921 года при ВЦИК Всероссийская центральная комиссия помощи голодающим (Помгол) во главе с М. И. Калининным.

Одним из представителей Помгола за границей была Мария Федоровна Андреева — жена Максима Горького. Она выступала там с лекциями, в которых призывала зарубежную общественность оказать помощь голодающему населению

⁴² См. «III сессия ВЦИК IX созыва». Бюллетень № 1. М. 1922, стр. 1—5.

России. В письме к Ленину она сообщала из Берлина о проводимой ею там работе: «...меня посылали с лекциями о голоде в Швецию, Данию, и пришлось выступать в самом Берлине по тому же вопросу, а это дало мне возможность видеть массу самой разнообразной публики, со мной разговаривающей без особой осторожности»⁴³.

Международный пролетариат и многие прогрессивные зарубежные деятели горячо откликнулись на призыв о помощи Советской России. Одним из первых и наиболее активных организаторов такой помощи стал знаменитый норвежский ученый Фритьоф Нансен. Немалая работа была проделана заграничным комитетом для организации международной рабочей помощи голодающим Советской России (позднее Межрабпом), основанным в 1921 году при участии Клары Цеткин, Альберта Эйнштейна, Романа Роллана, Анри Барбюса и некоторых других передовых общественных деятелей и представителей мировой науки, литературы и искусства.

В связи с общенациональным характером бедствия внутри страны, помимо Помгола, было решено создать еще и другой общественный комитет, чтобы привлечь к этому делу различные слои населения, в том числе и некоммунистическую интеллигенцию, а также представителей разных существовавших тогда в России политических партий. Такой комитет был организован в июле 1921 года под председательством Л. Каменева. Этот комитет прозвали в народном обиходе «Прокукиш» — по начальным слогам фамилий вошедших в его состав Прокоповича, Кусковой (известных в свое время меньшевиков, перешедших к кадетам) и кадета Кишкина. Комитет имел право собирать пожертвования, приобретать (в России и за границей) продовольствие, фураж, медикаменты и одежду, организовывать общественное питание, распределять между городами и губерниями соборанные средства для оказания помощи голодающим.

Однако «Прокукиш» просуществовал очень недолго — не более одного месяца. Антисоветские элементы из руководства комитета попытались использовать «Прокукиш» как легальную организацию для целей контрреволюции. Когда «деятельность» комитета была установлена, Советское правительство решило распустить «Прокукиш», причем в правительственном сообщении о таком решении было сказано, что вокруг этого комитета велась контрреволюционная политическая игра некоторых буржуазных правительств и белогвардейских групп.

В августе 1921 года Советское правительство заключило договор с американской организацией АРА⁴⁴ об оказании помощи голодающим.

Деятельность АРА продолжалась около полутора лет и была прекращена в июне 1923 года, после того как было установлено, что АРА, хотя и завуалированно, занималась не только оказанием экономической помощи голодающим, но и антисоветской агитацией, а также шпионско-подрывной деятельностью, поддерживая контрреволюционные силы, пытавшиеся добиться свержения Советской власти.

IX Всероссийский съезд Советов (декабрь 1921 года) принял специальное постановление «О помощи голодающим», в котором, в частности, отметил, что буржуазные правительства отнеслись к тяжелому стихийному бедствию, охватившему часть Советской России, «прежде всего как к удобному случаю для новой попытки свержения Советской власти...».

И тем не менее экономическая помощь, оказанная нашей стране в те годы, была достаточно ощутимой. От заграничных общественных организаций (АРА, английские квакеры, шведский Красный Крест, организация Нансена, Международный рабочий комитет, Международный Совет помощи детям, германский Красный Крест, тред-юнионы и другие) было получено около 27 миллионов пудов

⁴³ М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. М. «Искусство». 1968, стр. 346.

⁴⁴ АРА — Американская администрация помощи — создана в США в 1919 году, под председательством будущего президента США пресловутого Г. Гувера, для оказания продовольственной и всякой иной материальной помощи европейским странам, пострадавшим во время первой мировой войны.

продовольствия, главным образом пшеницы, муки, кукурузы и других продуктов⁴⁵.

Ленин писал в 1922 году, что эта помощь «в значительной мере помогла Советской России пережить тяжелые дни прошлогоднего голода и побороть его»⁴⁶.

«...работа проделана большая... — говорил на III сессии ВЦИК М. И. Калинин, подводя предварительные итоги общенародной борьбы с голодом. — Около 10 миллионов населения вырвано нами из рук голодной смерти и, может быть... несколько миллионов сделаны работоспособными или сохранены работоспособными членами нашей Советской Республики»⁴⁷.

Засуха и недород распространились и по Нижегородской губернии, захватив шесть юго-восточных уездов, которые были нашей основной зерновой базой.

И без того ограниченные продовольственные пайки для трудящихся становились все более скудными, да к тому же и выдавались-то они не всегда полностью. Враждебные элементы — эсеры, меньшевики и их подголоски — всячески использовали это положение, ведя среди населения злобную антисоветскую агитацию и натравливая трудящихся на местных руководителей-коммунистов.

Дело доходило до того, что на почве продовольственных затруднений некоторые цеха и даже отдельные предприятия прекращали работу.

В июне 1921 года, обсуждая создавшееся в губернии положение на бюро губкома, мы вынуждены были пойти на крайние меры и принять такое решение: «Ввиду катастрофического состояния с делом снабжения предприятий продовольствием и топливом и все усиливающимся недовольством массы рабочих-пролетариев голодом и тягой связанных с деревней рабочих в деревню, что создает почву для волнений и меньшевистско-эсеровской агитации, разрешить временно отпуск голодающим рабочим от двух недель до двух месяцев путем временного сокращения, а в крайнем случае и закрытия ряда предприятий, с концентрацией скудных запасов продовольствия для снабжения наиболее важных предприятий»⁴⁸.

Однако трудности продолжали нарастать. Летом 1921 года положение с продовольствием стало наиболее обостренным. Скрепя сердце пришлось прибегнуть к дополнительным мерам.

9 июля 1921 года всем уездам и райкомам партии была разослана резолюция бюро губкома о концентрации промышленности в губернии с указанием, что конкретный план концентрации по отраслям промышленности, а также списки предприятий, передаваемых в аренду рабочим артелям и частным предпринимателям, должны утверждаться Губернским экономическим совещанием (Губэконом). В первую очередь концентрацию необходимо было провести в области химической, кожевенной и текстильной промышленности, где к тому же ощущалась острая нехватка сырья. Губком предупреждал, что при проведении концентрации надо проявлять максимум осторожности и осмотрительности и во избежание осложнений политического характера все работы по концентрации согласовывать с губпрофсоветами и отдельными профсоюзами.

Мы считали, что предприятия, которые при концентрации не смогут быть использованы в силу их нерентабельности, должны быть переданы в аренду рабочим артелям, кооперативам и даже частным лицам.

Много сил мы отдали в то время борьбе с последствиями засухи, помогая крестьянам чем только было возможно.

Однако забегая несколько вперед, скажу, что, к сожалению, и весной следующего года положение с обеспечением семенным фондом для посевов в пострадавших уездах осталось очень напряженным.

⁴⁵ См. «III сессия ВЦИК IX созыва». Бюллетень № 1, стр. 3.

⁴⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 315.

⁴⁷ «III сессия ВЦИК IX созыва». Бюллетень № 1, стр. 5.

⁴⁸ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 13, д. 802, л. 88.

Казалось, что из создавшегося положения нет выхода. А вместе с тем на складах губернии лежали семена яровых зерновых культур, но они были полностью забронированы за центром; воспользоваться ими без согласия центра мы не имели права.

Мы мобилизовали все свои внутренние зерновые ресурсы, собрали по губернии все что могли, но этого было крайне недостаточно для самых неотложных нужд сева.

Было ясно, что без серьезной помощи из центра нам не обойтись.

Зная об отрицательном отношении Наркомпрода к использованию забронированных им зерновых резервов для сева по нашей губернии, мы решили в порядке особого исключения обратиться в Политбюро ЦК с просьбой выдать из забронированных Наркомпродом зерновых фондов часть зерна для посевной кампании в Нижегородской губернии.

Вскоре последовало разрешение выдать нам из этих фондов 200 тысяч пудов зерна. Если бы не эта реальная помощь центра, в наших юго-восточных уездах почти нечего было бы сеять и нам вновь угрожала бы серьезная нехватка продовольствия, но уже не от засухи, а от недосева.

10 июля 1921 года я выступил на губернском съезде продработников с докладом «О сущности продналога». Подробно рассказал о продналоге, переход к которому означал, по сути, начало новой экономической политики. Основное внимание я обратил на те большие задачи, которые возлагаются на товарообмен в деревне, и на необходимость самого энергичного и своевременного сбора продналога по губернии.

Зная, в каком тяжелом положении с продовольствием находилась тогда вся республика, мы наметили ряд мер к решению продовольственной проблемы на месте: ускорить сбор продналога, мобилизовать нужное количество работников для пополнения продовольственного аппарата, немедленно приступить к помольному сбору с частных мельниц, принять энергичные меры через кооперацию к всемерному усилению товарообмена с крестьянством.

С этой целью мы провели собрания и индивидуальные беседы с руководителями низовых партийных и советских организаций, мобилизуя их на решение этих неотложных задач.

Через неделю на заседании бюро губкома при обсуждении вопроса о продовольственном положении в губернии я внес ряд дополнительных предложений, направленных на борьбу с голодом и по оказанию необходимой помощи рабочим. В частности, разрешить до сбора продналога вольную продажу картофеля и овощей, сократить состав рабочих в совхозах, изъять (где это возможно) излишки продовольствия для города и всячески содействовать развитию товарообмена, главным образом на хлебные виды продовольствия.

Совершенно неожиданно в конце июля 1921 года было получено решение ЦК партии о назначении меня уполномоченным ВЦИК по проведению сбора продналога по нашей губернии с немедленным вызовом в Москву.

В Москве зашел к Цюрупе, который, работая наркомом и одним из трех заместителей Ленина по Совнаркому, ведал тогда всеми вопросами продовольствия, в том числе и сбором продналога.

...Передо мной стоял мужчина высокого роста, очень худой. Волосы его были тронуты сединой. Он был значительно старше меня. Цюрупа с приятной улыбкой поздоровался со мной. Начал с того, что подробно стал расспрашивать о продовольственном положении в губернии, выяснять, как у нас идет сбор продналога. (Вот тогда-то и было им принято решение о помощи Нижнему мукой, о чем я уже рассказывал.) Потом Цюрупа кратко разъяснил мои задачи, права и обязанности как уполномоченного ВЦИК по сбору налога...

Был он немногоречив, но очень ясно излагал свои мысли. Чувствовалось, что это человек умный, хорошо эрудированный, в полном смысле слова интеллигентный. Цюрупа располагал к себе каким-то особым — не только внешним, но и внутренним — обаянием, умением слушать, своим необыкновенным спокойст-

нием, уравновешенностью, выдержкой... Я расстался с ним, сохранив приятное впечатление от нашей первой встречи.

Через два дня я вернулся обратно в Нижний и, подробно информировав губкомом о своей беседе с Цюрупой, занялся непосредственной практической работой губпродкома и его комиссаров в уездах. Приходилось много выезжать на места, проверять, как идет сбор продналога, принимать меры к устранению недостатков в работе...

Естественно, что во всем этом я опирался на большую помощь местных партийных и советских организаций.

Во всяком случае, через восемь месяцев в отчетном докладе губкома XIII губпартконференции с полным основанием можно было заявить, что «...основное внимание мы уделяли продналогу. Он собран на 93 процента, в то время как в других даже более благополучных губерниях продналог собран только на 75 процентов».

ВНИМАНИЕ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

В те годы особое значение приобрело развитие кустарной промышленности. К этому нас обязывали не только опубликованные в первой половине 1921 года специальные декреты Советского правительства о потребительской и промышленной кооперации...

Я хорошо помнил, что еще в своей знаменитой книге «Развитие капитализма в России» Ленин уделил много внимания анализу кустарной промышленности, столь характерной для экономики России. Он скрупулезно изучал статистические данные и по Нижегородской губернии.

Ленин отмечал, что «по данным земско-статистических материалов о 7-ми промыслах Горбатовского и Семеновского уездов Нижегородской губ. насчитывается 16 303 кустаря, из которых 4614 работают на базар, 8520 — «на хозяина» и 3169 — в наемных работников; то есть 11 689 капиталистически употребляемых рабочих»⁴⁹.

Отсюда Ленин делал вывод, «...что, в общем и целом, в число «кустарей» попадает масса капиталистически употребляемых рабочих»⁵⁰.

Все это лишний раз убедило меня, что в свое время Ленин проявлял особое, я бы даже сказал, исключительное внимание к состоянию кустарной и зарождающейся капиталистической промышленности в Нижегородской губернии.

⁴⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 449.

⁵⁰ Там же, стр. 450.

Недавно я прочитал вышедший в 1970 году первый том биографической хроники Ленина, представляющей богатейшее документированное жизнеописание Ленина. В ней приведены, в частности, очень интересные данные о том, как Ленин работал над книгой «Развитие капитализма в России».

Находясь в тюрьме, а затем в ссылке в Шушенском, Ленин запрашивал и изучал многочисленные статистические данные о состоянии кустарной промышленности в России. Много раз он обращался к цифрам и материалам по Нижегородской губернии, внимательно их анализировал, делая в связи с этим свои пометки и замечания.

В январе 1896 года, находясь в тюрьме, Ленин заводит, например, отдельную тетрадь, в которой ведет исследование экономического состояния павловских промыслов по материалам, опубликованным в 1, 2, и 3 номерах журнала «Нижегородский вестник пароходства и промышленности» за 1891 год.

Сравнивая журнальные материалы с другими источниками, он находит, например, что в журнальной публикации три пятых производства в Павловском районе ошибочно отнесено к кустарному. Ленин приходит к выводу, что «в Павловском районе преобладают наемные рабочие и рабочие на дому, господствует капиталистическое производство» («Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника». М. 1970, т. 1, 1870—1905, стр. 119).

Находясь в ссылке, Ленин работает над «Материалами к оценке земель Нижегородской губернии», «делает пометки и заметки на полях, выделяя промышленные села, где население не занимается земледелием, и подсчитывает количество безлошадных хозяйств в них» (там же, стр. 158). Просматривая «Сельскохозяйственный обзор Нижегородской губернии за 1896 год», Ленин «подчеркивает места с описанием причин отходничества, делает подсчет количества уездов по видам отходничества» (там же, стр. 165—166).

Я поближе познакомился с состоянием промыслов, особенно лапотных и лошкарных, наиболее развитых и процветающих в нашей губернии. Раньше я о них знал только понаслышке и лишь теперь понял, что оба промысла имеют у нас широчайшие возможности дальнейшего развития, поскольку их продукция встречает огромный спрос, а опытные кадры и сырье есть на месте.

Таким образом, значительное расширение кустарной промышленности в губернии представлялось мне задачей практически вполне выполнимой, а это, в свою очередь, должно было существенно повлиять и на общее развитие местного товарооборота.

Вот почему когда в конце апреля 1921 года на заседании бюро губкома партии был заслушан доклад о реорганизации потребительской кооперации в связи с введением продналога, я заявил, что «...поскольку мы хотим организовать товарообмен через потребительскую кооперацию, то мы не можем обходить вопрос и о судьбе кустарной промышленности. Нужно поручить специальной комиссии из заинтересованных организаций разработать вопрос о реорганизации производственной кооперации в связи с последними экономическими декретами Совнаркома...».

Бюро губкома, учитывая особое значение кустарной промышленности для Нижегородской губернии, приняло решение создать такую комиссию, обязав ее подготовить и соответствующие предложения. Руководство комиссией бюро возложило на меня. Я охотно взялся за дело.

Комиссия провела несколько заседаний. Наиболее знающим вопрос оказался один из руководящих работников промкооперации Львов, на которого мы главным образом и опирались.

Через два месяца, выступая на пленуме губкома партии по докладу «О товарообороте в кооперации», я уже смело мог заявить, что кустарная промышленность в наших условиях будет играть громадную роль. В таких районах Нижегородской губернии, как Павловский, Богородский и другие, кустарная промышленность была уже довольно сильно развита.

— Нам нужно практически выяснить вопрос, — говорил я, — как, принимая во внимание последний декрет Совета Народных Комиссаров, надо нам оживить и поднять кустарное производство, как снабжать частных кустарей сырьем, как делать им заказы, заключать договоры на получение товаров, как получить право самостоятельно приобретать сырье и продавать изделия.

Следует отметить, что в те времена в кооперацию и в кустарную промышленность стали проникать эсеры, стараясь обеспечить там свое влияние.

— Кооперация и кустарная промышленность, — говорил я в докладе, — вызывают к себе усиленное внимание нашей партии потому, что пока еще кооперация — основа эсеровщины, и для ее коммунистического развития нужно положить очень много сил... Нам необходимо принять все меры, чтобы обеспечить кооперацию своими работниками.

Созданная нами комиссия по производственной (кустарной) кооперации решила в первую очередь собрать по уездам полные данные о состоянии кустарной промышленности, промысловых артелей и их союзов и проверить руководящий состав этих союзов. Мы хотели выявить в кустпромсоюзах руководителей, находящихся под влиянием эсеров, чтобы постепенно заменить их рабочими-коммунистами или передовыми рабочими-беспартийными. Было решено послать группу ответственных работников в те уезды, где кустарное производство было наиболее развито.

Картина выяснилась довольно неприглядная.

На одном из заседаний нашей комиссии секретарь Семеновского укома партии Комиссаров сообщил, например, что в кустарной кооперации их уезда «коммунистов вообще нет и уком затрудняется их наметить». А в этом уезде имелось много кустарных артелей: щепных, лошкарных, лапотных, валяно-сапожных, кузнечных и других.

Учитывая особую важность этого уезда как базы кустарной кооперации, я предложил тогда обратиться на этот район особое внимание, командировать туда

представителя нашей комиссии, а укому принять самые энергичные меры к успешному проведению выборной кампании по кустарной кооперации в уезде.

В сообщении о состоянии кустарной промышленности в Воскресенском уезде отмечалось, что при наличии деревообрабатывающего, канатного, рогожного, колесного, санного промыслов организован Союз, в который вошли 23 артели, и во главе этого Союза стоит коммунист.

— В уезде имеется группа меньшевиков и эсеров, которые стремятся использовать кустарную промышленность в своих целях... Особенно проявил себя Касторский, по инициативе которого отредактирован контрреволюционный наказ, в котором требуется роспуск Красной Армии и избрание Советов без коммунистов.

Заслушав сообщение о состоянии кустарной кооперации в Павловском уезде, один из выступавших сказал, что у них работу в Союзе «трудно наладить из-за недостатка средств и сырья; взяв на себя инициативу организации этого Союза и не создав ничего конкретного, коммунисты могут себя этим скомпрометировать в глазах кустарей».

В связи с этим выступлением член нашей комиссии Львов правильно указал, что «в государственном фонде имеется до 300 тысяч пудов разных обрезков, которые будут переданы в кустарную промышленность». Он сказал также, что из Главкустпрома получена телеграмма, в которой сообщается, что Совнарком предлагает «принять срочные меры к развитию кустарного производства подков». В центре, справедливо заявил он, кустарной промышленности придается очень большое значение. Что же касается сырья для кустарной промышленности, то оно, несомненно, будет получено.

Другие члены комиссии поддержали Львова, заявив, что если стать на высказанную здесь точку зрения, то «коммунистам вообще придется уйти из всех отраслей хозяйственной жизни и везде сдать позиции меньшевикам».

Комиссия предложила Павловскому укому срочно выделить товарищей для организации работы по созданию промыслового Союза. Было решено командировать из губернии специального работника для проведения и руководства этой работой, а кроме того, обсудить вопрос о металлической промышленности на заседании бюро губкома.

В сообщении о кустарной промышленности Ардатовского уезда отмечалось, что там имеются кошмовальное, смолокурное, гончарное, рогожное, кирпичное, алебастровое, лесозаготовительное и щепное производства. В уезде уже был организован Союз, «но его захватили нежелательные, с точки зрения партии, элементы — меньшевики, эсеры и старые реакционные земцы... В уезде имеются коммунисты, которых можно использовать для организации кустарной промышленности».

Я предложил немедленно дать указание Ардатовскому укому шире использовать коммунистов на работе в кооперативных артелях и Союзе, с тем чтобы в ближайшее время избрать новый состав правления Союза и ввести туда членов РКП.

Тогда же было решено привлечь к участию в работе по организации кустарной промышленности в губернии профсоюзы.

В результате проделанной работы нам удалось организовать новый, достаточно мощный губернский Союз кооперативной промышленности, укрепить его коммунистами, а также создать необходимый резерв сырья для снабжения кустарей и их артелей.

БОРЬБА С ОСТАТКАМИ ОППОЗИЦИОННЫХ ФРАКЦИИ И ГРУППИРОВОК

Однако силы наши расходовались не только на преодоление голода, холода, экономической разрухи, на восстановление старых и строительство новых предприятий...

Не меньше времени, энергии и здоровья уходило на борьбу с остатками

разбитых и идейно развенчанных на партийном съезде оппозиционных фракций, а также и местной групповщиной.

«Осколки» старой группировки, окопавшись тогда в губисполкоме и Губпрофсовете, несмотря на свое поражение на XI губернской партийной конференции, продолжали во всем оказывать сопротивление новому губкому. Они противопоставляли себя губкому, всячески пытались срывать проводимые нами мероприятия, шли на любые действия вплоть до прямых нарушений партийной дисциплины.

Имел место, например, совершенно недопустимый случай в связи с утверждением членов коллегий отделов губисполкома. Как обычно, губком рассмотрел и одобрил персональный состав этих коллегий и передал их список на утверждение в губисполком. Состоялось собрание фракции губисполкома, где предложение губкома специально обсуждалось. Несколько человек высказались против отдельных кандидатур, но большинство членов фракции одобрили список.

Когда же на заседании губисполкома (где присутствовали и беспартийные) список этот стали окончательно утверждать, четыре коммуниста — члены исполкома, присутствовавшие на собрании фракции, неожиданно выступили против некоторых кандидатур, выдвинутых в состав коллегий, и воздержались от голосования при их утверждении.

Мы не могли пройти мимо такого грубого нарушения партийной дисциплины.

Дело в том, что, по Уставу партии, коммунисты — члены губисполкома, будучи не согласны с тем или иным решением губкома, имели право собрать фракцию и, обсудив вопрос, просить губком пересмотреть свое решение. После вторичного рассмотрения и подтверждения губкомом первоначального решения они были обязаны выполнить его. На этот раз они забыли о всяких партийных нормах.

Губком не только подтвердил свое первоначальное решение, но и дополнительно постановил отозвать с работы в губисполкоме некоторых наиболее зарвавшихся групповщиков. Такого решения они не ожидали, стали шуметь, грозить обратиться с жалобой в ЦК. Но мы спокойно им ответили, что жаловаться они, конечно, имеют полное право, мы и сами сообщим обо всем происшедшем в ЦК, а заодно попросим ЦК отозвать их для работы в других губерниях.

В предложенной мной резолюции на совместном заседании членов губкома и губернской контрольной комиссии указывалось, что «наличие беспринципной группировки ответственных работников, собиравшейся и организовано выступающей, объясняется наряду с местничеством, засиженностью также и более глубокими причинами мелкобуржуазного влияния. В целях оздоровления этих самых ответственных работников, которые идут по наклонной плоскости, а в новой обстановке могут оздоровиться и стать, возможно, ценными работниками, губком находит необходимым в трехдневный срок составить списки кандидатов к перемещению в другие губернии»⁵¹.

Резолюция была принята единогласно, при одном воздержавшемся.

ЦК партии поддержал нас. Вскоре среди коммунистов исполкома было наложено соблюдение необходимых партийных норм.

А сколько хлопот доставил нам Шляпников и его нижегородские сторонники!

Дело в том, что Шляпников неоднократно обращался к Ленину с жалобой на якобы преследование его сторонников в Нижегородской организации. Менее чем за год к нам по решениям ЦК и ЦКК пять раз приезжали из Москвы руководящие товарищи для разбора конфликтов, искусственно создаваемых местной оппозиционной группой сторонников Шляпникова.

Вызвано это было тем, что лидер нижегородской оппозиции Чельшев, являясь членом ЦКК, вел двойную игру, тщательно скрывая продолжение своей фракционной деятельности и после X съезда партии. Он проводил всю работу по указке Шляпникова. Чельшев держал связь с местными группами, инспири-

⁵¹ ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1199, л. 39.

ровал их на групповые выступления, обещая при этом поддержку, и на посылку жалоб в центр о якобы неблагоприятном положении в Нижегородской партийной организации.

Первым поводом для жалобы в ЦК был конфликт губкома с руководящими работниками губернского Совета профсоюза. Руководство Губпрофсовета в своем большинстве стояло на стороне «рабочей оппозиции».

Им удалось так организовать дело, что фракция VI губсъезда профсоюзов отвела из списка рекомендованных губкомом кандидатов в состав президиума Губпрофсовета двух человек, включив вместо них двух сторонников «рабочей оппозиции», чем обеспечивалось оппозиционное большинство в руководящем органе профсоюзов.

Помню, на заседании губкома мы решили тогда согласиться с вводом в состав президиума одного из предложенных фракцией кандидатов — Козина, старого кадрового канавинского рабочего, активного профсоюзного деятеля, хотя и примыкавшего в период профсоюзной дискуссии к «рабочей оппозиции», но одновременно предложили фракции пересмотреть свое решение в отношении московского работника Ищенко, сторонника Шляпникова, прибывшего на съезд без командировки ЦК партии, несомненно по специальному указанию Шляпникова и его группы. Мы мотивировали свой отвод кандидатуры Ищенко тем, что он постановлением ЦК партии выведен из состава Цектрана, а в работе Губпрофсовета нужна политическая выдержка, которой у Ищенко нет.

Они возражали, не соглашались, видимо, взяв ставку на Ищенко как на возможного будущего председателя Губпрофсовета. Тогда губком, пользуясь своими уставными правами, принял решение, обязывающее фракцию голосовать на съезде за список с исправлением, внесенным губкомом.

На новом заседании фракции губсъезда было сообщено решение губкома. После бурных прений фракция небольшим большинством голосов отклонила решение губкома и постановила голосовать за собственный список без изменений.

Мы вновь собрались в губкоме с участием представителей фракции и подтвердили свое прежнее решение. Бюро губкома поручило мне пойти на заседание фракции съезда, разъяснить смысл решения губкома и обеспечить его выполнение.

Но оппозиционеры «поработали» основательно, а наши сторонники проморгали, как это было видно из реплик и выкриков участников собрания во время моего выступления. Тогда я достал из кармана Устав РКП(б) и зачитал пункт, который определял права и обязанности фракции во внепартийных организациях. Особо подчеркнул, что после вторичного решения губкома фракция обязана подчиниться, и, ссылаясь на Устав партии, потребовал от товарищей в порядке партийной дисциплины голосовать на съезде за список, рекомендованный губкомом.

С мест раздались выкрики о неправильном поведении губкома, о подавлении демократии, угрозы жаловаться на губком в Центральный Комитет партии... Основным вожаком всех этих крикунов и демагогов был все тот же Чернов. Он и предложил тогда послать жалобу в ЦК партии с протестом против действий губкома, а потом написал заявление во фракцию съезда, в котором требовал созыва специального заседания фракции для обсуждения повторного решения губкома, связанного с отводом кандидатуры Ищенко из состава президиума Губпрофсовета.

В свою очередь, группа делегатов, голосовавшая за Ищенко, внесла резолюцию такого же примерно характера: «Ввиду необоснованности решения губкома и его полного игнорирования законного желания фракции съезда предлагаем фракции поддержать свое прежнее решение о кандидатуре Ищенко и просить ЦК РКП выслать немедленно комиссию для разбора вопроса взаимоотношений губкома и Губпрофсовета»⁵².

⁵² ПАГО, ф. 1, оп. 5, д. 2097, л. 10.

Я разъяснил, что их законное право послать жалобу в ЦК и изложить в ней свое мнение, но все коммунисты обязаны в соответствии с Уставом голосовать так, как решил губком. Несогласие и подача жалобы никого не освобождает от обязанности строго выполнять решение губкома. Фракция постановила подчиниться решению губкома.

Так разрядилась на съезде напряженная обстановка при выборах Губпрофсовета.

К этому следует добавить, что незадолго до съезда профсоюзов ЦК партии прислал к нам из Москвы старого рабочего, опытного профработника Полонского. Он был участником нашего профсоюзного съезда, а при персональном голосовании оказался среди девяти избранных съездом членов Губпрофсовета⁵³. Никто из оппозиционеров его кандидатуру не отводил.

Видя, что все попытки добиться численного перевеса «своих людей» в руководстве губернской профорганизации не увенчались успехом, группа сторонников Шляпникова заявила, что пошлет жалобу в Москву с просьбой прислать комиссию для разбора на месте.

К тому же еще до этого возник конфликт со сторонниками Шляпникова в Выксунском промышленном районе. Там местная фракция Союза металлистов опротестовала решение райкома партии о переводе с профсоюзной на другую работу председателя райкома Союза металлистов, который все время конфликтовал с райкомом партии. Фракция послала жалобу в Москву, прося присылки представителя ЦК для расследования.

Все жалобы в Москве продвигались через Шляпникова, и в июне 1921 года в Нижний для их проверки прибыл член ЦКК Литвин-Седой, старый коммунист-рабочий, участник декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве.

Вместе с ним мы были на общем партийном собрании Берегового района. Там еще до X съезда обычно происходили очень острые столкновения между сторонниками разных политических платформ. На этот раз мы убедились, что организация в целом выросла и окрепла. Работа райкома партии, который отчитывался на этом собрании, была признана удовлетворительной. В конце собрания выступил Литвин-Седой и, говоря о своих впечатлениях, высказал общее удовлетворение ходом собрания, «несмотря на некоторые шероховатости». От имени ЦК и ЦКК он пожелал коммунистам района еще более дружной работы и укрепления связи с беспартийными массами.

Выезжали мы с ним и в Выксунский район. Дело в том, что основная масса выксунских рабочих была сосредоточена на приокских горных предприятиях и входила в Союз металлистов. Председателем райкома этого профсоюза являлся некто Смирнов, активно примыкавший к «рабочей оппозиции». За ним шло большинство членов профсоюзного райкома, а он сам фактически не признавал руководящей роли местного райкома партии и обычно игнорировал все его решения и указания, засыпав фракцию Губпрофсовета и ЦК Союза металлистов жалобами на райком партии.

Райком партии, в свою очередь, борясь за свои права, требовал снятия Смирнова.

Еще до приезда Литвин-Седого наш губком по согласованию с фракцией Губпрофсовета принял решение: в связи с создавшимся положением отозвать из Выксунского района как Смирнова, так и секретаря райкома партии Робкова.

⁵³ В дальнейшем Полонский сыграл довольно большую роль в общем оздоровлении профсоюзного движения у нас в губернии. После Нижнего он работал в Москве — секретарем райкома, а затем секретарем Московского городского комитета партии. Потом перешел на работу в ВЦСПС. С 1930 по 1933 год Полонский был первым секретарем ЦК КП Азербайджана. После этого работал заместителем наркома путей сообщения СССР и начальником Политуправления НКПС. Последний год жизни (1937) он был заместителем наркома связи СССР.

Приехав в район, мы провели вначале заседание райкома партии вместе с членами фракции райкома Союза металлистов, где подробно обсудили создавшееся положение в районе.

Высказалось много товарищей. Выслушав всех, Литвин-Седой заявил, что работники профсоюзного райкома допустили грубую политическую ошибку, продемонстрировав свою фракционность и явно противопоставив себя партийной организации. Он признал решение губкома и фракции Губпрофсовета об отзыве из района Смирнова и Робкова правильным, способствующим оздоровлению обстановки в организации и укреплению ее единства.

Такое заявление было одобрено большинством присутствующих. Решили созвать собрание партийного актива района, на котором Литвин-Седой выступил с докладом о современном положении и задачах партии и я — с докладом о X Всероссийской партийной конференции. Актив прошел неплохо.

На следующий день мы побывали на предприятиях и беседовали с рабочими. Потом снова провели заседание райкома партии, где обсуждался уже вопрос о положении на заводах приокского горного округа. В обсуждении приняли участие не только местные хозяйственные руководители, но и прибывший из Москвы Курицын — начальник ГОМЗа (Государственное объединение металлообрабатывающих заводов), в состав которого входили Выксунские и Сормовский заводы.

Положение на заводах создается тогда действительно очень сложное. Я знал об этом, в общем-то, и раньше, но тут нам удалось выявить много конкретных недостатков, зависящих как непосредственно от руководства заводами, так в особенности связанных с перебоями в снабжении рабочих продуктами питания.

Основным докладчиком по всем вопросам выступал Курицын, который еще до нашего заседания несколько дней проверял работу заводов. Он просил срочно помочь с доставкой продовольствия в Выксу. По его предложению в решении райкома записали: «Просить тт. Микояна и Литвин-Седого двинуть в Нижнем деле погрузки некоторого количества продовольствия».

По возвращении в Нижний Литвин-Седой продолжал знакомиться с состоянием нашей партийной организации. Он беседовал, в частности, со всеми теми коммунистами — делегатами профсоюзного съезда, которые подписали жалобу на наш губком в ЦК партии.

10—13 июня мы созвали расширенный пленум губкома с участием представителей всех уездов и районов и членов губернской контрольной комиссии. Состоялось большое, представительное собрание. Заслушали и обсудили отчет бюро губкома, а также доклады о продналоге и о работе кооперации.

Только по отчетному докладу бюро губкома состоялось 16 выступлений. Среди них были и довольно острые, критические высказывания в адрес губкома. Пленум принял решение по моему докладу о работе бюро губкома: «Отмечая громадную проделанную работу, пленум одобряет линию проведения бюро губкома в целом и предлагает в дальнейшей работе руководствоваться нижеследующим:

1. неуклонно и твердо продолжать правильно взятую бюро и губкомом линию на укрепление единства в рядах организации и полное изживание группировок внутри организации;
2. продолжать курс на усиление и углубление влияния и связи партии с беспартийными рабочими и крестьянскими массами;
3. усилить влияние партии в органах кооперации и профсоюзах, обеспечив твердое партийное представительство и руководство.

Пленум губкома надеется, что в наступающий трудный период проведения новой экономической политики партии в сложной политической обстановке и тяжелых условиях переживаемого хозяйственного кризиса Нижегородская организация, тесно сомкнув свои ряды, выйдет к XII губпартконференции единым фронтом и до конца изживет прошлое болезненное наследие организации...»

Этот пленум явился дальнейшим заметным шагом вперед в деле оздоровления и сплочения нашей губернской организации.

В работе пленума участвовал и Литвин-Седой. Он произвел тогда на всех очень хорошее впечатление. По своему внешнему облику это был типичный пожилой рабочий. Среднего роста, коренастый, с длинными внушительными усами... Серьезный и по виду очень строгий, он умел внимательно слушать, толково разбираться в фактах и делать разумные выводы. Пробыв у нас немногим более десяти дней, он сумел всесторонне ознакомиться с работой организации. Он пришел к выводу, что борьба губкома с остатками фракционных группировок велась в соответствии с решением X съезда партии, и заявил, что обо всем этом напишет подробный доклад в ЦКК.

Вскоре, 7 июля 1921 года, на заседании Политбюро ЦК с участием Ленина председатель партийной коллегии ЦКК Сольц вместе с Литвин-Седым докладывали о результатах проведенного ЦКК расследования жалоб, поступивших из Нижнего от сторонников Шляпникова. Политбюро постановило: «Доклад принять к сведению».

(Продолжение следует)



ГРИГОРИЙ ВАЙС

★

УТРОМ, ПОСЛЕ ВОЙНЫ...

РОСТКИ НАДЕЖДЫ

„Noch am Grabe pflanz er die Hoffnung auf“.
Friedrich Schiller.
«И на могиле пробиваются ростки надежды».
Фридрих Шиллер.

... **С**олдатские стезжки-дорожки привели меня в Берлин в ту самую минуту, когда город выбрасывал белые флаги капитуляции. С балконов и крыш, с подоконников и карнизов свисали белоснежные простыни и нестиранные полотенца, разорванные в спешке ночные рубашки и накрахмаленные манишки.

Улица за улицей сдавалась на милость победителей.

Еще повисал над городом дым и пепел пожарищ, а те, кто вчера еще штурмовал ненавистное логово зверя, сегодня уже пеклись о том, чтобы берлинцы жили и трудились нормально: военные коменданты, так и не успевшие выпататься после боев и походов, опять недосыпали ночей, думая и заботясь о том, чтобы еще одну улицу очистить от мусора и сделать проезжей, чтобы поднять поскорей взорванные и рухнувшие в реку мосты, чтобы бесперебойно действовал водопровод, работали пекарни, открывались магазины.

— Давай! Давай! — поторапливал молодой капитан пожилого немца, вставлявшего новые стекла в витрину овощной лавки.

Капитану не терпелось, он знал, что вот-вот подойдут военные грузовики и завезут в лавку свежий салат и огурцы из парников, ревеня, а может быть, и морковку.

Тут же по соседству однорукий хозяин другой лавки вместе с женой прибывал рядом со старой новой вывеску, на которой крупными буквами по-русски было написано: «Лошадь — конина — мясо».

Я заглянул внутрь — ни конины, ни какого-нибудь другого мяса там и в помине не было.

— Кто вам это переводил? — спросил я, показывая на вывеску.

— Сам лично! — гордо ответил мясник. — Я был на Восточном фронте, там меня и ранило. Рука капут! — сказал он, показывая на пустой рукав как на охранную грамоту.

Вскоре на улицах Берлина появились женщины с ведрами, совками и метлами и принялись подметать тротуары, разбирать руины. Выстроившись цепочкой, женщины, как по конвейеру, передавали из рук в руки битые кирпичи, ведра с мусором и щебенкой, монотонно приговаривая:

— Bitte sehr!

— Danke schön!

— Bitte sehr!

— Danke schön!

И так с утра до вечера.

А рядом играла шарманка. Старый шарманщик, которого знали дети в Берлине, в черной замусоленной шляпе и потрепанном костюме старательно крутил отполированную до блеска ручку, охрипшим голосом напевал старую шутивную песенку из оперетки:

Du bist verrückt, mein Kind,
Du mußt nach Berlin!
Wo die Verrückte sind
Da gehorst du hin!¹

Женщины смеялись и плакали. Самые хорошенькие и молодые из них, сбитые с толку злобными слухами, выходили на работу, нарочно напудрив свои рожицы сажей и по самые глаза повязавшись старыми, будто жеваными платками, — только бы не приглянуться какому-нибудь русскому сержанту! А сержанты, проходя мимо и заметив наиболее уставших, становились на их место, брали в руки лом или лопату и быстро, играючи расчищали огромные завалы. Разгорячась, они снимали свои военные, увешанные орденами и медалями гимнастерки, обнажая при этом молодое, бронзовое от загара тело с уже затянувшимися рубцами от ран.

Девушки одна за другой бежали к водонапорным колонкам и тщательно смывали с себя сажу и пыль, срывали жеванные платки и вновь становились красотками.

...Это было утром, после войны, в первые дни нашей победы. Пришел приказ выпускать в Берлине большую ежедневную газету на немецком языке. Группа армейских политработников в тот же день приступила к делу. Бросились искать типографию, но во всем Берлине не оказалось ни одной, которую можно было бы сразу же пустить в ход: в одном месте повреждены линотипы, в другом выведена из строя ротация либо взорваны даже допотопные плоскопечатные машины. Все типографии были в разной степени повреждены во время бомбежек либо разрушены гитлеровцами в самую последнюю минуту. Первый номер «Теглихе рундшау» нам пришлось набирать в одной типографии, продолжать в другой и печатать в третьей.

Все же мы нашли потом то, что нам было нужно. В центре города на Циммерштрассе находилась самая крупная в Берлине типография, где некогда печаталась газета «Фёлькишер беобахтер» — главный орган нацистской партии. И эта типография была разбита бомбами, и ее гитлеровцы хотели в последнюю минуту взорвать, но этому помешали сами рабочие-впечатники. Огромное, многоэтажное здание было разбито бомбами и снарядами, исклевано пулями, но некоторые машины кое-как сохранились, хотя и оказались под обломками перекрытий, под грудой кирпичей и мусора. Лестничные пролеты держались на честном слове и медленно, еле заметно раскачивались на сквознях. Пришлось подставлять деревянные стремянки и по ним пробираться в наборный цех. Потом мы спустились к ротации и там, к своему удивлению, увидели последний номер «Фёлькишер беобахтер», который так и не успели допечатать и распространить.

Ах, какой жалкий вид имел этот пресловутый центральный орган нацистской партии — величиной в одну восьмушку листа, напечатанный на грязных обрывках бумаги, одной серой краской, на двух страничках, мелким, подслеповатым шрифтом! А ведь когда-то Гитлер распорядился, чтобы «Фёлькишер беобахтер» стала по формату самой большой газетой — метр в ширину, метр в длину. На фабриках делали для нее особую бумагу, а в семи городах Германии установили специально изготовленные ротационные машины, способные печатать такую газету.

Мы выбросили этот последний номер «Фёлькишер беобахтер» в мусорный ящик и продолжали свое дело.

¹ Да ты свихнулось, мое дитя!
Спеши в Берлин!
Где сумасшедшие,
Туда и ты...

В ту ночь у нас еще не было ни одной немецкой машинистки, и свои информации мы диктовали прямо лнотиписту. В одной из них сообщалось, что в районе Лихтенберг активисты Отто Крюгер и Георг Хагнер первыми приступили к работе в пекарне, принадлежащей потребительскому обществу, и начали выпекать хлеб для берлинцев. Тут же приводились и некоторые подробности: в четырех уцелевших печах активисты выпекали по шесть тысяч буханок в одну ночь, а муку им доставляли на грузовиках советские солдаты из армейских складов. Так как водопровод еще не работал, воду из колодца качала пожарная машина. Электроэнергии в городе тоже еще не было, и поэтому машины, в которых месили тесто, крутили вручную.

Утром мы сами развозили по городу свежий, еще пахнувший типографской краской очередной номер «Теглихе рундшау». Берлинцы, спешившие в очередь за хлебом, буквально вырывали газету из наших рук, жадно читали каждую строчку.

— Берлин мы взяли штурмом, но за души немцев нам еще придется повоевать, — сказал маршал Жуков на первом же активе коммунистов берлинского гарнизона. — Тут битва будет трудной, и теперь именно здесь пролегает наш передний край...

«Теглихе рундшау» как десант выбросили вперед, в самую гущу немецкого населения, и она стала важным оружием в этой новой и в самом деле очень трудной битве.

В конце войны обреченные на гибель гитлеровцы бессмысленно, с какой-то злобой и жестокостью ломали и коверкали все, что попадалось под руку, разрушали мосты через реки, выводили из строя канализацию, водопровод, взрывали электростанции. Действуя по принципу «после нас хоть потоп», гитлеровцы сточными водами затопили берлинское метро, где искали себе убежища от бомбежек женщины, дети, старики и инвалиды. Десятки тысяч мирных жителей затоптали друг друга во время паники, захлебнулись в нечистотах, хлынувших с огромной силой. Все это произошло в последние дни войны, и после капитуляции Берлин оказался без транспорта: метро не работало, трамвай не ходил, для автобусов и автомобилей не было бензина, не хватало покрышек.

Настоящий трудовой подвиг совершили в те дни немецкие железнодорожники. Не ожидая приказа, они сами, по своей инициативе принялись восстанавливать пути, поднимать и чинить сошедшие с рельсов паровозы. «Теглихе рундшау» решила поддержать и прославить этих скромных тружеников, активистов первого часа, как их потом стали называть. Мы завели в газете «Галерею почета», где по примеру советской печати помещали портреты тех, кто особенно отличился при восстановлении нормальной жизни в послевоенной Германии.

Помню, одним из первых мы напечатали портрет машиниста паровоза депо в Потсдаме Гюнтера Мюллера. Это был тихий, уже немолодой человек. Он уже десятки лет работал на транспорте и теперь стал одним из застрельщиков его восстановления, сутками не уходил из депо, налаживая ремонт паровозов.

Мы были горды своим почином, как вдруг в редакцию явилась жена машиниста и со слезами на глазах стала умолять нас дать в газете опровержение, написать, что портрет ее мужа помещен по ошибке.

— Мой муж, — рассказывала удрученная женщина, — вот уже несколько ночей не может уснуть... Он очень взволнован и напуган. Говорит, что не смеет смотреть в глаза своим товарищам... «Они могут подумать, сказал муж, что я чем-то подкупил русских...»

Вместе с frau Мюллер я поехал в Потсдам, обратился к товарищу Рау, бывшему тогда членом правительства земли Бранденбург. Старый коммунист, боровшийся против фашистов и в Испании, понял меня с полуслова, тут же созвал в депо митинг и выступил перед рабочими со взволнованной речью.

— Отныне, — сказал товарищ Рау, — в Германии наступили новые времена. Теперь в наших газетах будут часто помещать портреты рабочих, людей труда, а не героев скандальной хроники. полуодетых актрис или полураздетых победи-

тельниц конкурсов красоты. Вы теперь герои наших дней, вам теперь почет и слава!

В Берлине уже было четыре коменданта — город поделили на четыре сектора оккупации: советский, английский, американский и французский. В каждом секторе — свои гарнизоны, а следовательно, и свои порядки.

Вначале исподтишка, а потом уже открыто оккупанты западных секторов стали навязывать берлинцам свой образ жизни. В городе появились черные рынки. Спекулянты облюбовали себе особенно людные места на Курфюрстендам, у Бранденбургских ворот и рейхстага, возле зоопарка. Но, пожалуй, самый большой и чудовищный черный рынок возник на Потсдамской площади, где прежде находились крупные универмаги и многочисленные конторы всегерманских фирм, международных бюро, всякого рода представительств, фешенебельные отели, кафе и рестораны. Теперь на этом некогда кипучем перекрестке пяти магистралей столицы смыкались границы трех оккупационных секторов: советского, американского и английского.

На Потсдамской площади собиралась ежедневно самая крупная барахолка Европы. Среди искромсанных бомбами многоэтажных зданий, обгоревших, искорверканных и обрушенных железобетонных перекрытий, оборванных на полуслове массивных золоченых вывесок здесь продавались духи и презервативы из Франции, яичный порошок и жевательные резинки из Америки, русская водка и английское виски, а также ямайский ром, сфабрикованный на химических заводах «Фарбениндустри», пенициллин, усиленно рекламируемый как самое верное средство от венерических болезней, и сигареты всех марок мира, консервы довоенной давности, старомодные платья и самоновейшие модели «Паркера».

Кого только не встретишь и чего только не повидаешь, бывало, на Потсдамской площади!

На запыленном «виллисе» в полной парадной форме сидит седой американский полковник с круглым и красным лицом мясника и горбатым носом. Он закатал рукав и выставил напоказ волосатую левую руку, сплошь унизанную новенькими мужскими и женскими ручными часами. На пальце — толстый с бриллиантом перстень и золотое обручальное кольцо. Время от времени полковник заывает покупателей на английский, немецком и французском языках:

— Продаю! Меняю на водку! Можно и на икру!

Чины пониже более изобретательны. Каждую субботу американские сержанты проводили одну и ту же, как они говорили, воспитательную акцию: они выдавали подчиненным неграм продукты из армейского склада и посылали их в один какой-нибудь густонаселенный жилой дом. Негры обменивали продукты на хрусталь, фарфор, серебро или золото. Люди, голодая, отдавали за продукты кольца и браслеты, серьги и портсигары. А вслед за неграми в квартиры, где они только что делали гешефт, врываются белые сержанты и, нагло ухмыляясь, устраивали повальный обыск. Они, разумеется, без труда обнаруживали продукты из армейских складов и отбирали их как военное имущество, а возмущавшихся таким произволом берлинцев штрафовали за незаконные сделки, подрывающие экономическую мощь Америки. По воскресеньям добытые таким путем хрусталь и фарфор, серебро и золото оказывались на черном рынке на Потсдамской площади и быстро превращались в доллары.

В гарнизонах по ту сторону Бранденбургских ворот вскоре открыли солдатские дома, куда белокуроые Гретхен допускались только после тщательного медицинского обследования, по предъявлении специального пропуска. Цвет пропуска указывал, какая из Гретхен предназначалась для офицеров, какая для сержантов и солдат.

Скорбной приметой времени стали так называемые «таушгешефты», «меняльные лавки», появившиеся во всех секторах Берлина, куда немцы приносили все, что стало им не нужно, без чего они могли теперь обойтись, в надежде обменять на самое необходимое. Мужские ботинки менялись на дамскую сорочку, маникюрный прибор — на шарф, шляпа — на комнатные туфли.

Одна за другой открывались пивные. Хозяева присваивали этим пивным пышные, порой даже романтические имена вроде «Якорь надежды», «У зеленого ключика», «Островок мечтаний», «Беседка любви»... Но не все было так чинно и мирно в этих берлинских трактирчиках, как могло показаться со стороны или как сулили их вывески. Скоро они превратились в места сомнительных встреч, опасных махинаций и политических гешефтов, в пункты вербовки шпионов и осведомителей, белых рабов и наложниц для всех пяти континентов...

Осенью 1945 года в Лейпциге состоялась первая после войны традиционная ярмарка. На подавляющем большинстве выставленных образцов стояла короткая надпись: «Unverkäuflich! Keine Produktion!» («Не продается! Пока не производится!»).

Фирмы выставляли свои образцы без расчета на сделку, с одним только желанием — напомнить о себе, сказать: мы выжили!

Но были на выставке и новинки, которые можно было заказать и купить. Из них мне больше всего запомнились алюминиевые кастрюли, чайники со свистками, сковородки. Их, оказывается, делали из остатков алюминия, который предприимчивые дельцы растащили со складов авиационных заводов, разбомбленных и покинутых владельцами.

И еще один очень примечательный вид продукции на той Лейпцигской ярмарке пользовался большим спросом — обувь из материи, на войлочной подошве. К концу войны обувь у немцев изнасилась до крайности. И вот чтобы как-то смягчить эту нужду и помочь беде, немцы начали производить обувь из залежавшихся на интендантских складах солдатских шинелей, непрочную, правда, но зато дешевую.

Вся послевоенная ярмарка в Лейпциге являла собой тоску немцев по настоящей работе, по настоящему делу, она свидетельствовала — не все немцы бросились на черные рынки.

И еще она была ярмаркой надежды, и забыть ее я не могу...

НЕ СКЛОНИВШИИ ГОЛОВЫ

„Es beginnt ein neues Leben, und das deutsche Volk kämpft um seine Freiheit!“

Bernhard Kellermann.

«Начинается новая жизнь, и немецкий народ борется за свою свободу!»

Бернгард Келлерман, из серии статей «Что нам нужно делать?», напечатанных в газете «Tägliche Rundschau».

Я сидел перед свежим оттиском третьей полосы и бился над заголовком небольшой, в тридцать строк, информации о том, что восстановлен еще один мост из тех, что фашисты вывели из строя в последних, в безнадежных боях на улицах столицы. Старый заголовок «Еще одна победа берлинцев!» показался мне слишком выпрепненным, а от выпрепненности у немцев уже давно оскомины на зубах набита.

Перепробовав несколько вариантов, я остановился на самом простом, может быть не таком выразительном, но зато абсолютно точном: «Еще один мост восстановлен!»

В эту минуту в комнату вошел старший лейтенант Нойдорф и с ходу радостно сообщил мне:

— Нашел наконец адрес Келлермана!

— Где?

— Мне его саперы дали... Под Берлином находится небольшое местечко Вердер. До войны немцы называли его фруктовым садом столицы. Там и в са-

мом деле растут замечательные яблоки, вкуснейшая клубника и черешни... Давайте съездим, поговорим...

Яша Нойдорф всегда любил рассказывать неторопливо и обстоятельно, а на этот раз он, видимо, решил окончательно вымотать из меня душу, пока добрался до самого главного — о дружбе саперов с писателем.

Дело, оказывается, было так...

Недалеко от Берлина, в тихом пригороде Вердере, саперный батальон капитана Сиверцева восстанавливал мост на реке Хаффель.

Саперы жили в палатках в огромном саду, где уже отцветали яблони, где душу солдата умиротворяла и радовала необыкновенная красота и тихая мудрость природы.

Кормились саперы из своей собственной полевой кухни, искусно замаскированной неподалеку от берега реки под навесом. Все хорошо бы, да вот с топливом очень часто, как говорил повар Вася, возникало кризисное положение.

— Не стану же я сады рубить, — оправдывался он перед капитаном Сиверцевым, когда обед запаздывал. Повар как мог изворачивался: то брикет у местного населения выпросит, то хворосту насобирает, а то всякую пустую тару в ход пустит.

Однажды в поисках топлива повар натолкнулся на картину, возмущившую его до глубины души: в саду, примыкавшем к двухэтажному дому, дети поджигали огромную кучу книг в роскошных, тисненых переплетах.

— Вы что делаете? — ахнул Вася, мешая русские и немецкие слова.

Местная ребятня давно уже привыкла к «онкелю Васе», не боялась его и трижды на день прибегала к раздаче пищи с какой-нибудь посудиною.

— Мутер! Фатер! — залопотали дети и кое-как объяснили, в чем дело.

Оказывается, история горько подшутила над немцами — все, что они затевали для других, бумерангом стукнуло по их собственному темечку! Немецкие нацисты, как известно, начинали с того, что устраивали факельные шествия и разжигали на площадях костры из книг. И вот закончили тем же самым. Правда, на этот раз обошлось без факельных шествий, но вряд ли в ту весну 1945 года была хотя бы одна семья или хоть один дом в Германии, где бы не жгли и не выбрасывали на помойку теперь уже другие книги: «Майн кампф» Адольфа Гитлера, «Германия, пробудись!» доктора Йозефа Геббельса, «Миф XX века» Альфреда Розенберга. Заодно на помойку выбрасывалась и вся остальная печатная продукция, где хотя бы одним словом упоминалось про политику.

Выяснив, в чем дело, повар не стал ни журить, ни попрекать детишек, а посмотрел на дело практически — зачем, мол, вам эти книги зря, без пользы, на костре сжигать, несите их на кухню, там они в самый раз пригодятся. Но в тот же день дело приняло совсем неожиданный поворот. Среди вороха книг, которые сжигал в кухонной топке Вася, капитан Сиверцев разглядел одну очень его интересовавшую — роман Бернгарда Келлермана «9 ноября».

— Откуда она у тебя? — спросил он сурово повара.

— Детишки понатаскали, — признался Вася и рассказал все как было.

Капитан стал расспрашивать ребят, откуда у них эта книга.

— Я знаю, — сказал самый старший, лет двенадцати, паренек. — Эту книгу написал герр Келлерман... Он живет вон на той улице...

Солдаты подружились с писателем. Решили своими силами отремонтировать дом Келлермана, потчевали его русскими блюдами.

Мы были не первыми советскими гостями писателя. Впоследствии он вспоминал так: «С тех пор как в начале 1933 года мрачные правители третьей империи захватили власть над Германией, я впервые пережил радость и счастье 14 мая 1945 года. В этот день несколько высших офицеров Советской Армии в сопровождении представителей прессы совершенно неожиданно вошли в мой сад в Вердере под Берлином и дружески протянули мне руку. Это была действительно незабываемая минута. Мир! Только в этот момент я по-настоящему понял, что мир наступил».

Волнения того дня, видимо, еще не улеглись, потому что и нас писатель встретил радостно и взволнованно.

— Не согласитесь ли посидеть в саду? — спросил он.

— С радостью! — ответил Яша. — Погода чудесная, и сад, я вижу, у вас замечательный...

Писатель с удивлением посмотрел на Яшу, и я понял, что чуткое ухо Келлермана сразу уловило особое звучание немецкого языка у Нойдорфа.

...Один из семи сыновей немца-колониста, Яков Яковлевич Нойдорф жил и учился в Одессе. Немецкий язык был если не первым, то, во всяком случае, его вторым родным языком. Яша всю войну пробыл на фронте, много работал с военнопленными, и это еще больше осовременило его словарный запас, сдобрило сочным солдатским фронтовым фольклором. Яша умело пользовался всем этим, и я не раз любовался, как немцы буквально с толку сбивались, будучи не в силах отгадать, кто же перед ними — русский или немец?

Капитана Сиверцева очень обрадовал наш визит, теплота встречи с писателем, и он тут же дал указание Васе «организовать» все необходимое. Вскоре в саду был накрыт стол, как в лучшем московском ресторане.

— А где Гриша? — спросил Бернгард Келлерман.

— Он нах Фюретенвальд гефарен. Срочный бефель, — ответил повар.

Я спросил капитана, кто этот Гриша и почему старик о нем заботится. Сиверцев объяснил нам, что речь шла о сержанте, который руководил работами на стройке и очень подружился с писателем. Гриша хорошо владеет немецким и, оказывается, хорошо знает романы Келлермана.

Писатель, видимо, уловил, о чем говорит Сиверцев, и, улыбнувшись, добавил:

— Вы знаете, этот русский молодой человек читал почти все мои ранние романы — «Ингеборг», «Море», даже из «Иестера и Ли»... Признаюсь, что этого я не ожидал. Вряд ли кто из молодых людей Германии знает хотя бы заголовки моих книг. Пожалуй, это был самый приятный сюрприз для меня, наградой за все годы забвения. Я повидал уже многих русских. Меня посещали большие ваши начальники... Они о многом мне рассказывали, о разном и меня расспрашивали... Но поверьте мне, господа, что лучше всех дал мне понять вашу страну сержант Гриша. Именно он, этот загорелый молодой человек в совершенно вылинявшей на солнце гимнастерке, сам, видимо, того не подозревая, помог мне понять, почему именно вы, советские, одолели фашистское чудовище. Ни одному другому народу это не удалось бы...

Разговаривая, Келлерман все время нервно потирал руки, и я невольно обратил внимание на его длинные, как у пианиста, пальцы — жилистые и тщательно ухоженные. Он разволновался, на впалых его щеках выступил густой румянец, и, видимо, эта непрерывная работа рук помогла ему сдержаться.

— Ах, если бы вы знали, что творилось у нас тут, в Германии, — говорил он. — Все с ума сошли, все как будто отупели, одичали, превратились в орангутангов... Я уже не мог читать их газеты, слушать их радио. Вожди лгут, чиновники бесчинствуют, а верноподданные хлопают в ладоши! Какая это мука — казаться себе самому умнее всех окружающих!..

Наконец разговор перешел к самому Келлерману. В этот свой приезд нам, разумеется, не хотелось подробно выпытывать, как он жил и что делал при фашистах. Однако Келлерману, видимо, самому хотелось выговориться, излить душу, и нам удалось узнать на этот раз много, и, пожалуй, самое главное: он рассказал, например, о том, как нацистское министерство пропаганды посулами и угрозами пыталось привлечь его к сотрудничеству.

— Приехал ко мне однажды весьма высокий чиновник с личным поручением от самого доктора Геббельса. И как вы думаете, зачем? Что они мне предложили? Я должен был написать всего-навсего две статьи для «Фёлькишер беобахтер». Одну против евреев, другую против Америки. Я, разумеется, недвусмысленно указал на дверь...

Писатель медленно поглаживал руками худые и острые колени.

— И тогда они начали мне мстить,— продолжал он.— Нет, вам, русским, этого никогда не понять, вы себе даже не представляете, что может сделать могучее министерство пропаганды с кустарем-писателем, если он отказывается писать под диктовку самого министра! Его могут предать анафеме, оклеветать перед народом, натравить на него всех подонков общества... И это еще не все... Его лишают последнего куска хлеба и предают забвению. И лишь одного они не могут сделать с писателем — зажать ему рот, запретить мыслить, вырвать из рук его перо. Что они только со мной не делали! После того как я отказался писать под диктовку Геббельса, немедленно заработали неумолимые жернова хорошо организованной фашистской бюрократии, начавшей перемалывать мне кости: во все концы Германии послали секретные инструкции, запрещавшие газетам и журналам печатать хотя бы одну строчку, вышедшую из-под моего пера. Мои книги почти не переиздавались, имя мое запретили упоминать и письменно и устно. Читали меня в эти годы только за границей, у себя на родине я как писатель был похоронен и забыт. А когда нашего брата не читают — это, знаете ли, хуже смерти...

— Да, это очень страшно! — воскликнул Яша.

— Но замолчать они меня все-таки не заставили, — гордо заметил Бернгард Келлерман, — тут они оказались бессильными. Писатель ведь не корова. Если корову не доят, у нее немедленно перегорают молоко. Но если писателя не печатают, он все равно будет писать. У него еще больше будет кипеть душа, он становится еще злей, упрямей, а это, знаете ли, помогает... Вдохновляешься необычайно... Писателю страшно, когда его закармливают сливками, а тумакими его только взбадривают...

— Опасная теория, — заметил я.

Келлерман покачал головой:

— Я все понимаю... Но без мужества нет настоящего писателя. А мужество придает ему веру, убежденность в своей правоте. Надо хорошо знать, во что ты веруешь, и тогда ничего не страшно... Поверьте моему опыту.

Он рассказал затем, что в годы фашизма написал три романа: «Песнь дружбы», «Голубая лента» и «Обращение Георга Вендланта». Во времена самого разнузданного шовинизма, когда нацисты, надрывая глотки, кричали о жизненном пространстве, без которого якобы немецкий народ не может существовать, Бернгард Келлерман настойчиво продолжает в своих романах утверждать: судьба немецкого народа, его будущее и счастье — в мирном созидательном труде, в упорной работе. У нас хватает земли, доказывал писатель, ее надо только лучше обрабатывать, беречь и любить. В этом находят выход и счастье почти все герои произведений Бернгарда Келлермана.

— И вам как-то удавалось это напечатать? — спросил Яша.

— В маленьких частных провинциальных изданиях. Один раз меня напечатали даже в захудалом дамском журнальчике, — говорит Келлерман. — Кроме того, меня в эти годы издавали в Скандинавских странах... И я ни на один день не выпускал из рук пера... Я верил, что ночь пройдет. Я писал для будущего... А теперь я могу сказать — для сегодняшнего дня...

Мне не хотелось перебивать хода мыслей писателя, я только слушал, вглядываясь в его удивительно красивое и мужественное, иссеченное глубокими морщинами, сухое и чуть землистое лицо, высокий лоб и тонкие губы, волосы зачесаны на пробор. Они уже седые, но еще не белые, в них много еще жгуче-черных вкраплений. Брови, густые и черные, резко выделялись на истощенном, со влажными щеками лице писателя. Круглые, к тому времени несколько старомодные очки на длинном носу, вся его осанка и манера разговаривать подчеркивали в писателе типичного европейца, мыслителя, интеллигента до мозга костей. Все в нем было красиво и утонченно — и голос, и глаза, и жесты худых длинных рук.

Повар принес черного кофе, невесть откуда добытого. В саду было торжест-

венно и тихо, щелкали еще не уснувшие скворцы, где-то вдалеке не унимались лягушки, Яша повел разговор о книгах и планах писателя.

— Планы? — переспросил Бернгард Келлерман, улыбаясь. — Ах, эти русские! Вы все хотите запланировать, предусмотреть... Заглянуть на целое столетие вперед... У меня же не планы, а только желания, и они очень скромные. А там видно будет... Кто знает, что с нами, немцами, еще произойдет...

Яша Нойдорф убеждал Бернгарда Келлермана, что немецкий народ еще не потерял, что он еще восстанет из руин и пепла.

— Такие народы, как немецкий, — патетически заметил Яша, — не умирают.

— Но делают катастрофические ошибки, — как бы про себя сказал писатель, не сводя с Яши Нойдорфа своих больших пронизательных глаз.

Келлерман, как я уже говорил, заинтересовался языком старшего лейтенанта, и когда тот объяснил ему кто он и откуда, писатель забросал его вопросами и долго не отпускал от себя. Яша должен был подробно рассказать ему о немцах-колонистах, живших на Одессчине, о своих родителях, о семи братьях и сестрах, которых война разбросала на все четыре стороны.

— Да, огромна ваша страна, — говорил Келлерман, — огромна и удивительна! Как важно нам, немцам, дружить с вами. Я дважды побывал в России. Первый раз это было в девятьсот седьмом — девятьсот восьмом годах, когда отправлялся путешествовать по Японии. Москва, я имею в виду царскую Москву, показалась мне тогда какой-то беспорядочной, грязной, занесенной снегом и холодной...

Писатель даже съежился и дрогнул, будто ему снова стало холодно и неуютно.

— Второй раз мне довелось посетить Москву через двадцать лет, в двадцать восьмом году. Россия праздновала столетний юбилей своего гения Льва Толстого. Я был несказанно рад и благодарен, когда получил приглашение посетить юбилейные торжества. При этом надо иметь в виду, что Европа в те годы ненавидела и боялась большевиков, а вместе с ними и новую, советскую Россию. Какие ужасы рассказывали о вас. Помню, Бернард Шоу на одном из банкетов в Москве очень остроумно высмеял тогдашние страхи европейцев. Он рассказал, как друзья настойчиво отговаривали его ехать к вам. Его запугивали, ему говорили, что в Москве люди пухнут с голоду, а по улицам бродят ненасытные медведи и волки. Когда он все же решил поехать, на него надели две пары шерстяного егерского белья, укутали в шубу и на целый месяц снабдили продуктами. Проехав пограничную тогда станцию Негорелое, Бернард Шоу всю ночь выбрасывал свои запасы в окно...

Келлерман заразительно смеялся, вытирая навернувшиеся на глаза слезы.

— Со мной тоже так было! Правда, продуктов я с собой не брал, но пугали меня очень. И что же я увидел через двадцать лет? Новая Россия потрясла меня своей свежестью, молодостью, задором. Все, что вы делали, было ново, смело и даже дерзко. Уже тогда я понял и почувствовал, что новая Россия становится надеждой мира...

С особой нежностью вспомнил писатель об Анатолии Васильевиче Луначарском.

— Мне повезло, — сказал он, — обратно я возвращался в одном вагоне с Луначарским, который ехал по каким-то своим делам за границу. Всю дорогу мы с ним беседовали — он покорила меня умом, образованностью... Обаятельный, неотразимый человек!

Мы засиделись, не заметили, как прошло время. Пора было уезжать. Прощаясь, мы заручились обещанием писателя кое-что написать для нашей газеты.

Вскоре редакция завязала с Келлерманом прочные творческие связи. С ним регулярно встречались работавшие в газете Григорий Бергельсон, Роман Пересветов, и писатель стал активным и плодовитым автором нашей газеты. С уди-

вительной для его возраста энергией и активностью включился он в работу, был участником, а порой даже инициатором многих массовых политических мероприятий прогрессивной немецкой интеллигенции, выступал на митингах и собраниях. Имя его вновь стало популярным в Германии, его узнала и полюбила немецкая молодежь.

Осенью 1945 года «Теглихе рундшау» напечатала десять статей Бернгарда Келлермана, каждая на два-три подвала, под общим заголовком «Что нам нужно делать?». Это была горячая, страстная публицистика, которой Германия не знала уже долгие годы. Писатель получил наконец возможность разговаривать с народом, и он говорил с ним открыто и честно, говорил все, что он думает, о чем мечтает.

В своих статьях писатель призывал соотечественников выкорчевывать из немецкой почвы все, даже самые малейшие корешки милитаризма, дважды на жизни одного поколения ввергавшего немецкий народ в катастрофу. Он призывал перековать мечи на орала, превратить полигоны и стрельбища в картофельные поля, а казармы отдать под школы, куда бы никогда больше не ступала нога фельдфебеля.

Появившиеся на страницах «Теглихе рундшау» статьи Бернгарда Келлермана взбудоражили немецкую интеллигенцию и положили начало большому и важному разговору о судьбе Германии, о пути, по которому ей надлежит идти, о духовном исцелении нации. К голосу Келлермана прислушались, ибо он был человеком, писателем, не склонившим головы перед нацистами. Он не капитулировал, не продал душу дьяволу, он выстоял — его не сломили ни шантаж, ни угрозы, ни гнет.

В апреле 1948 года Бернгард Келлерман в составе первой делегации немецких писателей, уже будучи заместителем председателя общества «Культурбунд», совершил свою третью поездку в Советский Союз. Он побывал в Москве и Ленинграде, а вернувшись, вместе с женой Эллен Келлерман издал книгу очерков, озаглавленную «Мы вернулись из Советской России». Небольшая эта книга имела большой успех, она помогла немцам освободиться от некоторых, порой диких, представлений о нашей стране.

«Что знает мир о России, о ее прилежном народе, народе-труженике, о социализме? — писал в этой книге Бернгард Келлерман. — Он знает не больше того, что газеты всего мира позволяют ему узнать. В один прекрасный день народы мира пробудятся и будут поражены тем, что творческая энергия России создала совершенно новый континент на Востоке, несмотря на то, что газеты старались этого не заметить».

...И вот я опять сижу со свежим оттиском третьей полосы и ломаю голову над заголовком. В комнату входит Яша Нойдорф, чем-то очень озабоченный и грустный.

— Опять кому-то надо помочь?

— Вы угадали. Келлерман нуждается в усиленном питании, — сообщил Яша. — Особенно ему нужно молоко, много молока. Так прописали врачи...

— Карточки на молоко выдаются только детям...

— Карточками тут не поможешь, — гнул свое Яша. — Нужна дойная корова...

— Ты в своем уме? — не сдержался я. — Где мы достанем ему дойную корову? И не наше это дело, Яша...

— Знаю, не наше... Но я уже договорился с теми же саперами, — признался Яша. — Капитан Сиверцев готов выделить писателю одну корову... Нужна только бумажка, ходатайство перед комендантом. Без этого он теперь не может. Келлерман, говорит он, нынче на виду, могут быть неприятности...

На другой день ходатайство лежало на столе у коменданта.

— Ах, какую корову ему выделили! — восторгался Яша. — Рыжая, в белых пятнах. Дает двадцать литров в день...

СОЛЬ

„Alle Gräber gleichen einander, alle Toten gleichen einander. Traurig ist er nur über die Toten, das aus soviel Opfer und Mut nichts wurde, als Zusammenbruch, Elend, Streit... Noch nie ist er sich so alt und verbraucht vorgekommen wie gerade jetzt, ein Alter, ein noch lebender zwischen Millionen Jungen, schon Toten...“

Hans Fallada.

«Все могилы похожи одна на другую, все мертвецы на одно лицо. Он опечален лишь тем, что мертвых так бесконечно много, что столько жертв и мужества не принесли ничего, кроме крушения, нужды и раздоров... Никогда он не казался себе таким старым и потрепанным, как сейчас. Старик, но все еще живой среди миллионов молодых, уже умерших».

Ганс Фаллада.

В очередную командировку я выехал срочно, без долгих сборов и подготовок. На последней легучке дежурный критик Отто Дистлер, человек неиссякаемой инициативы и острого ума, обратил внимание на то, что в нашей газете мало материалов из провинции.

— Между тем, — сказал он, — там, в маленьких городах и селениях, происходит много интересного и важного...

Замечание было справедливым, и группа корреспондентов не мешкая разъехалась в разные города советской зоны оккупации.

Лето в 1945 году стояло жаркое. Поэтому я решил выехать из Берлина еще до рассвета, чтобы по холодку добраться до земли Мекленбург.

— А там пойдут леса, озера, дышать будет легче! — заверил меня Герберт Шрамм, шоферскому опыту которого я верил.

Город еще спал, когда, быстро миновав предместье Фронау во французском секторе, мы выехали на автостраду и устремились на север.

...И вот мы уже мчимся по изрядно исковерканным проселочным дорогам земли Мекленбург. Еще недавно она была захудалой вотчиной юнкеров и помещиков, там еще нередко можно было встретить крестьянские дома под соломенной крышей. Нигде в другом месте Германии такого видеть не приходилось. Но зато леса и озера здесь удивительно живописны. Не случайно в этих местах находились обширные охотничьи угодья почти всей нацистской верхушки.

Побывал я в Штралзунте, Ростоке и Вернемюнде. Затем заехал в маленький, тихий городок Фельдберг, окруженный озерами.

Военного коменданта на месте не оказалось. Его помощник капитан Воронов, тщательно подбирая немецкие слова, разговаривал с местным бургомистром. Я прислушивался. Речь шла об эшелоне беженцев, прибывших издалека. Предстояло принять их, помыть в бане и накормить с дороги.

Помощник коменданта закончил наконец разговор, вытер вспотевший лоб и сказал:

— Все-таки он молодец, этот наш бургомистр! С полуслова понимает...

Меня обрадовала такая оценка бургомистра. Хорошая тема для очерка! Я попросил капитана Воронова подробнее рассказать о местном бургомистре, о его работе и контактах с комендатурой. Но капитан, чем-то озабоченный, куда-то спешил, и ему было не до меня.

— Вот Таня сумеет вам больше рассказать про него, — сказал капитан. — Она у нас переводчик, с Рудольфом познакомилась раньше, чем я. Она-то и рекомендовала его нам в бургомистры... А я, извините, пойду. Меня ждут на разгрузке брикетов...

— Ну, рассказывайте, — обратился я к Тане, — о себе, о вашем бургомистре...

— Обо мне неинтересно, — ответила она, — а вот про Рудольфа Дитцена рассказать стоит. Очень хороший человек, я ему так благодарна...

— За что?

— А вот послушайте, — сказала она по-украински и пояснила: — Я же сама из Житомира. А тут с сорок третьего года.

— В Равенсбруке?

— Нет, я на другой немецкой каторге в ярме ходила. Вы, может, видели местную кирху?

— Видел, видел...

— Под этой кирхой немцы целый завод построили. Громадные цеха под землей оборудовали. Нагнали рабов и заставили собирать узлы для электрооборудования самолетов. Прошлой зимой, когда наши уже были близко, я с подружкой Верой в город пошла. Сняли повязки с рукавов и в магазинчик — соли купить. Очень мы страдали без соли. Я стала расплачиваться, полезла в карман за деньгами, а оттуда повязка с черной надписью «ОСТ» выпала. Хозяин увидел, расвирепел: «Ах вы русские свиньи! Соли захотели? Жрите, что вам дают...» Мы выбежали из магазина, идем, слезы утираем. Вдруг слышим — догоняет нас кто-то: «Фройляйн! Фройляйн!» Оборачиваемся — пожилой немец, тот, что в магазине в сторонке стоял, протягивает нам два кулечка соли и ласково так угорваривает: «Вы не надо плакать, он дурак» — и смешно так пальцем у виска повертел: мол, что с идиота спросишь? Мы остановились, прижали к груди по кулечку соли и плачем. А он попрощался и вошел в калитку своего дома. Я этот дом заприметила. Раза два после этого издали видела его возле этой калитки, но остановиться не посмела. Он, бывало, приподымет шляпу, поздоровается... А когда наши пришли, комендант меня спрашивает: «Не знаешь ли, Таня, хоть одного порядочного немца в этом городе? Коммунистов тут днем с огнем не сыщешь. А бургомистр до зарезу нужен... Может, хоть кто-нибудь из буржуев порядочный остался?..» Тут-то я и вспомнила про того, кто нам соли два кулечка подарил. Им оказался Рудольф Дитцен. Говорит, писатель он, но книжки я его не читала... Он сразу согласился и стал здорово помогать коменданту. Когда ликвидировали женский концлагерь Равенсбрук, узницы по домам разъехались, но остались очень больные, немощные да маленькие детишки. Бургомистр их всех устроил в больницы, мобилизовал врачей.

Я проникся глубоким уважением к этому неизвестному мне человеку и решил обязательно встретиться с ним, написать о нем в нашей газете.

Утром в ратуше мы встретились с ним.

Он сидел за большим столом, покрытым зеленым сукном, в кресле с высокой резной спинкой, обитой кожей. Когда я вошел, бургомистр легко поднялся навстречу, протянул руку.

— Мне нравится ваша газета, — сказал он, приглашая присесть. — Я регулярно читаю ее, она мне очень помогает...

— Приятно слышать, — ответил я, — еще приятней будет мне написать для этой газеты очерк о бургомистре города Фельдберг...

— Умоляю вас не делать этого, — взволнованно сказал бургомистр.

— Почему же? — удивился я.

— Не делайте этого, — повторил бургомистр. — Я не заслужил такой чести...

— В комендатуре о вас самого лучшего мнения, — продолжал я, — и, кроме того, Таня мне о вас рассказывала...

— И комендант и Таня — очень хорошие люди, — сказал бургомистр. — Но у них о немцах такое представление, что если кто-то сделает элементарное доброе дело, они тут же превозносят его до небес... Я ничего исключительного не сделал ни для Тани, ни для военного коменданта. А они меня всем расхваляют...

— Говорят, вы много делаете для бывших узников, для угнанных в неволю русских, которые работали в этом городе.

— Я и сотой доли не сделал того, что надо сделать.

— Другие и этого не сделали. Вы оказались образцовым бургомистром.

— Вы знаете, для меня это полная неожиданность. Сам я берлинец, а здесь, в Фельдберге, прятал свою семью от бомбежек. Я ведь писатель... Может, вам

когда-нибудь приходилось читать мои книги, например «Маленький человек — что же дальше?»?

— Но ведь это роман Ганса Фаллады! — воскликнул я, окончательно сбитый с толку.

— Я и есть тот самый, — ответил мне бургомистр.

— Почему же вы это скрываете?

— Нет, не скрываю, — сказал Ганс Фаллада. — В первую же встречу сказал об этом, но тогдашний комендант пропустил мимо ушей, а последующие не интересовались этим... Не знаю, как бы они отнеслись, узнав, кто такой Ганс Фаллада...

Он снова уселся в удобном кресле бургомистра, и лицо его, покрытое глубокими морщинами, стало каким-то скорбным. Мне трудно было разглядеть его глаза, закрытые темными очками, но я почувствовал, как он пристально рассматривает меня. Внешне он ничем не напоминал писателя, скорее был похож на немецкого чопорного чиновника, тщательно выбритого, в поношенном, но хорошо отутюженном сером костюме.

Я не читал всех книг Ганса Фаллады, но знал, что это интересный и крупный немецкий писатель. Не хотелось допытываться, как он жил и работал в годы нацизма. Видно было, что человек чем-то смущен и даже напуган. Было, однако, ясно, что очерка о нем писать пока не следует, что обо всем этом надо доложить в редакции, посоветоваться с Иоганнесом Бехером.

Ганс Фаллада словно угадал мои мысли и весело спросил:

— Надеюсь, вы уже отказались от намерения писать обо мне в «Теглихе рундшау»?

— Думаю, вы сами станете автором нашей газеты...

— Это возможно?

— Разумеется, — бодро ответил я.

Звякнул телефон.

Ганс Фаллада взял трубку, выслушал кого-то, а затем сказал мне:

— Должен ехать на похороны... Плохая примета. Впрочем, я за последнее время только и делаю что веду спор с этой отвратительной старухой... А она все косит и косит... Стою то у одной, то у другой могилы, произношу речи и глотаю слезы. Когда-то я думал — все могилы похожи одна на другую, все мертвецы на одно лицо...

Сейчас он ехал на похороны девочки Иолан. Ей и десяти лет не было, когда фашисты увезли ее вместе с родителями из Венгрии и бросили в концлагерь в Аушвице. Родителей Иолан задушили в газовой камере, а девочка чудом или по недосмотру осталась жить. Ее взяла под свою опеку одна узница, вместе с которой девочка оказалась затем в Равенсбруке. И без того худая и слабенькая, девочка чахла от голода и непосильной работы. Весной 1945 года она заболела туберкулезом.

Когда Советская Армия освободила всех узниц Равенсбрука, Иолан была настолько слаба, что не могла подняться с нар. Тогда-то ее и увидел Ганс Фаллада, бургомистр Фельдберга. Он отправил ее в больницу. Сделали все, чтобы спасти ее: к девочке приставили лучших врачей, достали нужные лекарства, Иолан начала поправляться, но вдруг простудилась и угасла.

У могилы возле раскрытого гроба стояли, склонив головы, бывшие узницы Равенсбрука, которых отхаживали в больнице, врачи и сестры. Рядом с бургомистром Фельдберга — военный комендант города.

Гроб был усыпан цветами, и казалось, что от цветов порозовели щеки Иолан. Таня, уткнувшись в ноги умершей, безутешно рыдала. Кто-то сложил на груди руки девочки, и я заметил на левом запястье вытатуированный черной тушью лагерный номер Иолан: 87178.

В наступившей тишине Ганс Фаллада произнес слова прощания:

— Над тобой, Иолан, горят свечи, зажженные твоими венгерскими товарищами, вместе с тобой прошедшими дорогой страшных мучений. Шестьсот маленьких девочек прошли через ворота Равенсбрука, дети разных наций и рас, но

все они разделили одну и ту же участь: голодные, оборванные, надорванные непосильным трудом, они заболели туберкулезом, тифом и другими не менее страшными болезнями. Я думаю и о них у твоего гроба, называя твое имя, маленькая Иолан! Клянемся перед твоей могилой, что мы будем помогать розыску виновников твоей безвременной гибели, мы будем всеми силами стараться вытравить в нашем народе злой дух насилия и произвола, жертвами которых стала ты и твои сверстницы, ни в чем не повинные дети. Пусть ваши страдания и ваши муки никогда не повторятся...

Недели две спустя Ганс Фаллада был уже в Берлине. «Теглихе рундшау» выделила грузовик и командировала своего сотрудника капитана Цехановского, который добился того, чтобы писателя освободили от должности бургомистра и дали возможность всей его семье перебраться в столицу.

А какое-то время спустя ко мне обратился заведующий отделом культуры нашей газеты Роман Тимофеевич Пересветов.

— Говорят, вы познакомились с писателем Фалладой? — спросил он.

— Да, видел его в Фельдберге.

— Иоганнес Бехер несколько раз спрашивал: почему мы не привлекаем Фалладу к сотрудничеству в газете?

— А в самом деле, почему? — удивился я.

И рассказал Роману Тимофеевичу историю с двумя кулочками соли, о речи писателя над гробом маленькой Иолан...

Вечером мы вдвоем встретили Иоганнеса Бехера. Разговор зашел о Гансе Фалладе.

— Он переживает сейчас тяжелый внутренний кризис, — сказал поэт с какой-то теплотой и состраданием. — Помогите ему стать на ноги. А работать, писать он может как одержимый...

— А что он может делать для нас? — спросил Роман Тимофеевич.

— Он великолепный новеллист, — сказал Бехер. — Он может написать какую-нибудь интересную вещь для воскресного номера газеты.

В очередных воскресных номерах «Теглихе рундшау» напечатала одну за другой две новеллы писателя. Это немедленно нашло живой отклик у читателя газеты. Писем мы получили много, писем разных, но все свидетельствовали об одном: немецкий читатель помнит Фалладу, имя его волнует многих.

Вскоре в редакции появился сам писатель. Мы встретились как старые знакомые. Пожимая мне руку, он сказал:

— Вы оказались пророком. Я стал вашим автором...

На этот раз Фаллада принес большую рукопись, которая называлась «Пасха 1933 года, отпразднованная вместе с СА». Написанная в форме воспоминаний, рукопись повествовала о днях, когда власть в Германии захватили фашисты. Суровая, беспощадная вещь.

— Я писал ее летом сорок четвертого года, в очень тяжелое для меня время...

Рукопись решено было печатать с продолжением в каждом номере на протяжении месяца. Повышенный гонорар мы выплатили писателю вперед и сразу, чтобы дать ему возможность спокойно работать.

— Вы его балуете, — сказал Иоганнес Бехер. — Боюсь, как бы он теперь не запил...

У поэта, видимо, были серьезные основания так думать.

Однажды в редакцию сообщили, что Ганс Фаллада в больнице, его увезли туда после сердечного приступа. На другой же день я навестил его и засиделся у постели.

— Я никогда не боялся смерти, — говорил тихо писатель. — Не раз играл своей жизнью, как мячиком. Дрался на дуэли. Убил своего лучшего друга... Из озорства, подстегнутый молодым азартом или страстью, совершал глупейшие проступки... Не раз был за это наказан... Но никогда я ни в чем не раскаивался... Я жил, но истинной цены жизни не знал. И вот сейчас, когда мне больше всего

надо бы жить, чтобы хоть что-нибудь исправить в своем прошлом, начало сдавать сердце. Ах, какая обида!

Как-то после летучки Пересветов сказал мне:

— А вы знаете, американцы заигрывают с Гансом Фалладой. Он сам мне об этом рассказывал и даже показал человека, который вел с ним переговоры о переезде...

— И чем это кончилось?

— Фаллада, разумеется, отказался...

Это был уже не первый случай, когда американцы, действуя грубо, нахрапом, пытались «завлечь» лучших наших немецких сотрудников. Одни предлагали крупные деньги, другие — блага. Кое-кого они нагло шантажировали и запугивали, намекая на то, что в прошлом они сотрудничали в нацистской печати, что-то печатали против Советского Союза. Эти попытки, как правило, не принесли успеха.

25 октября 1945 года «Теглихе рундшау» поместила интервью с Гансом Фалладой, в котором он горячо поддерживал созданный Иоганнесом Бехером союз немецкой прогрессивной интеллигенции «Культурбунд».

— Прежде всего надо спасти молодежь, — сказал писатель. — Ей нужно дать правильную ориентировку, она должна извлечь уроки из нашего печального опыта, учиться на наших трагических ошибках. Пусть нам, старикам, предъявляют счет, и мы за все расплатимся, если можно, искупим свою вину... Но молодые пусть не платят за наши ошибки, по нашим обанкротившимся счетам.

Интервью, помещенное в «Теглихе рундшау», свидетельствовало о том, что большой немецкий писатель Ганс Фаллада преодолевает внутренний, душевный кризис, становится на ноги и полон творческих замыслов. Мы в редакции этому, разумеется, очень обрадовались.

Бомба взорвалась внезапно. Вначале одна и тут же вторая...

В январе 1946 года, месяца через три после опубликования интервью, в западной печати как по команде появились статьи, в которых Ганс Фаллада обвинялся в сотрудничестве с нацистами, в двурушничестве. Сентиментально-мещанский женский журнал «Si», любивший с восхищением рыться в грязном белье всевозможных знаменитостей, напечатал разоблачительное «Открытое письмо» некоей мадам Баконье, бывшей в прошлом личной секретаршей писателя. Мадам Баконье цитировала письма Ганса Фаллады, которые он писал ей из Франции, куда в 1944 году он был послан одним нацистским издательством.

В этих письмах Ганс Фаллада повторял слова и выражения, ставшие в ту пору штампами и лозунгами нацистской пропаганды. Такие, например, как «неприступный западный вал», «выстоять до окончательной победы» и тому подобные. Подписывались такие письма — «твой зондерфюрер»...

Буквально на другой день издававшаяся американская газета «Neues Zeitung» выступила со статьей под жирным трехколоночным заголовком «Метаморфозы Фаллады». Газета поливала писателя помоями; обвиняла его в приспособленчестве и прислужничестве нацистам. Особенно газету раздражал тот факт, что «Теглихе рундшау» предоставляет писателю свои страницы.

К тому времени мы уже привыкли к выпадам западных газет. На летучке, где об этих статьях зашла речь, главный редактор «Теглихе рундшау» Александр Владимирович Кирсанов сказал, подводя итоги дискуссии:

— Им не нравится, что мы печатаем Ганса Фалладу, значит, мы поступаем правильно, ибо немецкому читателю он, как мы знаем, нравится. Не о наших интересах пекутся американцы. Однако разобраться в фактах необходимо. Прежде всего чтобы помочь писателю...

В тот же день в редакцию пришел Ганс Фаллада. Мы встретили его как ни в чем не бывало.

Что же все-таки было и чего не было?

Жизнь и творческая судьба Фаллады сложились трудно, полны драматических, а порой и трагических событий. Он родился в преуспевающей буржуазной семье в городе Грейсвальде 21 июля 1893 года. Уже в юности, бросив вы-

зов респектабельности, будущий писатель становится искателем приключений, любителем острых ощущений. Кончается это тем, что юноша попадает в тюрьму. Выйдя вскоре на свободу, он пробует одну профессию за другой, пока не становится репортером провинциальной газеты. Там он ведет судебную хронику и собирает обильный материал для своей первой книги, сразу обратившей на себя внимание читателей и критики. Это был роман «Крестьяне, бонзы, бомбы».

Творчество Фаллады, ставшего в 20—30-х годах известным писателем, отличается глубоким знанием жизни и умением проникать в душевный мир человека.

Всемирную славу Гансу Фалладе принес его остросоциальный роман «Маленький человек — что же дальше?». Книгу перевели на двадцать языков, в том числе и на русский. По роману было поставлено два фильма, имевших большой и шумный успех.

Чем же взволновала эта книга читателя? Писатель нарисовал правдивую картину страданий маленького человека, людей обездоленных, судьбы которых исковерканы условиями буржуазного общества. Отсюда и пошла слава Фаллады — певца маленького человека. Но передовая критика в то же время отмечала неустойчивость и неясность политической позиции писателя, его половинчатость.

Случайный ли просчет или позиция? Жизнь показала, что это была позиция писателя, пагубность которой он почувствовал, когда опубликовал свой следующий роман «...Кто однажды отведал тюремной похлебки».

Роман вышел в свет, когда над Германией распростерлась зловеющая тень Адольфа Гитлера и к власти пришли фашисты. Политическая близорукость и беспринципность Фаллады бумерангом ударили по писателю. Напуганный всем происходящим в это время в стране и желая, видимо, обезопасить книгу от критики, писатель специально оговаривает в предисловии, что описанные в романе события относятся к прошлому...

Уловка не помогла. Фашиствующая критика разгадала неловкий маневр писателя и обрушилась на Ганса Фалладу с угрозами и бранью. Началась травля писателя. В печально знаменитую «хрустальную ночь», когда гитлеровские молодчики шествовали по улицам столицы с зажженными факелами, они не только громили ювелирные магазины неарийцев, но и, врываясь в книжные лавки, сгребали с полок и роман Ганса Фаллады, бросали его в костер.

— Почему же вы тогда не эмигрировали? — спросили мы писателя.

Он ответил честно, без обиняков:

— Нигде на свете, кроме Германии, я не смог бы писать. Я бы умер как писатель...

Эти слова повторила затем в своих воспоминаниях и вдова писателя Анна Дитцен. После той злополучной и страшной ночи, когда Ганс Фаллада увидел свои книги сгорающими на костре, он решил уехать в Лондон.

Все уже было готово, чемоданы упакованы, маршрут намечен, с надежными людьми обо всем договорились. Вдруг в самую последнюю минуту Фаллада заявил: «Я не могу уехать из Германии. Я слишком немец, я могу думать и писать только по-немецки... В чужой стране я не могу писать... А нацисты долго не продержатся... Кошмар этот скоро пройдет...»

Фаллада остался в Германии. Фашисты ничего не простили писателю, он числился на плохом счету у министерства пропаганды. Его отнесли к числу ненадежных и нежелательных. Новый его роман «Волк среди волков» не вызвал восторга нацистских критиков. А роман «...Кто однажды отведал тюремной похлебки» был объявлен вредным, разлагающим. Желторотые фашистские молодчики, не переставая маршировать по улицам, требовали от книготорговцев очистить их полки от этой «вонючей» книги. «В огонь ее! В костер!» — кричали они.

Печататься Ганс Фаллада мог только в одном, тогда еще не аризонизированном издательстве «Ровольт», но и его вскоре закрыли.

Таковы факты. Вряд ли они дают основание отнести Ганса Фалладу к процветавшим в фашистские времена писателям.

— И все же роман «Железный Густав» вышел в свет с концовкой, написанной в нацистском духе? — спросили мы. — Как это произошло?

— Я ждал этого вопроса, — сказал Ганс Фаллада и умолк.

Наступила неловкая пауза. Чувствовалось, как трудно писателю возвращаться к тем дням, но он не захотел уклониться от вопроса.

— Меня изнасиловали, и не кто другой, как сам Геббельс. Этот хромоногий дьявол... Очень тяжелая история, но я расскажу о ней, я не унесу это с собой в могилу...

Медленно, сбиваясь с одного эпизода на другой, Фаллада рассказал, как он по просьбе Эмиля Яннинга² писал сценарий для кино и что из этого получилось...

— А когда вы стали зондерфюрером? — спросил Роман Тимофеевич.

— В мае сорок третьего года, — ответил Ганс Фаллада. — И эту историю я расскажу вам... Ничего не утаю... Помните, еще великий Гёте показал в своем «Фаусте», что сделка с дьяволом никогда не проходит даром. И вообще никогда не окупается... То же произошло и со мной. Несмотря на пришитый белыми нитками нацистский хвост к моему «Железному Густаву», я не стал для нацистов благонадежным и желательным писателем... Меня терпели, при необходимости пытались использовать... Но когда в июле сорок третьего года мне исполнилось пятьдесят лет, ни в одной газете об этом не напечатали ни строчки... Но именно тогда они меня вторично изнасиловали...

В фашистской Германии существовала военизированная, очень мощная организация «Имперская трудовая повинность» («Reichsarbeitsdienst»). Она имела свои газеты, издательство, огромный пропагандистский аппарат. Фалладе предложили поехать в командировку на юг Франции и написать книгу о сооружении так называемого «западного вала». Нацистская пропаганда утверждала, что этот вал преградит дорогу союзникам, если они когда-нибудь осмелятся открыть второй фронт...

— Предложение сделали в такой форме, что я не мог отказаться от него... Ехал я, разумеется, в штатском, но для того, чтобы облегчить мне задачу, в командировочном удостоверении меня назвали зондерфюрером «Имперской трудовой повинности»... Невелика шишка, а все-таки шишка! Для немецких бюрократов это очень важно... А теперь вчитайтесь в мои письма... Неужели эта дурная голова, эта бестия Баконье, не поняла горькой иронии в моих письмах, насмешки над самим собой?.. Кроме того, я же знал, что мои письма будет читать не только она... Ах, боже мой!

Писатель умолк, помрачнел. Лицо покрылось потом, струйками стекавшим по глубоким морщинам.

В тот вечер мне показалось, что с таким трудом найденное равновесие в душе Ганса Фаллады вновь утеряно. Через день «Теглихе рундшау» выступила в защиту писателя, дала отпор несправедливым нападкам на него. Газета защищала талантливого писателя и человека, хлебнувшего много горя и тяжело ошибавшегося.

В «Теглихе рундшау» в отделе культуры работал молодой литсотрудник Гюнтер Гаспар. Талантливый, подававший надежды юноша, делавший у нас свои первые шаги на литературном поприще. Впоследствии он стал видным литературоведом, знатоком творчества Ганса Фаллады, редактором собрания сочинений писателя, вышедшего в Германской Демократической Республике в издательстве «Ауфбау». Перед тем как вновь опубликовать роман «Железный Густав», Гюнтер Гаспар проделал сложную, кропотливую работу и очистил это произведение от искажений и дописок, сделанных по указке Геббельса, от «нацистского хвоста», как называл эти искажения и дописки сам Фаллада.

В архиве писателя оказалась рукопись незаконченного романа-исповеди «Пьяница», который Ганс Фаллада писал в исключительно трагических условиях, когда осенью 1944 года нацисты упрятали писателя в больницу для

² Эмиль Яннингс — известный немецкий актер.

душевнобольных. Это была расправа разгневанных нацистов, которым никак не удавалось приручить и окончательно поставить писателя на колени.

«Пишется больница, а по существу это тюрьма», — заметил в своих воспоминаниях Ганс Фаллада. Писателю удалось добиться разрешения у врачей заниматься литературным творчеством. Ему только поставили условие: все написанное представлять на просмотр цензуре. Писатель все же нашел способ обойти нацистских цензоров. В рукописи, где шли длинные описания природы и диалоги действующих лиц, он вставлял целые абзацы, которые, по существу, были его воспоминаниями, исповедью. Это оказалась потрясающая, бесспорно открытая повесть о жизни писателя. Тут-то и изложил он историю романа «Железный Густав», совпадавшую с тем, что он нам рассказывал тогда в редакции.

Вот эта история.

«„Фаллада, — обратился ко мне умоляюще Яннингс, узнавший, что я пишу новый роман. — Вы тот единственный человек, который сможет написать немецкую «Кавалькаду»³. Вы должны написать ее для меня. Этаким срез немецкой судьбы начиная с 1900 года и до поездки героя в Париж. Сюда должно войти все — и жизнь немецкого бюргера и мировая война. В общем, вы сами понимаете!» Я его хорошо понял. Крики о немецкой «Кавалькаде» я тоже слышал, тоска по большому немецкому фильму томила душу не одного кинопродюсера в Германии. Я сказал Яннингсу:

— Посмотрю, что можно будет сделать. Когда я должен закончить работу?

И тут я услышал типичный для киношников ответ:

— Собственно говоря, еще вчера! У нас в кино всегда все спешно. Любая идея, которая тут же не будет осуществлена, теряет свою ценность. Сколько времени тебе потребуется?

Я представил себе работу, которую мне предстоит проделать. Перед моими глазами прошла вся семья Хакендаля, его сыновья и родственники, жизнь Германии перед первой мировой войной...

— Минимум три месяца, — сказал я.

Послышались крики, возражения, но я остался непоколебим. Я могу работать очень быстро, я могу пороть горячку как, пожалуй, никто другой, но колдовать я не умею. Кроме того, я лишен дара писать короткие либретто фильмов. Я могу лишь тогда изобретать, когда имею возможность рисовать картины быта, идтивширь и вглубь. Одним словом, я должен написать законченный роман, который потом киноспециалисты должны переварить и препарировать по-своему. Процесс несколько сложный, но он обусловлен характером моего дарования.

Итак, я получил заказ и мог совершенно спокойно засесть за работу. Фильма «Кавалькада» я никогда не видел, и меня ничего не связывало. Разумеется, мне пришлось все же пороть горячку, работать через силу, и моя милая супруга, конечно, с ужасом смотрела на мою затею, страшась, как бы это не кончилось катастрофой. Но я все же успел и в точно назначенный срок, даже на два дня раньше, представил рукопись.

Яннингс тут же телеграммой поблагодарил меня, директор студии Тобис прислал мне благодарственное письмо. Моя задача, собственно говоря, была выполнена и завершена, но когда в кино что-нибудь бывает окончательно законченным? Захотели, чтобы я принял участие в обсуждении романа с режиссерами, и я для этого выехал в Берлин. Обсуждение было скучным, но оно дало возможность поближе узнать Эмиля Яннингса как человека, что доставило мне истинное удовольствие. Он рассказывал массу смешных анекдотов, в том числе и о самом себе. Наконец кто-то из работников студии спросил:

— А как господин министр, самая влиятельная персона в нацистском кино, господин Геббельс, отнесется к нашей затее? И как подать ему наш план?

Я смотрел на это очень просто: надо дать министру прочесть роман...

Но опытные киноснепы только качали головами, слушая мои дилетантские рассуждения на этот счет. Министр ни в коем случае не должен читать роман,

³ «Кавалькада» — фильм американского режиссера Фрэнка Ллойда. 1933 год.

ибо в нем он обнаружит много такого, чего знать он не должен. Кроме того, он не увидит многого из того, что должно быть там обязательно...

Одним словом, господа из киностудии затратили еще немало денег, значительно больше того, что они заплатили мне, и поручили целой группе халтурщиков, которых Эмиль Яннингс называл «партийно проверенными жучками», состряпать сценарий. Эти господа лихо набросились на мой роман и принялись его препарировать — что-то вычеркивать, что-то переписывать, одних героев они выбрасывали, а вместо них придумывали новых. Они перекраивали сюжет, искажали характеры. Подлеца превратили в благородного, а честную, порядочную девушку заставляли совершать самые низкие поступки. И все эти подлости они обосновали требованиями киноспецифики.

При этом обнаружилось, что я в своем романе дал слишком много материала, из которого можно было бы сделать не менее десяти кинофильмов. И теперь им отбирать мучительно трудно. Наконец все сошлись на том, что фильм должен быть большим, двухсерийным, на два вечера. Для того, чтобы министр мог проглотить эту пилюлю, решено было дать фильму название «репрезентативный немецкий фильм».

Для перестраховки киношники решили привлечь одну немецкую уже известную писательницу, действительно имевшую большой опыт работы в кино. Она должна была художественно обработать то, что наспех сделали халтурщики с партийными значками в лацканах. Моему бедному мотыльку, с крылышек которого сдули последние пылинки, она придала немного блеска и жизни. В сценарий, который представлялся министру, было теперь и в самом деле немало живых, интересных картин.

Я рассказываю об этом так подробно для того, чтобы дать читателю представление, как в условиях нацистского режима подавлялась свободная творческая деятельность. Она становилась невозможной, так как необходимо было учитывать и вкус и предрассудки руководящих персон, с которыми нельзя было не считаться. Все время речь шла не о том, как сделать хороший фильм, такой, чтобы понравиться публике, а все вертелось лишь вокруг того, как сделать, чтобы этот фильм понравился министру. Любые художественные соображения, вопросы формы и вкуса отступали на задний план перед главным — как угодить начальству! Слава богу, мне не пришлось заботиться об этом, принимать в этом участие, мои слабые протесты высмеивались как лепет какого-нибудь неопытного, наивного ребенка...

Как и все, я с нетерпением ожидал, что скажет доктор Геббельс о нашем сценарии. Сценарий вскоре вернулся в студию, и я могу присягнуть, что Геббельс его действительно читал. На каждой странице нас как бы носом тыкали в то, что мы упустили, пропустили или забыли.

Но, что очень редко бывало, на этот раз критика министра не завершалась конкретным и категорическим выводом. Это может показаться чудом, но было фактом: сценарий был утвержден. Более того, министр не только одобрил наш план сделать фильм в двух сериях, но так как расходы на съемку были очень велики, он даже соизволил отпустить полтора миллиона марок из специального фонда министерства. Все ликовали, все наконец вздохнули, все набросились на работу — и только автор плакал.

Яннингс и директор студии отвели меня в сторону и передали особое пожелание министра писателю Гансу Фалладе: было бы безумием закончить фильм поездкой героя в Париж! Для фильма может быть лишь один конец — приход нацистов к власти. Поэтому судьбу действующих лиц следует продолжить, в особенности образ старика Хакендала, железного Густава, который в период после поездки в Париж и до захвата власти Гитлером должен войти в ряды нацистской партии, превратиться в ее образцового члена.

Я сидел оцепенело и слушал. Этого я не ожидал. Если бы я предвидел что-либо подобное, никогда бы не принял предложения киностудии. Я хотел создать роль для артиста Эмиля Яннингса, пропагандистская деятельность для партии мне чужда. Я далек от нее. Но моим двум слушателям я сказал совсем другое.

Я считал как-то неудобным то, что рисовать образы партийцев, описывать борьбу нацистской партии, дискуссии с коммунистами будет такой нежелательный автор, как я, Фаллада. Это наверняка вызовет протесты со стороны самих же нацистов, во всей партии. Я предложил, чтобы все это сделали без меня те самые халтурщики с партийным значком в лацкане... Они для этого более подходят, чем я.

Эмиль Яннингс и директор студии, выслушав меня, сказали, что мои доводы справедливы, и Яннингс даже обещал немедленно позвонить министру, добиться для меня аудиенции.

— Кстати, — вспомнил вдруг директор студии, — господин доктор Геббельс выразил желание лично с вами познакомиться... Не хотите ли сейчас пойти со мной к министру и выложить ему свои соображения?

Я в ужасе отназвался от этого. Жить в немилости и быть нежелательным автором еще как-то можно было снести, но оказаться в милостивых лучах Геббельса я считал опасным. Это значило разделить участь Икара...

В ответ на эти мои возражения Эмиль Яннингс припомнил точно слова самого министра: «Если Фаллада до сегодняшнего дня еще не знает, как он относится к нашей партии, то партия знает, как она относится к Фалладе!»

Я не люблю красивых жестов и считаю бессмысленным размахивать руками перед троном тирана — это никому не принесет пользы, а только повредит моим детям. Мне не хочется подставлять голову свою под топор палача. После трех минут раздумья я принял дополнительные пожелания министра. Что со мной было дома — это другое дело. Месяц, в течение которого я работал над тем, чтобы пришить нацистский хвост к своему роману, черными чернилами вписан в календарь моей жизни. Весь мир мне опостылел, я презирал самого себя...

Когда все наконец было закончено, я отнес свою работу на студию. Я ждал, что мою стряпню примут с отвращением, но вместо этого ее встретили там с восторгом, хотя и несколько приглушенным пока. Ведь еще неизвестно было, что скажет министр.

Министру понравилось. министр утвердил, министр окончательно отвалил полтора миллиона марок! Работа над фильмом закипела, были уже сделаны первые пробы, найдено ателье для съемок, приглашены актеры. Восемьсот тысяч марок было израсходовано, когда вдруг все переменялось. Другой министр, господин Розенберг, где-то, оказывается, заявил, что выпускать на мировой экран фильм, который должен представлять Германию, невозможно, если на афише будет указан как автор сценария писатель Ганс Фаллада. Ведь он «культурбольшевик» и должен быть уничтожен...

И тут как по волшебству все рухнуло. Подготовка к съемкам прекратилась, артисты и режиссеры как сквозь землю провалились... Три дня спустя ни в киноателье, ни во всем большом Берлине никто и понятия не имел, что когда-нибудь кто-нибудь готовился ставить фильм «Железный Густав», никто с этой затеей никакого дела не имел — все прикинулись зайцами!

И только автор не мог отречься от самого себя, его роман уже появился в продаже, красовался на витринах и на книжных полках. И уже ничто не могло его спасти. При этом читатель, оказывается, спокойно проглотил пришитый белыми нитками ужасный конец романа. Никто не протестовал против него, после чего я окончательно потерял веру в достоверность читательского приговора, в его чутье.

И вдруг разразилось еще более страшное...

Все, что я предвидел, произошло: меня начали ругать, я был подвергнут настоящей опале, объявлен вне закона. Снова молодчики из СА и СС вышли на улицу и потребовали от книготорговцев убрать с витрин и даже с полок мои книги. И с того дня лишь самые смелые книготорговцы продавали мои книги из-под полы и только самым надежным своим старым покупателям. Я оказался перед полным банкротством».

Последний раз мы виделись с Гансом Фалладой незадолго до его смерти. Я дежурил по номеру и сидел в типографии на Циммерштрассе, ждал оттиска

последней полосы. Типография находилась на самой границе советского и американского секторов. По ту сторону мостовой на тротуаре, где начинался американский сектор, уже прогуливались западные корреспонденты — внимательные читатели «Теглихе рундшау».

Шел второй час ночи, когда в типографии появился Ганс Фаллада в сопровождении театрального рецензента нашей газеты Ильзы Юнг. Они, оказывается, задержались на дискуссии и теперь не знают, как попасть домой: никакой транспорт в городе уже не работал.

— Подождите, — предложил я, — освободится дежурная машина и развезет вас по домам...

— Мы на это и рассчитывали, — обрадовалась Ильза Юнг.

Было по-зимнему холодно, по-берлински сыро, и гости мои явно продрогли. В типографии у дежурного всегда имелся сухой паек — колбаса, консервы — и, конечно, горячий чай или кофе. Водилась также водка...

Я накрыл стол, сварил кофе и пригласил гостей:

— Давайте согреемся, друзья...

— Вы мой добрый ангел, — сказал, выпив первую рюмку, Ганс Фаллада, — вы меня всегда выручаете в трудную минуту... Я это всегда буду помнить. Началось еще в Фельдберге... Помните?

— Я предлагаю выпить за ваш роман, которого мы ждем с нетерпением, — сказал я, пытаюсь сменить тему разговора. — Как он продвигается?

— Не скажу! — ответил Ганс Фаллада. — Я очень суеверный и никогда не рассказываю о том, что пишу... Вот тогда «Теглихе рундшау» заставила меня рассказать кое-что о своем интервью, и на меня, как злые черти, набросились мои враги... Меня надолго выбили из седла, долго я не мог работать... (В то время Ганс Фаллада работал над романом «Каждый умирает в одиночку», тему которого и архивные материалы писателю дал Иоганнес Бехер. — Г. В.)

Худое, бледное лицо, на которое хотелось смотреть долго, не отрываясь. Страдальческое и злое одновременно. Незнакомому он мог показаться надменным и жестоким, а был, в сущности, добрым и мягким человеком. Разговаривая, он часто оглядывался по сторонам, как будто боялся, что его подслушивают или что его вот-вот ударят в спину.

— Вы знаете, за что я предлагаю выпить? — сказал он, держа в руках наполненную рюмку. — За тот роман, который я должен написать обязательно. Я хочу написать роман о русских. О советских офицерах. И не потому, что я многим обязан русским, что многие русские офицеры сделали для меня лично nepocтижимо много! Нет! Нет! — повторил писатель, мотнув головой. — Русские люди потрясли меня, ничего подобного я еще не видел... Где и когда видано это было, чтобы армия-победительница была так великодушна и добра к побежденному народу? Я имею в виду не официальную политику, не лозунги, которые развешаны повсюду. Между прочим, эти лозунги немцам надо было бы выучить наизусть, как стихи. Я говорю о буднях, о том, что я видел и пережил за время моего пребывания на посту бургомистра в городе Фельдберге... Черт побери! — закричал Ганс Фаллада. — Вы же пришли к нам победителями. Освободителями Европы. Четыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, не раз смотрели смерти в лицо... Тысячам смертей! Вы должны были озвереть, сердца ваши должны были стать булыжниками... У вас было право пировать, кутить, отбирать самых красивых женщин, обогащаться, наслаждаться жизнью, которую вам подарила судьба... А что я увидел? Я увидел одержимых комендантов, которые ни себе, ни мне не давали покоя, пока не откроется еще одна булочная для немцев, пока не пустят электростанцию, откроют кинотеатры, пока не завезут продукты в детскую больницу... Какое вам было дело до всего этого? Пускай немцы вымрут, подохнут с голоду, сойдут с ума — вам-то что до этого? Так даже многие немцы рассуждали в те дни... А мои друзья, коменданты, их сменилось три или четыре, чуть свет поднимали меня с постели и спрашивали: сколько я послал людей на разборку руин? сколько выпечено хлеба и завезены ли овощи? Потом они ездили

на поля, проверяли, как идет посевная, как будто это было где-то у них в Рязани, как будто этот хлеб нужен был их детям!

Ганс Фаллада умолк, глядя куда-то поверх наших голов.

Ильза Юнг, взволнованная, смотрела на писателя, не решаясь заговорить.

— Разрешите мне это записать?— спросила она наконец Фалладу.

— Ни в коем случае!— резко ответил писатель.— Я же, знаете, суверен...

Фаллада поблагодарил за неожиданный ужин. Мы обнялись, расцеловались...

Нет, у меня не было тогда предчувствия, что мы видимся в последний раз. Недели две спустя, в феврале 1947 года, Ганс Фаллада внезапно умер.

ПОТОНУВШИЙ КОЛОКОЛ

„Ich fiel. Ich lebte. fiel.
Die Glocke fiel. Wir beide:
Ich und sie. Fiel ich zuerst.
Sie aber hinterdrein“.

Gerhart Hauptmann.

«Я пал. Я жил и пал. И колокол упал.
Мы оба: я и он. Сначала я,
а после он...»

Гергарт Гауптман.

Сорока ли на хвосте принесла, или это рассказали беженцы, заполонившие все улицы Берлина, но по всему городу, по всем секторам, как пожар в лесу, разнеслась весть о том, что в Верхней Силезии, в районе Исполинских гор, на вилле «Визенштейн» в бедственном положении доживает свои дни знаменитый драматург Гергарт Гауптман.

Весть эту немедленно подхватили падкие на сенсации буржуазные журналисты, которые в ту пору во множестве наводняли Берлин. Их, разумеется, меньше всего интересовала судьба немецкого писателя, об отношениях которого с нацистами ходили всякие кривотолки. Но это был удобный предлог, чтобы выхлопотать у советских военных властей и лично у маршала Жукова пропуск в район Верхней Силезии. Там пахло сенсацией...

Маршал Жуков не торопился с выдачей пропусков.

Судьба Гергарта Гауптмана по-настоящему встревожила поэта Иоганнеса Бехера. Вернувшись из эмиграции, он, словно Диоген, метался по родной земле, разыскивая днем с огнем каждого, кто выжил, кто выстоял, кто сберег свою душу и совесть и кому надо было оказать немедленную помощь, вытащить из-под руин и пепла. Иоганнес Бехер отдался этому делу всей душой...

В нормальные времена от Берлина до селения Агнетендорф, где все годы проживал Гергарт Гауптман, можно было туда и обратно съездить за одни сутки. Осенью же 1945 года поездка в Силезию оказалась делом сложным и трудным.

Иоганнес Бехер, как это он делал тогда очень часто, обратился за помощью в «Теглихе рундшау». Она и на этот раз немедленно откликнулась на просьбу поэта. Дело, однако, осложнялось еще и тем, что дороги Германии в ту пору стали труднопроходимыми, а поезда в Силезию уже не ходили...

Пришлось тщательно, как в настоящую экспедицию, подготовиться к поездке. Редакция выделила бригаду, в которую, кроме Иоганнеса Бехера, вошли фото-корреспонденты «Теглихе рундшау», лейтенант Ханов, один немецкий сотрудник газеты и я, снабженный специальным мандатом маршала Г. К. Жукова. Мне поставили задачу благополучно доставить Иоганнеса Бехера в Агнетендорф, повидать Гергарта Гауптмана и в случае необходимости, действуя от имени советских военных властей, оказать больному писателю всяческую помощь на месте, а если он согласится, перевезти его в Берлин или Дрезден.

В наше распоряжение выделили две легковые машины, а также мощный грузовик. На нем уместились две бочки с горючим и маслом, запасные части и

машинам, крыши и камеры, инструмент и даже две походные палатки на тот случай, если нам придется заночевать в пути. На всех участников экспедиции выделили десятидневный сухой паек.

На исходе второго дня пути мы подъезжали уже к Агнетендорфу. Небольшое селение дровосеков и стеклодувов живописно раскинулось в долине: окруженной высокими густыми хвойными лесами. Еще издали мы заметили на высоком склоне горы словно высеченную из белого камня виллу писателя — «Визенштейн». Она производила впечатление средневекового замка: массивные каменные стены, высокая башня, резко устремленная ввысь черепичная двускатная крыша. Дорога все время петляла, и вилла поворачивалась к нам всеми своими четырьмя сторонами, выставляя напоказ вначале свой великолепный фронтон, затем террасу и наконец величественный, построенный на века портал, вызывающий искренний восторг.

Было пасмурно и немного сыро. Разорванные в клочья облака метались среди гор, они то уносились за покрытые лесами исполинские вершины, то, зацепившись за кроны сосен, черной тучей повисали над долиной. Мы остановили наши машины в некотором отдалении и пешком направились к воротам, за которыми проглядывался прекрасно ухоженный, по-осеннему сумрачный парк. Позволили, и сразу навстречу нам вышла высокая, седая, с горделивой осанкой женщина в черном пальто и белых перчатках — жена писателя фрау Маргарет Гауптман. Ее сопровождал мужчина с короткими усиками. Он остановился на почтительном от нас расстоянии и в стиле королевского церемониймейстера, делая поклоны то мне и Ханову, то Иоганнесу Бехеру, обратился к нам с такими словами:

— Господа офицеры! Господин президент! Вы благородные посланцы большой земли, от которой так трагически оказался отрезанным наш великий маэстро... Он одинок, покинут, и нет возможности оценить и выразить всю безмерность нашей радости по поводу вашего почетного визита, который мы считаем высокой честью, оказанной нашему дому, ставшему теперь таким тихим и забытым всеми...

Хозяйка дома, сохраняя полное спокойствие и все ту же горделивую осанку, любезно пригласила нас в дом. Она сделала это с таким изяществом и с такой грациозной сдержанностью, как будто ничего, собственно говоря, не произошло, — просто приехали желанные гости, которым хозяева дома очень рады и готовы оказать гостеприимство... Взяв под руку меня и Иоганнеса Бехера, она легкой неторопливой походкой повела нас по усыпанной песком и гравием дорожке.

Тихо и как-то жалобно шумели под ногами опавшие листья, звонко падали тяжелые капли дождя.

Гергарт Гауптман спал, и поэтому все в доме ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. Нас провели в огромный просторный холл, предложили пока отдохнуть с дороги. Фрау Маргарет извинилась и поднялась наверх. Видимо, недавно в холле зажгли камин, и берзовые поленья разгорались, освещая все предметы и лица нежным розовым светом. Было тепло и уютно.

Гергарт Гауптман проснулся, и нас пригласили в гостиную, на второй этаж. Мы поднялись по крутой деревянной лестнице и оказались в просторной комнате, где все — от обоев в мелкие цветочки до старинной, грушевого дерева мебели — было выдержано в старом добропорядочном стиле бидермайер. На стенах висели прекрасно написанные портреты писателя в разные периоды его жизни и разными художниками. За остекленными дверцами буфета сверкал всеми своими гранями драгоценный хрусталь и тончайший фарфор.

— Мебель в этой комнате, — сказал шепотом бывший при этой встрече писатель Гергарт Пооль, — подарок матери Гауптмана... Он ею очень дорожит...

Навстречу нам вынесли на руках обессиленного, бледного, но все еще величественного старика.

— Это больше, чем я ожидал, — тихо произнес Гергарт Гауптман.

Его усадили в глубоком кресле возле стола, укутали ноги легким пледом. Долгая болезнь не исказила мягких черт открытого, очень осунувшегося лица писателя. На нем был серый, свободного покроя костюм, под пиджаком виднелся теплый высоко застегнутый жилет, вокруг шеи повязан белый шелковый платок.

— Я взволнован и тронут оказанной мне честью, — продолжал Гергарт Гауптман, обращаясь, как это принято у немцев, в первую очередь к военным. — Я благодарю новую, победившую Россию, чьи люди первыми посетили меня в эти смутные и трудные дни моего одиночества.

Гауптман опустил на плед руки. После каждой фразы он надолго умолкал, тяжело переводя дыхание.

— Прежде всего я прошу прочитать моим гостям вот это место... — сказал он и протянул Поолу книжку в красном переплете — сборник «Россия и мир», выпущенный в начале 20-х годов Фрильофом Нансеном, Максимом Горьким и Гергартом Гауптманом при участии самых выдающихся европейских деятелей науки и искусства. Средства от продажи этого издания предназначались в фонд помощи голодающим Поволжья.

Нам прочитали предисловие, написанное в те годы Гауптманом.

— Выпуском этой книги, — пояснил Гауптман, — мы ответили на призыв Горького к ученым и писателям всего мира помочь молодой Советской республике. Собрали по тем временам солидную сумму денег, на них мы закупили медикаменты и пароходом отправили в революционную Россию. У нас с Горьким еще задолго до этого установились искренние дружеские отношения, — говорил Гауптман. — Я горжусь и личным знакомством, и той особой духовной близостью, которую я почувствовал в этом большом писателе из народа. В свое время меня потрясла колоссальная эпическая картина, которую нарисовал Горький в пьесе «На дне». Я имел счастье видеть ее в постановке Московского Художественного театра. До Горького никто на сцене не пропел такого гимна человеку. Люблю я и роман Горького «Мать» — это с большой художественной силой предугаданная революция.

В самый разгар беседы Гауптман вдруг умолк и весь как бы ушел в себя. Он о чем-то задумался, что-то, видимо, вспомнил. Его красивые вытянутые на плече руки чуть-чуть дрожали. Потом он опять оживился и, глядя на нас добрыми светлыми глазами, сказал громче и внятней, чем до сих пор:

— А вы знаете, до первой мировой войны никто в Германии так не знал и не любил русскую литературу, как я... И меня в России понимали как, пожалуй, нигде...

— О да! — воскликнул Иоганнес Вехер. — Вы совершенно правы, в этом я имел счастье не раз убедиться лично.

...В конце прошлого и в начале нашего века, а также на протяжении многих лет до революции имя немецкого драматурга Гергарта Гауптмана было одним из самых популярных писательских имен в России — каждая новая пьеса Гауптмана немедленно переводилась на русский язык, лучшие театры Петербурга, Москвы, Киева и других городов считали обязательным иметь в своем репертуаре пьесы модного в ту пору немецкого драматурга. Самые замечательные режиссеры России, и в первую очередь К. Станиславский, В. Немирович-Данченко и Всеволод Мейерхольд, ставили пьесы Гауптмана.

Плодотворные творческие связи установились между Гауптманом и Московским Художественным театром.

Анатолий Васильевич Луначарский в своей статье «Гергарт Гауптман в России», написанной к шестидесятилетию драматурга, наиболее тонко, пожалуй, раскрыл истоки этого творческого родства драматурга и театра. С интересом относился к раннему творчеству Гауптмана и ценил его пьесы Владимир Ильич. Об этом имеются свидетельства многих лиц, близких к Ленину, его давних и верных соратников.

Не лишен интереса тот факт, что первое собрание сочинений Гауптмана вышло в России, на русском языке, задолго до того, как оно появилось в Герма-

нии. Луначарский в лекциях, которые он читал в Коммунистическом университете имени Свердлова в Москве, утверждал, что в начале века Г. Гауптман являлся «...писателем почти русским по широте своего распространения в России...».

Интерес к творчеству Гауптмана, собственно, не угасал в нашей стране никогда.

Пока мы пили чай и беседовали, Гауптман обратился к стоявшей рядом секретарше Анни и попросил:

— Принесите мне, пожалуйста, то, что я велел приготовить...

Анни ушла в соседнюю комнату и тут же принесла оттуда две книги.

— Я берег их как самые дорогие для меня реликвии, — заметил писатель, указывая на старый, зачитанный томик в твердом коричневом переплете и на очень знакомый на вид журнал.

Что же это за книги и как они попали в библиотеку Гауптмана?

С тех пор как уже престарелый писатель решил не покидать Германию и поселился в усадьбе «Визенштейн», маленькое селение Агнетендорф постепенно стало местом, куда один за другим переселялись многие немецкие писатели, художники, музыканты, которые, не находясь в открытой оппозиции к фашизму, тем не менее не хотели сотрудничать с ним. Нацисты потратили немало усилий, чтобы перетащить их на свою сторону. Они, в первую очередь, стали всячески заигрывать с Гауптманом, который на первых порах сделал немало опрометчивых шагов, весьма скомпрометировавших его. Потом он понял свою ошибку.

Началось с того, что Гауптман категорически отказался подписать письмо группы немецких писателей к Гитлеру.

В городе Веймаре нацистское министерство пропаганды ежегодно устраивало очень помпезные «конгрессы немецких поэтов». Каждый раз сам министр пропаганды посылал Гергарту Гауптману личные приглашения. Гауптман не посетил ни одного конгресса и тем самым совершенно недвусмысленно демонстрировал свое отвращение к подобным официальным нацистским собраниям.

В 1935 году, когда находившийся за пределами фашистской Германии Томас Манн написал свою работу о Вагнере, нацисты начали дикую травлю писателя. Против Томаса Манна повели, сопровождая ее невероятным визгом, кампанию в печати и среди немецкой интеллигенции. Снова собирались подписи, с помощью шантажа и угроз инспирировались погромные выступления против одного из крупнейших современных немецких писателей. Многие не устояли перед нажимом и присоединили свой голос к беспримерной и позорной травле Томаса Манна. Гергарт Гауптман отказался выступить против Томаса Манна.

В 1942 году Гауптману исполнилось восемьдесят лет. Нацисты хотели превратить этот юбилей в «праздник единения вождя, народа и гения». Геббельс лично взялся переговорить об этой затее с гостившим в Берлине писателем. Гауптмана пригласили на семейный обед к министру. Он не явился, и тогда министр сам направился в отель «Адлон», где обычно останавливался Гауптман. Но и здесь они ни о чем не договорились. В самый разгар патетических излияний Геббельса писатель заторопился на поезд и тут же уехал в свою усадьбу.

Гауптману это не прошло даром. Газеты получили приказ урезать до размеров хроникальных заметок все юбилейные статьи о писателе, не печатать приветствий и поздравлений. В Берлине отменили все намечавшиеся постановки пьес Гауптмана, все собрания, посвященные юбилею. В провинциальных городах разрешалось ставить не более одной пьесы юбиляра, запретили какие-либо чествования, кроме узких, частных собраний в Вене и на родине драматурга.

Вот в эти-то дни Гауптман получил две бандероли без обратного адреса. В одной немецкий солдат прислал юбиляру первый том собрания сочинений Гергарта Гауптмана, изданный на русском языке в 1908 году в Петербурге. В книге лежала закладка на одной из страниц последнего акта пьесы Гергарта Гауптмана «Одинокие». В этой пьесе центральная героиня — русская девушка-революционерка, образ которой противопоставлен бесцветной, мещанской, типично бюргерской семье.

«Я подобрал эту книгу в русском окопе, — сообщал в своем письме оставшийся неизвестным немецкий солдат. И тут же спрашивал: «Зачем я стрелял в человека, читавшего вашу пьесу? Ведь он в это время несомненно наслаждался творением нашего немецкого гения! Зачем я помешал ему дочитать вашу пьесу до конца?»

В другой бандероли находился первый номер советского журнала «Театр» за 1941 год. Его прислал писателю какой-то военный врач, назвавшийся «старым почитателем» таланта Гергарта Гауптмана. Он писал: «Я нашел этот журнал в доме одной сельской учительницы под Смоленском. Ее дом оказался единственным уцелевшим от пожара и разрушения. Сама учительница вместе со всеми жителями села покинула свой дом, свою библиотеку и детские тетрадки, еще не тронутые ее красным карандашом. Среди книг учительницы я и нашел этот журнал с рецензией на постановку вашей пьесы. Русские, оказывается, накануне войны ставили ваши пьесы, а мы сорвали спектакль, не подумав о финале...»

— Эти две русские книги заставили среди пожаров и крови задуматься двух немцев... Задуматься и покраснеть... — сказал Гауптман. После долгой паузы он продолжал: — Они заставили и меня подумать о многом. Получив эти книги, я принял тогда одно решение, которое сегодня дает мне право не краснея смотреть в глаза всем честным людям и особенно вам, русским.

Речь в этом случае шла о том, что в те же юбилейные дни еще один нацистский деятель попытался использовать имя Гауптмана для поддержания престижа нацистов. Небезызвестный гитлеровский наместник Франк прибыл в Агнетендорф и официально пригласил Гауптмана посетить премьеры его пьес в Париже, Кракове и Праге. Гауптман, вспомнив о полученных бандеролях, категорически отказался от приглашения. Он заявил: «Никогда моя нога не ступит на землю, захваченную немецкими солдатами. Я знаю, там совершается несправедливость».

Премьеры отменили...

Свое презрение к нацистам и нацистскому режиму Гергарт Гауптман не старался скрыть и при случае высказывался по этому поводу совершенно недвусмысленно. Он порой не отказывал себе в удовольствии поиздеваться над теми из нацистских бонз, которые пытались лестью заслужить расположение писателя, назойливо вертелись вокруг него. В таких случаях Гауптман вспоминал о своей дружбе с социалистами, о встречах и душевных разговорах с ними. Иногда эти воспоминания начинались так.

— Когда-то мой друг старик Август Бебель... Вы когда-нибудь читали Бебеля? — спрашивал он растерявшегося верноподданного нациста.

А тот при этом краснел и бледнел, обливаясь холодным потом.

В конце войны, прочитав в газетах сообщение о создании «фольксштурма», Гауптман заявил:

— Теперь виден осадок на дне рассохшейся бочки...

Услышав по радио о смерти Гитлера, Гауптман сказал своим друзьям:

— Самый кровавый фразер мировой истории потух, как сальная свечка.

И снова, как бы предчувствуя возможность появления новых адольфов, писатель добавил:

— Избави нас бог от второго такого Гитлера.

Во время беседы, когда Гауптман, устав, сделал большую паузу, фрау Маргарет рассказала нам один полный глубокого смысла эпизод, происшедший однажды ночью на вилле «Визенштейн». Она рассказывала это с юмором, но временами украдкой нет-нет да и приложит к глазам надушенный носовой платок, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.

... После непродолжительной артиллерийской перестрелки в селение Агнетендорф вошли советские войска. Это было ночью. Гауптман лежал больной, у его постели оставались только его жена Маргарет и массажист господин Мецке. Все остальные, населявшие дом писателя, спрятались в подвальном этаже.

В парадную дверь постучали, и стук этот глухо разнесся по всему опустевшему особняку. Никто не рискнул откликнуться. Тогда стук повторился, и на

этот раз еще более настойчиво. Стараясь не шуметь и не быть замеченным, господин Мецке выглянул в окно.

— Русские солдаты, — сказал он, побледнев.

Гауптман посмотрел на жену. Она осталась спокойной.

Господин Мецке спустился вниз и распахнул перед солдатами двери. Они вошли в просторный холл и не могли скрыть своего изумления. Солдаты велели полностью включить освещение и принялись с любопытством разглядывать великолепную роспись стен, скульптуры и фрески, фарфор и ковры, сvezенные сюда со всех стран, где пришлось побывать за свою долгую жизнь писателю.

— Клуб или музей? — спросил один солдат другого.

Господин Мецке попытался объяснить, что хозяин болен, что ему нужен абсолютный покой и он очень просит не беспокоить его. Солдаты не знали немецкого языка, но, однако, поняли, что попали не в музей, ни тем более в клуб.

— Стало быть, тут буржуй живет! — сделал вывод первый солдат и стал поправлять на плече ремень автомата.

— Капиталист! — словно наложив резолюцию, сказал второй.

Ужас охватил господина Мецке, когда он услышал из уст советских солдат эти хорошо известные ему слова «буржуй», «капиталист»... Он вполне отдавал себе отчет в том, что эти слова прозвучали только что как беспощадный, неумолимый приговор. И господин Мецке на всех известных ему языках стал кричать:

— Писатель! Драматург! Гергарт Гауптман!..

Солдаты внимательно прислушивались к словам господина Мецке, но понять ничего не могли. Тогда расторопный фельдшер сбежал в библиотеку и через секунду принес оттуда журнал «Театр» номер первый за 1941 год. Еще стоя на лестнице, господин Мецке, вытянув руки, показывал журнал, на обложке которого был напечатан портрет Владимира Ильича Ленина. Солдаты улыбнулись, и господин Мецке понял, что дом Гергарта Гауптмана спасен.

Все сразу переменялось. Господин Мецке показал солдатам рецензию, и они догадались, что именно в этом доме живет автор пьесы «Перед заходом солнца» Гергарт Гауптман — знаменитый немецкий писатель. Солдаты оказались квартирьерами. Им предстояло разместить на отдых уставшую после боев и походов роту. Многих могла бы вместить и обогреть вилла писателя, но узнав, кто здесь живет, солдаты извинились за беспокойство и на цыпочках ушли. Вскоре у ворот виллы появился патруль, чтобы никто не нарушал покоя больного.

Наутро Гауптмана посетил совсем еще молодой советский офицер, который назвался лейтенантом Петровым. Он немного говорил по-немецки и сумел объяснить жене писателя, что пришел хотя бы одним глазком взглянуть на автора «Ткачей», пожелать ему выздоровления и новых творческих сил.

— Что вы с нами теперь сделаете? — спросил советского офицера Гауптман. — Горе нам, если вы решили отомстить немцам за все содеянное.

— Мы пришли наказать преступников. Немецкому народу мы желаем счастья, — ответил писателю старший лейтенант Петров.

Гауптман долго и пристально смотрел в глаза офицеру, потом сказал:

— Я вам верю... Когда смотришь в глаза русского человека, видишь всю его душу.

Выслушав этот рассказ, Иоганнес Бехер снял, волнуясь, очки, стал протирать стекла.

— А вот как поступили гитлеровские солдаты в Ясной Поляне, усадьбе Льва Николаевича Толстого...

Гауптман слушал рассказ Иоганнеса Бехера с широко раскрытыми глазами. Тяжело и прерывисто дыша и слегка заикаясь, он тихо произнес:

— То, что произошло, так ужасно, так чудовищно, так отвратительно, что я не могу ни с чем это сравнить. Я не сомневаюсь, что если не сейчас, то через пятьдесят лет немецкий народ снова найдет себя. Он возродится. Но это должен быть уже другой народ, а не тот, что так слепо пошел навстречу своей катастрофе.

Заговорили о делах послевоенной Германии. Иоганнес Бехер рассказал

Гауптману о созданном в Берлине союзе прогрессивных деятелей немецкой культуры — о «Культурбунде».

— Вновь открыть и поднять великие сокровища немецкого народа — одна из почетных обязанностей, взятых на себя нашим союзом, — говорил Иоганнес Бехер, и голос его звучал в наступившей тишине отчетливо и веско. — Мы проникнуты глубоким убеждением, что под развалинами, нагроможденными по всей Германии, покоятся такие вечные национальные ценности, спасение которых равносильно спасению нашего города от духовной и моральной нужды, оставленной нам после двенадцати лет гитлеровского господства. Мы оглядываемся вокруг, присматриваемся к тем, кто уцелел под ударами нашей национальной катастрофы, и протягиваем руку каждому, кто заслужил это. Мы обращаем свои взоры в прошлое, вглядываемся в настоящее. Мы обращаемся к живым и мертвым, ко всем добрым духам, которые могут помочь нам в нашей тяжелой битве за наше возрождение и существование...

Долго не умолкал взволнованный голос поэта. Он рассказывал о том, как начали собираться лучшие силы немецкой интеллигенции, с каким подъемом берутся за работу немецкие писатели и музыканты, художники и артисты, учителя школ и профессора университетов.

В Берлине в те дни на сцене вновь открывшегося немецкого театра и названного именем Макса Рейнгарда уже шла пьеса Готтольда Эфраима Лессинга «Натан мудрый». Роль монаха играл близкий друг Гауптмана артист Эдуард Винтерштейн.

Студенческая молодежь вместе с профессорами и доцентами выходила на первые субботники, чтобы очистить от руин, от мусора и щебня подступы к Берлинскому университету.

— Я особенно радуюсь тому, что открываются университеты, — говорил Гауптман. — Это очень хорошее начало. Отсюда, с гуманитарных наук, нам надо начинать переучиваться, отсюда должно пойти наше духовное исцеление. Какая это грандиозная работа!

Они сидели рядом — два немца, два больших поэта с такой необычной, разной творческой и жизненной судьбой. Покрытое глубокими морщинами лицо Гауптмана было грустным, задумчивым.

По поручению союза прогрессивных деятелей немецкой культуры Иоганнес Бехер передал просьбу к Гауптману стать почетным председателем «Культурбунда».

Медленно, точно подбирая и взвешивая каждое слово, Гауптман сказал:

— Я с вами... Это мой национальный долг. Вместе с моим народом я отдаю все мои последние силы делу демократического обновления Германии.

Гауптман выразил желание через газету «Теглихе рундшау» обратиться к немецкому народу. Милая Анни немедленно достала блокнот, с которым, как я заметил, она не расставалась ни на минуту, присела у ног писателя и стала ждать. Медленно, почти шепотом Гауптман, слегка заикаясь, продиктовал:

— «Нет ни одного мгновенья, когда бы я не думал о Германии, хотя, к сожалению, я не обладаю такой силой, чтобы действовать так, как хотел бы. Каждый небольшой успех — днем и ночью, наяву и во сне — это и есть для меня Германия. Я не знаю других мыслей — все только мысль о Германии. Если можно к этому что-нибудь добавить, то это твердая вера в новое рождение Германии, и я ни на мгновение не отступлюсь от этой веры. И нет другой мысли, которая не звучала бы радостно в унисон этому. Я знаю, что все добрые силы, я бы сказал всего мира, охвачены тем же стремлением, и поэтому твердо надеюсь, что смогу в полной мере участвовать во всеобщем возрождении».

Гауптман умолк и как-то властно, одним жестом дал знать, что диктовка закончена. Писатель дышал трудно, он очень устал.

Долго никто из нас не посмел нарушить наступившего молчания. Наконец снова вошла Анни и принесла отпечатанную страничку. Она негромко, внятно перечитала автору только что продиктованный текст и подала ручку. Гергарт Гауптман подписал текст.

Мы спустились вниз, в гостиную. Там было холодновато. Фрау Маргарет кутаясь в теплую горностаевую накидку, припоминала разные случаи из своей богатой впечатлениями жизни. Она вспомнила, между прочим, как однажды Станиславский разучивал с ней по-русски одну только фразу: «Я люблю тебя, мой голубчик...»

Узнав, что один из присутствовавших советских офицеров по национальности татарин, она тут же произнесла эту фразу на татарском языке. Кто учил ее татарскому, она так и не вспомнила.

— Знайте, — обратилась ко мне фрау Маргарет, — что вы не первый русский комиссар, с которым я беседую... Я ведь встречалась с Луначарским, вашим министром культуры.

— Он был народным комиссаром просвещения, — уточнил я.

— Да, да! Комиссаром. Вначале, когда нас усадили рядом, я, признаюсь, испугалась, но он оказался таким интересным собеседником. Настоящий джентльмен...

Я попытался было расспросить, где и когда происходила эта встреча, о чем шел разговор, но фрау Маргарет, улыбувшись, сказала.

— Вы слишком многого от меня хотите... Это же было так давно...⁴

Вошел господин Мецке и сказал, что настало время подкрепить больного.

— О, господи! — воскликнула фрау Маргарет. Она вынула из серванта бутылку, где почти на самом доньшке отливала золотом какая-то жидкость.

— Последние капли, — сказала она, подавая господину Мецке бутылку.

— Что будем делать? — сокрушенно спрашивал фельдшер. и на лице его изобразилось тяжелое, неутешное горе.

Речь шла о последних каплях коньяка.

Оказывается, по предписанию врачей Гауптман почти всю жизнь пил коньяк как незаменимое лекарство для поддержания сердечной деятельности, поэтому в доме писателя запасы коньяка никогда не иссякали. В те дни, оказывается, больной допивал последнюю бутылку...

Когда мы все разошлись по комнатам, отведенным для отдыха, ко мне постучался Иоганнес Бехер.

— Вы ничего не можете придумать? — спросил он меня.

— Среди продуктов, которые мы захватили на дорогу, коньяка, к сожалению, нет, — ответил я. — Консервы, хлеб, колбасу я уже отдал повару. Может съездить в Лигниц к Рокоссовскому? — предложил я.

— Удобно ли это? — засомневался Бехер.

В городе Лигнице в то время стоял штаб советских войск, и я не теряя времени рано утром направился туда. Меня немедленно принял генерал, член Военного совета. Он заинтересовался судьбой писателя, с произведениями которого был знаком, и попросил меня подробно рассказать ему о творческой деятельности и политической позиции Гауптмана в годы нацизма. Расспросил подробно о его нуждах. Выслушав меня, генерал велел составить список всего необходимого и вызвал к себе полковника из управтыла.

— Придется, товарищ полковник, зачислить на довольствие еще одного писателя.

— Из Союза писателей? — поинтересовался полковник.

— Немецкого, — ответил, улыбаясь, генерал.

— В какое подразделение он направлен? — допытывался деловой полковник.

⁴ Много лет спустя в 82-м томе «Литературного наследства» я нашел свидетельство самого А. В. Луначарского о его встрече с Гергартом Гауптманом, состоявшейся осенью 1930 года. «По немецкому этикету, — вспоминал А. В. Луначарский, — меня нельзя было посадить рядом с Гауптманом за завтраком, потому что двух мужчин рядом в этих случаях не саждают. Моей соседкой оказалась мадам Гауптман.

Она, вероятно, уже очень не молода, но это отнюдь не бросается в глаза... Она с удовольствием беседует со мной о целях моей поездки в Германию, о том, как идут дела просвещения в нашей стране...».

— Можно зачислить его, скажем, в оркестр барабанщиком, но паек придется выдать по одиннадцатой норме.

— По одиннадцатой? Курортной? Оркестру не положено...

— Не положено? Много, товарищ полковник, не положено... А в каком воинском уставе предусмотрено все то, чем нам приходится здесь заниматься? А мы занимаемся — открываем пекарни для населения, заботимся о нормальном богослужении в костелах, закрываем дома герпимости... Даже разъясняем политику Советской власти помещикам и капиталистам. Мы коммунисты, товарищ полковник, и поэтому за всю вселенную в ответе... И за жизнь этого немецкого драматурга, за то, чтобы нормально билось его сердце, мы тоже отвечаем. Понятно?

— Понятно, товарищ генерал. Кто распишется за продукты?

— И двадцать бутылок коньяка надо выдать писателю, — распорядился генерал. — Да, коньяка, товарищ полковник, это для него вроде микстуры, для сердцебиения...

Вечером я возвратился в Агнетендорф с полной машиной продуктов и двадцатью бутылками коньяка.

На следующий день с утра Гауптман выразил желание еще раз побеседовать с приехавшими. Мы собрались в той же комнате, что и накануне. Здесь обычно писатель каждое утро пил с женой кофе. Яркое осеннее солнце освещало развешанные по стенам картины известных мастеров живописи. Особенно обращал на себя внимание большой портрет писателя работы немецкого художника Лео фон Коннига.

Гауптман начал рассказывать о произведениях, написанных им в последние десятилетия, о его творческих идеях и замыслах. Гауптман заметно оживился и стал охотно рассказывать о своей работе, которая, несмотря на преклонный возраст писателя, никогда не прерывалась.

После драмы «Перед заходом солнца» Гауптман написал целый ряд драматических произведений, которых за пределами Германии тогда почти не знали. В их числе, например, «Гамлет в Виттенберге» (1935), «Ифигения в Дельфах» (1940), «Ифигения в Авлиде» (1943) и некоторые другие... Наиболее крупным прозаическим произведением этих лет явилась новелла «Миньон», законченная в 1944 году, но к тому времени еще не опубликованная.

— Я люблю это произведение больше всего, — сказал Гауптман и грустно добавил: — Думаю, что это моя лебединая песня...

Много лет Гауптман работал над прозаической эпопеей «Новый Христофор». Автор намеревался создать монументальное произведение и воплотить в нем свое моральное кредо. Он долго объяснял нам свой замысел, систему образов, идею, а потом сказал:

— Впрочем, я и сам еще не знаю, что у меня получится и как я выберусь из этого лабиринта.

Болезнь, видимо, очень изломала писателя, еще недавно не по годам крепкого, подвижного и деятельного.

— Ты отдохни, — сказала фрау Маргарет, — а я расскажу им о реквиеме...

Гауптман вдруг заволновался и спросил:

— Ты считаешь это необходимым?

— Думаю, нашим гостям это будет интересно...

— Ну хорошо, рассказывай, — согласился Гауптман и, склонив голову набок, все время смотрел на фрау Маргарет с таким любопытством, будто все, что она сейчас рассказывала нам, он узнавал впервые.

А рассказала нам фрау Маргарет вот какую и в самом деле интересную историю...

...На протяжении многих лет Гауптмана связывала прочная и нежная дружба с известным силезским фабрикантом и меценатом Максом Пинкусом, на текстильных фабриках которого изготавливали самое ходкое в мире отличное столовое белье — скатерти и салфетки из белоснежного мадаполама. Макс Пинкус — че-

ловец очень образованный и тонкий ценитель искусства, влюбленный в Гауптмана и в его творчество. В своей библиотеке он собрал все, что писалось о драматурге на всех языках мира. Гауптмана всю жизнь не переставала волновать и незаурядная личность и необыкновенная судьба друга, которую он отобразил в своих известных драмах «Перед заходом солнца» и «Черная маска». Именно Макс Пинкус послужил прототипом Маттиаса Клаузена в пьесе «Перед заходом солнца».

В феврале 1937 года в Рапалло, где писатель проводил зиму, он написал свою одноактную пьесу, которую не без умысла назвал «Die Finsterniss» — «Тьма».

Написанная после пьесы «Перед заходом солнца», эта маленькая вещь стала по существу реквиемом по умершему другу, в ней нашли выражение боль и скорбь, переполнявшие душу писателя. С исключительной силой прозвучал в ней гнев Гауптмана по адресу нацистских расистов.

...Действие пьесы происходит в маленьком силезском городке в 1934 году. На сцене просторное высокое помещение в стиле позднего ренессанса. Тяжелые потолки, тускло освещенные свечами, как бы еще более подчеркивают сгущившуюся за окнами темень. Входит скульптор Кронер, приглашенный снять маску с умершего тайного советника. Скульптор Кронер, выписанный сочно, по-гауптмановски, демонстративно решил заниматься этим ремеслом, ставшим для него единственным источником существования, ибо при создавшейся тогда «политической обстановке» в Германии он не может пробиться со своим искусством, а творить то, чего требуют от него власть имущие, он не хочет. Та же «политическая обстановка» накладывает свой отпечаток и на все, что происходит на сцене. Как только один из слуг начинает перечислять добродетели покойного, говоря: «И никто никогда не уходил от него неутешенным, не одаренным...» — другой слуга прерывает его, оглядываясь по сторонам: «Помолчи лучше, а то как бы тебе язык не прижгли...»

Дело, оказывается, в том, что нацистские власти скрыли от городского населения смерть тайного советника Макса Пинкуса, «чтобы не поставить горожан перед конфликтом совести». Город очень многим обязан покойнику, поэтому открытые похороны могут наверняка вызвать нежелательную сочувственную демонстрацию. В страхе перед возможной демонстрацией нацисты приказали похоронить неарийца Макса Пинкуса тайно, глубокой ночью, и вот уже слышно, как гремят за окном колеса катафалка.

На проводы-панихиду, в которой принимают участие только самые близкие родственники покойного, пришел единственный ариец, христианин, поэт Гердберг с женой. В этом образе Гауптман подчеркнуто дает свой весьма точный портрет. Мы узнаем его по многим чертам, и в первую очередь по характерной медлительной, слегка заикающейся манере разговаривать. Между прочим, именно эту черту особенно подчеркнул Томас Манн, рисуя в своей книге «Волшебная гора» образ Мингерра Пеперкорна, прототипом для которого послужил некоторыми своими чертами Гауптман.

Поэт Гердберг, осмелившийся отдать последний долг своему другу, произносил над гробом прочувственную речь. В ней подчеркивается не коммерческая деятельность покойного, а то, что он явился основателем фундаментальной библиотеки, принесшей большую славу городу. Именно основание библиотеки поэт считает важнейшим и главным делом покойного друга, глубоко понимавшего и любившего немецкую культуру. Касаясь того, что «политическая обстановка» не дает возможности жителям города отдать долг своему благодетелю, поэт Гердберг произносит слова, являющиеся ключом, основной идеей пьесы. «То, что сегодня происходит здесь, в нашем городе, — говорит поэт, — касается не только вас... Это всех нас касается... Всей Германии...»

В годы нацизма пьеса «Тьма» не могла, разумеется, быть напечатанной. Рукопись ее была долгое время за семью печатями заперта в письменном столе писателя. И только летом 1942 года он решил перепечатать ее в десяти экземплярах на машинке и раздать самым близким и надежным друзьям: Ф. Фойгту,

доктору Бейлю, Рейхарту и некоторым другим. Надеялись, что хоть одному из них удастся переправить рукопись за пределы гитлеровского рейха и сделать достоянием мировой общественности.

Это удалось только одному человеку — известному исследователю творчества Гауптмана профессору Рейхарту, который издал эту пьесу в Нью-Йорке в количестве... четырехсот экземпляров.

В ящиках письменного стола писателя долгие годы оставался большой, написанный в годы войны цикл терцин «Великая мечта» («Der Große Traum»). В терцинах, представляющих несомненный интерес, выражены антифашистские настроения Гауптмана.

Злым, беспощадным памфлетом на третью империю Гитлера являются, например, вот эти строки, написанные в ноябре 1942 года:

Германия, великая страна,
Зловонной уподобилась трясине,
Где все, чем в мире славилась она,
Бесславно гибнет в липкой смрадной тине,
Плодильня трупных мух, гнойник земной,
Для палачей эдемом ставший ныне!

Свой клюв стервятник притупил жратвой,
Не зная страха, входят в храм гнены,
И нагло пожирают хлеб святой,
И гадят на пол, мочатся на стены.
А тигр мурлычет, кровью пресыщен,
И лишь глаза горят огнем гнены.

Ему готовят европейский трон.
Пред ним рагу из падали. Он смраден
И зрелищем гниенья упоен.

И осмелев, шакалы бродят рядом,
И чьи-то кости в темноте хрустят.
И шепчет мир, ища смятенным взглядом:
«Где зверь? Кого он жрет?» Мой скорбный брат,
Пройди с поникшим от печали взором,
Пройди скорей и не гляди назад.
На гноище, смердящее позором!

(Перевел В. Левик)

— Вы будете первыми, кто прочтает эти терцины, — сказал Гауптман, передавая рукопись Бехеру.

Сердечно поблагодарив автора, Бехер попросил разрешения опубликовать стихи в «Теглихе рундшау».

— Это большая честь для меня, — ответил Гауптман.

После вчерашнего обращения Гауптмана к немецкому народу, которое он вручил Бехеру, мне захотелось, чтобы писатель изложил на бумаге то, что накануне он говорил о своих связях с русской литературой, с Россией. Я попросил его написать хотя бы несколько слов об этом для газеты «Теглихе рундшау».

— С большим удовольствием! — ответил он и продиктовал все той же Анни следующее: — «Мои литературные корни уходят к Толстому: я никогда не стал бы отрицать этого. Моя драма «Перед заходом солнца» — результат плодотворного влияния «Власти тьмы». Отсюда и особая манера ее смелого трагизма. Богатства литературных сокровищ в немецких переводах наполнили всю эпоху нашей юности. Семена, взошедшие у нас, пересажены в своем большинстве из русской почвы. Когда я пишу это, я думаю о первом почетном визите представителей новой России, посетивших меня в моем одиночестве, и я, естественно, отвечаю на это сердечным приветом».

В этих нескольких словах сказано многое. В самом деле, к тому времени, когда поколение Гауптмана выходило на арену литературного творчества, Россия стала духовным светочем своего времени. Она дала миру Достоевского и Толстого, уже создавался Московский Художественный театр, ставший целой

эпохой в развитии мирового театрального искусства. Современником Гауптмана был Антон Павлович Чехов, родоначальник новой русской драматургии, на основе которой утверждал свои принципы Станиславский. Это были годы, когда особенно громко звучал голос буреветника Горького. Нет, не ради простой вежливости сказал Гауптман, что богатства русских литературных сокровищ в немецких переводах наполнили всю эпоху его юности.

Возвращаясь к разговору, состоявшемуся накануне, Гауптман повторил:

— Я уже говорил, что знаю русскую литературу точнее и лучше, чем кто-либо другой в Германии. Я читал и перечитывал не только Толстого и Достоевского, но и Тургенева. Очень люблю Чехова.

Гауптман тепло вспоминал в этот вечер свои встречи со Станиславским. Он между прочим вспомнил и об игре Андреевой в спектакле «Одинокие», который МХТ показал во время гастролей в Германии. Писатель впервые улыбнулся, когда рассказывал об одной рецензии на этот спектакль. Берлинский рецензент совершенно серьезно просил актрису Андрееву играть похуже, ибо зритель не может примириться с тем, что Йоганнес Фокерат, роль которого играл Качалов, уходит от такой очаровательной Кете к русской революционерке Анне Мар. Кстати, эту роль играла Ольга Леонардовна Книппер.

— Когда это было? — спросил я Гауптмана.

— Давно, очень давно, — ответил он. — Я даже точно не помню...

Фрау Маргарет Гауптман подсказала:

— В тысяча девятьсот шестом году, мой дорогой...

...Утром меня разбудили тревожные голоса в коридоре.

Быстро одеваюсь, выхожу и вижу Бехера, окруженного всеми обитателями дома. Какой-то незнакомый немец, по виду крестьянин, что-то ему взволнованно рассказывает, все время размахивает руками. Бехер явно смущен, пожимает плечами, то и дело протирает очки.

— Больной останется теперь без капли молока, — слышится полный отчаянья голос фрау Маргарет.

— Что случилось, геноссе Бехер? — спрашиваю я.

— О, господин капитан! — бросается ко мне жена писателя. — Только вы нам можете помочь...

Мне рассказывают историю, над которой, я надеюсь, сегодня от души посмеются и наши польские друзья.

В деревне Агнетендорф, недалеко от виллы Гауптмана, находилось довольно зажиточное хозяйство, на протяжении многих лет поставлявшее писателю мясо, овощи, молочные продукты. И вот к этому немецкому крестьянину пришли польские комсомольцы, с тем чтобы конфисковать всех его четырех коров. Хозяин, узнав, что к Гауптману приехал из Берлина сам министр культуры (так тогда величали Бехера), бросился к нему за помощью и защитой.

— Мы ведь не можем вмешаться... Мы не правомочны, — убеждает Бехер крестьянина, который ловко учел ситуацию и явно хотел именем Гауптмана спасти своих коров.

— Чем я буду его кормить? — сокрушается вслух фрау Маргарет. — Ему нужна строгая диета и молоко, только молоко...

Я подумал: если вчера еще мы обеспечивали больного писателя коньяком, то как же сегодня можно оставить его без молока?

— Пойдемте, — сказал я хозяину коров, — попробую с ними договориться...

Коров уже вывели из сарая во двор. Чего-то ожидая, стояли польские комсомольцы вместе с пожилым солдатом польской армии, хорошо говорившим по-русски. Солдат мне сразу заявил, что он против конфискации этих коров, но ребят убедить не может. Они его не слушают.

— А зачем вам нужны эти коровы? — спросил я.

Мне объяснили, что среди прибывших в Силезию польских товарищей есть больные туберкулезом, который они нажили, когда сидели в немецких концлагерях и тюрьмах. Для них комсомольцы решили в своей столовой организовать диетическое питание — им как воздух нужно молоко.

— А пан ефрейтор защищает немцев...

Это сказала предельно возмущенная, метавшая искры из глаз молодая полька.

Что я мог им ответить? Как мог я сделать выбор между умирающим Гауптманом и польскими товарищами, вышедшими из концлагерей и тюрем! Нелегкая задача!

Я рассказал польским товарищам о том, зачем я сюда приехал, кто такой Гауптман и как важно не только для немцев сохранить ему жизнь, обеспечить покой, оказать поддержку. Меня слушали со вниманием, даже с интересом, и только в глазах молодой польки я никак не мог увидеть хоть каплю сострадания.

— Что же вы предлагаете? — спросила наконец она.

— Стоит ли вам возиться с этими коровами? — сказал я. — Ведь их надо кормить, уметь как следует выдоить, и вообще возни с ними уйма...

— Нам для товарищей ничего не трудно, — ответила резко девушка.

— Но разве это единственный способ обеспечить молоком ваших друзей? — продолжал я гнуть свою линию.

Я предложил комсомольцам поставить все это дело на более прочную основу: произвести учет не только коров, но и коз, овец, птицы, проверить запасы овощей и обложить хозяина твердой продрозверсткой — иными словами, обязать ежедневно поставлять в их столовую молоко, сливки, яйца, овощи, учтя при этом и ту долю, которая предназначалась для Гауптмана.

Мое предложение пришлось по душе.

Когда я обо всем рассказал Бехеру, он в благодарность впервые предложил мне чашку черного кофе, который обычно приготавливал сам.

В тот же день на виллу Гауптмана пришел низенький, спорбленный старик в поношенном сером пальто, с белой повязкой на левом рукаве.

— Профессор Кюннеман, — представился он.

Это оказался известный немецкий литературовед, почетный профессор Кембриджского, Колумбийского и прочих университетов.

— Жертва фашизма, — продолжал рассказывать о себе профессор.

— Вы сидели в концлагере? — спросили его.

— Хуже! — воскликнул профессор. — Меня лишили кафедры. И вот как это произошло. Я читал курс классической литературы в университете в Бреслау. О Данте, о Петрарке, о Лукреции... Вам что-нибудь говорят эти имена, молодой человек? — спросил меня профессор и продолжал: — Однажды весной, когда окна аудитории университета были раскрыты настежь, я читал своим студентам сонеты Петрарки. В подлиннике, разумеется... И вдруг в раскрытом окне послышалась музыка. Военный духовой оркестр играл марш, в такт которому лихо маршировала рота эсэсовцев. Я сошел с кафедры, наглухо закрыл ставни и сказал: «Оставим преходящее и вернемся к вечному!» Это стало известно в Берлине, и меня отрешили от кафедры...

— А к чему эта белая повязка у вас на рукаве? — спросил профессора Бехер.

— Знак полной капитуляции перед победителем, — высокопарно ответил профессор.

— А разве есть такое распоряжение? — спросил Бехер.

— О нет! — продолжал в том же тоне профессор. — Победители великодушны, но я считаю, что немцы должны сами заклеить себя этим знаком позора...

— К чему такое самоуничижение, профессор? — заметил Бехер. — Немцы, я думаю, еще вернут свое доброе имя, свою славу народа поэтов и мыслителей...

Профессор умолк, явно смущенный, а затем обратился ко мне:

— Я принес для вашей газеты небольшой научный трактат о Льве Толстом. «Лев Толстой и его путь к богу» — прочел я заглавие и показал Бехеру.

— Вы читали работы Ленина о Толстом? — спросил Кюннемана Иоганнес Бехер.

— Ленина? — переспросил удивленный профессор. — Насколько я слышал, Ленин занимался политикой...

— Эти слухи имеют под собой известную почву,— вставил, слегка улыбнувшись, Бехер.— Тем не менее,— продолжал он,— у Ленина имеется ряд статей, посвященных Толстому, есть работы, которые стали основополагающими для советской литературы и советского литературоведения.

— Впервые слышу об этом,— промолвил озадаченный профессор.

— Как это типично для ученых Запада,— сказал Бехер,— они с завидным усердием роются в давно минувшем и совершенно глухи ко всему, что происходит вокруг сегодня... А ведь не все в наши дни преходяще, многое из того, что происходит сейчас, останется на века... Вот вы говорили, профессор, о Петрарке,— продолжал Иоганнес Бехер,— а ведь и он был не только великим лириком, но и великим борцом, он писал не только сонеты Лауре, но и гневные, бичующие памфлеты...

Нас пригласили в столовую на чашку кофе. Фрау Маргарет в черном бархатном платье и в той же наброшенной на плечи горностаевой накидке усадила меня и Бехера слева и справа от себя и умело повела разговор на нейтральные темы. Но вот профессор Кюннеман опять обратился ко мне:

— Простите меня, молодой человек, но именно из ваших уст, от представителей Советской России, я хотел бы узнать, что такое социализм и коммунизм. Почему это не одно и то же?

Признаюсь, я несколько смутился, и, по правде говоря, мне почудился в этом вопросе элемент какой-то провокации. «Это что, экзамен?» — подумал я, но все же решился и повторил общеизвестную формулу «от каждого по способностям и каждому по труду, а потом и по потребностям».

— Гениально! Это совершенно гениально! Вы слышали что-нибудь подобное, фрау Гауптман? — без меры восторгался профессор.

Бехер улыбнулся, выждал, когда прекратится неумное ликование ученого, и сказал:

— Дорогой профессор, а ведь эти действительно гениальные мысли впервые сформулированы на немецком языке...

— На немецком? — переспросил пораженный профессор.— Кем? Когда? Где?

— Это вы можете прочесть у Карла Маркса,— сказал Бехер.

— Ах, у Маркса,— повторил профессор, как бы давая понять, что в таком случае с него и спросу нет.

Но Бехер решил, видимо, не оставлять профессора в таком блаженном убеждении.

— Как можно, профессор,— сказал он,— быть в наше время ученым, считать себя специалистом в области философии, искусства, литературы и быть в полном неведении, я бы сказал, в беспечном неведении в отношении научной теории, опираясь на которую миллионы людей потрясают весь мир, изменяют его, строят новую жизнь?

Спор, начатый за чашкой кофе, затянулся, он продолжался за полночь, когда супруги Гауптманы давно уже улеглись спать, а группа немецких писателей и ученых, пришедших для беседы с Бехером, собралась в круглой комнате архива Гауптмана.

Я внимательно прислушивался к спору немцев, хотя и не знал еще, что спор этот только начинается, что он затянется на много лет, пройдет водоразделом через всю Германию, через судьбы народа и отдельных людей.

...В мандате, подписанном маршалом Г. К. Жуковым, было написано весьма четко и ясно: «Оказать писателю Гауптману всяческую помощь и содействие во всем, в чем он будет нуждаться. В случае необходимости и возможности организовать его переезд на новое место жительства».

Продуктами на первое время дом Гауптмана мы обеспечили, но надолго ли ему всего этого хватит? В беседах, которые Бехер вел с фрау Маргарет, выяснилось, что Гауптман дал согласие переселиться в Дрезден или в Берлин.

— Если от Дрездена что-нибудь осталось,— тихо промолвил при этом

Гауптман, недавно лично переживший уничтожение города английскими и американскими бомбардировщиками.

Иоганнес Бехер заверил, что все имущество и все, что дорого писателю на вилле «Визенштейн», будет сохранено и перевезено вместе с ним. Но когда это можно сделать? В ту осень о переезде и думать нельзя было, болезнь писателя не позволяла сделать это немедленно, надо ждать, когда он выздоровеет и окрепнет. Значит, всю зиму писателю предстояло прожить на вилле «Визенштейн», в огромном каменном замке, который предстояло отапливать, освещать и кормить всех, кто жил вместе с ним, кто лечил и обслуживал его. Очень не хотелось, чтобы писатель, проживший в этих стенах своего дома более сорока счастливых лет, теперь оказался на голодном пайке и согревался у допотопной, примитивной буржуйки.

Решили привлечь к судьбе Гауптмана внимание местных польских властей.

В городе Гиршберге находились тогда руководители польских властей, подчиненные непосредственно польскому правительству в Варшаве. Они ведали всеми делами на территории Верхней Силезии. Товарищи приняли меня без проволочек, немедленно. Я предъявил мандат, подписанный маршалом Жуковым, и этого оказалось достаточно. Люди умные и образованные, они все сразу поняли. Вечером вместе со мной они приехали в Агнетендорф, где уже горели свечи и все с нетерпением ждали моего возвращения. Гостей и на этот раз принимали в той же самой комнате на втором этаже, которая при свете свечей казалась еще торжественней и нарядней.

Гауптмана снова усадили в кресло, укрыли ноги пледом. Держался он молчком, гостей рассадили справа и слева от хозяина.

От имени польских властей товарищи заверили писателя, что дом его и покой его отныне будут находиться под их защитой и постоянной охраной, что его обеспечат всем необходимым. Товарищи говорили без переводчика, на хорошем немецком языке.

На другой день на всех, кто находился в доме Гауптмана, выдали продуктовые карточки, на зиму завезли дрова и уголь. У входа в парк появился постовой милиционер. Затем Гауптману вручили охранную грамоту, снабженную большой круглой печатью и подписанную министром культуры Польской Народной Республики Лоренцем.

«На основании указаний специальной комиссии маршала Жукова, — гласила грамота, — немецкий писатель Гергарт Гауптман и его дом в Агнетендорфе находятся под особой охраной Польского государства. Категорически запрещается переступать без разрешения порог этого дома, реквизиция каких-либо вещей, принадлежащих писателю, а также оскорбление лиц, проживающих в нем.

За нарушение виновные будут подвергнуты суровому наказанию!»

Грамоту поместили в рамку под стеклом и повесили на парадных дверях.

Мы пробыли в Агнетендорфе шесть дней. Пора было возвращаться в Берлин. Расставаться с большим писателем было и трудно и жалко. Подавая на прощанье руку, Гауптман тихо спросил меня:

— Значит, вы уже покидаете нас?

— Мы расстаемся ненадолго, — утешал я его. — Мы будем думать о вас...

— А ведь он как будто предугадал свою судьбу, когда еще в молодости написал поразительную легенду о потонувшем колоколе, — сказал Бехер, когда мы уже сидели в машине. Потом, обратившись к сотруднику «Теглихе рундшау» Густаву Лойтерицу, спросил: — Вы, конечно, не помните вот эти слова мастера Генриха, литейщика колоколов:

...Пойми: поправься я, как говорится,
Починенный цирюльником кой-как,
Куда я был бы годеи — в богадельню?
Ведь это значило бы превратить
Напиток жизни огненно-горячий,
Порою горький, а порою сладкий.

Но вечно крепкий — тот, что я люблю, —
В отвар бесцветный, жидкий и пустой,
Прокишний, выдохшийся и холодный.
Пусть пьет его кто хочет — но не я,
А мне противна даже мысль о нем...

...6 июня 1946 года в три часа пополудни Гергарт Гауптман умер. Выполняя последнюю волю писателя, его похоронили на острове Уиддензее, что на Балтийском море. Там, на нешироком песчаном клочке земли, со всех сторон омываемом морем и продуваемом ветрами, Гауптман обычно проводил летние месяцы. Многие было у него связано с этим островом, с его рыбаками и рыбачками. Он любил их, и его любили...

Похороны состоялись перед восходом солнца на старом рыбацком кладбище, где еще сохранились древние языческие надгробья, возле остатков старинного монастыря. Над гробом писателя выступили с речами Вильгельм Пик и представитель советских военных властей полковник С. Тюльпанов. Над островом металась и кричала жалобно чайки, печально звонил одинокий колокол монастырской церквушки.



А. МАРЧЕНКО

★

ВРЕМЯ ИСКАТЬ СЕБЯ

Размышления о молодом герое современной прозы

Напечатавшая в первом номере «Нового мира» статья М. Чудаковой названа более чем скромно: «Заметки о языке современной прозы». Но на самом деле она гораздо шире. «Узкий языковой аспект», специально оговоренный во вступлении, не помешал автору высказать немало соображений и по более общим, непосредственно с языком и стилистикой не связанным вопросам. Многие из наблюдений, заметок и выводов М. Чудаковой представляются мне и смелыми и дельными. Но с некоторыми, например с трактовкой проблемы «смены героев» или с определением той коллизии, которую автор считает основной в прозе молодых, я не могу согласиться. И поскольку предмет моей статьи составляют как раз эти затронутые в «Заметках о языке современной прозы» проблемы, то я позволю себе начать ее с полемики.

1

Согласно концепции М. Чудаковой, та проза, что рассказывает о жизни городской молодежи, уходит из первых рядов сегодняшней литературы; все больший вес получают произведения, где герой как бы отвернулся от современного города с его специфическими конфликтами. «Герой сегодняшних молодых литераторов, утверждает М. Чудакова, замедлил свои шаги, чтобы оглядеться и оглянуться на те «родные углы», которые он оставил. Новая проза окрасилась.. настойчивой тягой к чему-то «родному и древнему»...» Отсюда и то значение, которое придается в «Заметках» творчеству В. Лихоносова, **точно наглядно выражающего эти веяния,**

и несколько преувеличенная пристальность, с какой анализируются стилистические оттенки его прозы.

Концепция эта могла бы иметь право на существование, но при одном условии: если заранее указать точные границы ее применимости. М. Чудакова же порой попросту обходит те факты, которые могут нарушить изящество ее теоретического построения.

Действительно, достаточно вспомнить «Круг» Анара и «Утиную охоту» А. Вампилова, «Чозению» В. Короткевича и «Щавелевое поле» Леонидаса Яцинявичюса, «Городские повести» Валерия Алексеева и «Мою белую гитару» Андриса Якубана, книги В. Токаревой, Г. Корниловой, А. Битова. Все они посвящены именно молодому герою городской складки! Больше того, когда речь идет об очень молодом герое, то есть о человеке, родившемся в середине XX века, деление это — городской или деревенский — сплошь и рядом оказывается весьма условным. Городской или деревенский, например, Автандил Джакели? Герой романа Нодара Думбадзе «Не бойся, мама!» родился в Тбилиси, но вырос в деревне у деда и впервые попал в город только после окончания десятилетки. Однако при первом же столкновении с городской молодежью, притом считающей себя «золотой», он не только не теряется, но обнаруживает и эрудицию, и вкус, и знание поэзии, даже самой «свежей» и «модной». Нельзя назвать «деревенской» (в серьезном смысле слова) и восемнадцатилетнюю Гульжанат, героиню повести «Дикарка» дагестанского писателя Магомед-Расула, хотя она выросла не просто в деревне — в высокогорном ауле.

Так быстро осваивается «дикарка» в городе, так легко входит во вкус редакционной работы, сначала корректорской, потом и журналистской... А как красиво и ловко сидит на ней городское платье — и года не проходит, а Гульжанат не отличить в толпе студенток университета!

Это во-первых. Во-вторых: настойчивая тяга к чему-то «родному и древнему» не является сенсацией сегодняшнего дня. С «тяги» начинали Ю. Казаков и Ю. Куранов, Г. Горышин и Б. Сергуненков. Отдала дань этим веяниям и Б. Ахмадулина; и если уж составлять родословную прозы, которая, как пишет М. Чудакова, «стремится главным образом оправдаться в том, что «родное и древнее» было забыто надолго, и «торопится сказать о своей причастности к этому замеченному ими вдруг миру», то без романтической повести «На сибирских дорогах», опубликованной в «Юности» в 1963 году, никак не обойтись. Уже здесь, у Б. Ахмадулиной, можно обнаружить многие из тех своеобразностей, стилистических и языковых, которые М. Чудакова находит у В. Лихоносова: и нефокусированный синтаксис («с невыносимо гордой ее головой на непреклонной шее», «слезы, отделившись от моих глаз»), и кокетливое косноязычие («снабжены мускулами рук и устойчивостью ног»), и экзальтация («многозначительность этой ночи и непростое сияние луны»), и тоска по «истокам», и умиление перед «старинными годами»... О том, насколько повесть Б. Ахмадулиной была явлением, и явлением в своем роде знаменательным, мы можем судить и по такому, на мой взгляд, любопытному факту: приступая к своей «Бочкотаре», В. Аксенов в качестве исходного, подлежащего пародированию материала выбрал именно ее, и это тем более показательно, что «Бочкотару» и «На сибирских дорогах» разделяет расстояние почти в шесть лет — немалое в наше быстрое и быстроменяющееся время!

...Начинающие журналисты прилетают в Сибирь с несложным, «пустым» заданием: ей нужна заметка о местном сказателе, ему — очерк об археологах, ведущих в здешних степях работы. Со сказителем журналисты так и не встретились, археологов, правда, догнали, но уже тогда, когда «сюжет» переменялся: вместо сухой газетной заметки героиня сложила романтическую и серьезную поэму о стране по имени Народ, о языческих степях, род-

ных, Древних, колыбельных, а главное — о тех прекрасных людях, которые «украсили» пустое вначале путешествие «серьезностью и силою сердца», придав ему «высокий и важный смысл необходимости». В контексте ахмадулинской повести слова эти звучат почти по-платоновски; Аксенов страшивает с них хмель «манящей нежности»: «Мы, мамаша, просто люди разных взглядов и разных профессий, добровольно объединились на почве любви и уважения к нашей бочкотаре». Стилистика намеренно сниженная («Ужо тебе, блудливая «коза Романтика»), но суть, вернее, схема та же: дело не в затее (обозначим ее неким условным знаком, допустим знаком «бочкотары») — дело в людях, которые зарядили, наполнили, осмыслили эту «емкость»...

Перекочевал из повести Ахмадулиной в «Бочкотару» и главный герой. В повести есть такая сцена. «В станционном буфете, вкривь и вкось освещенном гуляющими вокруг паровозами, тосковал и метался единственный посетитель.

— Нинку речинскую знаешь? — горестно и вызывающе кричал он на буфетчицу. — Вот зачем я безобразничаю! На рудники я подамся, ищи меня свищи!

— Безобразничай себе, — скучно отозвалась буфетчица, и ее ленивые руки поплыли за выпуклым стеклом витрины, как рыбы в мутном аквариуме.

Лицо беспокойного человека озарилось лаской и надеждой.

— Нинку речинскую не знаете? — спросил он, искательно заглядывая нам в лица. И вдруг в дурном предчувствии, махнув рукой, словно отрекаясь от нас, бросился вон, скандально хлопнув дверью.

— Кто эту Нинку не знает! — брезгливо вздохнула буфетчица. — Зря вы с ним разговаривать затеяли.

Эпизод этот как бы выпадает из повести Б. Ахмадулиной, но именно за него ухватился Аксенов, чтобы вывернуть наизнанку идеальный ее наив. Беспокойный посетитель с его непонятной тоской по недоступной, как звезда, речинской Нинке превратился в Володю Телескопова с его вполне понятной тоской по всем известной Симе, в которой как бы слились и речинская Нинка и толстая, ленивая буфетчица...

Обыграны все сколько-нибудь «значные» в движении сюжета ситуации и моменты: «Бочкотара» как бы повторяет сю-

жётную схему поэмы о сибирских дорогах, но зеркально, то есть с переменной знака — романтического на иронический. Аксенов словно бы подсказывает: «Бочкотара» возникла не на пустом месте, и по «условиям игры» необходимо помнить о начале разговора, иначе не уследить за его оттенками.

Даже кончатся путешествия одинаково мелодраматически: «И вдруг слезы, отделившись от моих глаз, упали мне на руки» (Ахмадулина); «...и вот струна лопнула и последний прощальный звук ушел в высоту... и Володя заплакал» (Аксенов).

Разумеется, Аксенов спародировал не только ахмадулинскую повесть, в которой романтическое прекраснодушие возведено в такую высокую степень, что всего лишь шаг отделяет ее от самопародии, но и те «импульсы», на которых возникла эта поэма «ностальгического экстаза».

Итак, и пять лет спустя после опубликования повести «На сибирских дорогах» она продолжала оставаться в памяти как произведение по-своему этапное, подводящее итоги, выражающее весьма определенный комплекс настроений — достаточно серьезных, чтобы с ними нельзя было не считаться, и в то же время уже настолько отошедших, пережитых, что с ними можно было проститься смеясь.

Не отражает, на мой взгляд, реального положения дел и попытка М. Чудаковой, основываясь, по сути дела, на опыте одного В. Лихоносова, упрекнуть прозу в том, что, сосредоточившись на живописании «родных углов», она не знает ни этого мира, ни положения героя в нем. Достаточно вспомнить «Плотницкие рассказы» В. Белова и особенно повести В. Лебедева, чтобы убедиться: нынешние «деревенщики» если уж избирают темой своего произведения возвращение в родной угол, то делают это с полным знанием как реальных возможностей героя, так и своего слова о нем. Показателен тут опыт Гранта Матевосяна, писателя, которого не раз упрекали в том, что он вопреки-де жизненной правде (Армения давно превратилась в индустриальную республику) держится за «землю».

В ранних произведениях Матевосяна, например в недавно переведенном, но написанном несколько лет назад «Зное», полусимволический Цмакут — не только вполне реальное село, четко обозначенное пересечением временных и пространствен

ных координат, но и микромодель «всея» Армении — действительно существовал вроде бы сам по себе как независимая от иных «цивилизаций» система, вселенная, летящая по своей орбите.

Но уже в повести «Мы и наши горы» Цмакут утрачивает многозначительную автономность, а его «летописец» сосредоточивает внимание на изображении изменений в «орбите», вызванных мощным и властным притяжением города. Об этом сдвиге в творчестве Матевосяна, по-моему, хорошо написал Лев Аннинский (статья напечатана в седьмом-восьмом номере «Литературной Армении» за 1971 год), признавшийся, что не знает, кто же главный герой Матевосяна — «старый прости-га пастух Аваг — или нервный, ироничный, подвижный, как ртуть, выпускник университета Грант Карян», ибо, если изъять из прозы Матевосяна этого вполне городского героя с его остро современным сознанием, она просто не состоится...

Словом, по мере того как душа Матевосяна-летописца «старела и росла», освобождаясь от романтических иллюзий, изменялось и содержание формулы «забытое и родное». Взять хотя бы матевосяновскую «Буйволицу» с ее простым, архаическим, почти грубым сюжетом: хождение за три горы буйволицы в поисках «своего» буйвола. На первый взгляд — почти эпическая поэма, написанная словно бы только для того, чтобы разыграть на современном армянском материале ставший уже классическим для литературы XX века мотив «тягательства живой силы с железной». Но это только на первый взгляд так кажется: архаика Матевосяна обманчива.

...«Одиночная» буйволица пристает к направляющемуся на скотобойню овечьему гурту. Не в силах отказать от такого «куска», погонщики начинают прикидывать, сколько может стоять бесхозная уродина, если пересчитать живой вес на товарное мясо. Но как только доходит до дела, сами же отгоняют буйволицу от смертных ворот. И эти странные гуртоправы не исключение: по сути дела, каждый из встреченных буйволицей людей или помогает ей, или хотя бы не мешает.

Среди самых разных реакций на буйволицу Г. Матевосян особо отмечает три почти одинаковых, когда буйволицу «узнают в лицо», называя по имени — Сатик. Сначала Сатик окликает чужой пастух: «Ты... из Цмакута! Ты буйволица бабушки Марго!» — хотя па-

стух этот, друг погибшего в войну сына хозяйки, не видел старую Марго добрых четверть века. Должен был явиться — сказать, что сын ее «в Балтийском море остался», да не посмел «с такой-то вестью». Потом узнает буйволицу черная, сморщенная старуха, сестра ее хозяйки. Узнает сразу же, ничуть не сомневаясь, хотя почти забыла лицо своей младшей сестры. И наконец, чтобы мы уже не посмели не разгадать смысла иносказания, Матевосян вводит в рассказ такую ситуацию. Буйволица встречает экскурсионный автобус с польскими туристами и армянским гидом, очень уверенным в себе молодым человеком европейского образца и хорошо выраженной «городской» складки. Не без иронии, и отнюдь не мягкой, обращает наше внимание писатель на декоративное в облике гида — и в его тореадорских повадках, и в самой выправке его («спортсменские ягодицы»), и даже в подчеркнута широкой эрудиции. Но вот отвернулись белокурые туристки, сверкнув оголенными коленками, и уверенный молодой человек, «кривая дурашливой улыбкой губы, пошмыгал носом и с закрытыми глазами не то чтобы погладил и не то чтобы ударил ее и, скорее мысленно, чем вслух, прошептал: «Куда это ты?.. Как живешь, Сатик джан, сестра моя?.. А мне что делать?..»

Сюжетная эта метафора, почти эпическая условность, как бы уравнивает героев, которые, согласно сложившемуся стереотипу, должны находиться на разных «психологических меридианах»: старуху, традиционную носительницу народной мудрости; оборотистых гуртоправов, казалось бы, давно променявших «вечные ценности» на «плоды цивилизации»; и, наконец, того самого молодого человека, уверенного и ироничного, который, если следовать уже опробованной логике, должен или отречься от своего родства с «родным и древним», или возвратиться в Цмакут. Но Матевосян ломает и эту схему. Люди помогают буйволице исполнить свой долг перед жизнью не потому, что так велит «божеский закон любви и милосердия»; тут не простое бескорыстие, но и своеобразная «корысть»: спасая буйволицу, то есть творя добро, они — вольно или невольно, сознательно или бессознательно — оберегают от ущерба и живое в себе. В утверждении: древние узы, связывающие человека с природой, нарушены, но не порваны, — главный пафос матевосяновско-

го рассказа, определяющий самый стиль его «словесной походки», важный, неторопливый, почти эпический. Но Матевосян не был бы Матевосяном, если бы его поэзия не превращалась местами в едкую сатиру. Этот резкий, почти пронзительный сдвиг от вечного к сиюминутному очень нагляден там, где писатель, прекрасно понимая, как легко спутать его идею — идею всеобщей ответственности за живое — с проповедью «полинезийского образа жизни», резко отмежевывается от цивилизованного «полинезийца» — тучного, плешивого Эдварда Айрапетяна, уверяющего, что сам он «убежденный натуралист и видел в поклонении природе единственный выход из переживаемой нашей планетной трагедии», того самого Айрапетяна, который не смог даже определить пол буйволицы!

И как мне кажется, появление Айрапетяна с его многозначительной суетной пошлостью в простом и чистом мире «Буйволицы» — не просто «усмешка Мефистофеля», придающая «пасторали» современный привкус: за ней — трезвое осознание того, что бессильное и безответственное «поклонение природе» не выход и даже не поиск выхода...

Что же касается горечи, которой, при всем ее оптимизме, пропитана «Буйволица», так ведь это потому, что Грант Матевосян не просто знает, чувствует: тоска по природе, столь характерная для самосознания современного человека, — чувство отнюдь не комфортабельное, осложненное и комплексом вины, и страхом перед неисчерпаемой сложностью природы, и даже смутным ожиданием «возмездия» за нарушение непризнанных табу и непознанных ее законов.

2

Итак, настойчивая тяга к чему-то «родному и древнему», как убеждает нас опыт Матевосяна, во-первых, гораздо шире, чем простое возвращение к «родным углам» и умиление «старинными годами» своей родины, а во-вторых, она не только не исключает интереса к современному молодому человеку городской складки, но, может быть, прежде всего этим интересом и рождена. М. Чудакова, правда, и не говорит о том, что тема города исчезает из литературы вообще, но лишь из литературы «первого ряда». Такой вывод

действительно можно сделать, если принять за уровень молодежной прозы, например, сегодняшний уровень прозы журнала «Юность». Совершить эту статистическую операцию весьма соблазнительно, ибо за семнадцать лет своего существования журнал успел утвердиться как в сознании читателя, так и в сознании профессиональной критики как некий эталон, по которому должно судить о состоянии дел на этой литературной «деланке». В последние несколько лет положение изменилось: «Юность» все чаще и чаще печатает прозу «второго» и даже «третьего ряда», и ту роль, какую когда-то играл журнал, незаметно взяла на себя молодежная редакция издательства «Молодая гвардия» (под его маркой вышло большинство книг, разбираемых в этой статье).

Если учесть еще и то обстоятельство, что писатели, творчески связанные с городом, стали терять «свой» журнал как раз в то самое время, когда «Наш современник» собрал вокруг себя литераторов, пишущих о деревне — от Абрамова до Распутина, — то можно легко представить, каким образом возникло широко бытующее представление, будто характер сегодняшней молодой прозы определяется прежде всего творчеством тех, кто повернулся «лицом к деревне»...

Особенно бедным был для «Юности», на мой взгляд, минувший 1971 год. Журнал вроде бы идет навстречу своему читателю, явно стимулируя его интерес к проблемам нравственности, к «таинственной жизни души и сердца», и в то же время, бывает, печатает произведения, не отвечающие серьезным гребованиям современной психологической прозы. Я уж не говорю о начинающих, даже авторы, казалось бы, зарекомендовавшие себя как «психологи», и те выступали в «Юности» с вещами, не соответствующими их литературной репутации. Так, Наталья Баранская напечатала в восьмом номере рассказ «Отрицательная Жизель», словно бы составленный из сотни раз опробованных беллетристических штампов, эталонный образец «пустописания», где о переживаниях шестнадцатилетней школьницы, впервые «увидевшей любовь» (на сцене Большого театра), пишется в таком сентиментально-возвышенном стиле:

«Томительная грусть росла в ней... Кто-то из девчонок говорил: если пристально

смотреть на светлую плоскость, можно вызвать желаемое изображение..»

Когда она засыпала, тоска, не отпускавшая ее, вылилась словами: «Я хотела бы полюбить так сильно, чтобы умереть от любви». И она заснула, сжав мокрые ресницы».

Намного ниже своих возможностей выступил и Б. Никольский, обративший когда-то на себя внимание «Повестью о рябове Смородине, о сержанте Власенко и о себе», интересной прежде всего серьезностью, с какой противопоставлялась в ней настоящая солдатская жизнь «игрушечным» поделкам «из солдатской жизни». К сожалению, его новая вещь написана как раз в этом игрушечном, облегченно-кинематографическом роде. Как и прежние герои Никольского, главный персонаж «Чужой жизни» — солдат. Но это обстоятельство образует здесь лишь некую рамку, в которую вставлена случайная полудетективная история.

Дмитрий Гольшев, получив от бабушки известие, что ему с оказией выслана посылка, подходит к светлогорскому поезду (бабушка живет в Светлогорске), и проводница первого вагона вручает герою сверток. Но посылка чужая, в ней несколько золотых вещей и письмо: «Толя, дорогой, у меня большая беда, если все откроется, мне не жить. Прошу тебя, продай в Ленинграде эти вещи и как можно скорее вышли деньги... Если я не получу деньги до двадцать девятого... покончу с собой». И подпись: Галя.

Гольшев, конечно же, берет отпуск и, проявив немалую изобретательность, находит искомую Галю ровно за день до рокового 29-го, но убеждается, что драматизм ситуации в письме был преувеличен. Продавщица в магазине готового платья, Галя взяла у постоянных покупателей деньги вперед, а так как нужного подприлавочного товара долго не было, то истратила довольно круглую сумму. Клиенты, естественно, подняли тревогу, но вовремя сообразили, что и у них рыльце в пушку...

Разумеется, и этот бедный сюжет можно было бы обогатить, если бы писатель увидел в нем не просто случай, но столкновение двух разных представлений о жизни, двух полярных характеров, если бы воспользовался трюком с перепутанной посылкой хотя бы для того, чтобы попутать в хитросплетении эмоций, в душе романтически настроенного юноши, впервые

столкнувшегося с «грубой прозой». Никольский же ограничивается сообщением, что Дмитрий «ощутил неловкость».

В сегодняшней прозе «Юности» заметно пристрастие к красивому описанию. Одно время им особенно страдали произведения «про любовь», но затем красивое описание проникло и в произведения на рабочие и военные темы, причем в произведениях не только откровенно ученические вроде «Высоты» В. Телегина, но даже и в те, что несколько выделяются на общем фоне. Я имею в виду повесть И. Собчука «А розу отливаете сами!» и повесть В. Степанова «Венок на волне». Разный жизненный опыт, разный материал, а вот способ, при помощи которого собирается «конструкция», очень похож. Немного любви, самой невинной, немного быта, несколько производственных, написанных как будто со знанием дела сцен, чтобы придать повествованию видимость профессиональной добротности. Затем ищется якобы емкий, якобы символический и, конечно же, «очень-очень красивый» образ: роза у Собчука, венок из белых астр у Степанова, который, во-первых, дает имя повести, во-вторых, наглядно выражает идею, в-третьих, служит основной «опорой» сюжета...

Молодой рабочий, он же студент заочного металлургического института, уезжая в Череповец, обещает оставшейся в Ленинграде невесте отлить для нее (как только освоит сталеварение) розу точно такую же, как в музее. Проходит год, невеста кончает техникум, «вот-вот делается жена», а Василий Мирошниченко еще не в состоянии исполнить обещанное. Зато он совершает почти подвиг, предотвратив крупную аварию, и за это по распоряжению самого главного инженера ему вне очереди выделяется из особого фонда квартиры, затем между главным инженером и профоргом цеха, «хорошенькой, умелой и беспокойной Тосей», происходит такой диалог. «Розу бы... — неожиданно для себя выпалила Тося... (Тосе единственной Василий сообщил свой секрет о розе.— А. М.)— Стальная роза, тонюсенькая, с мохнатым стеблем. Это же очень-очень красиво!» Но главный инженер останавливает порыв сентиментального профорга и мужественно произносит ту самую фразу, что вынесена в заголовок: «...Пусть они (то есть будущие молодожены.— А. М.) отливают ее (то есть розу.— А. М.) сами»...

...Молодой матрос, он же неудачливый абитуриент факультета журналистики МГУ, впервые войдя в каюту своего командира, крайне разочарован, увидев букеты белых астр. И тут же делает заключение: «каптри» — сентиментальный неудачник, тайно почитывающий Надсона. Но вот по сигналу учебной тревоги корабль выходит в море и наш иронически настроенный герой становится участником события, которое не только осветило сильным романтическим светом корабельный быт, показавшийся сначала ему таким тусклым, спокойным, лишенным даже намека на высокую романтику, но и, конечно же, в корне изменило его представление о «каптри»:

«Командир медленно шел по палубе и нес на вытянутых перед собой руках что-то белое... На небольшой деревянной подставке лежал венок. Белый, будто из пышного морозного кружева (разрядка моя.— А. М.), переплетенный алой лентой...

— Смирно! — как-то приглушенно командовал командир.— В память моряков «Стремительного», отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, флаг приспустить!

Флаг дрогнул и чуть-чуть спал. Командир снял фуражку.

— Возложить венок!»

Намерения у авторов были, разумеется, самые похвальные — выразить романтическую суть души настоящего советского человека, — но, к сожалению, материал, пошедший на выделку нужного образа, оказался мало пригодным: все эти жеманные, морозно-белые, мохнатенькие и тонюсенькие красоты не выражают ни романтики труда, ни романтики подвига.

Во втором номере «Юности» уже за этот год напечатана повесть Эдишера Кипиани «Шапка, закинутая в небо» — произведение, во многих отношениях настолько примечательное, что на нем стоит остановиться подробнее.

Пятнадцатилетний подросток Паата упал с третьего этажа. Молодому следователю Заалу Анджапаридзе поручают выяснить, что же произошло: несчастный случай, убийство или самоубийство. Как становится ясно из дальнейшего, это первое самостоятельное дело Заала.

«...Если это самоубийство, — рассуждает Заал, — значит, виноват я и все живущие сегодня на земле. Но ведь невозможно,

чтобы все люди до единого были виновны... Я больше не мог так жить. Боль росла, и я понимал, что надо как можно скорее залечить эту незаживающую рану, а не растревать ее».

Итак, беда, тяжкая болезнь, «незаживающая рана», мучительное чувство вины. Даже если сделать скидку на нервное возбуждение, монолог этот характеризует героя как человека с необычайно развитым чувством ответственности, до болезненности честного и совестливого. Однако очень скоро мы убеждаемся (и происходит это как бы вопреки воле автора, он-то продолжает считать своего Заала рыцарем без страха и упрека), что методы, с помощью которых тот «залечивает» свою «тяжкую болезнь», более чем неожиданны. Первое, что делает наш совестливый герой, чтобы успокоить мучительную мысль о возможном самоубийстве, уверяет и себя и прокуратуру, что произошло убийство, и делает это так неумело, что прокурор вынужден поручить расследование другому, более опытному юристу. Анджапаридзе уезжает к морю лечить оскорбленное самолюбие первозданным морским «величием», начисто забывает о деле, которое еще несколько дней назад казалось ему «собственной бедой», и вспоминает о нем только тогда, когда погода вдруг испортилась: «Совсем неожиданно для себя... вдруг вспомнил, что слишком легко уступил дело, на которое положил столько сил, что трусливо покинул поле битвы, стараясь избежать волнений и обрести спокойствие. Заботясь о себе, забыл обо всем. Забыл Паату! Думая об этом, я покраснел, несмотря на то, что был в комнате один... «Незаживающая рана» — и вдруг это сухое, деловитое: «...дело, на которое положил столько сил». Поворот неожиданный и настолько крутой, что невольно ждешь от автора разъяснений, которые помогли бы нам понять, что за человек Заал Анджапаридзе и когда он был ближе к самому себе — тогда, когда изображал совестливого человека, или теперь, когда ленив и равнодушен. И ждем совершенно напрасно: ведь нам предлагается не «диалектика души человеческой», а лишь интригующая комбинация добрых и злых желаний, рассчитанная на то, чтобы произвести впечатление, создав иллюзию сложной, неординарной духовной жизни.

Этот не запрограммированный автором

сюриприз не единственный в повести. Еще через несколько страниц выясняется, что и убийства не было — произошел «несчастный случай». И на это событие наш герой опять-таки реагирует с неприличной для человека с болезненно обостренной совестью однолинейностью: «искренне обрадовался». На этот раз даже без «справедливого упрека от своего сердца» обошлось. «Искрещения радости» ни на минуту не была омрачена мыслью об ошибке, которая могла произойти по его вине.

Больше того, как только «юридическая загадка» оказывается разгаданной, повесть кончается и мы так и не узнаем, состоялась ли операция, на которую мать Пааты рассчитывает как на последний шанс (врачам, оказывается, удалось вывести Паату из состояния клинической смерти, и, вызвав из Москвы профессора, они решились на повторную, весьма рискованную операцию, и мать мальчика дала согласие, понимая, что ее сын «все равно обречен»). Об этом сообщает мимоходом как об обстоятельстве, не имеющем уже никакого значения. И это закономерно, ибо для автора «Шапки, закинутой в небо», как и для его любимого героя, судьба Пааты — лишь повод для «глубокомысленных рассуждений». И обыкновенный несчастный случай, и обычное горе матери, и будничный труд врачей, пытающихся спасти мальчика, лежат за пределами творческих интересов, — Эдишера Кипиани увлекает лишь красивое, поэтическое, «способствующее фантазии»... И это не бессознательное отталкивание художника от «низкой прозы», а вполне осознанный творческий принцип, программно заявленный в самом начале повести. Первое, что мы видим, как только Эдишер Кипиани позволяет нам взглянуть на мир глазами своего героя, было мерцающее «молочно-голубым телеэкраном утро в окне... комнаты» (разрядка моя. — А. М.).

«Экран этот, — продолжает Кипиани, — еще не был тронут изображением, и только привычные звуки раннего утра... навели на мысль, что телевизор включен и вот-вот начнется передача». И в самом деле скоро раздается телефонный звонок — и сходство «с телепостановкой усиливается»... И чем дальше, тем заметнее: герои ведут себя так подчеркнуто-картинно, словно ни на минуту не могут забыть, что одна из стен их жилища прозрачна. И при этом вовсе не испытывают смущения,

наоборот — преисполнены сознанием исключительности своего положения: обычная жизнь течет мимо них, как уличный поток, а они за зеркальными стеклами, выставленные напоказ, демонстрируют современный образ жизни... Кейфуют, влюбляются, философствуют, совершают маленькие безопасные безрассудства — купаются в шторм, устраивают скандалы в ресторанах, правда, каждый раз под вполне благородным предлогом, а в финале, воспользовавшись тем, что продавец в кондитерской отлучился, объявляют бесплатную пятиминутку (оплатив ее потом, разумеется.— А. М.)... И так далее в том же стиле, который особенно строго выдерживается в эпизодах любовных:

«Мраморная лестница взлетает вверх, отовсюду несутся обрывки воздушных мелодий. Из-за высокой белой двери, как самая чистая и прекрасная музыка, выходит Наи. Она в цветастом нарядном платье, и, чтобы не нарушить сказочной атмосферы, я думаю про себя: богиня прикрыла наготу свою полевыми цветами».

Не всегда богиня так застенчива, иногда она появляется Афродитой, прикрытая только морской пеной: «...Из моря выходила Наи. Сначала показалась ее гордая головка на стройной шее, потом хрупкие плечи и маленькая крепкая грудь, потом тонкая талия и плоский, как хевсурский щит, живот».

Словом, не жизнь, а показательная передача из современного молодежного кафе... И это, повторяю, не один из недостатков, не досадный творческий просчет, а закон красивописания, где главное — не верность жизненной правде, а умение сочинить сюжет, да навести нужный декор, да замолчать вовремя, эффектно замкнув интонационный период...

Глядя на «поля» журнала, поросшие мохнатенькими и тонюсенькими подвидами «стальной розы», с грустью вспоминаешь слова большого молдавского поэта Андрея Лупана, обращенные к литераторам, зараженным модной синтетической немочью: «Трудно сделать даже первый шаг в правду, легче закрыть глаза... Но как же человек, поэты, как же быть с человеком? Вы хотите его оставить наедине с жизнью, наедине с ее трудностями и драмами?»

Не захваченными повальной модой на красивописание среди произведений, опубликованных в 1971 году в журнале

«Юность», оказались, пожалуй, только четыре повести, но все они построены на воспоминаниях далекого детства: «День Чика» Ф. Искандера, «Праздник большой рыбы» А. Ткаченко, «Вместе со светом» Т. Жирмунской и «Первая молния» В. Тараса. Это настоящая, живая проза, но все-таки не разрешающая тех главных проблем, которые волнуют читателя «Юности»...

3

Разумеется, она существует, настоящая проза, всерьез занятая проблемой молодого человека, всерьез озабоченная ответственностью за его судьбу. И первое ее отличие от прозы «синтетической» в том, что она меняется вместе с движением времени, спорит сама с собой, вырастает из себя... И степень ее серьезности определяется в конце концов степенью настойчивости, с какой она осваивает как раз те самые «районы жизни», где формируется нравственная структура личности современного молодого человека, того самого героя, появление которого М. Чудакова отодвигает в будущее. И дело тут, как мне кажется, в том, что автор «Заметок о языке современной прозы» искала нового героя, ориентируясь на устаревшие приметы, и, не найдя их, сделала вывод о падении интереса к молодому человеку городской складки.

А между тем этот самый молодой человек никуда не исчез, а лишь изменился, изменился даже внешне, как бы утратив почти вызывающий экстравагантный облик, свою подчеркнутую молоджавость и свою самоуверенность. Даже походка и та стала какой-то другой. «Дрожа и повизгивая,— пишет о своем герое, которому нет и тридцати. В. Алексеев,— Николай Николаевич вбежал в темный подъезд». Многозначительно полемичен по отношению к уже успешному сложиться стереотипу и его портрет: «Смотреться в зеркало было для Николая Николаевича пыткой. Собственное лицо раздражало его, хотелось сделать что-нибудь с этой комбинацией нелепостей...»

Конечно, появление нового «типажа» — только следствие, только второстепенная подробность, но и она, как мне кажется, свидетельствует о том, что меняется, если употребить модный термин, «историческая модель», а следовательно, и набор личных качеств, необходимых «герою нашего вре-

мени». О характере изменений как в образе действующего героя, так и в образе его жизненного поведения (категории особенно важной в молодежной литературе) можно судить, например, по напечатанной в журнале «Нева» повести Леонидаса Яцинявичюса «Щавелевое поле».

Как и аксеновский «Звездный билет», «Щавелевое поле» посвящено молодым людям, находящимся в той критической ситуации, когда старая, школьная, жизнь только что кончилась, а новая, взрослая, еще не началась. Ситуация эта чревата многими, и притом очень ярко выраженными, конфликтами и, очевидно, не случайно стала для нашей литературы, по меткому наблюдению одного из критиков, таким же популярным сюжетом, каким был для французского романа XIX века приезд провинциала в Париж. Как и друзья аксеновского Димки, семнадцатилетние герои входят в повесть Яцинявичюса «во всей высокой неудовлетворенности своих семнадцати лет, со всей заносчивостью своих многочисленных «не» (М. Туровская, «Цена звездного билета»).

Но на этом сходство и кончается, ибо и содержание многочисленных «не», и способы, с помощью которых герои «Щавелевого поля» стремятся определить свое положение в мире, настолько сильно изменились за десять лет, прошедших с момента появления «Звездного билета», что «Щавелевое поле», где всего лишь спокойно и деловито анализируется складывающийся на наших глазах характер, местами кажется полемическим выпадом.

Итак, жили-были мальчики и было у них заповедное щавелевое поле, куда они убежали, спасаясь от тирании быта, мечтать о необыкновенных приключениях. Потом мальчики выросли, а поле засадили деревьями, превратив в общественный сквер. И тогда они «переселились на остров», то есть в «свое» кафе, объявив войну «серягине, повседневности и примитиву» (так формулирует программу «островитян» их главный идеолог и вожак Генрикас). Некоторое время «островитяне» держатся очень дружно, но затем начинают «эмигрировать» на «материк»... Первым откальвается Мартинас Граужис (от его лица и ведется повествование). Мартинасу перестает нравиться и «остров» («накуранный сундук») и его «король», ему все чаще и чаще начинает казаться, что Генрикас с его «островной» психологией, с его

остродекоративной, но не очень глубокой враждебностью ко всему обычному, обыденному, обыкновенному, с его вечной оглядкой на литературные и кинематографические «установки» повторяет «нечто давно прошедшее», и автор, по всей вероятности, здесь полностью согласен со своим героем...

Весьма характерны и обстоятельства, при которых Мартинас впервые открыто заявляет о несогласии с основным законом «острова». Севший на своего любимого конька Ромас (самый верный из оруженосцев Генрикаса) пытается подвести под «философию» «островитян» серьезный жизненный фундамент. «Мы... военное и послевоенное поколение,— рассуждает Ромас.— И весь груз достанется нам. Груз новой жизни, которая надвигается, как буря. Я это ощущаю всеми своими конечностями — и копытами и рогами. Именно на нас ляжет самая большая ответственность». Генрикас подхватывает хорошо отрепетированную тему, его задача — придать патетике Ромаса необходимый привкус «горечи»: «Ясно, что нам больше всего накладывают по шеям». И вот тут-то в слаженный диалог вмешивается Мартинас: «А я совсем этого не хочу» (разрядка моя.— А. М.).

«Не хочу» в данном случае весьма емкое, заключающее в себе множество разнообразных «не»: не хочу кокетничать своей «исключительностью», валять дурака и нести всякий вздор, не хочу носить идеи с чужого плеча, но главное — не хочу быть щепкой, пльвущей по течению, но успокаивающей себя тем, что так распорядилось время.

Л. Яцинявичюс не ограничивает своего героя, так сказать, негативной программой: его Мартинас знает, чего он хочет. Лучший ученик в классе, он уходит из школы на завод, но вовсе не затем, чтобы приобрести, прежде чем поступать в вуз, некоторые производственные навыки. И не потому, что ему очень нравится простая работа. И даже не из мальчишеского желания потрогать жизнь своими руками. Уходит потому, что «островная жизнь» не дает ему ответа на его главный вопрос: кто он как личность? Словом, уходит прежде всего для того, чтобы испытать себя на прочность, проверить силу своего сопротивления серягине, повседневности и примитиву не теоретически, а экспериментально, на деле, включившись

в серую ленту спешащих на работу и чем-то похожих друг на друга обыкновенных людей...

И Мартинас не единственный из «островитян» уезжающий «в общем купе» на «материк». Вот как объясняет причину своего откола Донатас, друг Мартинаса и в какой-то мере тот «резонирующий» герой, которому Яцинявичюс охотнее всего передоверяет свои мысли: «У жизни есть еще какая-то оборотная сторона, и мне кажется, что я иногда вижу ее. Пугаюсь, втягиваю голову в плечи, но все же хочу познать ее. Иначе меня будет терзать мысль, что я прозевал нечто очень важное». Поднимает бунт в защиту обыкновенной жизни и Дита, девушка Генрикаса. «...В этой «серятине», — формулирует Дита, — ...есть и свои радости... Больших радостей в жизни не так уж много, поэтому не надо отказываться от маленьких радостей, которые дарит нам каждый день». Но для Мартинаса аргументы Диты слишком просты, его совсем не привлекает роль «маленького удильщика маленьких радостей». И поиски его — не просто пассивное принятие обиденной жизни, но и своеобразный вызов ей. Весьма знаменательна для того типа жизненного поведения, которое утверждает своей повестью Яцинявичюс, и утверждает не как абстрактную норму, а как некую данность, «выведенную из жизни», жесткость, с какой юный Мартинас мысленно обращает к своим «коллегам» почти чеховские слова: «Работать надо, работать, вот что!»

И действительно, внимательное прочтение тех произведений современной прозы, которые стремятся схватить новизну в характере молодого героя, позволяет утверждать, что приправленный интеллектуальными разговорами, сигаретами, гитарой и романами «кейф», с помощью которого еще так недавно герои, во многих отношениях вполне положительные, убивали время в ожидании голубого экспресса в неординарную жизнь, вдруг вышел из моды и, как устаревший фасон, без всякого сожаления был передан мальчишкам, так сказать, попроще, вроде Гирта из рассказа Андриса Якубана «Гирт с гитарой». Гирт — слесарь-наладчик, но в свободное время, а все его время за исключением юсьми фабричных часов совершенно свободно, шатается по городу с гитарой, которая ему заменила все. Даже девушек Гирт подбирает под цвет гитары: красная

гитара — девушка в красном пальто, сияющая — и девушка в синем...

Еще более откровенен в своем неприятии красивого «ничегонеделания» другой рассказ Якубана, «Жареная картошка с простоквашей», из его книги «Моя белая гитара», удостоенной премии Ленинского комсомола Латвии. Герой этого рассказа, молодой человек в черном берете и черном плаще, среди завсегдатаев и obsługi облюбованного им кафе слышит «художником». Но на самом деле он писатель, вернее, считает себя писателем, хотя за всю свою «писательскую жизнь» написал одну строчку: «У мечтаний лилово-голубой цвет».

Еще несколько лет назад у биографа начинающего гения нашлись бы аргументы, позволяющие оправдать его лилово-голубоватое безделье, и читатель бы поверил, что мечта нашего героя о судьбе Руже де Лиля, ставшего знаменитым за одну ночь, и есть доказательство его гениальности. Нынче мода на интеллектуальных бездельников прошла окончательно, и в рассказе Якубана потенциальный гений представлен всего лишь комедиантом, сам для себя, без зрителей, разыгрывающим фальшивую пьесу-притчу о таланте, загубленном той самой повседневностью и примитивом, где балом правит жареная картошка с простоквашей из позавчерашнего молока. Но за торжественным шагом, развешивающимся плащом и твердой уверенностью, что и он вполне бы мог быть гением, нет ничего, кроме чрезмерных претензий, одетых в повторяющую нечто давно прошедшее романтическую ветوشь...

И это недоверие — и к славе, приходящей в одну ночь, и вообще ко всему преувеличенному, нескромному, ко всякого рода эффектам, эмоциональной показухе, безобразной красоте и прочим атрибутам романтического прекраснотворения — изменило не только жизненное поведение молодого героя, но и его отношение к труду. Произнося свое «надо работать», нынешние молодые вкладывают в эти слова не столько иное содержание, чем, скажем, их старшие литературные братья десять — двенадцать лет назад, в период острого увлечения романтикой дальних странствий и настоящей, мужской, мужественной и грубой работой. Изменились, и заметно, не только требования, предъявляемые современным молодым человеком к своей работе, но даже надежды, связанные с приобретением к своему делу.

«Много на земле еще большой черной работы (разрядка автора.— А. М.),— рассуждает Николай Николаевич, библиотекарь из повести В. Алексеева «Кот—золотой хвост»,— целые горы навалены, а берутся за нее только такие, как я, одиночки. Остальным все свершений хочется. Я по одноклассникам своим сужу: кто меха из природного газа делать подался, кто нейтринно ловить, кто искать кимберлитовые трубки. А работу черную все стороной обходят, только после личного краха на нее идут— без особого, конечно, воодушевления».

Очень характерная формулировка: работа не просто черная, а большая черная. Здесь не только «укор» звездным мальчикам, которым все «свершений хочется», но и полемика с тем «простым героем» с его «простой, черной работой», которым когда-то увлекалась часть молодых прозаиков (Ю. Казаков, В. Конецкий, Э. Шим, Б. Сергуненков). Этот простой, «естественный человек», если подойти к нему как к явлению, был, конечно, своеобразной реакцией на типичного героя из «производственного романа», который выполнял и перевыполнял производственные планы, любил заседать, быстро продвигался по служебной лестнице. «Естественный человек» жил, жил и только просто жил— и человеческая ценность его измерялась мерой выдержки и стойкости в борьбе с суровой природой и стихийными бедствиями. С увлечением «естественным героем» была связана и проповедь простой, первородной, как хлеб и соль, жизни и грубой, изначальной работы— простой, «как грабли», как «обеденная ложка», как «закон Ома»... «Не знаю отчего,— писал тогда Ю. Казаков в своем «Северном дневнике»,— но меня охватывает вдруг острый приступ старелой тоски... по грубой, изначальной работе...»

Не надеявшись, очевидно, что читатель с должной тонкостью отреагирует на этот оттенок, не поймет, что у него речь идет о совсем другой работе, В. Алексеев развивает и уточняет свою мысль: «Он (то есть Николай Николаевич.— А. М.) гтов был для человечества выполнить самую черную работу. Это, конечно, не значило, что он рвался в ассенизаторы или агенты Госстраха: должна была быть на земле большая черная работа, пусть незаметная, но большая, за которой в тиши и безвестии можно было с радостью умереть».

Словом, не отказавшись от проверки героя отношением к труду (отнюдь), не отменив самого испытания работой, прозаики, пишущие о современной молодежи, изменили программу проверки: любовь к сверкающей славе и громким свершениям из качества безусловно положительного стала не то чтобы напрямую отрицательным показателем, но как бы подлежащим более тщательному исследованию. На столкновении этих разных отношений к «свершениям» построен, например, конфликт повести А. Битова «Путешествие к другу детства».

По командировке «толстого журнала», которому позарез нужен писательский очерк о положительном герое современности, автор летит на Дальний Восток— к другу детства, знаменитому вулканологу, успевшему в свои неполные тридцать лет стать человеком-легендой, «русским Тазиевым». Летит не для того, чтобы эту легенду опровергнуть, но чтобы переписать ее в своей «манере». Другого ничего не придумаешь: Вулканавт-1 давно «открыт» журналистами. Однако даже этот много раз испытанный материал оказывается не безразличным к манере: легенда превратилась в проблему, как только Битов продлил командировку на двадцать пять прожитых лет. И проблему далеко не простую. Непростота ее уже в том, что «русский Тазиев» не просто давний друг героя, но и предмет его постоянной зависти, незлой, скорее восхищенной, но все-таки обременительной. Поэтому исследующая мысль и память все время как бы оглаживаются, придирчиво проверяя объективность своих заключений. Путь к истине начинается петлять— путешествие затягивается. Но вот автор вроде бы открывает закон, опираясь на который Вулканавт-1 начал моделировать свои подвиги в самом раннем детстве: «...доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уж доказал другим и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе, уже почти абстрактно, так сказать, из любви к искусству». Основываясь на этом законе, А. Битов выводит и следующую психотеорему: постоянно демонстрируемая сила есть не что иное, как постоянно скрываемая слабость— иначе «зачем же доказывать свою силу столь непрерывно и бесконечно?».

Однако в конце путешествия оказыва-

ется, что у автора и у его героя гораздо больше общего, чем они предполагали: пока они мысленно культивировали свои «отличительные особенности», время, «перемешав отличия», объединило их...

Но Время в повести Битова — это не только стихия, стирающая «индивидуальное» и проявляющая «видовое», но и некая разумная, целенаправленная сила, точно и непрерываемо выбирающая среди множества лиц, событий, явлений именно то, что ему нужно, чтобы «воплотиться».

...Застыв в нелетную погоду на одном из сибирских аэродромов, автор становится невольным свидетелем следующей сцены. Молодая женщина с ребенком рассказывает случайной попутчице свою историю. Не столько рассказывает, сколько думает вслух, стоит ли ей ехать к человеку, бросившему ее и теперь найденному с помощью справочного бюро... И знает уже, что не нужно, и все-таки уговаривает себя, упрасивает. Попутчица, подогреваемая «нескрываемой похотью к чужой жизни», поддакивает. Задевает этот рассказ и путешествующего в поисках самого себя героя, он даже чувствует, что зашевелилось в нем подростковое рыцарство, но как человек воспитанный и вежливый предпочитает не вмешиваться. И вдруг третий из «посторонних» — молодой, некрасивый, не по-городскому одетый дядька совершает неожиданный поступок. «Слушай,— сказал сосед,— пойдем и сдадим твой билет. И купим другой. (Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит... Оказался он прораб, он ведь и был похож на прораба.) Если захочешь,— заключил он,— выйдешь за меня, а я его усыновлю». Говорил он просто и куце, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним». А когда вернулась, герой не узнал ее, потому что Катина лицо было таким, «что смотреть на него было все равно что подсматривать». И эпизод этот, и «цепь размышлений», которые, как пишет Битов, возникли на почве чужого поступка,— переломный момент путешествия, ибо в поступке, совершенном некрасивым прорабом, Битов угадал слово, выдвинутое временем, не столько слово, конечно, сколько тип поведения, отвечающий духу времени, его нравственным устремлениям:

«Время выдвигает свое слово. И слово это — ПОСТУПОК. Поступок требуется каж-

дый день и исключительно редок. А подвиг... Они, конечно, были. есть и будут в наше удивительное время. Но ведь вот даже возникают непонятные дискуссии: «В жизни есть место подвигам? В жизни нет места подвигам?» Бессмысленно ведь спросить: «В жизни есть место поступкам?» Поступок — форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Неблагодарен в принципе. Подвиг ищет форму и требует условий, подразумевает награду. Поступок существует вне этого. И подвиг я могу понять лишь как частный вид поступка, способный служить всеобщим примером.

Битов не просто рассматривает в разном ряду обыкновенный поступок и необыкновенный подвиг на том основании, что поступок не требует особых условий и не рассчитывает на награду, хотя примесь самоутверждения и расчета на награду при тщательном анализе обнаруживается во всех двенадцати подвигах великого железного Вулканолога. Битов видит в повышенном спросе на поступок, а следовательно, и на иного, чем «звездный Генрих», героя — более скромного, более надежного, а главное, способного совершать позарез нужные, хотя и незаметные поступки в «тиши и безвестии», — как бы социальный заказ времени, причем не только этический, но и эстетический, предполагающий переориентацию на изображение жизни будничной, вернее обыкновенной, не только лишенной надежд на звонкую, фанфарную славу, но попросту не нуждающейся в них.

Надо сказать, что мужественные и волевые парни, сделанные из того же огнестойкого, но ломкого материала, что и битовский Вулканавт-1, все еще очень популярны, и не только в литературе «второго ряда». Свообразная эта коллизия — «противостояние героев» (один тип поведения постепенно теряет свою популярность, другой, наоборот, завоевывает ее, но некоторое время они как бы сосуществуют, накладываясь друг на друга, просвечивая друг сквозь друга, так что иногда бывает нелегко понять, что же на самом деле происходит) — очень остроумно, на мой взгляд, обыграна в рассказе В. Токаревой «Уж как пал туман...» (из книги «О том, чего не было»).

В. Токарева устраивает здесь нечто вроде показательной встречи претендентов на роль **положительного героя: с токареской**

стороны — Наташа с ее болезненным чувством долга, почти врожденным талантом ответственности, с ее напряженной духовной жизнью и черной, большой, незаметной работой. В том, что В. Токарева изображает рабочие будни кончившей консерваторию и несомненно одаренной музыкантши как работу большую, но черную, освободив ее даже от надежд на «свершения», есть несомненный элемент полемики. Наташе «противостоит» уже знакомый нам «настоящий мужчина», который в полном соответствии с недавними «стандартами положительности» умел «интересно жить» — плавал в Баб-эль-Мандебском проливе, ходил на медведя, вообще прекрасно владел всеми видами охотничьего оружия вплоть до подводного и ради любимой работы отказался от любимой жены.

Турнир кончается вничью, ибо, как иронически комментирует автор, ни один из героев не смог обменять то, что он может, на то, чего не может. И все-таки моральный перевес на стороне Наташи, вернее, ее способа интересно жить, и не только потому, что он доступен каждому.

Стремление разглядеть и художественно освоить неромантические стороны жизни, те самые, от которых еще недавно отворачивалась молодая проза как от «серятины» и «примитива», с одной стороны, и явный уклон в нравственность — с другой, заметно перестроили и проблематику произведений о любви. Возвратившись из своего островного «далека» на «материк», современные Ромео и Джульетта оказались в непривычно новой и неожиданно конфликтной ситуации. Свообразие вызванных этим сдвигом конфликтов особенно ощутимо, если сравнить произведения на одну и ту же тему (очень-очень молодой человек на randevу), близкие по художественным устремлениям, но несколько раздвинутые во времени, например повесть А. Битова «Сад» (напечатана в 1967-м, но написана на несколько лет раньше) и только что вышедшую повесть «Игра в жмурки» В. Алексеева. Сделать это тем более интересно, что В. Алексеев целым рядом подробностей (почти нарочитым повторением обстоятельств места и времени: зимний сад, ночь под Новый год, лестница городского дома и т. д.) как бы специально «подключается» к начатому А. Битовым разговору.

Герой «Игры в жмурки», студент третьего курса педагогического института, от

рождения обуреваем желанием быть хоть кому-то хоть в чем-то полезным. На этом держатся его отношения с Надюшей — милой, красивой, спокойной и бесконечно преданной ему девушкой: «Мне не нужна была она: я был нужен ей, и это определяло все». Однако со стороны все выдвинулось в другом свете, и факультетские остряки даже сочинили в их честь нечто вроде иронической «эпиграмм»: «Все говорят: женись Ромео на Джульетте — и не было б любви сверкающей на свете... Но я отвечаю: нет, других исходов нету, я видел, знаю сам счастливую Джульетту...» Эпиграмма эпиграммой, но пока наш Ромео давится жалостью к навязанной ему в Джульетты Надюше, дело медленно, но неуклонно движется к свадьбе; и предчувствуя этот исход в новогодний вечер, в доме Ромео представители обоих семейств собираются на смотрины. И вот тут-то Ромео, так покорно, так безропотно позволивший голубой Надюше, «как густая морковь», заполнить всю его личную жизнь, совершает неожиданный поступок: сославшись на выдуманное дежурство, удирает с вечеринки. Выпрыгивает из быта в новогоднюю ночь, а потом в ту, «вторую действительность», где, как ему кажется, он освобожден от необходимости «делать то, чего хотят другие», и где, конечно же, встречает Джульетту — на этот раз настоящую: «Губы ее были плотно сжаты, руки, которые я взял в свои, дрожали. Мне стало страшно, я понял: это все. Это судьба». И словно бы подтверждая, что встреча в зимнем саду дарована судьбой, и одновременно благословляя юных влюбленных, стоял в темной сини новогодней ночи «широкоплечий Орион. Тонкая галия его была перевязана косым кавказским пояском...».

Пройдет немногим больше месяца — и, выйдя из дома Джульетты, Ромео увидит лишь пустые звезды в пустом небе да пустые деревья на пустом снегу...

Но что же произошло? Может быть, Ромео ошибся в себе? Или в Джульетте? Снова принял за любовь мечту о ней? Нет, нет и еще раз нет! На этот раз и любовь настоящая, не выдуманная и не вынужденная, и Джульетта в отличие от голубой и пресной Надюши щедра, неожиданна и, при всей своей трогательной беззащитности, смела до отчаяния. Да и Ромео не в пример своим литровесникам даже в мыслях ни разу не отступился от любви.

мой, не смалодушничал, отстаивая свое право на любовь... Ответ, вернее, ключ к нему по воле автора дает Джульетта, обращаясь к растерянному Ромео, который никак не может обнаружить виноватых: «Ни я не виновата, ни ты. Наверно, есть какие-то правила, и мы их не знали».

Но какие же это правила, за незнание которых так дорого расплачиваются наши влюбленные? Разумеется, В. Алексеев их не формулирует, предоставляя этот труд читателю, но так как по складу своего дарования он воспитатель, «ловец душ», то отсутствие прямого авторского суждения и осуждения компенсируется обилием наводящих моментов и ситуаций.

Так, В. Алексеев не устает обращать наше внимание на те правила, которые Ромео и Джульетта как раз соблюдают: «...мы сами по себе, и, кроме нас, нет никого на свете». «Я ничья... Ты повторяешь все время: мы сами по себе. Вот и я сама по себе» «...Мы сами по себе. Ты и я, и никого больше. Последние люди на земле. Мы никому и ни в чем не обязаны и будем делать только то, что сами хотим».

Казалось бы, идеальные условия: никаких обязательств, никаких внешних препятствий, все позволено, никакой зависимости от «взрослого мира», где человек существует, «справляя какие-то обязанности, связанные с общением», так сказать, «чисто функционально». Нет ничего, кроме любви и двоих, которые любят друг друга. Ситуация, экспериментально противоположная конфликту, лежащему в основе битовского «Сада»: там главное — зависимость от внешнего, зависимость, которая в заданных Битовым условиях (маменькин сынок, восемнадцатилетний первокурсник и взрослая, да еще ведущая более чем двусмысленный образ жизни женщина) совершенно неразрешима. И неразрешимость эта принципиальна: А. Битова меньше всего интересуется та конкретная польза, какую читатель мог бы извлечь из рассказанной ему истории. Согласно концепции его повести, любовь — чудо, пришедшее неизвестно откуда и неизвестно за что озаряющая и преображающая жизнь и так же беспричинно, неизвестно отчего гибнущая... Вспомните финал «Сада»: откуда любовь — не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не от него, то откуда же?

В. Алексеева такая отвлеченно-метафизическая постановка явно не устраивает. Сославшись на судьбу, принявшую на этот раз облик «широкоплечего Ориона», он сосредоточивает свое внимание на исследовании обстоятельств, способствующих гибели любви. Сначала он испытывает любовь бытом (в случае с Надюшей) и, выяснив, что в этих гарантированных обстоятельствах возникают чаще всего разного рода «заменители», усложняет испытание — освобождает влюбленных от всех тех сопутствующих обстоятельств, которые принято было считать «канцерогенными»: от унижительной материальной несостоятельности, от чужих углов, от недоразумений — словом, создает почти идеальные условия.

Так вот, создав для своих Ромео и Джульетты почти лабораторные условия, В. Алексеев приходит к знаменательным выводам. Первый: любовь не может жить вне «привычных связей», вынесенная из времени, вынутая из просто жизни с ее большой, черной работой, она перерождается до самоуничтожения. Второй: по природе своей любовь — «чернорабочий», а не «белоручка». Третий: свобода от обязательств ей, по существу, не только не нужна, но, наоборот, противопоказана, ибо любовь прежде всего ответственность, и не только перед любимой, но и перед любовью, больше того — перед жизнью.

В. Алексеев расстается со своими героями в злую для них минуту, когда они еще не в состоянии извлечь из своей «повести печальной» необходимые уроки.

Все это впереди — и прозрение, и раскаянье, и мудрость; сейчас же ничего не остается, кроме как твердить, глядя в пустое небо, освещаемое пустыми звездами: «Человек, узнавший свободу, уже не променяет ее ни на что». Искус вроде бы не новый: свободой уже не раз испытывали любовь. Но на этот раз «эксперимент» проведен с необычными для этой почти классической ситуации героями — не принадлежащими к категории себялюбцев и страдающих эгоистов, из тех, кто «для себя лишь хочет воли». Вожделенная свобода оказывается «тигельной», разрушающей нравственную структуру личности, ее, так сказать, врожденный «генотип», необязательная легкость «игры в жмурки» оказывается не по силам нашим Ромео и Джульетте, рожденным «для великой», но «земной любви».

4

Битовское «Путешествие к другу детства», как мне кажется, знаменательно еще и тем, что здесь, пожалуй, впервые так отчетливо проявился в молодой прозе новый романский тип отношений между автором и главным персонажем произведения. Отношения эти в романе, а также в смежных с романом жанрах складываются в основном из двух моментов. Первый — умение пользоваться «авторским избытком», то есть тем, чего «герой не знает и не видит», по определению М. Бахтина; второй обозначен Бахтиным же как «динамика несоответствия и разнобоя между различными моментами.. образа», подразумевающая не конгломерат разрозненных, метко подмеченных черт, но их диалектическое единство.

Это двойное препятствие для молодых прозаиков долго было чересчур высоким барьером, но не только в силу его технической сложности; для того чтобы взять этот барьер, нужно было сломать уже сложившийся стереотип, где гарантией правдивости служила предельная идентичность автора и героя (еще чуть-чуть — и кончается литература и начинается предлитература: автобиография, исповедь, дневник). При таком положении очень не просто оперировать категорией «авторского избытка», проще свести его к нулю. Отсюда же и робость при фиксации «разнобоя между различными моментами образа». Ведь для того, чтобы решиться и всерьез ввести в повествование коллизию «человек перестал совпадать с самим собой», надо посмотреть и на себя, любимого, как на чужого, а для этого мало умения, даже отваги мало, той врожденной, той лихой отваги, которой так радовала нас и продолжает радовать молодая проза..

Речь, разумеется, идет лишь о тенденции, а не о правилах без исключений. Тот же Битов после «Путешествия» и «Сада» написал «Колесо» — вещь облегченную, нарочито декоративную, созданную словно бы специально для того, чтобы напомнить: человек бывает так же отличен от самого себя, как и от других людей.. В «Колесе», как справедливо писал В. Турбин («Новый мир», 1972, № 4), смешались словно в безвременном, по весне, листопаде сентенции и афоризмы, цитаты из классики и выдержки из инструкций по коневодству. Правда, Турбин непоследователен: ирони-

зирует над Битовым, выдающим тетрадку с конспектами за «скрижали пророка», а сам явно обогащает «Колесо», пытаясь присоединить его к особому роду «командировочной литературы», с одной стороны, с другой — объявляет образцом экспериментальной прозы, якобы фиксирующей сам процесс мышления. Но если «Колесо» и было задумано как повесть о мышлении, то о мышлении, работающем вхолостую. Вряд ли также может обрадовать читателей Битова, ожидавших от него после «Сада» и «Жизни в ветреную погоду» аналитических произведений, возвращение к романтическим парадоксам времени «Путешествия Бориса Мурашова» (1960), ибо сегодняшний серьезный читатель явно потерял интерес к литературному герою, перемещающемуся в пространстве, — ему куда более по вкусу «приключения души»..

Чувствуются «ножницы» между подходом к материалу и возможностями, заложенными в нем, и в романе талантливого грузинского прозаика Нодара Думбадзе «Не бойся, мама!».

Главный герой восемнадцатилетний Авандил Джакели любит двух женщин и уверен, что не обманывает ни одну из них — в городе Дадуно, красивую, легкую, праздничную, в горах Феридэ, упорную сердцем и печальную, но, конечно же, красивую, «словно сказочная русалка, вышедшая из воды».. Ситуация более чем конфликтная; самое время романисту воспользоваться «авторским избытком», для того чтобы проникнуть в неведомые герою глубины его души. Но автор предпочитает не знать того, чего не знает его герой, и не видеть того, чего не видит он. Вот как выглядит (при нулевом «авторском избытке») диалог между нашим витязем в серой шинели и Дадуной после полутора лет разлуки, в течение которых сердце героя было занято образом печальной Феридэ:

— Скажи, не вспоминала меня? — повторил я.

...Дадуна высвободила руку, отошла в сторону... Сумка на длинном ремешке.. раскачивалась ритмично, словно маятник часов..

— А ты вспоминал меня? — вдруг спросила она, придерживая раскачивающуюся сумку и опустив голову.

— Что же я делал? Конечно, вспоминал.— Я покраснел. Слава богу, Дадуна не заметила этого.

— Почему же не написал хоть одно письмо? — тихо спросила она.

— Не люблю писать, Даду! — сказал я искренне.

Она улыbnулась...

— Хорошо! — воскликнул я. — Допустим, я виноват. Но ты? Почему ты не писала? — Я схватил Даду за плечи... Красивые раскосые ее глаза были полны слез.

— Прости меня, Дадуна, прости, если любишь меня! — взмолился я.

Она отрицательно покачала головой.

— Даду, моя Даду!

Я обнял Даду, привлек к себе и стал осыпать поцелуями ее глаза, щеки, губы, шею»...

А через несколько дней с не меньшим жаром и почти в тех же выражениях Автандил Джакели будет уверять Феридэ, обнимая и осыпая поцелуями ее колени, что любит только ее и готов объявить об этом всему миру, и, конечно же, совершенно искренне. Какой мгновенный и безболезненный «перелет» от легкого смущения к полной искренности и далее — к бурному, не без отчаяния эмоциональному взрыву! Что это — легкомыслие? Легкочувствие? Или просто актерство? Милое, наивное вживание в роль влюбленного — почти рефлекторная реакция на залитое слезами красивое женское лицо?

На эти вопросы Нодар Думбадзе не отвечает, хотя в романе есть еще один герой, которому, как говорится, сам бог велел взглянуть на юного Автандила строгими, критическими, а не восхищенными глазами, увидеть не только его явные достоинства, но и не менее явные недостатки. Это писатель Владимир Мдинарадзе, сорокалетний, вполне маститый, не единственный лауреат; он пишет роман о пограничниках, и в его романе, так же как и в романе самого Думбадзе, главенствует Автандил Джакели. Прием, может быть, и не оригинальный, но достаточно конструктивный, ибо позволяет дать мир отраженным в разных сознаниях: глазами восемнадцатилетнего новобранца и сорокалетнего художника, видение которого изощрено опытом и профессиональной тренированностью, но в то же время как бы ослаблено лауреатством, сытой жизнью и прочими налогами на «радости творчества». Этот код «инженерной мысли» позволяет и в образ главного героя ввести недостающее третье измерение — показать его не только таким, каким его видит писатель Мдина-

радзе. Но эта возможность также остается неиспользованной: писатель и солдат ведут себя как близнецы — и в мелочах и в крупном.

И причина этих «не приличных» настояще-роману совпадений, как мне кажется, и в элементарном неумении организовать многоязычное, многомерное романное пространство, и в тех любовно-родственных отношениях, которые связывают автора и его героя.

Нет, я вовсе не считаю, что овладение крупным прозаическим жанром так уж необходимо писателям, сосредоточившим свое внимание на специфических молодежных проблемах. Речь идет лишь о необходимости преодоления известной робости перед сложностью «романного мира», мешающей работать и в смежных с романом жанрах, которые роман в эпоху своего господства «властно вовлекает... в свою орбиту» (М. Бахтин). Но для того, чтобы преодолеть «романобязнь», мало самоотречения, нужна еще и воля к серьезному и глубокому самопознанию (если перейти на терминологический язык «Заметок» М. Чудаковой), но именно к самопознанию, а не просто самонаблюдению, а это требует умения взглянуть на себя еще и со стороны, и притом критически, объективно.

Но тут вступает в действие механизм «обратной связи»: информация, добытая методом углубленного самопознания, с одной стороны, не укладывается в тот воздушно-исповедальный полудневник-полурассказ, что был так популярен в начале 60-х годов в прозе тех авторов, которые особенно отдавали дань «лирическому эгоцентризму», с другой — ввиду «опасной» откровенности требует маскировки, прикрытия, отчуждения. Отсюда, как мне кажется, и тяга, иногда преждевременная, к роману, отсюда и интерес к героям иной судьбы, иного социального и жизненного опыта — и не бескорыстный, а вызванный необходимостью проверить универсальность результатов самоанализа. Мне, например, представляется далеко не случайным то обстоятельство, что главным героем трех наиболее заметных произведений последних лет — «Дзори Миро» Мушега Манукяна, «Последнего срока» В. Распутина и романа Зорайра Халафяна «Год, год, год...» — является очень старый человек. Любопытно и то, как объясняют молодые писатели пристальное внимание к людям,

доживающим «последний земной срок». Вот что пишет, например, Олег Куваев в рассказе «Утренние старики»:

«...С давних пор я люблю отдаленные местности и... общение со стариками. В этом при желании можно усмотреть тоску по утерянному спокойствию и мудрости, но я думаю, что причина проще, если бытие наше представить как длинный бег по пересеченной местности. Ясным солнечным утром ты выбираешь маршрут и мечтаешь о том, чтобы маршрут оказался хорошим, а сам ты — неплохим бегуном. Не всем, правда, дано до финиша знать истину бега. Старики же как бы выходят уже на финишную прямую»...

Характерно и то, что полемика здесь ведется, что называется, на два фронта: и с ностальгическим, лихоносовского толка умилением «древним человеком», и с не менее распространенным в молодежной прозе начала 60-х годов представлением, будто «одолеть маршрут» можно, не прибегая к помощи тех, кто знает «истину бега». Даже название этого рассказа многозначительно: почти формула, почти девиз; Куваев «подобрал слова» к носящейся в воздухе идее.

Семнадцатилетний аксеновский Димка начисто отрицает все, что навязывается ему старшими. Семнадцатилетний Мартинас Яцинявичюса уже знает: все, что живет только настоящим, не имеет будущего и обречено повторять «нечто давно прошедшее». С этим знанием он входит в повесть и тут на наших глазах добывает, и притом своими руками, еще одну истину: тем опытом, который прошлое передает настоящему, не воспользуешься, пока не освободишься от пустой и опасной иллюзии, будто ты исключение и тебе одному, избранному, отмеченному, уготована особая, голубая и звездная жизненная стезя.

Коллизия эта — отправная точка сюжета «Цапелевого поля»; вынесенная за текст, она управляет движением фабулы и в алексеевской «Игре в жмурки», она является также внутренней пружиной конфликта в романе «Год, год, год...» З. Халафяна.

...Доктор Стефан Есяян, сорок лет назад посланный по распределению в глухую горную деревню, все эти долгие годы тщетно мечтает о возвращении: в министерстве каждый год «забывают» об обещании сменить его, а оставить больницу без врача, бросить больных Есяян не может... И вот он наконец сдает дела при-

ехавшему из Еревана, и притом добровольно, молодому врачу — Норе Шаинян. Сдает Есяян не просто дела, но и свою жизнь — год за годом, день за днем... И не долгим одиночеством рождена внезапная откровенность, но желанием помочь красивой, избалованной, сугубо городской девушке привыкнуть к неподходящей, легкомысленно избранной судьбе. Но Нора «все это» кажется неинтересным, ненужным, чужим. «Для чего он это рассказывает? — думает она. — ...К чему сейчас эта печаль прошлого? Мне неинтересно... Не хочу знать, что было до нашей эры, до моей эры. Не желаю».

Однако через некоторое время Нора начинает понимать, что и с этим «доисторическим человеком», и с его «пожелтевшей печалью» у нее гораздо больше общего, чем ей еще недавно казалось. И вот она уже сравнивает его «эру» со своей, себя — с ним и через себя пытается понять его: «Она чувствовала, как день ото дня незаметными путями начинает и ее что-то связывать с этой землей, этой дешевой жизнью и этими людьми. Вот так, наверное, произошло и с этим человеком, врачом этим, а он и не заметил, он жил и думал — еще немного, еще немножечко, самую чуточку — и он сорвется, бросит все и уйдет туда, откуда звали его все знакомые голоса и другая, милая жизнь». И сравнивая свою еще не прожитую жизнь с жизнью уже прожитой, Нора догадывается, что ей, как и Есяяну, будет совсем не легко «бросить все это», потому что она, как и он, не из тех людей, которые «никогда там, где им невыгодно, не задержатся ни секунды».

В послесловии к роману Геворк Эмин пишет: «В прозе Зорайра Халафяна — трезвый взгляд на жизнь, пристальное внимание к ее трудностям и противоречиям, удивительный талант замечать подлинный героизм в неприметных внешне людях, событиях и обстоятельствах»...

Первая часть характеристики очень верна, а вторую мне представляется необходимым уточнить, ибо суть романа как раз в том, что Стефан Есяян не идеальный подвижник и жизнь его отнюдь не сознательный подвиг, в необходимости которого он не усомнился ни разу... Стефан — подвижник почти поневоле, так сказать, в силу обстоятельств внешних и внутренних, и автор это подчеркивает с некоторой даже демонстративностью; не случайно же

через весь роман проходит тема Одиссея, страстно мечтающего о возвращении на свою Итаку... Есть известная нарочитость и в настойчивости, с какой Халафян все время напоминает нам, что и Нору привела в горное глухое село не мечта о подвижничестве, а лишь желание доказать своему возлюбленному, что и она способна на неожиданные и значительные поступки. Словом, Зорайр Халафян трезво понимает, что читатель, привыкший очищать сюжет от «лишних», нарушающих прямолинейное движение подробностей, может и не заметить, как сильно он отклонился от традиционной трактовки исполненного подлинного героизма жития. Но не потому уклонился, что впал в искус так называемой дегероизации, но потому, что хочет показать: для того, чтобы совершить поступок, неблагодарный в принципе, но такой нужный людям, нужный не единовременно, а каждый день все сорок долгих лет, вовсе не обязательно от рождения принадлежать к той особой категории людей, которые с детства ничего не боятся, не знают никаких сомнений и ни о чем, кроме подвига, не мечтают...

Итак, положительный герой перестает быть идеализированным образом автора, где натуральность, даже развязность в обрисовке внешнего облика и относительная точность в передаче образа мыслей парадоксально сочетались с «застенчивостью» психологического анализа.

Утрачивает свою однозначную нормативность, на мой взгляд, и герой, что называется, отрицательный. Знания и навыки, накопленные в процессе самопознания, помогли молодым прозаикам и тут перейти на иной исследовательский уровень, исключая простое осуждение, но требующий суда, непредвзятого, объективного, учитывающего реальные противоречия в характере «подсудимого». Это новое отношение к отрицательному герою хорошо видно на примере повести В. Алексеева «Последний шанс «плебея» и пьесы молодого иркутского драматурга А. Вампилова «Утиная охота» (опубликована в шестой книжке «Ангары» за 1970 год).

Со спокойной, почти судейской бесстрашностью, не позволяя себе ни одного комментирующего слова, листает В. Алексеев дневник своего героя. Вот он просыпается, этот современный «аристократ», и, «проступая сквозь сон, как невидимка», фикси-

рует свои ощущения с точностью, которой мог бы позавидовать профессиональный поэт:

«Сначала замерцали пальцы ног — они торчали, как ракушки, воткнувшись до половины в сырое речное дно. Потом ульщала свои губы: на них был вкус дождя. По телу пробежала рябь — как по воде, когда ее заденет ветер. Минуту я лежал в оцепенении, ориентируя себя в пространстве, и наконец проснулся... Занавески, шторы, скатерть на столе — все плескалось под напором зеленого ветра. В этом было что-то от праздника: просыпаешься, а по улицам, редкие и густые, катятся волны народа... Но сейчас на улице не было никого, кроме дождя. Он один, как Гуинпен, разговаривал на тысячу голосов, бормоча, командуя и вздыхая»...

Обольщенные и тонкостью восприятия, и незаурядностью ассоциативных реакций, мы, естественно, ожидаем от героя не менее тонких и деликатных душевных движений. И обманываемся в своих ожиданиях: человек, обладающий слухом, способным различить в голосе дождя тысячу эмоциональных оттенков, и глазом, способным определить цвет дождя, в первых же житейских столкновениях обнаруживает удивительную черствость и грубодушие. Разочарование это так неожиданно, что поначалу даже пытаешься обвинить автора в том, что он подарил отрицательному герою свой собственный внутренний монолог. Но затем понимаешь — тут не дилетантская промашка, а вполне осознанный, строго рассчитанный ход: автор как бы предупреждает читателя, что процесс исследования потребует от него не только умственного напряжения, но отказа от стереотипных представлений об идеальном отрицательном герое, от которого, как тройным одеколоном, за версту разит «отрицательностью».

Нет, наш супермен недаром натаскивает себя на «аристократа», его поведение безупречно. Вернее, почти безупречно, потому что не только непутевый его братец, но и влюбленная в него Наташка почти помимо своей воли все же чувствуют в нем какой-то душевный изъян. Что же касается главного идейного противника нашего героя, человека с дostoевской фамилией Алеша Берестяников, тот и вовсе смотрит на него так, словно «знает что-то помимо», словно самим своим существованием отрицает аристократический прагматизм супермена с его культом комфор-

табельной красоты, корректности, с его упорным отстаиванием своего девиза: «Мне ни от кого ничего не надо».

Однако внутренняя распря «аристократа» с Берестяниковым так и застревает на уровне теоретического спора, настоящий, не теоретический вызов бросает нашему герою некий Витек, самый презираемый из «идеалистов», хулиган, шалопай, неудачник и, что самое неприятное, «плебей» Витек, для которого он с самого детства был хоть и ненавистным, но идеалом.

Поначалу, правда, может показаться, что «аристократ» затянут в «заговор» чисто случайно, что все дело в Наташке, в которую Витек безнадежно влюблен и которой хочет отомстить за измену. Но оказывается, что ситуация сложнее. Да, он действительно хочет «отплатить» девчонке, «надружавшейся над лучшими чувствами его души», но в то же время ставит, хотя, конечно, и не называет это так про себя, некий психологический эксперимент, цель которого — испытать своего друга-врага по вышему, мужскому счету, счету чести. Не совести даже, а именно чести. Отдав нашему герою финку и недвусмысленно намекнув, что программа мести изменена, Витек ждет, как же поступит в этой сложной ситуации человек, которого с детства все ставили ему в пример, ибо всем троим — Наташке, «плебею» и «аристократу» — известно: только вмешательство последнего может помешать Витьку осуществить свою чудовищную месть. Но именно вмешиваться «аристократу» и не хочется, несмотря на почти двухлетний роман с Наташей, ибо чувствует в ней, родной сестре Берестяникова, пусть в смягченном, женском варианте, все тот же упорный, не желающий считаться с обстоятельствами идеализм.

Впрочем, сам-то он считает, что дело не в Наташке, а в принципе. Однако оказывается, что принцип — вещь неопределенная, чуть повернул его, подвинул — и он позолит нашему герою доказать себе, что в этой «достоевской» ситуации лишь он один поступает «прилично»: не трогает того, что ему не принадлежит, и не стремится растоптать чужую волю.

Конечно, он знает, что Витек задумал «нечто страшное», но все тот же инстинкт самосохранения подсказывает ему: что бы ни случилось между Наташкой и Плебеем, он может убедить и себя и закон в том, что это не «просто изнасилование».

Но вот звонит Наташка. Звонит в последний раз, чтобы сказать: после того, что случилось, ей не хочется жить. Она же общается герою о том выводе, который Витек сделал на основании своего «эксперимента»: «Он сказал, что ты трус...» И тут же добавляет от себя: «...но я не верю. Помоему, ты просто умер. Умер уже давно, только никто еще об этом не знает». И вот тут наш помешанный на безупречности герой теряет самообладание, и повесть, до сих пор мягко катившаяся по рельсам полного правдоподобия, срывается в гротеск:

«Я умер? Да во мне больше жизни, чем во всех них, вместе взятых... Я жив настолько, что сам удивляюсь: моей энергии хватит на тысячу лет. Да если хочешь знать, я бессмертен. Практически бессмертен, вот так».

По странному совпадению, на реализации этой метафоры — умерший живой человек — Александр Вампилов строит пьесу «Утиная охота». Главный герой «Утиной охоты» — некто Зилов, тридцатилетний инженер; в авторской ремарке сказано, что актер, играющий его роль, не должен забывать: и в походке Зилова и в его манере говорить «много свободы, происходящей от уверенности в своей физической полноценности». Так вот этот Зилов, проснувшись в своей малогабаритной квартире после небольшого банкета по случаю долгожданного отпуска, а значит, и удовольствий утиной охоты (охота — хобби Зилова), с огорчением убеждается: вместо обещанной переменной облачности — проливной дождь. Не успевает он переварить эту неприятность, как раздается звонок и в дверях появляется мальчик-посыльный с большим дешевым погребальным венком, обвитым, как и положено, траурной лентой. А на ленте — «от безутешных друзей»: «Незабвенному безвременно сгоревшему на работе Зилону Виктору Александровичу...»

Не обладая ни привычкой к самоанализу, ни самоуглубленностью алексеевского «супермена», Зилов, пригвожденный к своей тахте сверхнеожиданностью обстоятельств, все-таки напрягает воображение, восстанавливая в памяти те эпизоды своей «биографии», что предшествовали злополучному «банкету», кончившемуся полным скандалом — с женой бывшей, с невестой будущей, а также с приятелями всех рядов. Воспоминание первое, второе, тре-

тье... Несколько картинок из жизни провинциального бонвивана, который и мог бы дотянуться до уровня страстного охотника за удовольствиями, да вот не дотягивается; в жизни он такой же, по сути дела, мазила, как и на своей «утиной охоте». А ведь дело знает и приемы освоил, простые правда, даже примитивные, но, как ни странно, соблазняющие даже «идеальных девочек»: «Действуйте смело, не церемоньтесь. Это все делается с ходу. Хватайте быка за рога».

Но вы ошибетесь, если примете героя «Утиной охоты» за современную разновидность классического Дон Жуана. Дон Жуан — квинтэссенция жизни, а в Зилове, при всей его победительности, есть что-то ненастоящее, мертвое и бессильное. И его граничащая с преступлением ненадежность лишь отчасти проистекает из его патологического легкомыслия, легкомыслие — половина беды; настоящая беда — в его нравственной безответственности. Именно эта особенность психологической «структуры» героя «Утиной охоты», согласно концепции Вампилова, делает его социально опасным элементом, или, как пишет автор редакционного предисловия к «Утиной охоте», «микробом, могущим вызвать заболевание» (М. Сергеев).

На первый взгляд ничего общего с алексеевским суперменом. «Аристократ» не только ненавидит неприятности, но и очень умело ограждает себя от них; Зилов же, наоборот, только и знает что попадает в историю; первый — сдержан, корректен, второй — расхристан, почти невращен, а главное, в отличие от «аристократа», твердо знающего, что ему нужно от жизни, не имеет никакой программы, подчиняется минутным прихотям и вовсе не думает о последствиях. Даже в хобби свое — утиную охоту, — разговоры о котором занимают все его свободное от любовных походов и служебных обязанностей время, Зилов не вносит и доли той увлеченности, с какой герой повести В. Алексеева «Последний шанс» «плебея» коллекционирует, например, красивые вещи. Для Зилова даже охота — не страсть, а лишь приличное (по нормам, принятым в его кругу) средство самоутверждения, а если еще точнее, то что-то вроде иллюзорного убежища, в которое Зилов прячется всякий раз, когда необходимо совершить поступок, требующий хоть небольшого напряжения воли.

И тем не менее перед нами лишь разные

проявления одной и той же болезни — нравственной безответственности. В. Алексеев дает как бы рациональный ее вариант, здесь асоциальность — ни мне ничего, ни я ничего — обставлена почти на философском уровне. А. Вампилов предлагает менее сложную, эмоциональную, но зато более распространенную разновидность, но это не делает болезнь менее опасной, может быть даже наоборот.

Скажи мне, кто враг твой... Так, способом от противного, было еще раз подтверждено, что талант ответственности, именно талант, является особой метой героя положительного, ибо только такой герой может всерьез противостоять безответственному цинизму сегодняшних зиловых.

Когда-то Андрей Битов шутиливо признался, что у него все герои положительные, так как на отрицательных сил не хватает. Сегодня, как мы видим, положение изменилось: многие произведения молодых писателей посвящены исследованию нравственной структуры личности, обладающей «отрицательным зарядом», все чаще и чаще проблема героя отрицательного ставится как серьезная социальная проблема, и это, на мой взгляд, большое завоевание молодой прозы, признак ее духовной зрелости.

5

И вот что любопытно и требует, на мой взгляд, раздумий: за отступлением в обыкновенную жизнь и все усиливающимся стремлением проникнуть в «мир романтный» не последовало, казалось бы, неизбежного в этом случае пристрастия ни к бытописательству, ни к прочим разновидностям обстоятельного реализма. Более того, чем увереннее чувствовала себя молодая проза в «пространстве быта», тем свободнее обращалась она с законом бытового правдоподобия.

...Некий Гия Семечкин бывший фокусник, определяясь на некую неопределенную должность в некий сатирический журнал, упоминает в заявлении о приеме пушкинскую золотую рыбку и на недоумение шокированной такой вольностью секретарши разъясняет: «Хотите новое корыто, хотите новую избу, а хотите быть вольной царницей?» Знак «золотой рыбки» — 88, удвоенное изображение символа рыбы, — помещает Гия и на дверях своего таинственного «кабинета». И начинаются настоящие чудеса! Правда, кончается работа по сотворе-

нию чудес и исполнению любых желаний весьма печально: убедившись, что немедленное исполнение желаний не делает никого счастливым, Гия исчезает, и, конечно же, самым фантастическим образом — возносится... (В. Токарева, «Закон сохранения»).

...В дачном поселке появляется никому не известный человек, врывается в обыденное, как «кленовый лист» в «неубранную комнату», и, подчинившись некому приказу, «солнечные блики, разбросанные до этого в беспорядке по комнате, дрогнув, легли к его ногам, словно стая прирученных птиц». И когда в финале незнакомец, вознаграждая поверивших в его необычность, совершает чудо — переходит реку в том месте, где и моста-то никакого не было, не замочив черных вечерних туфель, — вспоминаем уже не знакомых фокусников, но куда более многозначительное: «...около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались».

Но не будем пугаться этой многозначительности, ибо в данном случае евангельская ситуация истолкована как сказка про «сына божиего», умеющего ходить по воде как по мостику. Разумеется, эта сказка с «намёком», но от этого она не перестает быть сказкой (Г. Корнилова, «Никому не известный человек»).

...Через девятнадцать лет совершенно случайно за ресторанным столиком встречаются старые друзья: Рыжий с того двора, герой-рассказчик, почти известный художник с несколько одряхлевшим от славы сердцем и их общая «любовь» — Аська. Несколько острых моментов при узнавании, но затем напряжение резко падает. Общих воспоминаний не хватает даже для того, чтобы вести на должном уровне элегическую беседу, не опускаясь до ресторанной болтовни. И вдруг Рыжий с того двора, оказавшийся не моряком и не инженером, как поначалу предполагалось, а фокусником (!), вытаскивает из-за пазухи красного петуха с хвостом огненным, как реактивный выхлоп, и произносит, вознесшись на балкончик, не менее реактивную речь. К нему, конечно же, присоединяется и наш герой, и вавоем, несмотря на отчужденную и даже враждебную настороженность «зрительного зала», они показывают полную цирковую программу: «Мы долго прыгали, гогоча, отскакивая от пола, как от батута,

кувыркаясь, а потом гигантскими прыжками вылетели вон,» делая по пути кульбиты, колесо, двойные и тройные сальто». И чтобы читатель, упаси боже, не подумал, что «чудо в ресторане» произошло лишь в воображении нашего героя, раздраженном неврастенией и подогретом «рашен стронг водка», автор подключает к происшествию, так сказать, в качестве свидетеля человека со стороны, который и «прокручивает» еще одно «сальто»: «Ничего странного не произошло. Мы были информированы заранее. Встречи друзей детства всегда кончаются таким образом» (В. Аксенов, «Рыжий с того двора»).

В книге Г. Корниловой «Большие дома» сдвиги в сторону вымысла объясняются сосредоточенностью автора на выражении неуловимых, порой смутных душевных состояний, где так много неясного, таинственного, чудесного, состояний, которые обычно так трудно даются сюжетной прозе. (По аналогии с поэзией я бы назвала прозу подобного рода суггестивной, ибо задача ее не только в том, чтобы изобразить то или иное душевное состояние, но еще и заразить им читателя, внушить его, и притом неким бессюжетным, «беспроволочным» способом.) В рассказах В. Токаревой, наоборот, фантастика рождена тоской по интриге, по яркому сюжету. В случае же с аксеновским «Рыжим» — необходимостью спасти рассказ, обогатить материал, так как заложенного в нем содержания, если подавать его в классическом, без преувеличений, виде, недостаточно для поддержания нужного эмоционального напряжения.. Словом, на каждое отдельное «чудо» своя причина.

Но есть, как мне кажется, и некая причина, если исключить, разумеется, моду на вознесения с помощью «перкалевых простынь». Мне представляется возможным предположить, что эти массовые уклоны от изобразительных эталонов обстоятельного реализма как-то, но связаны с художественным освоением обыкновенной жизни. Вернее, с сознанием того, что отступление в быт не цель, а способ разглядеть, как говорит один из героев «Щавелевого поля», спрятанную сторону жизни. А может быть, и со смутным предчувствием, что бытовые, ролевые, даже любовные связи в их будничном, не преображенном посредством фантастического образа преломлении дают лишь приблизительный ответ на тот сакральный вопрос, который все чаще и чаще задает себе очень-очень молодой чело-

век 70-х годов: «Кто такой я изнутри? Как я для самого себя»...

Десять лет назад, подводя итоги критических дискуссий, развернувшихся вокруг «Звездного билета», М. Туровская очень точно, на мой взгляд, определила высоту «психологического порога» молодой прозы начала 60-х годов: «Если бы Аксенов, а с ним и Виктор имел возможность приглядеться к «младшему брату»... мы имели бы не только броско похожий, но и глубокий портрет сегодняшнего Димки. Не просто портрет, а художественный образ со всеми реальными противоречиями, достоинствами и недостатками его жизненного прототипа. Между тем, вместо того чтобы Димку показывать, автор вынужден был занять по отношению к нему позицию защиты во что бы то ни стало».

Ориентируясь на эту характеристику как на некую пограничную веху, можно с достаточной степенью достоверности обозначить приобретение молодой прозы за истекшее десятилетие

Авторы, пишущие о сегодняшних Димках и о сегодняшних Викторках, изменили свое отношение к герою: соблазн позиции «защита во что бы то ни стало» преодолен окончательно. И в результате вместо внешне похожего наброска с натуры мы имеем если и не типический образ молодого человека начала 70-х годов, то достаточно глубокий портрет нашего молодого современника.

Изменился за эти годы и сам герой. Для него характерно гораздо более трезвое, лишённое чрезмерных иллюзий представление о своем положении в мире, причем поиски ответа на вопрос «кто я таков как личность?» для него не менее важны, чем сугубо профессиональное самоопределение. Недаром в молодой прозе ставится под сомнение нравственность работника, если основной силой, привязывающей его к делу, является любовь к фанфарной славе. А главное, герой гораздо тверже своих предшественников знает, чего он хочет. Отсюда более разумное и серьезное отношение к чужому опыту и вообще к прошлому. Сегодняшние семнадцатилетние не отрицают огульно «чужой опыт», но пытаются соотносить его со своим духовным и социальным

опытом. Да и сами молодые прозаики не хотят быть авторами произведений, где было бы «все сплошь сегодня».

Нельзя не заметить и еще одного приобретения молодой прозы, а именно — резкого расширения «сферы» ее влияния: недавно она действительно была популярна только в «некоторых слоях образованной городской молодежи», сегодня у нее появился широкий, общесоюзный читатель. Больше того, молодежная повесть, главное отличие которой — обостренная реакция на сиюминутность, утвердилась практически во всех национальных литературах, даже в тех, где еще недавно безраздельно господствовала многотомная эпопея. Выход к многонациональному читателю и вытекающая отсюда необходимость широкой, а не узконациональной постановки самой проблемы, естественно, отразился и на трактовке художественного образа. Молодые герои Тимура Пулатова и Владимира Короткевича, Саина Муратбекова и Акима Тарази, Анара и Леонидаса Яцинявичюса, Зорайра Халафяна и Андриса Якубана со всей непреложностью свидетельствуют, что создатели их, оставаясь писателями подлинно национальными, сосредоточивают свое внимание не столько на национальной специфике характера, сколько на тех проблемах в жизни своего героя, которые волнуют его сверстников, современную советскую молодежь.

И последнее. Прогнозируя будущее молодой прозы, М. Чудакова пишет: «Сейчас, именно сегодня... время автору прямо, неопосредствованно вершить свой суд над всем...» Гипотеза эта, как мне кажется, не отражает главных тенденций реального литературного движения. И книги дебютантов последних двух-трех лет, и эволюция прозаиков, заявивших о себе более десятилетия тому назад, убеждают как раз в обратном: в их произведениях гораздо яснее просматривается стремление уйти от категоричности «прямого приговора», того, который предполагает владение истиной, что называется, в самой последней инстанции. Нынешние и вчерашние молодые, при всех явно выраженных признаках ранней профессиональной и социальной зрелости, как и их юные герои, и сегодня продолжают настойчиво «искать себя среди множества вещей, людей и событий».



СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...*

(Рассказы о писателях, книгах и словах)

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

С давних пор существовали люди, твердо убежденные, будто есть слова, годные для художественной литературы, а есть и не годные. В середине 20-х годов один из наших активных критиков перечислял такие слова. К ним относились: грезы — грусть — невинность — таинственный — дорогой — свадьба — жених — невеста — ухаживать — благородный — порядочный — очарованный — влюбленный. Перечислив эти слова, критик задавал вопрос: «Разве не пахнет от них на вас крепким букетом самого неподдельного мещанства?»

Были литераторы, которые разделяли утверждение поэта: «Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает ему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена».

Опыты различных Адамов, и талантливых и бездарных, показали, что слово «свадьба» годится для современного романа не меньше, чем, например, слово «развод», и что качество стихотворения не улучшается, если лилию назвать еуы.

Столетиями подтверждается истина: поддельное слово, изъятое из художественного текста и взятое само по себе как грамматическая особь, ни суду, ни осуждению не подлежит.

Слово приобретает эстетический смысл только внутри произведения. На фоне текста оно обновляется, меняет характер и значение, выглядит то старым, то новым, то ласковым, то ехидным, то торжественным, то серьезным.

Чем объясняется такая многоликость? От чего она зависит?

Коротко говоря — от всего.

Если попытаться осмыслить впечатление, произведенное словом «аплодисмент» в значении «пощечина», придется обратиться к идее произведения и к теме его, учесть темперамент автора (Салтыкова-Щедрина), посмотреть, какие предложения стоят по соседству, насколько смысл данного слова удален от привычного словарного значения, насколько такой перенос значения моден, часто ли встречается в газетах, какими слоями и классами общества употребляется... Придется принять во внимание конструкцию и звучание фразы, тон и склад повествования и множество других обстоятельств до начертания шрифта включительно.

Тончайший, почти неуловимый резонанс слова на атмосферу текста доставляет литератору много хлопот.

Чуть ослабишь бдительность — и фраза оборачивается непредвиденным и чуждым оттенком мысли.

Недаром хлысты запрещали излагать свое учение письменно, потому что «буква мертвит». Недаром великие писатели при-

* Журнальный вариант.

ходили в отчаяние оттого, что «мысль изреченная есть ложь».

Любое слово, рожденное народом, бесмертно. И всякий раз писатель пытается обогатить его новым оттенком, добавить к общеизвестному значению свое, сокровенное.

Если это удастся, получается хорошая книга.

Разнообразные превращения слова интелесно проявляются в сочинениях, написанных от первого лица. Из этой большой области я и беру примеры для рассказов о словах и писателях.

Произведения, написанные от первого лица, наука делит по жанровому признаку (воспоминания, сказы, путевые заметки, эпистолярная литература и т. д.). Такое разделение, удобное во многих смыслах, не учитывает взаимоотношений повествователя и слова. А для нашей темы это главное. Нам важно установить, кто тот «я», который ведет повествование.

В первую очередь естественно обратиться к сочинениям, в которых автор ведет повествование от своего собственного имени. Он не скрывается под маской вымышленного героя или выдуманного рассказчика, а говорит свойственным ему языком и в качестве «я» открыто присутствует в своем сочинении.

Образцовый пример — «Записки охотника» Тургенева.

Читать такие произведения нетрудно. Нужно только научиться отделять мысли автора от мыслей героев. Кажется, это просто. Но вот что писал по поводу эпизода из «Мертвых душ» публицист прошлого века: «В его (Гоголя.— С. А.) сочинениях мы встречаем такие места, характеризующие взгляд автора на мужика,— Селифан, кучер Чичикова, высказывает свою готовность быть высеченным за пьянство: «Почему же не посечь, коли за дело? Но то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется; порядок нужно наблюдать!»

Вряд ли закономерно подверстывать высказывания хмельного кучера Селифана под мировоззрение Гоголя.

Впрочем, бывают случаи посложней.

Представим литератора, повествующего не о других, а главным образом о себе, о далеком прошлом, о себе ребенке, о себе юноше. Так написана, в частности, И. Бунинным «Жизнь Арсеньева».

Литературовед А. Волков в своей работе «Проза Ивана Бунина» цитирует следующее место из этой книги:

«Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором — хутор Каменка,— главным имением нашим считалось за-донское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворян малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, спряхухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества?»

Вопрос, по мнению А. Волкова, задается «устаами ребенка». Сам писатель Бунин «мог бы, конечно, ответить на эти вопросы».

В том-то и дело, что на этот вопрос Бунин ответить не может. И это станет ясным, если читать слова отрывка так, как они написаны и произнесены. А произнесены они не «устаами ребенка», а взрослым и мудрым писателем Буниным.

Вместе с тем в этих словах слышится и голос ребенка. В этом двойном звучании и состоит художественный секрет «Жизни Арсеньева».

К сочинениям, принципиально отличным от упомянутых, тяготеют написанные не от лица автора, а от лица героя, от имени главного действующего лица.

Слово в таких сочинениях двойственно. Во-первых, оно информирует читателя о том, что старается поведать герой. Во-вторых, характерность лексики и особенности привычной герою фразеологии невольно выдают все то, что герой сообщать не собирался, а может быть, и сознательно открывал.

Иногда, желая показать себя с самой лучшей стороны, герой, сам того не ведая, рисует злую автокарикатуру. Перечтите с этой точки зрения рассказ А. Чехова «Письмо ученому соседу» — и вы сразу почувствуете эту двойную функцию слова.

Бывает, что в сочинениях от лица героя его лексика не всегда строго выдерживается и автор иногда начинает говорить своим языком.

Такие места надо уметь чувствовать, чтобы не спутать рассказчика с автором. В качестве примера назову рассказ А. Грина «Возвращенный ад».

В следующую группу отнесем сочинения, написанные от лица второстепенного персонажа.

Такой персонаж имеет преимущество перед главным героем хотя бы потому, что не так крепко связан личными интересами с основным событием, не «отвечает» за него и, следовательно, способен изложить это событие более или менее объективно.

Очень показательным примером могут служить рассказы Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе. Здесь наглядно проявляются все особенности слова в устах второстепенного действующего лица этих рассказов — простодушного доктора Уотсона.

Более сложный пример — «Бесы» Достоевского. Второстепенный персонаж, ведущий рассказ в этом произведении, называет себя хроникером. Разобрать персону этого «хроникера» рекомендовал еще М. Горький. Дело в том, что маску этого второстепенного лица иногда использует в своих интересах автор. Тут надо держать ухо востро!

Под значением, которое придает слову хроникер из «Бесов», зачастую таится иное значение — авторское. И в сложных случаях возникает опасность смешать тенденцию автора и тенденцию рассказчика.

Этой опасности не избежал литературовед Н. М. Чирков.

В поучительной книге «О стиле Достоевского», характеризую намерения хроникера, ведущего рассказ в «Бесах», он видит у него «не только снижение героя (имеется в виду Степан Трофимович Верховенский. — С. А.), желание выставить его в самом комическом виде, но даже какое-то упоение в раскрытии его ничтожного, в конечном счете, существа простого приживальщика».

И это говорится о человеке, который искренне подчеркивает свою любовь к Степану Трофимовичу, считает его своим другом и учителем!

Есть сочинения, рассказанные не героем, не второстепенным персонажем. Вместе с тем с первых же строк ясно, что рассказывает и не автор.

Такие сочинения, рассказанные как бы неизвестным, неназванным лицом, можно обозначить привычным термином «сказ», а роль наглядной иллюстрации могут сыграть произведения из сборника П. Бажова «Малахитовая шкатулка».

Особенности сказа очень точно уловил М. Бахтин (см. его книгу «Проблемы поэтики Достоевского». М. 1963, стр. 256—257).

Непонятно только, почему, с его точки зрения, сказ процветает в эпохи отсутствия авторитетных точек зрения и авторитетных и отстоявшихся идеологических оценок.

Сказка, басня (от Крылова до Михалкова), стихотворные сказки Пушкина, «Конек-Горбунук» Ершова (прекрасный образец стихотворного сказа) служат примерами живучести этого жанра в самые разные времена. Мне даже кажется, что на фоне устойчивого литературного стиля особенности сказа по закону контраста действуют еще сильнее.

Когда-то, видимо очень давно, от традиционного сказа откололась в виде полноценного жанра особая манера повествования, оказывающая и в наше время сильное влияние и на кинематограф, и на театр, и на живопись.

Это, так сказать, утрированный сказ. Слово в таких произведениях невозможно воспринимать в его буквальном смысле ни в коем случае. Оно подмигивает читателю, гримасничает, шутит.

Может показаться, что речь идет об обыкновенной пародии. Но это совсем не так. Пародия замыкается в рамках пародируемого произведения и не живет без него. А здесь пародируется речевой атом — слово, и из этих атомов строится оригинальное произведение. Так писал Зощенко.

Но существуют произведения, в которых слово как бы претерпевает все приключения, которые мы перечисляли раньше. Такова, например, «Повесть о капитане Копейкине» — ядро первого тома «Мертвых душ».

Это блестящее сочинение всегда привлекало к себе внимание исследователей идейного замысла поэмы, оно представляет интерес и для литературно-художественного разбора.

И. И. ТУРГЕНЕВ. «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

«Записки охотника» И. С. Тургенева выданы в качестве типичного примера произведений, в которых повествование от первого лица ведет автор.

Беглое сравнение фактов жизни писателя с текстом «Записок» подтверждает, что с нами беседует Иван Сергеевич Тургенев собственной персоной — тридцатилетний высокий темно-русый «охотник по перу», модно подстриженный под композитора Листа,

гастролировавшего в те времена в Петербурге.

Из рассказа можно узнать, что автор-охотник — барин, сравнительно молод, бывал за границей, имел две своры собак, а следственно, довольно богат. Ученые отметили и мелкие подробности вроде того, что любимую собаку охотника зовут Дианка. Даже то, что Дианка желто-пегой масти, соответствует действительности.

Автор не находит нужным скрывать, что уголья его расположены возле стыка Тульской, Калужской и Орловской губерний. В тринадцати километрах от тургеневского родового поместья — Спасского-Лутовинова — находится знаменитый Бежин луг. В трех километрах от Бежина луга существует сельцо Колотовка, упомянутое в «Певцах». Места, где бродил Тургенев со своей Дианкой и егерем Ермолаем (который тоже существовал в действительности), описаны с геодезической точностью. Читатели «Бежина луга» без труда узнавали в натуре и «площады» кустов, и дубовый лесок, темневший недалеко от Чеплыгина (кстати, тоже упомянутого в «Однодворце Овсянникове»), и белую Спасскую церковь.

Правда, в «Живых мощах» Лукерья величает рассказчика Петром Петровичем. Но этому не стоит придавать значения. Рассказ «Живые мощи» написан через двадцать пять лет после первой публикации «Записок», и Тургенев окрестил своего героя первым попавшимся под руку именем (и герой «Каратаева» назван Петром Петровичем, и Лупихин в «Гамлете Цигровского уезда» — Петр Петрович).

Впрочем, кроме анкетно-биографических, существует и еще одно принципиально важное доказательство того, что в «Записках охотника» в качестве «я» выступал тот самый барин, который печатал эти рассказы в журнале «Современник» за подписью «Ив. Тургенев».

Это доказательство заключается в том, что манера повествования в «Записках охотника», несмотря на образцовый литературный язык, мало отличается от привычной Тургеневу речевой манеры со всеми присущими человеку определенной среды особенностями.

Услышать живую речь Тургенева мы не в состоянии. Однако представление о характерных особенностях ее можно почерпнуть из его писем.

По многим рассказам «Записок» (например, «Бирюк») заметно пристрастие Турге-

нева к насмешливой цитации типичных фраз и словечек. Эта особенность подтверждается и письмами:

«...Как говорит ваш муж, — я начинаю сначала...»; или: «Уверю вас, ganz objectiv gesprochen, как говорят наши друзья немцы...»

Особенно характерна для речи Тургенева «намекающая» фраза. О роли такой фразы в «Записках охотника» мы поговорим в дальнейшем, а пока ограничимся примером из письма к знаменитой певице Виардо: «Когда я вошел в театр, у меня неприятно сжалось сердце — вы легко можете себе представить — почему». Во фразе чувствуется и кокетство, вполне, впрочем, простибельное.

Живую речь Тургенева украшали неожиданные, часто карикатурные сравнения такого типа: «Обе они подбирают нижнюю губу, поднимают брови и закидывают голову, когда им хочется легко взять высокие ноты; это придает им удивительно смешное выражение; они делаются похожими на гуся, когда его берут за клюв».

Подобия таких фраз читатель без труда найдет в «Записках охотника».

Разговорная интонация, явственно проступающая сквозь литературную отделку, породила легенду о том, что писание не стоило Тургеневу никаких усилий, что «он писал, как соловей поет» (выражение Тучковой-Огаревой).

Правда, в этом повинен и сам Тургенев. Однажды он похвастал: «У меня выходит произведение литературы так, как растет трава». Однако чудес не бывает. По черновикам его видно, как упорно он работал над каждой фразой, а «Певцов», по собственному признанию, «как мозаику составлял».

Между тем легенда оказалась живучей. В поучительной статье «Тургенев — художник слова», законченной в 1953 году, писатель И. Новиков сравнивает «Записки охотника» хотя и не с травой, но со смешанным лесом, возникшим «как бы совсем самопроизвольно».

Изображать творческий труд Тургенева в виде пения соловья было на руку реакционной критике. «Соловьиная» теория подтверждала миф о том, что «Записки» появились случайно, без определенной цели и без всякого политического направления.

Первый очерк, «Хорь и Калиныч», напечатан на задворках журнала «Современ-

ник», в отделе «Смесь»; из этого следовало, что автор не придавал ему значения; последующие рассказы Тургенев писал чуть ли не насильно, да и общее название придумал не он, а Панаев. Разве все это не означает, что «Записки», вышедшие из-под пера праздного барича, не более чем идеальные эскизы из жизни поселян и их добрых покровителей?

«Говоря любимым выражением критика доброго старого времени,— писал нововременец Буренин,— пафос всех этих рассказов заключается вовсе не в протесте, не в борьбе с крепостным началом, а в идеальном поэтическом изображении русской сельской природы и жизни... Какой протест можно усмотреть даже в самые либеральные очки в таких рассказах, как «Хорь и Калиныч», «Мой сосед Радиллов», «Певцы», «Касьян с Красивой Мечи», «Уездный лекарь», «Татьяна Борисовна», «Чертопханов и Недопоскин», «Лес и степь?»..»

Такая установка была ведущей в дореволюционной критике. Поколебать ее не смогли отзывы И. С. Аксакова, определившего «Записки» еще в 1852 году как «стройный ряд нападения, целый батальный огонь против помещичьего быта», ни прямое заявление самого автора, его знаменитая аннибалова клятва, известная теперь любому ученику.

Бесчувственная ко всему этому официальная критика твердила:

«Тургенев, несмотря на свое признание в ненависти к крепостному праву, на свою клятву вражды к нему, тем не менее относится и к помещику-душеладельцу и к крестьянину-рабу совсем не с злобой отрицания, а с любовью, с искренним приветом».

Аналитические доводы дополнялись и психологическими.

Как-то в разговоре с приятелем Тургенев назвал себя трусом. Не подумав о том, что настоящий трус никогда на такую самохарактеристику не отважится, за эту фразу уцепились, приправили ее подходящими отрывками из воспоминаний и вывели заключение, что антикрепостнического сочинения Тургенев написать бы не посмел.

Все вместе взятое, несмотря на явные нелепости, не могло не произвести впечатления. Даже в наше, советское время один из самых глубоких исследователей писателя без тени сомнения утверждал: «...публицистическую тенденцию «Записок охот-

ника» следует раз навсегда отбросить как вообще чуждую творческой натуре Тургенева» и что значение темы крепостничества в «Записках» «было чисто композиционным».

Первый рассказ цикла напечатан в январе 1847 года. А уже через полгода Тургенев представлял себе цельное произведение: на черновике «Бурмистра» появился примерный план будущей книги, состоящей из двенадцати названий.

К «Запискам охотника» автор относился не без гордости. Очевидно, на этом основании некоторые исследователи предполагают, что «эту книгу Тургенев не выпускал из своего внимания, в сущности, в течение всей своей жизни; это было одно из любимейших созданий писателя, к которому он возвращался постоянно. Первый очерк из цикла «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», появившийся в январской книге «Современника» за 1847 год) отделен от последнего («Стучит!», июнь 1874 года) временем почти в тридцать лет; за эти три десятилетия прошла почти вся литературная деятельность Тургенева» (О. Я. Самочатова, «Из истории создания «Записок охотника». «Записки охотника» И. С. Тургенева». Сб. статей и материалов. Орел. 1955) ¹.

Это утверждение сильно преувеличено. Основное ядро рассказов (шестнадцать из двадцати двух) создано в 1847—1848 годах, остальные шесть появились в 1850—1851 годах. Затем Тургенев решил прекратить очерки и перейти к новой манере. Так оно и было. В следующее издание «Записок» никаких существенных изменений не вносилось. Только через много лет (в 1874 году) сборник пополнился тремя рассказами, но ни «Конец Чертопханова», ни «Живые мощи», ни тем более рассказ «Стучит!» нельзя назвать завершающим, или итоговым.

Прославленные «Записки» мог бы достойно завершить рассказ «Муму», написанный в мае 1852 года на «съезжей», ку-

¹ «Первый очерк серии отделен от последнего расстоянием почти в тридцать лет, и между «Хорем и Калинычем» и «Стучит!» (1874) прошла почти вся литературная деятельность Тургенева» (Л. Гроссман, 1919). Привожу мнение маститого исследователя только для того, чтобы показать, насколько некоторые молодые ученые страшатся удалиться от первоисточника даже в словесном оформлении материала.

да Тургенев угодил по личному приказу Николая I за статью о смерти Гоголя («...или, говоря точнее,— поясняет писатель, — вследствие появления отдельного издания «Записок охотника»).

В мае Тургенев отбывал арест, а в июне уже читал свой самый, пожалуй, смелый рассказ «Муму» в Петербурге, под самым носом самодержца всероссийского, у своего родственника на Миллионной улице.

Понимал ли молодой писатель опасность, которой подвергался?

Вполне.

Прислушиваясь к свисту розог и воплям истязуемых за стенкой «съезжей», он писал супругам Виардо: «...буду продолжать свои очерки о русском народе, самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете...

Мне не для чего говорить вам, что все это должно остаться в глубокой гайне; малейшего упоминания, малейшего намека в какой-нибудь газете будет достаточно, чтобы окончательно погубить меня».

«Записки охотника» в первом издании автор разделил на две части. Первая часть посвящена по преимуществу угнетенным и крепостным. Во второй части (начиная с «Бирюка») изображены главным образом угнетатели — помещики и их опричники.

Рассказ «Муму» достойно венчал бы обе части. Но включить его в «Записки» было невозможно, во-первых, потому, что книга уже вышла, а во-вторых, «Муму» написана формально в другой манере, не от лица охотника и не от «я».

Впрочем, «Записки» и без этого рассказа явились произведением цельным, направленным против крепостного рабства и против всяческого иного физического и духовного закрепощения человека.

В тот год, когда в «Современнике» печатались первые рассказы цикла, М. Бакунин произнес в Париже речь. В этой речи он, между прочим, сказал:

«Мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданным в его капризах, неограниченным в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более унижительное».

После этой тирады не может не возник-

нуть вопрос: как же случилось, что «Записки охотника» были напечатаны в такие лютые годы?

Вопрос действительно резонный.

Нынешний читатель имеет достаточно полное представление о времени, когда на престоле российском в лице Николая I восседал произвол, страх и невежество, когда свободное слово было загнано в подполье, когда были запрещены не только «Разбойники» Шиллера, но и игра в лото, не только стихи Пушкина, но и спички и курение на улицах, когда Чаадаева объявили сумасшедшим, а сумасброда Уварова — министром народного просвещения и когда отупевшая знать всерьез обсуждала в Английском клубе новость о том, что в Галицких лесах поймали живого архиерея.

Остановимся на том времени, когда печатались «Записки охотника».

В 1848 году во Франции грянула революция. Перепуганный Николай I принимает неотложные меры: подписывает манифест, призывающий верноподанных бороться против «мятежа и безначалия», возникших во Франции и «разливавшихся повсеместно с наглостью, возраставшею по мере уступчивости правительства», запрещает дворянам носить бороду, поскольку на Западе борода — «знак известного рода мыслей» и еще потому, что «борода будет мешать дворянам служить по выборам».

К стопам самодержца повергается докладная записка графа Строганова под названием «О либерализме, коммунизме и социализме, господствующих в цензуре и во всем министерстве народного просвещения». Было известно, что почтенный граф радел не о пользе отечества, а о том, чтобы подсадить тогдашнего министра народного просвещения графа Уварова за то, что граф Уваров в свое время подсадил графа Строганова. Тем не менее записка была рассмотрена благожелательно. Началась цензурная оргия.

Особенно строго относились к сочинениям, касающимся крепостного права. Еще с 1841 года разные секретные комитеты шушукались о том, как выйти из крепостного тупика, но открытые разговоры и дискуссии на эту тему категорически запрещались; Чернышевскому в своих статьях удавалось намекать на отмену крепостного права только отдаленно, заменяя это понятие выражением «разумное распределение экономических сил».

Выход «Записок охотника» в такой обстановке действительно представляется необычным.

В 1848 году в некрасовском «Современнике» был напечатан рассказ Тургенева «Малиновая вода». Напомним его читателю.

Утомленный ходьбой и жарой, Тургенев встречается у реки двух рыбаков. Один из них, тщедушный бедолага Степушка, держал горшок с червяками, другой — вольноотпущенный Туман, некогда служивший у богатого графа-помещика, — удил. «Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво».

Разговор заходит о службе у «вельможественного» графа. Речь Тумана с первых же слов выдает бывшего дворецкого:

«Покойный граф — царство ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псаря на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельству выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремя вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псаря загогочут, да и двинутся со двора долой».

Тургенев интересуется, каков был барин.

«Барин был, как следует, барин, — продолжал старик, закинув опять удочку, — и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя — смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох уж эти матрески, прости господи!.. Особенно одна: Акулиной ее называли... Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко, — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк».

Дальше происходит разговор, дающий ключ к пониманию словесной художественной ткани всех рассказов «Записок охотника».

«— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка, — возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается, — заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку. (Когда тургеневский герой смотрит «сбоку», это почти всегда означает подозрительность. — С. А.)

— Теперь, вестимо, лучше, — пробормотал он — и далеко закинул удочку».

Понятно, что читателю не очень важно знать, на какое расстояние Туман закинул удочку. Но написанная в конце беседы, как бы ставящая на этой беседе точку совершенно безобидная фраза внезапно приобретает глубокий, затаенный смысл, который можно выразить примерно следующим образом: «Давай-ка, сударь, кончать разговоры, сам же отлично знаешь, что при нынешнем царе мужику живется гораздо хуже, чем раньше, а прикидываешься...»

Этого намекающего смысла простенькая фраза «далеко закинул удочку» немедленно лишается, как только ее выдернуть из контекста и представить взорам цензурного начальства. Она оживает только внутри рассказа, внутри его словесной, образной системы.

Эта интонация настолько сильна, что отблеск ее распространяется, иногда и помимо воли автора, на последующий текст, подчиняет его своему влиянию.

«Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба...» Вряд ли Тургенев во время писания этих строк думал о чем-нибудь ином, кроме изображения пейзажа. Но когда читаешь это описание вслед за беседой крестьян, трудно не вспомнить слов профессора истории С. Соловьева о том времени, когда все «остановилось, заглохло, загнило» в удушливой атмосфере николаевского режима.

Намекающая интонация — преобладающая особенность художественного слова в рассказах, составляющих «Записки».

Вводит ее Тургенев самыми различными приемами. При изображении помещиков она иногда выражается открытой, грубоватой иронией, заставляющей вспомнить то Гоголя, то Щедрина.

Помещик Пеночкин, «говоря собственными его словами, строг, но справедлив... о философии отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов... кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют».

Некий савонник «вздумал было засеять

все свои поля маком вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее».

Еремей Лукич задумал построить собор. Начал сводить купол: купол упал. «Призадумался мой Еремей Лукич: дело, думает, неладно... колдовство проклятое замешалось... да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли — а купол все-таки не свели».

С этой же целью — сознательно скрытого намека — применяется и деталь.

Известный Пеночкин, ругая безответного мужика, «шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы».

Тоскливая запуганность и беспросветная нищета Юдиных выселок представлена такой деталью: «Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; голько одна, черная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота».

Ощущение намекающей интонации Тургенев умеет создать и простенькой, беззлобной шуткой, и непривычным синтаксическим оборотом.

Во всех работах о стиле Тургенева упоминаются «недоумевающие кулаки» помещичьего старосты. Не менее выразительны и такие выражения: «Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю»; сановник «с негодованием, доходящим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского...» (вспомним, что в те годы бороды были запращены).

Такие обороты — новаторская особенность «Записок».

Здесь перечислены некоторые приемы, помогающие поддерживать ощущение намекающей интонации. Однако главная причина, которая создает эту интонацию, делая ее мощным средством воздействия, явственным и вместе с тем внешне неуловимым, заключается в том, что Тургенев ведет повествование от своего имени.

Из воспоминаний современников известно, что Тургенев был замечательным рассказчиком. «Вы великий, единственный в мире рассказчик! — восклицает немецкий литератор Людвиг Пич. — Как вы говорите, так вы должны бы и писать». Это

свидетельство тем более весомо, что разговоры с Л. Пичем Тургенев вел, очевидно, на немецком, а не на своем родном языке.

В любой устной беседе и в длинном устном монологе (если он не считается с листа бумаги) средством передачи смысла и чувства служит не только слово, но и интонация. Бывает даже, что не слово, а интонация несет основную смысловую нагрузку. У прирожденного рассказчика иногда законы построения фразы подчиняются законам интонации. (Да и любой писатель, прежде чем записать фразу, обязан ее услышать в воображении.)

В напечатанном рассказе интонация, естественно, скрыта за частой решеткой печатных строк.

В отличие от слушателя, воспринимающего интонацию рассказчика ухом, читатель находит и воспроизводит ее сам.

Такая работа представляет собой творческий акт, недоступный книжкою, вникающему в книгу поневоле. Тургенев всячески помогает читателю в этой творческой работе. Повествуя от собственного имени, он старается разрушить условные преграды изящной словесности, установить с читателем доверительные отношения. Он дружески обращается к читателю: «Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной»; задает ему вопросы: «Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари?»; оговаривается: «Но, извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем»; объясняется: «Я постараюсь выражаться словами лекаря».

Непринужденность рассказа подчеркивают и выражения, не претендующие на литературную оригинальность, но подхваченные из живой речи, разговорные сравнения, например: «...с бородой во весь тулап».

Описывая наружность помещика Хвалынского, Тургенев замечает, что у него «иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина», — подчеркивая этой шуткой не столько дряхлость персонажа, сколько свою уверенность в доброжелательности читателя, способного понять автора с полуслова. Когда крепостные девушки устают, развлекая помещика пеньем, «конюха тотчас девок и прибодрят», замечает Тургенев, уверенный, что читатель сделает нужную интонационную поправку в слове «прибодрят» и наведет это слово на точный смысловой фокус.

Читатель быстро улавливает эту манеру и без особых усилий ставит поправочные кавычки там, где они предполагаются.

Рассказ «Два помещика» начинается так:

«Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя всё кстати), познакомиться вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов».

Чрезмерный напор на хвалебные эпитеты — «почтенные», «пользующиеся всеобщим уважением», да еще «в нескольких уездах», и в особенности подмоченное слово «благонамеренные» — сразу настраивает чуткого читателя на необходимость поправочного коэффициента. В дальнейшем она подтверждается вполне. Один из помещиков, отставной генерал Хвалынский, в молодые годы «облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане...», а второй, «предобрый» помещик Стегунов (фамилия, много говорящая читателю, настроенному на намекающую интонацию), слушая, как секут мужика, «произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

Конечно, такая манера повествования не изобретение Тургенева. Но в «Записках охотника» намекающая интонация приобретает принципиальное значение и играет главную роль среди прочих художественных средств.

Запрет, наложенный николаевским режимом, предполагал разговор на тему крепостного права украдкой, шепотом. Манера намекающего, затаенного разговора лучше всяких пространных описаний передавала затхлую атмосферу царской России конца 40-х и начала 50-х годов прошлого столетия, и не только передавала, но обличала и бичевала ее.

Все рассказы «Записок» оказываются как бы погруженными в атмосферу настроенного намека, умолчания, иносказания. И тогдашний читатель, которого, по словам Герцена, «узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово», ясно ощущал в рассказах то, что Тургенев называл *agtière pensées* (задней мыслью), и ни на минуту не забывал, что речь-то идет, в сущности, о недозволенном.

Намекающая интонация служит эмоциональным фоном, на котором развивается действие.

Читателю, по каким-либо причинам не ощущающему этого фона, ради тренировки стоит прочесть сразу, один за другим, два рассказа «Записок»: «Бурмистр», написанный в 1847 году, где этот фон чрезвычайно силен, и «Живые мощи», написанный в 1873 году, начисто этого фона лишенный.

«Бурмистр» вызывает чувство возмущения, негодования. В «Живых мощах» все благостно и умильно. Забытая всеми умирающая Лукерья виновата в своей болезни сама: послышалась ей ночью голос любимого, она оступилась и упала с рундучка... И всех-то она любит, и никого не винит: «Барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай!» Если тридцать лет назад во многих рассказах «Записок» Тургенев изображал положение крепостной крестьянки как рабство в квадрате, подчеркивал полную беззащитность ее не только против помещика, но и против крепостного раба — мужа, свекра, которые измываются над ней как хотят, прикрываясь изречением тургеневского кучера из «Касьяна с Красивой Мечи»: «...у баб слезы-то некупленные. Бабы слезы та же вода...» Но когда сама Лукерья произносит слова: «У нашей сестры слезы некупленные» — это звучит приторно и фальшиво, так же приторно, как и умиление доброго барина, пообещавшего доставить ей «скляночку» с лекарством.

В связи с этим рассказом может возникнуть вопрос: понимал ли сам автор разрушительную, революционную силу намекающей интонации или она возникла под его пером произвольно, интуитивно?

Думаю, что понимал.

В годы писания «Записок» появилась любопытная рецензия на повести Дая. В этой рецензии, между прочим, было сказано:

«Он, как говорится, себе на уме, смотрит невиннейшим человеком и добродушнейшим сочинителем в мире; вдруг вы чувствуете, что вас поймали за хохол, когти в вас запустили преострые; вы оглядываетесь, — автор стоит перед вами как ни в чем не бывало... «Я, говорит, тут сторона, а вы как поживаете?»

Автором рецензии был И. Тургенев.

Зачем же он включил «Живые мощи» в «Записки»?

Ответ, по-моему, прост: в 1873 году это был уже другой Тургенев...

Читатель может возразить, что рассуждения о намекающей интонации, если при мерять их к конкретным рассказам, сомнительны и, как теперь вежливо выражаются, «по меньшей мере спорны». Действительно, в некоторых рассказах помещики разоблачаются без всяких «интонаций» — открыто, резким, сатирическим штрихом (в «Бурмистре» глядящий на бедолагу мужика сквозь усы Пеночкин — готовая иллюстрация в стиле Кукрыниксов).

Мне кажется, что намекающая интонация не только не исключает, но и предполагает открытое изображение отрицательных персонажей; они-то и являются причиной намекающей интонации, они-то и оправдывают ее. Если бы в «Записках» не было пенокных, зверковых, стегуновых, хряк-куперских и чертопхановых, такая интонация выродилась бы в беспредметное манерничание.

Гротеск — крайняя степень намекающей интонации. Характерной чертой этого приема является многообразие градаций — от злой карикатуры до смутного, едва заметного намека, иногда и не рассчитанного на то, чтобы читатель его явственно осознал.

Так же, как и многие другие рассказы «Записок», «Бежин луг» характерен такими намеками. Совсем не случайно в беседе милых деревенских ребят упоминаются три детских смерти — весной помер Ивашка Федосеев, утоп Вася, утоп и другой, безвестный мальчуган, обернувшийся «барашком». И наконец, Тургенев заканчивает этот лирический рассказ такими словами: «Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!»

Л. Гроссман в «Этюдах о Тургеневе» мужественно отметил художественные недостатки «Записок охотника» — отсутствие фабулы, действия, драматического сюжета. Он справедливо считает очерки серией статических портретов. Сам автор очерков, пожалуй, во многом согласился бы с таким приговором. В одном из писем он замечает: «...перечел «Записки» на днях: многое вышло бледно, отрывчато, многое только что намекнуто (если бы такое слово написали мы с вами, корректор его беспощадно бы исправил.— С. А.), иное неверно, пересолено или недоварено...» Но вслед за этим он

сразу же добавляет: «...зато иные звуки точно верны и не фальшивы — и эти-то звуки спасут всю книгу».

К этим «звукам» прежде всего относится намекающая интонация. Читатель, уловивший ее, прочтет «Записки» с любопытством и интересом, несмотря на недостаток драматического сюжета; он услышит живой голос автора с первой страницы, с общеизвестного, хрестоматийного описания различия между орловским и курским мужиком, с того самого абзаца, по которому наших ребят учат правильно ставить точки и запяты:

«Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханнных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих раки, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, дерева на версту кругом не увидишь: изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой...»

Читатель уже не пробежит это, в общем-то, не особенно выразительное, отдающее информационной строгостью сообщение, он непременно задержится на церемонном дворянском обороте «всегда готовые к услугам», ввернутом светским автором вроде бы по привычке, и подумает: «К каким же это услугам готовы ракиты с их прямыми, упругими лозинками?»

Пока рассказы печатались отдельно, при таившийся в слове намек был едва приметен. Но как только они сложились в книгу, все колдовски изменилось. Обличительная сила рассказов многократно увеличилась. Намекающая интонация стала многократным эхом перекачываться от рассказа к рассказу, и перепуганные блюстители основ оказались лицом к лицу с ярким, антикрепостническим произведением.

В книге рассказы «Записок» следуют не в том порядке, в каком они писались и печатались в журнале. Некоторые из них Тургенев сознательно расположил таким образом, чтобы один рассказ помогал понять намеки другого.

И критики и читатели признают заслугу Тургенева, изобразившего в истинном виде русского мужика. Впервые в русской литературе крестьянин предстал существом умным и благородным, справедливым и талантливым. Рядом с таким крестьянином на страницах «Записок» мы найдем и души, навеки искалеченные рабством и изуродованные крепостничеством. К ним относится

и Степушка из рассказа «Малиновая вода». Единственная фраза, произнесенная им: «Да ты бы... того...» — дает слишком мало материала, чтобы составить о нем надлежащее впечатление. Представить его приходится самому автору. Тургенев пишет: «...Всякому дворовому выдается если не жалованье, то по крайней мере так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании». Отмечается далее, что «его привыкли видеть, иногда даже давали ему пизжа, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул». Притулился этот заброшенный человек у садовника Митрофана, «вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей — и все для еды, для одной еды». «А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает...»

Рассказ, в котором выведен Степушка, идет сразу же вслед за рассказом «Ермолай и мельничиха». В последнем, между прочим, изображена легавая собака Ермолая Валетка. Тургенев находит нужным подробно описать это несчастное четвероногое. «Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить,— рассуждал он,— притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил. «Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила».

Как видите, характеристика Валетки не может не прийти на ум при чтении описания Степушки. И внешность этих персонажей чем-то подобна. У Степушки «глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши». И Валетка «был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием».

Можно ли после этого не задуматься, какие причины сделали из Степушки бессловесное, бесчувственное существо? Недаром Тургенев подтянул рассказ «Малиновая вода» вплотную к «Ермолаю и мельничихе», хотя появление их в журнале «Современник» разделяет почти годовой промежуток.

Бдительная цензура поначалу не поняла, какую остроту и новую силу приобрели рассказы в результате сопоставительности.

Цензор Галов докладывал по начальству: «Рассказы в Записках Охотника, числом 22, никакой связи не имеют между собой, следовательно, если они в первом издании расположены в одном порядке, а в последнем издании в другом, то это не может иметь особой важности».

Но гроза разразилась. Было назначено следствие. Цензоров уволили. Тургенева сослали в деревню и приставили к нему «мценского цербера». Цензурным комитетом были разосланы такие «предложения»: «Так как статьи, которые первоначально не представляли ничего противным цензурным правилам, могут иногда получить, в соединении и сближении, направление предосудительное и непозволительное, то необходимо, чтобы цензура не иначе позволяла к печатанию подобные полные издания, как по новом рассмотрении их в целости».

Лирический, добрый, наполненный полевыми ароматами рассказ «Бежин луг», начисто, по-видимому, лишенный обличительных тенденций, следует читать с особенным вниманием. Из наивной болтовни деревенских малышей можно узнать кое-что новое о героях других рассказов. Вы, очевидно, помните эпизод «Свидания», в котором Тургенев явился случайным свидетелем прощания Акулины с барским камердинером. Камердинер холодно бросает обольщенную девушку. Как и в других рассказах цикла, нам неизвестно, чем кончилось дело, но то, что кончилось оно трагически, настолько ясно, что мы стараемся об этом не думать.

Впрочем, ребята «Бежина луга» расскажут нам о несчастной Акулине.

«— А правда ли,— спросил Костя,— что Акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?»

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащат. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил...

— А говорят,— продолжал Костя.— Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбил обманул.

— От того самого».

И о конце Бирюка, хотя он и назван здесь Акимом, можно кое-что почерпнуть из фразы Павлуши:

«В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры».

Нелишне подчеркнуть, что художественное слово поддается логическому анализу до известного предела и далеко не на полную глубину. В нем немало таких оттенков, которые нужно не объяснять, а чувствовать.

Рассказ «Касьян с Красивой Мечи», например, после разъяснений литературоведов и архивных изыскателей стал, по моему, самым загадочным произведением цикла.

Напечатав этот рассказ, Тургенев опасался: «В главном характере много по н е в о л е недосказанного — хочется мне знать, можно ли понять, в чем дело?»

Сперва мне было не ясно, что именно Тургенев желает, чтобы я понял. Касьян действительно существо странное, своеобразное, но не настолько, чтобы быть необъяснимым. Непонятным он становится лишь тогда, когда узнаешь, что в его лице Тургенев рисует «образ борца за справедливость и счастье на земле» (так и написано в статье О. Самочатовой про этого суеверного бездельника и мечтателя), и совсем сбиваешься с толку. дочитав фразу до конца: «...придав ему черты «бегуна» — сектанта-отщепенца».

Первым зачислил Касьяна в секту «бегунов» Н. Бродский еще в 1922 году. С тех пор это предположение устойчиво держится во всех комментариях и в качестве истины утверждается в последнем полном собрании сочинений Тургенева.

Мнение Н. Бродского, одного из самых серьезных исследователей творчества Тургенева, оспаривать, конечно, не мне. Должен только признаться, что представить Касьяна в качестве сектанта я не могу, так же как не могу представить, будто Тургенев сознательно ставил цель изобразить сектанта.

Постараюсь объяснить почему.

Рассказы «Записок» направлены не просто против отмены крепостного права. Отменить крепостное право советовал и Фаддей Булгарин. Пафос «Записок» — в обращении ко всяческому порабощению, в призыве ко всяческому духовному раскрепощению человека.

«Без образования, без свободы, в обширнейшем смысле — в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории — немыслим истинный художник:

без этого воздуха дышать нельзя», — писал Тургенев.

Между тем сектанты всякого рода — хотя многие учения их ополчаются и на правительство и на самого царя — по существу, явление реакционное, помышляющее не о духовном освобождении человека, а о замене одного вида рабства другим, иногда еще более жестоким и изуверским.

Я бы не стал вступать в бесцельный спор о том, что хотел сказать писатель, которого уже нет в живых. Но перед работой над этими заметками волей-неволей пришлось обратиться к первоисточнику — книге Н. А. Бродского: «И. С. Тургенев и русские сектанты» (1922). Книга оказалась интересной, но необедительной.

Чем гуще нагнетает автор доказательства своей смелой гипотезы, начиная от подсчета количества слов «странный», употребленных в рассказе, до сопоставления ритма прибаутки «А зовут меня Касьяном, а по прозвищу блоха...» с ритмами сектантских песнопений, чем больше он восторгается способностью Тургенева интуитивно постигать народно-революционное движение, тем непонятней становится Касьян.

Еще больше падают в цене доказательства сектантства Касьяна после того, как, перечислив их и посчитав почему-то известный стих из Евангелия от Луки какой-то особой сектантской заповедью, Н. Бродский признает:

«Бесспорно, встретившись с Касьяном, Тургенев не знал, что пред ним один из членов секты бегунов; образ сектанта вырисовался перед ним позже, после написания рассказа, в итоге бесед с И. С. Аксаковым».

По мнению Н. Бродского, беседы с И. С. Аксаковым, собиравшим в те годы материал о сектантах, задним числом открыли Тургеневу Касьяна как представителя этой секты.

Предположим, что Н. Бродский прав.

При этом предположении нас все равно не перестает интересовать вопрос: что Тургенев имел в виду, изображая Касьяна до того, как узнал сам, что его Касьян — сектант?

Какую он преследовал цель? Какую идею пытался выразить в образе Касьяна?

Рассказ написан в начале 1851 года и, по сути дела, завершал «Записки». Психологически вероятно, что автор завершающего рассказа (а Тургенев давал честное слово, что «Записки» прекращены навсегда) по-

желал высказать завершающие мысли по поводу крепостничества, пожелал бы избразить или, по крайней мере, намекнуть на то протестующее начало, о котором изящно выразился историк Ю. Самарин: «Крестьяне стали довольно часто подвергать своих помещиков телесным исправительным наказаниям». Это предположение тем более вероятно, что в остальных рассказах протестующее начало никак явно не выражено. А между тем работая над «Записками», Тургенев собирался написать рассказ под названием «Землеед», в котором изображалась расправа дворовых с мучителем-помещиком. Были заготовлены и другие заметки на подобные темы, но Тургенев понимал, что «никакая тогдашняя цензура их бы не пропустила».

Может быть, в образе Касьяна и запрятана такая тема? На поверхности рассказа этого не видно, а предположение о секантах ничего не дает и уходит в сторону.

В оглавлении цензурной рукописи, написанной рукой Тургенева, сказано: «22. 9. Касьян с Красивой Мечи» — и проведена горизонтальная черта, указывающая, что рассказ должен быть переставлен на девятое место, вслед за «Бежиным лугом» (цифра 22 зачеркнута).

Эта перестановка не случайна. Беседы ребят о тайных силах и заговорах, о разрыв-траве, о предопределенности смерти, о голубке — праведной душе явились удачным комментарием к характеру Касьяна. Это заготовки полуязыческого, полухристианского, детски-мечтательного, наивного, но независимого касьяновского мировоззрения.

Н. Бродский объясняет веру Касьяна в существование за теплыми морями райских земель бегунским стихом. А зачем ходить так далеко? Земли с кисельными берегами, птицы Сири и Гамаюн — традиционные атрибуты русских сказок и песен. И ребята из «Бежина луга», которых не заподозришь в знании бегунских псалмов, ведут такой разговор:

«— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда же они летят?

— И туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями».

Сопоставление «Касьяна» с «Бурмистром» приводит к более серьезным выводам.

Тургеневский кучер аттестует Касьяна как мужика «неабнакавенного» и «несоразмерного», то есть не отвечающего обычным представлениям об оброчном крепостном мужике.

В конце «Бурмистра» перед нами самый обыкновенный оброчный — старик Антип, безропотное, бессловесное существо, придавленное гнетом старости, бурмистра, помещика.

Мужик Анпадист так обрисовывает отношения, сложившиеся между Антипом и бурмистром:

«Ну,— промолвил Анпадист,— заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забыть. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга!.. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости, господи, мое прегрешенье...»

Здесь существом «несоразмерным» в глазах крестьянина является староста Софрон — «собака, а не человек: такой собаки до самого Курска не найдешь». Для характеристики его прикладываются довольно сочные эпитеты. Бедный Антип — существо рядовое, ординарное, бесталанный бедняга.

И вот читатель спрашивает себя: что бы случилось, если бы на месте рядового Антипа оказался «несоразмерный» Касьян? Ответ прост. Касьян бросил бы все и убежал. Убежал бы самым примитивным образом, не обращаясь в другую веру и не выправляя себе ни бумаг, ни паспортов.

Способ «голосования ногами» против крепостного гнета был в те годы обычным. В 1847 году властями было задержано около 20 тысяч беглых только из одной Курской губернии, причем некоторые оказали сильное сопротивление.

Одним из таких беглых, воротившихся после многолетнего бродяжничества к родным пенатам, и представлялся мне Касьян.

Но после чтения книги Н. Бродского и особенно ссылок на труды И. Аксакова пришлось братья и за Аксакова. У него я нашел длинную поэму под названием «Бродяга». Поэма написана примерно на два-три года раньше тургеневского «Касьяна», но речь в ней идет о том же самом: о беглых крепостных.

Вызывает изумление реалистическая зоркость, с которой оба писателя фиксируют одни и те же типические подробности быта тогдашних бродяг.

Тургеневский Касьян на вопрос, чем он занимается, отвечал: «Ничем я этак не занят... Работник я плохой».

Аксаков про своего бродягу замечает:

К крестьянской он не прилегал работе,
На барщине гнела его тоска:
Не так ему, на воле, по охоте
Желалось добыть себе куска!

Касьяна переселила опека (опека назначалась при полном развале хозяйства или при открытых преступлениях помещика).

Аксаковский бродяга объясняет:

Везладицу, напасть им от опеки
Послал господь...

При наличии места можно было бы привести еще с десятков таких параллелей.

Могут спросить: если Тургенев желал в лице Касьяна изобразить бродягу, то почему он зашифровал свое намерение настолько сильно, что могли стать правдоподобными сближения этого образа с сектантом-бегуном? А потому, что в то время и о бродягах писать было небезопасно.

Аксаков, например, о поэме «Бродяга» был допрошен в III отделении собственной его величества канцелярии, и среди других ему задан был и такой вопрос: «Какую главную мысль предполагаете Вы выразить в поэме Вашей «Бродяга» и почему избрали беглого человека предметом сочинения?» Пользуясь связями со двором, Аксакову удалось выпутаться из беды.

И у Тургенева Моргач из рассказа «Певцы» не «бежал» от своей старой барыни, как было в первоначальной рукописи, а «вдруг пропал», как вынужденно напечатано в «Современнике».

Но писатель сделал что мог. Он назвал героя Касьяном неспроста. Имя Касьян в те годы считалось недобрим. человек с таким именем — привередливым, несговорчивым. «Наш Касьян на что ни взглянет, все вянет». И кроме того, автор поместил «Касьяна с Красивой Мечи» в сборнике таким образом, что соседние рассказы намекнули на его действительное содержание: единственным путем к избавлению от произвола помещиков было бегство.

В конце рассказа «Малиновая вода» перед читателем появляется Влас. Короткий рассказ Власа о его путешествии в Москву до того страшен, что даже бесчувственный слушатель Степушка на момент обретает голос и издает что-то вроде протестующего восклицания.

Вспомним историю Власа. Сын его, единственный кормилец, служивший в Москве наемным извозчиком и выплачивавший

оброк за семью, внезапно умер. Получив это известие, Влас пешком отправился к барину (а барин жил за тысячу верст, в Москве) — просить, чтобы он сбавил оброк. Путешествие кончилось ничем. Барин прогнал его, и Влас вернулся на родину, обреченный на голодную смерть. Повествование Власа пронизано уже знакомой нам намекающей интонацией, усиливающей ощущение черной, безысходной судьбы крепостного крестьянина.

«Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съезженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— А ты бы... того... — заговорил внезапно Степушка, смешалка, замолчал и принялся копать в горшке.

— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугоры: взяты-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри — шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильянто Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? Это плохо, брат Влас, — с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прерывался.) Эка жара стоит, — продолжал он, утирая лицо рукавом».

Как много значит здесь каждое слово, каждая реплика! Какой холодной дрожью отзываются в душе два заключенных в скобки слова — «мужик рассмеялся».

Рассказ заканчивается так:

«— Ну, вот видите... Степа, дай-ка червячка... А, Степа? Что ты, заснул, что ли?»

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

Через полчаса мы разошлись».

Может показаться, что от последней фразы веет странным безразличием. Дескать, посидел автор, послушал и пошел, оставив расстроенного читателя один на один с тяжелыми думами... Рассказ словно не закончен, а брошен.

Речь идет, конечно, не о счастливом конце — никаких счастливых концов, никаких выходов из положения для тогдашних Власов не было и быть не могло. Но неужели нельзя было, используя традиционные приемы изящной словесности, как-нибудь поэтичнее «закруглить» окончание?

«Через полчаса мы разошлись», — записывает Тургенев и ставит точку. Рассказ о Власе кончается ничем, как ничем кончается путешествие Власа к барину.

Такие внешне равнодушные концовки типичны для «Записок». Вспомним хотя бы несчастных крестьян из «Бурмистра». Ясно: старика засекут до смерти, сына без очереди отдадут в солдаты, но ни слова об этом не говорит от себя Тургенев, не позволяет себе ни звука возмущения или сострадания. «Мы отправились на охоту», — замечает он. И все.

И так почти в каждом рассказе. Концовки как будто говорят: просто — так было, и никаких дальше рассуждений.

В чем здесь дело?

Когда шла речь о намекающей интонации слова и фразы, то имелась в виду не только звуковая интонация. Каждому известно, что, кроме звучащей интонации, существует еще и другая, подразумеваемая, но неслышимая. Такая интонация как бы запрятана внутрь смысла, но тем не менее чрезвычайно выразительна и действует иногда по сильнее звуковой (например, у Пушкина: «Народ безмолвствует»).

Такого рода интонацию, которую трудно воспроизвести голосом, но легко почувствовать, создают и концовки тургеневских рассказов. В этих концовках кроется горький, глубоко затаенный намек: вот я, человек, прекрасно понимающий позор крепостного рабства, ничего не могу сделать для облегчения участи крестьянина, я бессилен и не могу вступить за Архипа, не могу помочь Власу...

И еще одно. Мниморавнодушные, но в действительности наполненные огромной болью и возбуждающие мысль концовки напоминают нам, что «Записки» рассказывают не только про крепостных крестьян и бездушных бар, но и про самого Тургенева. Автор мучительно сознавал свою принадлежность к той касте, сыны которой изо дня в день видят, как засекают крепостных, и спокойно идут мимо с французскими двустволками и английскими легавыми стрелять дупелей и с легкой душой катят к соседу на банчок или на стер-

ляжку ущицу вдоль деревень, пухнувших с голоду.

Некоторые читатели сумели увидеть в «Записках» обвинительный акт против крепостного права. Но большая часть так называемой «читающей» публики не хотела или не смела этого замечать, хотя и она, эта большая часть, поездила по заграницам, баловалась гегельянством, сочувственно вздыхала над Антоном Горемыкой и любила поболтать об «эмансипации». Просвещенный либерал предпочитал отдавать должное поэтическим картинам родной природы, а на страшные, обличающие описание крепостных порядков, созданных своим же братом-помещиком, глядел с некоторым недоумением и хватался за концовку как за спасательный круг, украшенный надписью: «Просто — так было, и никаких рассуждений», не подозревая даже, сколько в этой концовке боли и горечи.

Тургенев изобразил таких читателей в рассказе «Гамлет Цигровского уезда». Там выведены Войницын, «игравший столбняка» на всех экзаменах; Кирила Семенович, который даже чужую мысль выговорить не умел; князь Козельский, глупый, «как пара купеческих лошадей»; толстяк, до того лишенный способности соображенья, «особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он отвечает: чего-с?»; и сановник, почитавший всех молодых дураками.

В том же рассказе изображен помещик другого склада, образованный и неглупый, отрекомендовавшийся Гамлетом Цигровского уезда. Перед ним два пути: либо тянуть лямку бездумного, растительного существования, либо по примеру окружающих ловкачей выбиваться в «оригиналы» — в болтуны, подлецы, взяточники. Он не принимает ни того, ни другого. Он совестлив и не приемлет «благодарущия». И смириться не может. «Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться», — исповедуется он ночью Тургеневу. Это неполное смирение и неспособность к действию вместе с презрением к себе вызывают в нем злону на силы, исковеркавшие его жизнь, и страх перед этими силами. Цигровскому Гамлету остается лишь тайно иронизировать над собой и над окружающими. Он говорит: «Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии... Помилуйте, что за ирония в одиночку! Вот-с как я

поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор...

— Однако это ни на что не похоже,— проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина,— какой там дурак вздумал ночью разговаривать?

Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем.

— Тс... тс...— прошептал он и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил: — Слушаю-с, слушаю-с, извините-с... Ему позволительно спать, ему следует спать,— продолжал он снова шепотом.— ему должно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам все сказал что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи».

Последняя фраза исповеди чем-то напоминает обрывающую повесть концовку «Записок охотника».

Рассказ «Гамлет Щигровского уезда» играет важную роль в «Записках». Читавшись в него, понимаешь не только затаенный смысл тургеневских концовок, но и противоречивые чувства, одолевшие Тургенева в те годы: сознание преступности крепостного права и угрызения совести за неспособность решительно порвать с привычками и привилегиями барства.

Среди персонажей рассказа «Певцы» особенное любопытство вызывает фигура, которую Тургенев сперва назвал Дикарем, а в окончательном варианте стал именовать Диким-Бариним.

И. Новиков в своей работе о «Записках охотника» замечает, что «Дикий-Барин отнюдь им не выдуман, не соткан в один собирательный тип из нескольких встречавшихся ему в жизни людей, а персонально существует именно таковым, как он изображен. Это делает фигуру Дикого-Барина еще более «убедительной», данной как бы «курсивом», в чем автор, очевидно, был весьма заинтересован».

«В этом человеке было много загадочно-го,— пишет Тургенев,— казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что, раз поднявшись, что, сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва

спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах».

Сама эта недосказанность выразительна. Наверное, Дикий-Барин учинил что-то враждебное традициям помещичьего строя и ему за это крепко досталось.

И все же не стоит, по-моему, искать в его прошлом и черты, сближающие его со Стенькой Разиным или с Пугачевым (хотя бы пушкинским). Тогда бы он не судил певцов в сельце Колотовке, а находился бы в Александровском центре, а то и еще подале. Для критика «Москвитянина» это существо «совершенно непонятно и вышло как-то неудачно таинственно».

Очевидно, Дикий-Барин употребил свой нрав и природное благородство на защиту безгласного крепостного крестьянства. Но его порыв был сломен силой еще более дикой, настолько дикой, что Дикий-Барин вынужден был бежать из родного уезда. Он бежал не от закона. Он бежал от незаконной, но от этого еще более ужасной мести помещичьего стоголавого чудища.

Тургенев пишет про Дикого-Барина: «Он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подъячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе». Характеристика «сам по себе» для николаевского времени странная, но Тургеневу лучше знать. Тем более он поясняет дальше: «Поговаривали, что происходил он от однодворцев».

Однодворцы — особая социальная группа на Руси, не крепостные и не помещики. Они, как дворяне, владели «двором», усадьбой, землей, но, как крепостные, платили подати. Они могли на манер помещиков держать подневольных «работников» и в то же время терпели всяческие унижения от настоящих дворян. «За дворянами нашему брату не приходится тянуться,— объяснял Тургеневу однодворец Овсяников.— Точно: и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоединится к господам... да что за радости! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую; то и дело шапку с него наземь бросают; арапником, будто по лошади, по нем задевают; а он все смеется да других смеши».

Представителям этого сословия своеволие рабовладельцев было особенно обидно и чувствительно. Ведь они же не крепостное «быдло» — они сами свободные земледель-

цы и защитники царских границ, сами без пяти минут бары.

Примерно треть рассказа «Однодворец Овсяников» посвящена Мите, племяннику однодворца. Этот двадцативосьмилетний Митя находится в постоянной войне с помещиками и с чиновничьими крючкотворами, призванными для защиты помещичьих интересов. Митя уверен, что человек должен жить по справедливости и обязан помогать ближнему. Он помогает крестьянам действовать против помещиков «по закону». Напрасно многоопытный дядя предупреждает его: «Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, несдобровать тебе, — ей-богу, пропадешь», — напрасно помещик грозит: «Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертулгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу...» — ничего не помогает. «Мне нечего стыдиться, — твердит Митя. — Я прав». «...С бедных я не беру и душой не кривлю».

Представьте себе, что в жизни Мити произошел какой-то взрыв и сила бесчинного помещичьего деспотизма сокрушила его и придавила навеки, да так, что он, позабыв про законы и справедливость, бросил все, сбежал в чужой уезд и, превратившись в Дикого-Барина, теперь только поглядывает, «как бык из-под ярма», да слушает, как поют «Не одна во поле дороженька пролежала...».

А дальше в этой песне сказано:

Что не травушка, не муравушка
Мой двор уростает,
Горьким лопушничком
Мой двор устилат!

Слов этих Тургенев в рассказе не приводит — песня была так же известна, как сейчас «Летят утки», — но глубокое потрясение Дикого-Барина надо объяснять не только исполнением песни, но и тем, о чем в ней сказано.

О своеволии бар, беспощадно расправлявшихся с отступниками от обычаев рабовладения, можно судить по судьбе Дикого-Барина.

Как же в этих условиях писал свои рассказы Тургенев? Как он не опасался, изображая помещиков-землевладельцев — «первое сословие Империи», — доходить до той опасной грани, когда скрытый намек превращается в открытую, злую иронию? Действительно, не явное ли издевательство: трусливый подлец отставной гвардейский офицер Пеночкин рекомендуется «строгим, но

справедливым»; прощельга отставной генерал Хвалынский — «очень добрый»; помещик Стегунов, истязатель-садист, — «предобрый».

Ведь после выхода «Мертвых Душ» не прошло и пяти лет и была свежа память о том, как Толстой-Американец под одобрительный вой разозленных до последней степени дворян назвал Гоголя врагом России и предлагал называть его в кандалы и отправить в Сибирь...

В годы писания «Записок» обстановка еще более накалилась. Ходили смутные и оттого еще более страшные слухи о работе секретных комитетов, сочиняющих проекты освобождения крестьян. Бары не могли представить, как это может быть, что «крестьяне будут купаться в прудах помещиков, у которых могут быть дочери-невесты». «Прогрессиста» Самарина довели до того, что он купил револьвер и не выходил из дома без телохранителей. Потеряв головы, помещики обзывали членов комитетов «грабителями и социалистами», дерзили самому царю.

Отступник Тургенев не только, как теперь говорят, льет воду не на ту мельницу, не только изображает своего же брата-барина по-гоголевски — уродом, но осмеливается на то, чего не позволял себе даже Гоголь: с любовью выписывает обыкновенного темного мужика, сопоставляет его с барином, да так, что нельзя не сообразить, что барин — бездельник, дурак и подлец, а много-страдальный мужик — умница.

В. Шкловский считает «Записки охотника» сочинением «с минимальным показом рассказчика». В отличие от В. Шкловского, читая «Записки охотника», я в каждой строке чувствую в первую очередь рассказчика, автора, Тургенева; удивляюсь его мужеству, смелости, дерзости. Меня восхищает то, что он не пытается скрыться ни под псевдонимом, ни под маской вымышленного персонажа, пишет от «я», с самого первого рассказа подписывается «Ив. Тургенев» и словно в насмешку объявляет в тексте рассказов точный адрес своего местожительства.

Неужели Тургенев не задумывался о возмездии, которое в любую минуту могло явиться перед ним и в лице жандарма из III отделения, и в лице степняка-помещика с тяжелым кулаком или с дуэльным пистолетом, и, наконец, в лице матери-крепостницы, от чьего каприза полностью зависело его материальное благополучие?

Соблазнительно предположить, что скры-

тая, намекающая интонация, которой пропитаны рассказы «Записок», в какой-то мере выражает, мягко говоря, осторожность Тургенева, его опасения за то, что он пишет.

Но это не так. Только очень недалекий читатель не может ощутить намекающую интонацию. Обычному читателю эта интонация открыта настолько, насколько это нужно, чтобы он имел право не заметить ее, если пожелает.

Такая интонация образует особый эмоциональный фон тяжелой, подозревающей напряженности, характерной для

николаевского режима. Литературный прием выражал действительность, в которой жили герои и рассказчик-охотник.

Когда слово за словом читаешь «Записки», когда точные тургеневские слова складываются в отважную тургеневскую фразу, не можешь не дивиться духовному мужеству и бесстрашию писателя. Обличительная сила «Записок» была такова, что враги предпочли выразить ненависть к автору испытанным приемом — молчанием. В своих воспоминаниях единоутробная сестра Тургенева В. Н. Житова лаконично замечает: «У нас его не читали».



Сгоревшие... Их беды обожгли,
Свалившиеся на страну без меры.
Все тяготы и боль моей земли
Мне голову покрыли пеплом серым.

Сгоревшие — сгорели от огня
Моей надежды на святую силу
Добра, чтоб на него, как на коня,
Пронырливое зло бы не вскочило...

А льдинки — от раскаянья, стыда,
От угрызений совести, от злости
На самого себя... Не раз, не два
В том, что творил, раскаивался после.

Металось пламя, и вилась метель,
И падал пепел, и ложился иней...
И черная легла на сердце тень
От тех седин, в которых сам повинен...

(Перевела Е. Николаевская)

На читателя неотразимо действует откровенность поэта. Лишь человек с чистой душой способен так бесстрашно отдавать себя на наш суд, открывать нам свой внутренний мир.

Поэт, повторяю, откровенен с нами, но в то же время целомудрен и скромнен. Наделенный чувством большого достоинства, он не несет на всеобщее обозрение то, что имеет значение лишь для него одного. Наверно, потому, в частности, у него нет самовлюбленно-мелкой лирики. В его стихах отстоялось только то, что выражает чувства и его, и мои, твои, ваши, чувства, рожденные жизнью большой и непростой.

За плечами Мустая пятьдесят с лишним лет, и **каких лет!** Самоотверженная комсомольская юность, война, горе утрат, трудное счастье созидания для родного башкирского народа новой художественной культуры, работа в многонациональной советской литературе, бесценная творческая близость с Александром Твардовским, Кайсыном Кулиевым, Чингизом Айтматовым, Расулом Гамзатовым...

Эти отшумевшие годы, чью «пыль он носит в волосах», дали поэту завидный нравственный опыт. Он как будто бы очень прост. И очень не прост. И тебя, читателя, он, несомненно, заставит задуматься: а ты, каков ты, что ты вынес из жизни?

...Чем старше мы, тем — перейдя на
рысь —
Быстрее годы мчатся с нами вместе.
Пусть годы мчатся — ты не суетись,
Степенным будь, храни терпенье с честью.

Поддакиванья ближних не ищи
И в стороны не гнись — ведь ты не ивал
И не осина ты: не трепещи
От всякого случайного порыва.

И знай: противоядие и яд —
Одной породы. Дело только в мере.
Все не хвали, все не хули подряд
И миру не отказывай в доверье...

Луны достигнешь — посмотри вокруг:
Повыше есть и посветлей светила...
Из красного угла попросят вдруг —
Не жалуйся, что, мол, свели в могилу,—
Никто еще не поднялся оттуда...
Все остальное — уж не так-то худол.

(Перевела Е. Николаевская)

Нравственный климат, в котором живет поэт, здоров, ясен, диалектичен. В нем дуют свежие ветры нашего времени.

Мустай Карим не из числа поэтов-трибунов. Однако говорит он сильно и внятно, его услышишь на самом многолюдном митинге. У него почти нет «чисто» политической лирики. Но разве может политика существовать без нравственного начала! В жизни все так связано, в обществе все так неразрывно — мораль, политика, нравственность, социальная и духовная сфера... Вот почему его стихи — даже самые личные — гражданственны в самом высоком значении слова.

Нравственная программа Мустая Карима не благожна. Она утверждает, но и отрицает. Ей ненавистно все, что мешает счастью людей. Поэт четко понимает: на земле «не все, как хочется, устроено», на ней обитают, в ее круговерти вертятся и «ползающий, и скачущий, и летающий».

Так, не всяким седам по нраву
Мчится время, словно конь горячий,
И несет с собою чью-то славу,
И в тулуп бесславье чье-то прячет.

В окружающем мире есть место не только подвигам, преданности, героизму, любви. В нем, увы, гнездятся и подлость, равнодушие, предательство, трусость.

В поэме «Черные воды» (на мой взгляд, это одно из самых сильных произведений о войне; перевод Е. Николаевской) автор сталкивает два контрастных мировосприятия, две морали, два отношения к родине в трудный для нее час.

Мы отступали с рубежей.
«Куда?» — земля взывала к нам.
Стонала, плакала земля
И прилипла к сапогам...

Многие его стихотворения просятся на музыку и, конечно же, станут — иные романсами, иные народными песнями из тех, что передаются от дедов и отцов внукам. Иные из созданных Мустаем строк превратятся в афоризмы и войдут в повседневную речь его народа, я верю в это: башкиры — великие ценители меткого слова. Какая беда башкира обойдется без того, чтоб не подкрепить важную мысль мудрым стихотворным бейтом? Таким, к примеру, взятым из стихов Мустая: «Коль одного тебя гнетет беда, не говори, что вся земля седа».

Мустаи Карим — поэт из тех, кто открывает для своего народа новые художественные горизонты, чье творчество дает мощный толчок для развития национальной культуры. Напомню, к слову, его замечательную драму «В ночь лунного затмения». Когда-нибудь, уверена, мы будем слушать башкирскую оперу «В ночь лунного затме-

ния». Творчество Мустая Карима наглядно подтверждает, какие огромные возможности для расцвета, для взлета получает в социалистическом обществе литература больших и малых народов. Какие великолепные плоды дает их дружба, сотрудничество и взаимообогащение.

Сборник «Годам вослед» перевели Елена Николаевская (она перевела большую его часть), Ирина Снегова, Яков Козловский. Все они друзья Мустая Карима, друзья еще со студенческой скамьи, соратники в литературном деле. Не менее, чем талант и отличное профессиональное мастерство, им помогли в работе подлинная творческая близость с поэтом, понимание, когда чувствуешь слово, мысль, личность друг друга. Переводчики по праву делают с Мустаем Каримом высокие достоинства его сборника «Годам вослед».

В. ПАНКИНА.

★

ВДОГОНКУ ЗА ВРЕМЕНЕМ

Григорий Ходжер. Конец Большого дома. Роман. М. «Советский писатель». 1966. 407 стр. Белая тишина. Роман. «Дальний Восток», 1967, №№ 4, 5, 6. Амур широкий. Роман. «Дальний Восток», 1970, №№ 3, 4, и 1971, №№ 5, 6.

Есть в трилогии нанайского писателя Григория Ходжера один далеко не первостепенной важности персонаж, но, тем не менее, чрезвычайно удавшийся, — это Холгитон. В самом начале обширнейшей эпопеи, охватывающей полувековую историю нанайцев — от конца прошлого столетия до середины 30-х годов нынешнего, — высокий, костлявый Холгитон, разглагольствуя за чарочкой подогретой водки, похвалялся, что вот-де он, назначенный русскими властями «старшиной» в стойбище Нярги, и могуществен и богат. А жил этот «богач» в нищенской фанзе: «Низкий очаг с вмазанным в него большим котлом, в котором варили и корм для собак и еду для людей; нары с правой стороны фанзы застланы не очень новыми камышовыми циновками, а над нарами, в рост человека, глиняные стены закопчены жирником, дымом очага, покрыты серым пеплом и паутиными тенетами, так что не разглядеть цвета глины». И если надо определить время, то сквозь мелкорешетчатое оконце, затянутое большим соминым пузырем, даже самый

остроглазый охотник не угадает, что творится на улице.

А вот что пишется об этом же человеке в конце трилогии: «Вспоминает Холгитон свою прошлую жизнь, и ему кажется, что все это время он находился в спячке, как медведь зимой, теперь проснулся, огляделся, а люди спешат... Не отставать же ему от людей, хоть он и старик». И чем же первым делом украсил он свой новый, выстроенный колхозом, пахнущий свежей смолой, пронизанный лучами весеннего солнца дом? Он повесил на стенку ходики. А так как ему казалось, что и часы слишком медленно поспевают за жизнью, то он привязал к гире тяжеленные «железяки». И дряхлый старик с удовольствием вслушивался по ночам, как часы весело, молодо, отчаянно стучат у него над изголовьем.

Далеко шагнул нанайский народ за полвека. Целые тысячелетия как бы спрессовались и уложились в этот короткий срок, в жизнь, собственно, одного поколения. Но уже привыкнув к постоянным удивительным новшествам, полюбив этот стремитель-

ный бег, Холгитон почти на пороге смерти бесстрашно подхлестывает время. Часы с привязанным лишним грузом — реалистическая деталь, символизирующая приобщение некогда отсталого, закосневшего в неподвижности народа к нашей бурной эпохе. Холгитон, который прежде боялся всего (русских дянгианов — начальников, нанайского бога Эндури, Хозяина тайги — тигра Амбана, лешего Подю, всесильного шамана, русского бачику — батюшку) и которым кто только не помыкал, ощущает себя властелином времени.

Что же произошло за эти пятьдесят лет? Чудо свершилось, но — как, почему? Задавшись таким вопросом, Григорий Ходжер обстоятельно и неторопливо развертывает перед нами историю своего народа, анализирует психологические и социальные процессы. Исконные родовые порядки начали ломаться еще в конце XIX века. Русские поселенцы — крестьяне, ссыльные революционеры — привносили новое в быт маленьких, неуклонно вымиравших от голода и эпидемий народностей Приамурья — нанайцев, тунгусов, орочей, нивхов. Процесс этот проходил сложно, трудно. Кто-то из молодых тянулся к знаниям, кто-то противился, изо всех сил цепляясь за привычное, прежнее, завещанное предками. Но и тот, кто сердцем готов был принять новое, не в одночасье и далеко не во всем сдавал свои позиции. Один из главных героев трилогии, правдоискатель Пиапон, выбранный председателем колхоза, уже при Советской власти молился за будущие успехи своего хозяйства перед священным жбаном счастья. А комсомолец Хорхой, объявивший войну шаманам, уничтожил соломенных и деревянных божков — сэвэнов, спасающих от болезней жителей стойбища, но в последнюю минуту и он, дрогнув, шепнул своей матери, чтобы она незаметно припрятала каменного дюли — главного хранителя очага... Ходжер понимает: новое с трудом внедряется в сознание людей. И он не облегчает своей художественной задачи: как было, так было, из песни слова не выкинешь. Но часы идут, их тиканье неумолимо, и хочешь не хочешь, а надо за временем поспешать, пусть даже оступаясь и падая, но — поспешать. Иначе — смерть. Омертвление души.

Интересно в этом плане задуман один из центральных типов трилогии — так сказать, отрицательный образ — Полокто, брат Пиапона. Полокто тянется к богатству, это его

основная страсть в жизни. У него рождались лишь мальчики, и он сперва радовался этому, но потом стал мечтать о дочери, чтобы получить за нее богатое тори (выкуп). «Сыновья приносят в дом мясо и рыбу, а дочери — водку», — говорил он. Неправедную, в общем, жизнь прожил Полокто — ссорился с отцом, с братьями, с женами, с детьми, всех мучил, страдал сам, завидовал нанайскому торговцу Американу, который, как говорили, нашел су (талисман) богатства. Полокто без устали копил и копил деньги, заимел дом, лошадей, единственный из всех в Нярги не вступил в колхоз, а с чем пришел к своему концу?.. Ни с чем. Остался один как перст. Дети и жена Гэе бросили его, колхоз переехал на другой берег реки, и вот он стоит перед братом своим Пиапоном, и «никто бы не сказал, что разница в годах между ними всего в два года. Сгорбленный Полокто, с дряблым морщинистым лицом, со слезящимися глазами, совсем не походил на стройного Пиапона, с обветренными щеками, острым взглядом и лишь чуть побелевшими на висках волосами». И что же говорит ему Пиапон? «Ты сперва оторвался от людей, потом от родственников, потом от детей и внуков. Кто зиноват, отец Ойты, кого ты можешь обвинить?» Пиапон больше не уговаривает брата вступать в колхоз. Впрочем, и Пиапону и нам, читателям, жаль этого человека, исковеркавшего себе жизнь. И мы вместе с Пиапоном печально глядим ему вслед: спина Полокто сгорблена, он еле волочит отяжелевшие ноги...

Пиапон и Полокто — оба унаследовали характер отца, главы Большого дома Баосы Заксора, но как же по-разному этот характер в них преломился! Полокто стал таким же, как отец, прижимистым и бранчливым, Пиапон взял у Баосы его ум и волю, тягу к справедливости.

В центре этой густо населенной книги стоит род Заксоров. У Баосы четыре сына — Полокто, Пиапон, Дяпа, Калпе, и две дочери — Агоака и Идари. У всех у них, в свою очередь, есть семьи: мужья, жены, порой даже две или три жены, как, в частности, у Полокто, и много детей. Есть, конечно, в трилогии и люди, принадлежащие к другим родам, и великое множество других героев — охотники, шаманы, торговцы, белогвардейцы, учителя, друг Пиапона — Митрофан Кольчев, доктор Храпай, ссыльный революционер Павел Глотов... Перед нами самые обыкновенные люди. Иногда

они ошибаются, иногда совершают благородные поступки, иногда выказывают поразительную мудрость, а иногда вызывают жалость своей происходящей от невежества наивностью и даже глупостью... Ходжер их не приукрашивает. Он их любит, и ему нет нужды приукрашивать.

При всем своем уважении к любознательному и храброму подростку Богдану, которому предстоит стать при Советской власти ученым, писатель не боится показать его нам в минуту жалкого страха. Богдан и Хорхой плывут в оморочке по Амуру, грохочущему, подобно весеннему грому. Река похожа «на зверя, который отлеживался всю зиму, но теперь, почуввав весну, поднялся на ноги и начал крушить и ломать все вокруг». По воде плывут льдины со следами санных полозьев. И вдруг Богдан вспоминает: «Хорхой, старики говорят, если пальцем покажешь на льдину, то она протаранит лодку, снесет дом». И тотчас указывает пальцем на одну из льдин, словно желая испытать судьбу. Друзья гонят лодку в уже свободный от льда залив, выходят на берег, где стоит землянка, ужинают, укладываются спать, а утром Богдана будит странный шум. Он распахивает дверь: весь залив снова загроможден льдами, лодки нет. Вспомнив вчерашнюю шалость, он начинает трястись от ужаса. «Неужели это правда, что нельзя... — думает он. — Что льдины — живые, понимают? Почему они возвращаются? Из-за меня?..» А вода, поднимаясь, уже заливает землянку. И Богдан и Хорхой оба плачут. Они взбираются на деревья, и Хорхой кричит: «Богдан, ты виноват!.. Молись Эндури, проси пощады!» И только когда подросший к мальчикам Пиапон объясняет им, что лед запрудил Амур, вода хлынула в протоки, заливы и потому-то льдины и повернули вспять, Богдан успокаивается и делает одно из своих первых важных открытий: незнание — вот что порождает страх.

Реалистичен образ замечательного охотника Токто, слава о котором гремит по всему Амуру. Спасаясь от кровной мести, он покидает родное стойбище и поселяется с двумя женами на берегу таежной речушки. Ему не везет: дети его умирают один за другим. Он обращается за помощью к шаману, умоляя его спасти от злых духов новорожденного сына Тэхэ. Бывало, повергая в ужас окружающих, Токто ссорился даже с самим лешим Подей, орал на него во всю глотку: «Неголяй. Сплошь ты. Подей!.. Я те-

бя, паршивый старикашка, разыщу, где бы ты ни спрятался, если ты не отучишь того соболя, которого научил тетиву перегрызть!» А тут этот свободолюбивый, мужественный человек смиренно приносит жертву солнцу и Эндури, в мистическом экстазе отбивает поклоны. Но «злые духи» не пощадили, увы, и этого сына Токто. Велико горе охотника. Но сердце его не становится глухим к близким, к друзьям.

Теме дружбы посвящено немало страниц романа. Токто делается старшим названным братом Поты, что убежал со своей возлюбленной Идари от гнева старого Баосы. Долгие годы обе семьи живут в одной землянке, вместе охотятся и рыбачат, делят пополам печали и радости. Поразительны их отношения, полные самоотвержения и благородства... Дружат и Пиапон с Митрофаном Кольчевым. Некогда Баоса, охотясь с Пиапоном в исконных «владениях» Заксоров, наткнулся в тайге на двух русских — отца и сына Кольчевых. Сначала Баоса, разъярившись, пытается прогнать их со своего охотничьего участка, но узнав, что Илья болен, старый нанаяк спасает его. «Кто же, — рассудил он, — поможет ему, если не Баоса?» Там, в тайге, и зародилась между Пиапоном и его однолеткой Митрофаном дружба, которая продолжалась потом всю жизнь.

Удались автору образы женщин. Тихая, покорная Майда, строптивая Гэе, работающая, добрая Оба, смелая, любящая Идари, очаровательная Гэнгиз, сварливая Дярикта, добродушная Надя Кольчева — их не спутаешь, у каждой свой характер, своя особенная черточка. Гэе, жена Полокто, которую мы привыкли видеть в вечной войне с мужем, приходит к нему однажды, уже старому, всеми покинутому, садится, молча раскуривает трубку. «Чего молчишь? Ну, добивай, мсти! — закричал Полокто». Но Гэе нашла для него слова утешенья, и это было так странно для нее, так необычно, что Полокто вдруг прижался к ней и заплакал. И Гэе тоже обняла мужа за шею и всхлипнула... И какой же новой стороной повернулись к нам всегда враждовавшие, ненавидевшие друг друга супруги! Неожиданность этой сцены, как ни парадоксально, только прибавила ей убедительности.

Здесь я сделаю маленькое отступление. Я долго жила на Севере, знакома с нравами и обычаями хантов и манси и нахожу у них много общего с нанайцами, несмотря на разное этническое происхождение и

язык. Их отличает та же честность, детская доверчивость, гостеприимность, доброжелательность, любовь к детям. И мне было удивительно приятно узнавать все эти черты в описываемых Ходжером сородичах. Я могла бы привести десятки подобных или схожих эпизодов, наблюденных мною в тысяче километров от Амура, на берегах другой, столь же величественной реки — Оби. Мне случалось приплывать на лодчонке в селение, где большинство домов пустовало (хозяева их, рыбаки, уехали на дальнюю тону) и двери были отперты или, на худой конец, завязаны (не от воров — от ветра!) веревочками. А зайдешь в дом — и всякого добра там, что называется, бери — не хочу: продукты — мешками, вяленая рыба — мешками, соленая — бочками. А в книге Ходжера читаю: «Никто, ни один нанай не закрывал свою дверь на замок». А разве не учил меня старый манси, как точить крючки самолова? «Ты их тоньше, тоньше точи: чтоб не только лишь за ладонь, за ноготь ималось!» Разве не рассказывал о повадках разных рыб? И все это с лучистым сиянием в глазах, ласково, вдохновенно!.. Ну точь-в-точь как старый Баоса поучал любимого внука Богдана: «...смотри внимательно. Самое главное и трудное дело — это уговорить его (осетра.—И. В.) повернуться к тебе головой. Быстро уговоришь — быстро вытянешь. Не уговоришь — не вытянешь». И так же, как доверчивых добрых нанайцев, обманывали в царское время хантов и манси тобольские обиралы-купцы. Уверяли их, будто сложенная горкой под дугу рыба весит всего пуд, и те не прекословили, так как сами почитали обман за величайшее бесчестье. А под дугу-то умещается около трех пудов! И обсчитывали, объегоривали их на всем, надраенными до блеска медяками оплачивали ценные соболиные, беличьи шкурки... Зная это, как могла я без волнения читать у Ходжера про то, что охотники-нанайцы постоянно попадали впросак, за бесценок, иногда за одну фасолину (!), отдавая добытую тяжким трудом пушнину...

В общем, я читала книгу нанайского писателя и с радостным чувством узнавания — да, так, именно так все и было! — и с болезненным ощущением своей личной сопричастности к описываемым горестным событиям. Но, думаю, мне, у любого, даже не знакомого с бытом малых народностей, но мало-мальски способного к сопереживанию человека навернутся на глаза слезы от душераздирающей сцены — по замерзшей реке

от проруби к проруби мечется подросток Богдан, крича: «Дедушка! Дедушка!» — это старый Баоса ушел под лед и исчез навсегда, был человек — и нету... Или когда чуть не все население стойбища Полокан в несколько дней гибнет от оспы — дети, женщины, старики. А вот умирает старый Чонгиаки. «Думал попросить... похоронить меня... теперь не надо. Токто... я тебя любил... как сына, ты храбрый человек...»

Старик закашлял. Токто подал ему воды.

— Умираю... перед смертью обо всем думал... о тебе думал... о торговце думал... долг ему не отдал. Стыдно...»

Старика жалко, но при этом он говорит слова, которые трогают читателя больше, чем даже самая его смерть: «...о торговце думал... долг ему не отдал. Стыдно...»

И еще один эпизод. Охотник Пэсу ушел в тайгу со старшим сыном и не вернулся. В стойбище поднялась тревога. Сыновья Пэсу — Годо, Молкочо, соседи — Токто, Пота и Гокчоа отправились на розыски. Подойдя к зимнику, Токто опытным взглядом определил по следам, что из аонги (шалаша) последний раз выходили дня три назад. Охотники принялись кричать: «...Откликнитесь!.. Вы живы?» — ответом была тишина. И хотя старики говорят, что если в зимнике случается несчастье, переступать его порог нельзя, Годо решился. В аонге у остывшего очага лежали его отец и мертвый брат. Умиравший от оспы Пэсу прошептал через силу: «...уходи... не прикасайся ко мне...» Годо воскликнул, что никуда не уйдет, налил из чайника теплую воду и поднес отцу. Но тот отстранил кружку и простонал: «Уходите... как отец говорю... быстрее завалите зимник и уходите...» То, что умирающий, зная старинный запрет, не отзывался на крики, чтобы никого не подвергать опасности заражения, то, что он сам приказал завалить аонгу, — пример высочайшего взлета духа.

Неторопливая, подробная, несколько, может быть, «старомодная» манера письма часто вызывает нарекания критиков. Дескать, излишняя детализация только засоряет произведение, затрудняет художественное восприятие. А мне эта манера напоминает сплошь покрытые орнаментальной резьбой массивные колонны восточных храмов. Ничего не теряя в монументальности, колонны приобретают воздушность. В книге Ходжера много воздуха. И героям от этого легко дышится. Они двигаются

по своему литературному «жизненному пространству» непринужденно, вольготно, естественно.

Я бы не сказала, однако, что роман Григория Ходжера лишен недостатков. Меньше всего удались автору главы, связанные с событиями гражданской войны на Дальнем Востоке. Кое-где явственно проступает суховатый язык архивных документов. Неорганично сцеплены с текстом экскурсы в историю партийной борьбы, недостаточно прописан образ анархиста Якова Тряпичина, имя которого много раз упоминается на страницах романа, но всегда как-то мелко и необязательно. Не ясны некоторые «проходные» фигуры (например, Казимир Дубский), никак не обоснован арест советского кооператора Воротина (так же,

как, впрочем, и его быстрое освобождение). Вообще последняя часть трилогии, может быть в силу вполне понятного желания «объять необъятное», несколько фрагментарна. И все-таки он есть, состоялся первый и нанайский роман! И притом без всяких скидок на отсутствие литературных традиций у этого лишь недавно получившего письменность народа.

За несколько десятилетий известный нам всем с детства старый гольд Дерсу Узала прошел огромный путь, вышел на рубежи современной культуры, на равных правах вступил не в свой родовой, дедовский, с тусклыми оконцами, а в светлый Большой Дом нового человеческого сообщества.

И. ВАРЛАМОВА.

★

УРОКИ ПРИКЛАДНОЙ ДУХОВНОСТИ

Людмила Щипахина. *Завтра и всегда. Повесть. «Нева», 1972, № 3.*
 Антон Геращенко. *Личное счастье. Повесть. «Дон», 1972, № 1.*

Есть в жизни события неповторимые, память о которых будит в человеке все лучшее. Хочется возвращаться к ним воображением, говорить о них долго и жарко. И хочется подчас убедить окружающих: то, что случилось со мною, не для одного меня важно, а, может быть, для многих и многих. Так рождаются мемуары, если за перо берется человек в возрасте. Так рождаются произведения исповедальные и с моральным уроком, если за дело берется человек помоложе.

...Студентка третьего курса Елизавета Ложкина всегда мечтала о дальних странах и странствиях. Мечта ее исполнилась: побывала она в заграничии на теплоходе «Восток» буфетчицей. И каким же емким, насыщенным оказалось плавание: «Это никогда не станет моим прошлым. И не оборвется сегодняшним днем. Это будет со мной и завтра! И всегда!»

Повесть Людмилы Щипахиной названа соответственно: «Завтра и всегда».

..Герой повести Антона Геращенко едет в город своей юности, в Волгодонск, куда однажды его потянуло сильно. Оттого, наверное, что самые яркие страницы его биографии писались именно тут. Оттого, что «ты участвовал в большом деле и твои руки были „по локоть измазаны цементом и глиной“». Стало быть, речь не о каком-либо

узеньком, личном счастье, но счастье, богатом общественным, трудовым смыслом. Личное, но в то же время как бы и общественное... Итак, особенный момент в жизни человека, побуждающий память к работе, а сердце к волнению. Может ли, однако, случиться так, что и при весьма «льготных» условиях повествования личность рассказчика будет нивелирована, сведена на нет? Может ли так произойти?.. Критик Н. Подзорова в статье «Подобие жизни, подобие героя» («Литературная газета» от 26 апреля с. г.), касаясь среди прочих произведений и этих двух, в том и видит существенный их недостаток: «Индивидуальность персонажей в повестях обуславливается по воле авторов главным образом внешними признаками». «Суесловие» и «откровенная литературщина» «отодвигают, заслоняют существо повести — рассказ о комсомольской юности на строительстве города Волгодонска». Значит, если очистить повесть от «вторичности», от мусора и хлама, если прописать характеры поярче, то «существо» это самое высветится, заиграет всеми лучами и красками?

Э нет, дело не в том. В повестях существует полное и гармоническое соответствие формы и содержания. В том, как произведения задуманы и выполнены, нет никакого зазора, никакой трещины. Ин-

дивидуальности рассказчиков раскрылись не только так, как смогли и сумели, но как возможно и обязательно им было раскрыться. Герои строят себя из материала, который поставляет их духовная личность. Только вот как и какие личности открываются нам?..

Ну, что касается Елизаветы Ложкиной, то она обнаруживает себя довольно скоро. Она человек горячий, импульсивный, немного сумбурный, правда, поскольку внимание ее мечется между множеством новых объектов. Взясась героиня доказать коллективу, что не белоручка она, взялась с азартом мыть посуду, пылесосить ковры, драить иллюминаторы и прочее. Но по привычке она, перестали болеть руки — и совсем другое захлестнуло ее впечатлительную душу. Эх, что там тарелки и вилки, когда глаз ощущает берега священного Ганга! Что там корабельная кухня, когда в китайском ресторанчике можно отведать мясо осьминога и кисель из агар-агара!..

Рикши, пагоды, священные коровы, лабиринты, подлинный зуб Будды, встречи, расставания, любовь, прошлое и настоящее — какой-то вихрь овеивает героиню. Есть у нее, правда, и одно постоянное пристрастие: она обожает кино. С неистощимым любопытством смотрит она фильмы, щедро их пересказывает. Хоть так: «Церковные купола, покрытые берестяной чешуей. Колокольный звон. Дети, бегущие во ржи. Лица стариков и детали собора. Самолет в небе. Жизнь вчера и сегодня, завтра и вечно». И не всякий раз, между прочим, можно различить, где тут изложение очередной ленты, а где впечатления от реальности. Вот это, например, жизнь: «Пахнет чем-то пряным и тяжелым. Пестрит в глазах от непонятной толпы. Чужие цвета. Чужие жесты. Чужая мимика. На улицах тесно. Все движется. Перемешивается». Так уж поставлено видение у героини, так она воспринимает все что ни есть вокруг. Это ее «я» с такой скоростью и четкостью отщелкивает время, на таких частотах работает. Твердое постоянство манеры. Н. Подзорова рассматривает ее как «эксплуатацию излюбленного приема». Какой уж тут «прием» и какая «эксплуатация», коль за всем этим плещет и поет душа! Иное дело, если разуместь под словом «прием» устойчивое мироощущение, коренной духовный способ прилаживания к действительности и постижения ее.

Внутреннее бытие героини будто невольно подстраивается под некий киноглаз, со-

чувственно взирающий на нее. Жизнь на изображение, на иллюстрацию, и притом вполне искренняя жизнь. Вот отчего и со своим трудом она справляется неплохо, пока он для нее и игра. У героини есть даже настойчивость, пока длится приступ трудовой экзальтации. Ей важно гореть, демонстрировать, ей любо зажигаться-доказывать. Но вот, вероятно, поутих такой приступ, когда шеф-повар попросил ее присмотреть за жарящимися котлетами и сгорели они. Ну, увлеклась она разговором с матросом, и в шутку, в смех все переводит рассказчица. Но шеф ругал ее крепко, да к тому же еще и заявил: «Это тебе не рассказыки писать!» Откуда у повара основания на такое смелое сопоставление? Основания есть, и самые прямые: наша Ложкина — студентка Литинститута, будущая писательница. Она пустилась в плавание, чтобы поработать и чтобы рассказать об «изведанной сладости труда», о «надежном ощущении полноты и счастья бытия». Но всему свое время и место, своя мера. «Уже середина августа. Конца рейсу не видно. А ведь скоро первое сентября — начало занятий! Как же я-то?» А вот это уже без игры, без погрешек: пора возвращаться к своему настоящему делу. Сеанс иллюстрированного камлания окончен... Да, с Елизаветой Ложкиной все относительно просто и ясно.

У героя повести Антона Геращенко история посложнее, с ней стоит познакомиться подробнее.

Выпускника ФЗО повлекла романтика, зафиксированная объявлением оргнабора: «На цимлянском побережье ждут строителей!» За крупными буквами плаката выпускник и его новый знакомый Володя Королев увидели мысленным взором «паруса», «прибои», возможные «пальмы» да «плюс еще с шашлыками». Как совершенно естественно нам предположить, ни каких таких «казаков с шашками», ни «веселых кавказских людей», бодро и приветливо размахивающих шампурами, ни тем более красавиц пальм друзья не обнаружили. Явились им «мореработяга», обледенелая степь и строительство элеватора. Началась их жизнь там, непростая и несладкая жизнь. Если б только отсутствие шашлыков да холод остудили юношескую романтику, то полбеда было бы. А то приходилось им тереться среди «веселых мужиков», которые пьянствовали да играли в карты, которым на все было в наивысшей степени наплевать. И, к сожа-

лению, эта аморальная компания требовала непрерывных услуг себе. Приходилось тащить для нее к ужину, к водке побитых у плиты сазанов, приходилось и выручать проигравшегося, доставая деньги в счет своей будущей зарплаты. Тягостно было нашим комсомольцам улаживать эту шайку разбойников, но ведь, с другой стороны, надо оставаться «добрым, отзывчивым и справедливым». Как тут быть? Жизнь наладилась после того, как начальник Шпаченко разогнал самых больших злоумышленников и лентяев.

А что потом? Потом работа и долгожданный вечер. Ах, этот вечер, когда «ты спешишь к желанному подъезду!» Там, наверху, встречает гостей она — «душа избранного общества», хозяйка в «изящном вечернем платье». Тут тебя окружают приветствия и многозначительные взгляды, шкафы с книгами в золотящихся корешках, бра, и низкие столики, и таинственны вечерние туалеты дам, и дымятся чашечки кофе, и полумрак в прихожей... Все это, заметьте себе, в городе-новостройке, посреди голой холодной степи, в которой пересвистываются ветры. Чудесна эта аристократическая гостиния, чудесно это «избранное общество», да только не мираж ли они?

Так оно и есть — это нечто вроде галлюцинации, которая порой рождается из сильного желания, чтобы возникло то, чего в действительности нет. Такие ассоциации, поясняет наш герой, возникали вследствие изучения литературы XIX века в вечерней школе, вследствие смешения гостинных пушкинского времени с современным интерьером. Мечты, мечты!.. Они способны раскрасить самую неказистую действительность в свои радужные цвета. На самом же деле не было галантных кавалеров и обворожительных дам, а были ребята и девочки, которые спешили в класс, делали сумасшедшее количество ошибок в диктанте, увлекались математикой. Но спешили они, ох как спешили преодолеть науки побыстрее, с ходу, с налету. Торопыгами они были...

Совместилась точка настоящего с точкой прошлого, и в результате этой коррекции на события минувшего брошен довольно сильный и прямой свет. По-новому несколько вырисовывается это былое. И почему-то теперь не очень хочется восхищаться неутомимостью героя, который летом с помощью Королева готовит программу за девятью класс и «на вираже» обходит соклассников.

Что останется в голове у него после этих гонок? С каким они прицелом? Даже такая славная черта, как книголюбство приятелей, не так уж сильно к ним располагает. Смотрите, движется эта парочка из библиотеки, охватывая руками пачки книг, причем Королев держит книги так, чтобы «названия их видели все прохожие». Для приятелей и знакомых выставлялась на вид философская классика и производила потрясающее впечатление: «Смотрели на нас так, будто мы были выше их ростом». У Королева был важный пункт: «Ничто так не подстегивает человека, как зависть». Любопытное убеждение, и, конечно, в полном соответствии с ним Володя вворачивает в речь свою разные мудреные слова, дает ученые консультации в тех областях, где ни бельмеса не смыслит. На сей счет его и сомнения посещают: а как отлупят их однажды за пустозвонство, отлупит тот, кто сам дойдет до корня, кто поймет, что до сих пор ему «заливали»?

Вероятно, отчасти можно было бы объяснить подобные казусы юными годами друзей — какие только причуды и странности не случаются в молодости! Но ведь наш герой-повествователь теперь куда старше приятелей, а почти всякий их поступок вызывает у него одобрение, едва не умиление. Вот, кажется, уже совсем недвусмысленный факт: услуга «веселых мужиков». Что тут можно романтизировать? Так нет же: оказывается, надо быть «добрым, отзывчивым и справедливым». К кому — к пьяницам, бездельникам и картежникам?

Весьма настойчиво желание рассказчика рассмотреть свой былой опыт как примечательный и показательный, как опыт большой общественной, трудовой и в то же время лично-духовной значимости. Этакое желание напрячь голос, натянуть тон...

А дело в том, что профессия у героя ныне особенная, необычная. Уж давно он не строитель, а коллега Елизаветы Ложкиной по литературному цеху. Он литератор. Он и говорит с нами, и будто разом пишет. Получается, что мы непрерывно имеем образцы не только его чувств и мыслей, но и образцы профессиональной его новой работы. К прошлому своему он относится как к некоторому материалу, который надо обобщить, осмыслить еще раз — художнически. Умеет наш герой приподнести материал, где надо — подчеркнуть его, где надо — подретушировать, а где на-

до — подать ярко, эффектно. Целую главку он умеет назвать красиво: «Город-лебедь». Красиво-то красиво, а главка снабжена одной гремющей и скрежещущей техникой, безмянными, бодро перекликающимися людьми. В ней одно обобщение — с высоты птичьего полета. Скучно и не нужно рассказчику сейчас «заземлиться», тоскливо и не нужно ему вдаваться в живые детали. Он парит — в этом его позиция. Он молвит, глянув с высоты: «...а утром по улицам текли будничные ручьи — шел рабочий класс».

Бедность, бедность реальной жизни на стройке — не тут ли истинная правда, усвоенная про себя героем, правда, которая толкнула его попозже в другие места и к другим профессиям? Однако теперь, вписанный в приподнятую над землей панораму, герой сам становится фигурой абстрактно-романтической. Общее тут в нем зашифровывает частное. Необходимо некоторое усилие, чтобы разобраться в его былых трудовых занятиях и в его чувствах. Кажется, он работал тогда каменщиком или монтажником («Мы болтались на лесах между небом и землей»). По-видимому, он не ленился («Есть еще тонны бетона, арматурных прутьев и раствора, чем без останки мы обязаны наращивать тело башни»). Можно предположить, что голова его и руки были заняты разными делами («Взбираясь в небо, мы переваривали в себе все то, что узнавали за день. Читали мы в те дни запоем»).

Личное закутывается в общее, используя интересный метод. Рассказчик все делает упор на слово «мы». Всегда и постоянно — «мы работали». Но действительный объем этого «мы», если присмотреться, все время изменяется. Иногда можно подумать, что речь идет о всех строителях Волгодонска иногда о тех, кто строит лишь элеваторную башню. Подчас это «мы» развертывается до беспредельно космических пределов («...в вихре чувств сквозь нас пронеслись и сталкивались звездные миры; в наших душах росло, как волна в прибой, и набирало силу ощущение удовольствия от своего труда и жизни...»). А нередко это «мы» сводится к двум лишь приятелям, связывая их некоторым единством действий: «растерянно залепетали мы», «опечили мы», «рыцарским жестом мы пригласили их к своему шалашу», «мы разом зашевелились на своих местах, что-то протестующе забубнили» и пр. Уверенней, удобней так вести рассказчику

повествование. Крепче он чувствует себя, что ли, среди многих, пусть эти многие и остаются чистой условностью, речевым оборотом. В то время как «мы» вступает в контакт со звездами, в то время как от имени «мы» во славу труда гремит симфония, «радостная, могучая и зовущая», «я» просто завтракает, обедает и ужинает, обслуживает «веселых мужиков», мечтает об «аристократическом обществе».

Это своеобразие мышления повествователя претворяется в категорию эстетическую. В повести Антона Герашенко она весьма гибкая и пластическая категория... Достраивается Волгодонский химический комбинат, и молодежь мечтает освоить тут же, на месте, специальности химиков, связанные с «проблемами будущего». «А утвердиться в нем (будущем.— Л. А.), жить задачами его сейчас, каждый из нас стремился и видел основную цель своей жизни именно в этом». Если очистить фразу от специализированных грамматических напластований («жить задачами его сейчас») и привлечь на помощь контекст, то сомнений быть не может: «мы» желает остаться в Волгодонске, работать здесь. А «я»? А «я» уезжает искать счастья в иных краях. «Город уже принадлежал не нам, он вступал в свою зрелость...» Подмена едва заметна, ибо гордое слово «мы» щедро делится своим обаянием... Однако эта подмена заметней там, где от «я» требуется подтверждение слова делом. Например, в одной из весьма важных для повести главок — «Корчагинцы».

...Это была морозная, с диким ветром и жестоким снегом ночь. В эту ночь рабочие должны были разгружать гравий, доставленный поездом на строительство. «Медведь пусть в такую погоду работает!» — сказали знаменитые дикие мужики, разведя костер. Молодежь за их спинами, не решаясь подвинуться ближе, держалась возле огня тоже. Так бы и держалась всю ночь, если бы не появился секретарь комитета комсомола Виктор Шадоба. Мигом встряхнул он ребят, организовал новый костер и тут же провел комсомольское собрание, толково объяснив необходимость срочной разгрузки гравия. Потом выступил Володя Королев и сослался на пример Корчагина, напомнив, как тот с товарищами строил узкоколейку. Он призывает аудиторию к подвигу и упрекает ее: «...мы обуты, одеты, сыты и испугались какой-то метели». После этой речи «мы разом, все, как один, шагнули в метель. Нас уже не пугали ни мороз, ни ветер. Мы чув-

ствовали себя вместе плотно сжатым кулаком, в котором, будто пальцы, каждый согревался друг другом и чувствовал в себе удесяттеренную силу».

Примечательная художественная особенность произведения А. Герашенко — расслоение слова и реальности. Странный этот «работающий» и «греющийся» кулак — какой-то абстрактно-символический, отвлеченный, ирреальный, совсем не по делу кулак. Много в нем пафоса, зато смысла не очень много. Старается автор показать нам порыв энтузиазма. Упоминает он гравий, смерзшийся комком, упоминает кирки, однако кирки рубят гравий где-то за пределами главки. Как махнул кулак, так все вещественное испарилось. Не видно ни лиц, ни напряженных рук, нет людей, тех, что «шагнули в метель». Разговор о героическом труде — пустой, на бумаге. Рассказчик будто бы и присутствовал на разгрузке гравия, глаза его что-то видели, уши что-то слышали, и руки, вероятно, работали. Но между ним и миром материальным нет сколько-нибудь прочного контакта, увязки.

Что случилось с героем дальше, когда оставил он Волгодонск? Об этом говорится скупо, и можно понять лишь, что искал он свои настоящие пути. Решил он «попытать счастья» на приемных экзаменах в физико-математический институт, но не выпало ему счастья: «Призвание физика оказалось мне не по зубам». Не вышло с наукой, так и в искусство податься можно, если такое призвание, так сказать, «по зубам». Популярная штука — писательство!

Да, реальная направленность интересов нашего героя все яснее. Она соотносима с «вертикалью», с направленностью «вверх». Оказывается, и шутивное словосочетание «избранное общество» и многое другое вылезло на вид в повести совсем не случайно. Желая признаться в самом лучшем — в своей любви к стройке, к Волгодонску, в пылкой привязанности к труду, он на самом же деле исповедует в том, как скучно было ему в той среде и в то время и как радостно было стремиться к иной цели... И он источает эту главную истину о себе с естественностью, как легкий трудовой пот в минуту усилия.

Во второй части произведения герой приезжает в город, чтобы пережить личное счастье и насладиться встречей со старыми местами. Теперь ему вручают письма Володи Королева, в которых тот расска-

зывает о себе, но еще больше размышляет на самые общие, широкие темы. Сейчас этот почти монументальный Королев произносит монологи, исполненные философского смысла. Он учит, наставляет, вещает. Он говорит о романтике и творчестве, об истории и современности, о труде, о смене поколений, о традиции, о науке. Он гремит: «Мы — само единство в бесконечном времени и пространстве». Он обобщает: «...человечество взрослеет, становится мыслительным органом планеты. Долг каждого из нас — быть его достойной частью». Он протестует против застоя и выдвигает задачу на основании собственного опыта: «перерастание из одной фазы в другую», «самоутверждение себя в новом качестве». Ох и тяжело переварить все то, что сообщает монументальный Володя Королев! И самое печальное: никакого противоречия между «словом» его и «сутью» нет. Если вспомнить, на чем он замешан, если припомнить его «философию зависти», его трусоватость лжепророка, культурный ценз, его манеру казаться выше, чем есть, то никакого разноречия не окажется. Королеву, как и герою-рассказчику, охота все время пыжиться и напрягаться, выдавая свое малое за истинное и великое. Превеличение — его существо и его язык. В этом возбуждении канцеляризм, в этом надрывном, механически ожесточенном звукоизвержении, в этом лязгающем красноречии штампов — истина его нравственного характера. Представьте себе пылкую серенаду бормашины. Такова речь духовного пастыря нашего героя... Итак, иллюзии рассеяны. А ведь нам и в конце повести внушали: «Хорошо жить, если не напрасно прошла твоя юность, если ты участвовал в большом деле и твои руки были «по локоть измазаны цементом и глиной»... Нам рекомендуют героя-рассказчика полюбить, понять. Вот он бродит по старым местам, и сердце его ноет какой-то благородной болью. Встретил рабочую Фросю. Издали она всего лишь «габаритная женщина». А как широка ее душа! Старого своего знакомого (не имея понятия о новой его писательской профессии) приглашает в бригаду, обещает отличные заработки. И он тает будто, слушая ее, и комок к горлу подступает у него. Но устройте маленькую проверку — предложите нашему герою вернуться в бригаду. Не на месяц, не на год, а навсегда. Попробуйте...

Минули времена монументального «производственного романа». Минули времена ро-

мана, действие которого сурово и жестко было приурочено к успешному запуску турбины, к окончательному устранению помех на конвейере или к апробации железобетонной панели. Герой такого произведения, консерватор, и его неугомонный противник, прогрессист, намертво крепились болтами авторского замысла к сюжетной конструкции и, естественно, существовали лишь в качестве ее обязательного механического атрибута. Иные времена — иные песни.

Теперь ничто немислимо без индивидуальности. Теперь любой производственный цикл непременно попадает в зону влияния личности. Тут он просветляется и одухотворяется. Мертвая вещь не может стать выше человека!

Так-то оно так, но при одном лишь малом условии: если отношения между героем и преобразуемой им вещью не различны на самом деле. Когда меж ними пробегает искра взаимного понимания, когда осуществляется гармония интересов — словом, когда жизнепроявление человека свободно и согласно с мерой предмета. Настоящий мастер ищет себя в продолжении своей дея-

тельности, его субъективный интерес («личное счастье») фиксируется вещественной формой. Он не озабочен тем, как зацепит и в каком направлении повлечет его за собой дело, — он свободен от иерархических соображений престижа.

Но ежели перед нами некто иной, чьи желания далеки от предмета, чья корысть ищет себе другой точки приложения? Тогда между ними наступает отчуждение. Здесь совсем не то «существо», о котором толкует Н. Подзорова, — здесь разогнанная для иллюстративных контактов часть «существа». Утилитарно-целесообразное приложение духовности...

Однако вещь не терпит тайного цинизма, двойственности и дипломатии. Ей по нраву ясность и честность. Ей не по душе фальсификация отношений, которая в самом безобидном случае оборачивается пустой игрой. Вещь ожидает чуткой настойчивости ума и руки и вовсе не желает, чтобы ее превращали в механический атрибут прикладной духовности. Вот почему действительных творческих и душевных отношений меж ними не складывается.

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ.



«РУССКОЙ ЛОЖКОЙ ДЕРЕВЯННОЙ...»

Ю. Виноградов. Моонзунд в огне! М. Воениздат. 1971. 496 стр.

Книга Ю. Виноградова посвящена одному из драматических, но мало известных широкому читателю эпизодов Великой Отечественной войны: героической обороне «ворот Балтики» — островов Моонзундского архипелага. Отрезанный от Большой земли еще в июле 1941 года, островной гарнизон, опираясь только на собственные силы, продержался в сражениях с гитлеровцами до 20 сентября 1941 года. В эпилоге Ю. Виноградов пишет: «...моонзундцы оттягивали на себя силы фашистов, предназначенные для захвата Ленинграда... Дрались за каждый метр советской земли, дрались упорно, умело... Большинство защитников Моонзунда погибли. Часть бойцов попала в плен... Некоторые погибли в застенках гестапо. Немногим удалось переправиться на латвийский берег».

Задумана книга как художественно-документальная хроника, однако написана, к сожалению, в той облегченной беллетристической манере, благодаря которой война

похожа на показательные маневры, враги — сплошь сюнтяи и дураки, а подвиги совершаются по принципу, о котором А. Твардовский писал: «Русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил!»

Вот весьма характерный пример из книги «Моонзунд в огне».

...Прижатые к морю балтийцам немцы предлагают сдаваться. Капитан Ковтун, сделав вид, что принимает это предложение, выводит вооруженный батальон (с винтовками за плечами, с автоматами на груди!) на открытую поляну. Глупые немцы, поверив в «добрые намерения» русских, оставляют пулеметы, высыпают из окопов и, даже не сделав попытки обезоружить сдающихся в плен, расступаются, «образуя живой коридор». Вражеский офицер покровительственно похлопывает Ковтуна по плечу... И когда Ковтун ударом кулака сбивает обер-лейтенанта с ног, моонзундцы кидаются на растерявшихся немцев и без труда «сминают их ряды».

«Полундра-а! Полундра-а! Полундра-а! — яростно кричали они, добывая штывками и прикладами почти не сопротивлявшихся гитлеровцев».

Трудно представить себе, на какого читателя рассчитана эта неловко придуманная история. А ведь она далеко не единственная в книге. Позволю себе еще несколько примеров.

...Столкнувшись неожиданно в лесу с тремя фашистами, разведчик Сычихин подходит вплотную к врагам и бросает им под ноги гранату. Когда приходит в себя, видит три трупа, снимает с них автоматы и, выругавшись: «Сволочи!» — убегаёт в лес... Эпизод несложный, а недоуменных вопросов он вызывает предостаточно. Спрашивается, зачем было разведчику подходить вплотную к фашистам, если убойная сила осколков гранаты не менее пяти метров? Трудно поверить и в то, что человек, фактически взрывавший самого себя, не только остался жив, но даже серьезного ранения не получил, отделавшись легкой контузией...

Невероятным выглядит и чудесное — другого слова просто не подберешь — спасение лейтенанта Смирнова. Решив переплыть на островок, Смирнов попадает под оружейный обстрел («Немецкие снаряды все чаще падали поблизости, поднимая белые султаны воды и разбрасывая вокруг мелкие свистящие осколки»), но очень быстро находит выход: «При каждом разрыве Смирнов нырял, спасаясь от смертоносного дождя». Толща воды, конечно, хорошая броня, но для того, чтобы действительно воспользоваться ее защитными свойствами, герою, по логике вещей, надо было либо вообще не показываться на поверхности, либо обладать сверхскоростными реакциями...

Намерения у автора, несомненно, самые благородные: возвеличить подвиг балтийцев. Этим он и руководствуется, оглуляя в своем рассказе противника, ради этого придумывает невероятные, чисто «фольклорные» эпизоды героических подвигов. Но вот беда — читатель, хорошо знающий какой страшной ценой досталась советским балтийцам победа над фашистами, в такие «придумки» просто не верит. Да и как поверить, если автор изо всех сил пытается убедить вас, что война — совсем не трудное и даже не очень опасное дело!

Стоит, например, командиру отдать приказ: «Квадрат 4582, фашистская батарея. Подавить» — и через несколько ми-

нут вражеская батарея намертво замолкает... Или: «Первые же снаряды угодили в гущу катеров, разломив один из них буквально пополам... На дальномере едва успевали считать (!) разбитые катера и баржи». «После первого же залпа катера бросились врассыпную. Когда один из них взлетел в воздух, а второй завертелся на месте, погружаясь в воду...» — и т. д. и т. п.

Неотступное чувство недоверия повествованию усиливается еще и тем, что Ю. Виноградов на каждом шагу допускает фактические неточности и ошибки.

Вот, например, что сказано об устройстве окопа: «Вдвоем они быстро соорудили окоп с ячейками для стрельбы и ходами сообщения». Такой странной фразы никогда не напишет человек, вырвывший в жизни хотя бы один окоп или познакомившийся с уставными положениями на этот счет.

Автор не знает, чем отличается противотанковая мина от противопехотной, он уверен, что раненый сапер, задев при падении головой поставленную в гнездо противотанковую мину, может вызвать взрыв! Ю. Виноградову известна не существующая в природе «мина наступного действия». Ему же принадлежит поистине сенсационное открытие: пробковый спасательный пояс, оказывается, защищает «бойцов от шрапнельного дождя!» Уже ничему не удивляешься, читая, как с дзота (деревянно-земляной огневой точки) слетает «бетонная «шляпа» или как один из персонажей книги умудряется стрелять «из накалившейся докрасна винтовки»...

Литератору, выступающему в жанре военного повествования, не худо было бы знать, что из зарядного отделения торпеды тротил можно только выплавить, что обшивка у торпедных катеров типа «Г-5» не деревянная, а металлическая — из дюралюминия, что ордена Великой Отечественной войны нет — есть орден Отечественной войны и т. д. и т. д.

В книгах о войне — будь они художественные или документальные — в силу специфики самого материала скорее чем где-либо с головой выдает себя всякое поверхностное полужнание. Особенно оно удручает в сценах, где Ю. Виноградов заставлял тяжело раненных героев «возвращаться в строй» — здесь отсутствие элементарных медицинских знаний граничит просто-таки с цинизмом: боец, которому только что оторвало обе ноги, отдает распоряжения и ведет разговоры с то-

варищами; другой раненый, которому пулей прострелило горло, не только умудряется бросать гранаты, но и вступает в спор с сестрой, пытающейся его перевязать; третий, раненный осколком в бедро, продолжает подносить тяжелые снаряды, да еще не по одному, а по три сразу...

Стремление представить всех участников Моонзундской обороны героями в книге Ю. Виноградова странным образом сочетается с принижением нравственной атмосферы легендарных дней. То автор рисует, как в один из самых тяжелых периодов борьбы за «ворота Балтики» краснофлотцы передают едущему в тыл шоферу вместе с письмами и фотографиями некие «ценные вещи» (сцена, прямо сказать, оскорбительная для памяти мужественных балтийцев!), то заставляет героев обильно проливать «скупые мужские слезы»: плачет от раны Варфоломеев, прикрывает ладонью влажные глаза Букоткин, слезы душат Пустынникова, чуть не плачет связной при докладе Ключникову, один из красноармейцев рыдает, как школьник, узнав, что командир не берет его в «гости к немцам». Кок Дубровский готов расплакаться даже при виде разбомбленной цветочной клумбы: он собирался нарвать цветов для тяжело раненного капитана — и вот ни цветов, ни клумбы...

Коль скоро автор историко-документальной книги обращается к перу беллетриста, он обязан серьезно думать о том, что художественный образ, беллетристический прием не есть нечто нейтральное, второстепенное. «Скупая мужская слеза» для Ю. Виноградова — просто некая стандартная «пси-

хологическая деталь», но посмотрите, как она искажает образы героев, разрушает нравственную атмосферу героической обороны!

А как беллетристические банальности больно «бьют» при описании батальных сцен: «Треск и грохот разрывов, свист пуль, шум моторов сливались вместе»... «В бой вступили говорливые пулеметы»... «Пулеметы, захлебываясь, били»... «Вспенилось и закипело море от дробных всплесков»... «Вода вскипала от десятков снарядов»... «Вода кипела... словно в гигантском котле»... «Море точно кипело»...

Невинные на первый взгляд, эти штампы укрепляют наше недоверие к документально-историческому повествованию.

Работы подобного рода принято извинять тем, что, «несмотря на вышеуказанные недостатки», они «содержат немало фактического материала» и выполняют познавательную, воспитательную роль, особенно когда это касается молодого читателя. Мне кажется, нельзя воспитывать молодежь на сентиментальной полуправде, особенно в наше время, когда самый широкий читательский интерес к мемуарной и историко-документальной литературе о войне стал фактом общественного самосознания. В мемуарах, особенно тех, что касаются Великой Отечественной войны, все должно быть правдиво, достоверно, убедительно — все до последней буквы!

Т. ЗУБОВ,
генерал-майор артиллерии,
председатель Таллинской секции Советского комитета ветеранов войны.

★

Политика и наука

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ВОЗРОЖДЕННЫХ НАРОДОВ

Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера. Сборник статей. М. «Наука». 1971. 344 стр.

В. Н. Увачан. Путь народов Севера к социализму. Опыт социалистического строительства на Енисейском Севере (Исторический очерк). М. «Мысль». 1971. 392 стр.

В. А. Зибарев. Большая судьба малых народов. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1972. 117 стр.

«На инородческом нашем Севере тихо тянется процесс угасания...»

«Если вырождение и вымирание остяков будет и впредь идти в той же пропорции, то мы можем рассчитывать, что к половине XX столетия остяк станет таким же редким

явлением, каким во второй половине XIX столетия были аборигены Тасмании, и будет как редкость показываться в музее Гасснера или в зоологическом саду, а к концу XX столетия об остяке будет существовать только предание, подобно тому как существ-

вует предание о птице Додо, жившей еще не так давно на острове Ильдешфранс».

«Народы таежного Севера Енисейской губернии ждет печальная участь: они обречены на гибель, потерю своей национальности, верований, обычаев».

«...Талантливые, смелые коснеют в невежестве, а мы не только их не просвещаем, но разорили, испортили, забили и привели к тому, что они обречены на вымирание».

Эти слова сказаны о народах Крайнего Севера в конце прошлого — начале нынешнего века. Они принадлежат людям, различным по социальному положению: профессору Императорского университета, negociанту, революционному демократу и государственному служащему. Эти слова принадлежат людям с различным мировоззрением. Естественно, что смысловый революционер, профессор, купец и чиновник по-разному относились как к самому явлению, так и к причинам, его породившим. Но они были поразительно единодушны в констатации самого факта. Их заключение о судьбе народов Севера однозначно — вымирание, деградация, в лучшем случае ассимиляция, растворение в другом народе, утрата национальной самобытности. Можно проштудировать горы специальной литературы, просмотреть архивные материалы рубежа нашего столетия, можно поговорить с людьми, еще помнящими эти времена. Старики рассказывают о вещах страшных, а документальные свидетельства звучат подчас как эпитафии.

Народы Крайнего Севера в тех исторических условиях действительно ожидала гибель.

Когда на Западе заходит речь о современных достижениях в деле национального развития малых северных народов в Советском Союзе, там принято говорить о некоем «русском феномене». То, что народы, самый крупный из которых эвенки, насчитывающий около 30 тысяч человек (по переписи 1970 года), а самые малочисленные — энцы, юкагиры, орочи, негидальцы, от 300 до 1000 человек, не только не вымерли, но шагнули далеко вперед в своем развитии, оценивается как явление феноменальное, исключительное.

Однако для объяснения причин этого «феномена» выдвигаются доводы, которые, по существу, сводятся к так называемой «теории этнической совместимости». Суть подобных рассуждений в том, что якобы русские в силу своей крайней отсталости

оказались психологически «совместимыми» с туземцами ойкумены цивилизации.

Как своеобразная иллюстрация этого тезиса приводится пример с американскими алеутами. Бывший воспитанник Мичиганского университета Тед Бенк II опубликовал не так давно книгу «Колыбель ветров» — о коренном населении Алеутских островов и Аляски, — которую он написал, побывав в этих местах. Исследователя потрясло то обстоятельство, что у алеутов русские имена, что они продолжают жить по русским обычаям и сохраняют память о России как о своей истинной родине, связывая с ней свои робкие надежды на лучшее будущее. Все это он наблюдал столетие спустя после присоединения Аляски к Америке.

Некоторые буржуазные социологи, занимающиеся национальными вопросами, такого рода факт объясняют тем, что психологическая модель русских, мол, как нечто среднее весьма привлекательна для отсталых туземцев, зато мало корреспондирует с соответствующей моделью истинных носителей цивилизации — людей Запада.

Но если обратиться к тому периоду в истории России, когда наши первооткрыватели менее чем за столетие освоили огромнейший край — матушку Сибирь и Север американского континента, то и тогда утверждать, что русский землепроходец XVIII века был «более отсталым», нежели какой-нибудь траппер Канады, значило бы извращать факты. Ведь еще А. Герцен отдавал должное тем русским людям, которые «перешли на свой страх и риск океаны льда и снега», и везде, как подчеркивал он, где они оседали «в мерзлых степях, забытых природой, закипала жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это от Перьми до Тихого Океана».

Но хотя с приходом русских в эти края была принесена более высокая цивилизация, их появление не сопровождалось истреблением и гибелью коренных этнических групп. Примечательная особенность нашего народа, которую верно охарактеризовал Пушкин, заметив, что у русских людей нет «ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому», во многом способствовала налаживанию естественных добрососедских отношений поселенцев с аборигенами этих мест.

Однако то, что индейцы Северной Америки были почти поголовно уничтожены, в то время как малые народы Сибири остались

живы, отнюдь не основание считать, что пессимистические суждения о судьбах аборигенов Севера, которые высказывались в дореволюционные годы (они приведены нами в самом начале), были неосновательны. При одинаковом — капиталистическом — строе северные народы России и Америки ожидала, по существу, одинаковая участь.

Обитатели нашего Крайнего Севера тоже погибли бы, не возродили их Октябрь. Ведь секрет «русского феномена», если уж воспользоваться этим понятием, заключается не в какой-то загадочности русского характера, а в особенностях ленинской национальной политики...

Издательство «Наука» выпустило не так давно объемистый сборник, созданный коллективными усилиями группы наших этнографов, работников просвещения и культуры, связанных с Крайним Севером. Все разделы сборника посвящены главной теме — тому, как осуществляется ленинская национальная политика на Крайнем Севере. Шаг за шагом в статьях прослеживается многообразная работа Советского государства по преодолению отсталости малых народов, живущих близ Полярного круга.

Гражданская война, интервенция, белогвардейщина, хозяйственная разруха дали возможность приступить к социальному переустройству на Севере лишь в начале 20-х годов. О том, какое большое внимание молодая Советская республика уделяла отсталым национальным окраинам, говорит хотя бы тот факт, что в 1924 году для этой работы создан был специальный Комитет Севера, куда вошли выдающиеся партийные работники и ученые, такие, как П. Г. Смидович, А. В. Луначарский, Л. Б. Красин, Н. А. Семашко, В. Г. Тан-Богораз, Л. Я. Штернберг и другие.

Этот Комитет подготовил почву для создания собственной государственности у народов Крайнего Севера: Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, Таймырского, Эвенкийского, Корякского и Чукотского национальных округов, ряда национальных районов Якутии, Бурятии, Хабаровского и Приморского краев.

В сборнике рассказывается о некапиталистическом пути развития северных народов, за несколько десятилетий прошедших путь от родовой общины до социализма. Подобный путь пройден был в кратчайшее время благодаря созданию коллективного социалистического хозяйства.

Коренное преобразование жизни народов

Севера потребовало усилий целой армии самоотверженных работников — специалистов различных отраслей, их кропотливого, самоотверженного труда, огромных материальных затрат. Масштабы преобразовательных работ в области быта, культуры, развития экономики народов Севера станут понятны, если сравнить хотя бы несколько фактов. В начале 20-х годов на Севере из числа коренного населения насчитывалось всего несколько десятков грамотных людей. Среди чукчей, нганасан, ямальских ненцев и ряда других народов умеющих читать и писать не было вообще.

Ныне на Крайнем Севере — тысячи школ, осуществлено всеобщее обязательное обучение, в национальных округах созданы педагогические училища, педагогические институты, подготовлены национальные кадры преподавателей, есть свои ученые, работники всех областей хозяйств и культуры...

До социалистических преобразований в Заполярье смертность в ряде мест преобладала над рождаемостью. Были районы, население которых почти поголовно болело туберкулезом, трахомой, оспой. На каждого медицинского работника приходилось там по 1200—1500 человек, разбросанных по огромной территории. В наше время с большинством из этих заболеваний покончено. Медицинская служба имеется в каждом поселке, в оленеводческих и охотничьих бригадах.

За годы Советской власти у народов Севера появилась своя письменность, возникли новые жанры художественного творчества. Искусство народов Севера стало достоянием не только советских людей, но и народов других стран. Кому не известны в наше время прекрасные творения чукотско-эскимосских резчиков по кости, замечательные произведения писателей Юрия Рытхэу — чукчи, манси Ювана Шесталова, нивха Владимира Санги, юкагира Семена Курилова?

Каждый элемент бытия, культуры северных народов как бы родился заново. Много изменилось. Но Север остался Севером с его неповторимым лицом, с его национальным своеобразием.

Диалектическая сущность национального социалистического строительства, когда экономика и культура достигают современного передового уровня, сохраняя в то же время свою специфику, чрезвычайно ярко выступает в книге В. Н. Увачана «Путь народов Севера к социализму». Василий Николаевич Увачан — эвенк. Его книга не автобиогра-

фия. Это научное историческое повествование о народах Таймыра и Эвенкии. Однако то, что автор видит историю из глубины, «из нутра» своего народа, а не как посторонний наблюдатель, делает его рассказ, его заключения особенно убедительными, позволяя схватить процесс национального развития во всем многообразии.

Жизнь самого Увачана — выразительная иллюстрация достижений не только маленького таежного народа — эвенков, но и всех народов нашего Севера. Василий Увачан родился в знаменательный 1917 год в далеком Катангском районе, в краю тайги, на земле охотников-тунгусов. Первые учителя его — тайга и начальная школа. В 1935 году способного эвенкийского парня направляют в Ленинград, в техникум при Институте народов Севера. Позже В. Увачан учился в Плановом институте, в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), а затем вернулся в родную Эвенкию. Он работал секретарем Эвенкийского окружкома КПСС, потом его снова пригласили в Москву, на этот раз в Академию общественных наук при ЦК КПСС, где он защитил кандидатскую диссертацию. Потомок «дикого тунгуса» стал преподавателем высшего учебного заведения...

В настоящее время Владимир Николаевич Увачан — первый секретарь Эвенкийского окружкома партии, он представляет свой народ в Верховном Совете СССР. Кроме того, Увачан — член Ревизионной комиссии КПСС. Видный государственный и партийный деятель, доктор исторических наук В. Увачан занимается научной и научно-

общественной работой, являясь постоянным членом комиссии Академии наук СССР по проблемам национальных отношений, членом Советского комитета солидарности стран Азии и Африки...

Биография В. Увачана не кажется в этом отношении чем-то особенным, чему нет аналогий. Его судьбу можно определить названием книги В. А. Зибарева — «большая судьба малых народов». Изданная к пятидесятилетию образования Союза Советских Социалистических Республик, книга эта в сжатой форме рисует исторический путь народов Севера, добавляя отдельные штрихи к портрету современных саамов, ненцев, энцев, нганасан, селькупов, хантов, манси, кетов, долган, эвенков, эвенов, нанайцев, ульчей, орочей, ороков, негидальцев, нивхов, юкагиров, тофаларов, удэгейцев, чукчей, коряков, чуванцев, ительменов, эскимосов, алеутов...

Путь двадцати шести северных народов, возрожденных великим Октябрем, — убедительное свидетельство правильности ленинской национальной политики. И сейчас, когда многонациональное Советское государство отмечает пятидесятилетие своего социалистического союза, пророчески звучат слова В. И. Ленина: «Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч и миллионов людей будет иметь практическое значение отношение Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, донныне угнетавшимся народам».

Ю. СИМЧЕНКО.

★

СВЕЖИЙ ПОДХОД К ЗНАКОМЫМ ПРОБЛЕМАМ

Ричард Косолапов. Ни тени утопии. Социализм: вопросы теории. «Молодая гвардия». 1971. 144 стр.

Рецензируемая книга вышла под рубрикой «Университет молодого марксиста». Если судить по работе доктора философских наук Р. Косолапова, издательство задумало предложить нашей молодежи серию книг, которые отличались бы от обычных учебников свежестью анализа, исследованием, а не просто изложением наиболее острых и актуальных социально-экономических проблем, выявлением не одного лишь содержания концепций, но и хода рассуждений классиков марксизма. Это интересная и плодотворная инициатива. Работы такого типа

будят мысль, зовут к творческому овладению теорией, а не к механическому восприятию готовых выводов и умозаключений.

Думается, книга «Ни тени утопии» привлечет внимание не только молодежи, но и исследователей современного общества, особенно философов и экономистов. Автор поставил перед собой нелегкую задачу — показать генезис и сущность социализма во всех их многообразных проявлениях и формах. В книге раскрыто, какие внутренние экономические и политические условия

необходимы для победы нового общественного строя, выясняются различные этапы его поступательного исторического развития, широко проанализирован опыт Октябрьской революции и его применение в социалистических странах, убедительно прослеживается неразрывное единство теории и практики социализма. В краткой рецензии нет возможности разобрать все стороны этой проблематики книги. Коснемся лишь двух.

Первый вопрос — о взаимосвязи современных социальных преобразований и международных отношений. Автор пишет: «Ни один общественный строй не обязан своим происхождением международным отношениям в такой мере, как социализм. И вместе с тем никакой другой строй не производил в международных отношениях таких радикальных перемен» (стр. 12). Эта емкая формула схватывает самые различные, даже противоположные ситуации, дающие, однако, общие результаты. Победу Великой Октябрьской революции в России облегчили глубочайшее потрясение и распад международных империалистических связей, вызванный первой мировой войной. Гигантское противостояние, но уже совсем другого рода, в корне подорвавшее господство империализма на международной арене, предшествовало и появлению новых социалистических государств, сплотившихся впоследствии в мировую систему социализма. С другой стороны, переход ряда стран Азии и Африки на путь некапиталистического развития стал возможным потому, что само существование сложившейся к тому времени мировой системы социализма, опирающейся прежде всего на военно-политическую мощь Советского Союза, почти всегда удерживало империалистические державы от интервенции и войны. В этом случае роль положительного фактора играла боязнь последствий катастрофического кризиса в международных отношениях, который мог быть вызван безрассудной военно-экспансионистской политикой империализма.

Но Р. Косолапов видит в международных отношениях не только внешнюю среду демократических и социалистических революций. Он анализирует и обратное воздействие социальных преобразований на международные отношения. «Революционные возможности национальных отрядов рабочего класса, крестьянства, средних слоев, интеллигенции. национально-демократических

сил, содержание, объем и темпы социальных преобразований,— пишет он,— в той или иной стране стали величинами и н т е р н а ц и о н а л ь н ы м и. Это означает, что любой революционный успех любого народа сразу же вызывает интернациональный резонанс. потрясает систему как внутренних, так и международных связей, а революционные потенции отдельных стран необходимо сливаются с революционными потенциями других народов, умножаются силой и примером мировой системы социализма» (стр. 14). Рассуждая таким образом, автор приходит к мысли о необходимости всестороннего анализа социальных феноменов, основанного «на учете возможной интеграции общественных отношений внутри страны с международными отношениями, в которых эта страна реально участвует» (стр. 18). Этот подход представляется естественным развитием известных положений о политике как концентрированном выражении экономики, о неразрывной связи внутреннего и внешнеполитического курса, выдвинутых В. И. Лениным в результате обобщения практики Октябрьской революции и опыта первых лет социалистического строительства.

Уделяя много внимания именно экономической стороне марксизма, Р. Косолапов строит свои умозаключения следующим образом. Современное развитие крупного промышленного производства приводит к тому, что завершается процесс технологического и организационного обобществления индустриального труда. Тем самым демонстрируется ненужность буржуазии для общества. Но то же развитие производства «ведет к росту численности и повышению квалификации рабочего класса, к включению в его состав все новых групп работников как физического, так и умственного труда» (стр. 44). Естественно, что в этих условиях именно на рабочий класс ложится обязанность организации производства и всей общественной жизни. Эти рассуждения логически объясняют те существенные изменения, которые происходят внутри современной системы международных отношений благодаря укреплению социалистических государств, возглавляемых революционным рабочим классом. Главные из этих глобальных изменений — постоянный подрыв отношений господства и подчинения, энергичное вытеснение, по выражению автора, эксплуатации из международных от-

ношений. Система эта оказывается, таким образом, не косной, окостенелой структурой, а динамическим комплексом. Такое представление и должно быть исходным для всякого подлинно научного прогнозирования международных отношений.

Второй аспект книги, привлекающий внимание, сам Р. Косолапов характеризует как «вопрос о единой сущности социализма и неизбежной многовариантности его становления» (стр. 72). Автор исходит из того, что в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, в документах международного коммунистического движения представлена «единственная научная модель социализма» (стр. 129), если так можно выразиться, его «идеальный тип». Такая модель представляет собой, по мысли автора, «завершенный, цельный общественный строй, полностью раскрывший свои возможности и уже находящийся в преддверии коммунизма... Это,— заключает Р. Косолапов,— пока что наша цель» (стр. 129—130). Иначе говоря, модель социализма — как бы типовой архитектурный проект, выражающий глубинные объективные тенденции общественно-го развития, воплотивший в себе наиболее существенные черты марксистско-ленинской теории социалистического общества. Этот проект может быть переведен в различные строительные материалы и поэтому будет менять свой облик в зависимости от объективных обстоятельств строительства. Внутренняя планировка и отделка здания не детализированы проектом, который носит основополагающий характер, и поэтому тоже осуществляются по-разному, хотя и ведут в основном к единым результатам.

Автор констатирует развитие взглядов классиков марксизма по отдельным проблемам строительства социализма, объясняет некоторые различия в документах, принятых компартиями разных стран. Но он считает, что эти различия никак не сказываются на генеральном проекте, не затрагивают его неизменного единства. Полемический задор автора особенно проявляется в споре с инакомыслящими в этой связи. «Конкретные ступени перехода к социализму эти люди принимают за самый социализм», — пишет Р. Косолапов, усматривая здесь методологическую ошибку, заключающуюся в смешении общетеоретического уровня рассмотрения нового общества с конкретно-эмпирическим подходом к нему (стр. 140). Иными словами, автор рассматривает строи-

тельство социализма прежде всего как процесс, делая упор на постоянное, непрерывное развитие различных социалистических стран, предоставляющих разные формы становящегося, развивающегося социализма (см. стр. 130). «Однако отсюда еще не следует,— поясняет и уточняет свою позицию автор,— что надо отказаться от вычленения и изучения различных структурных типов становящегося социализма» (стр. 131). Анализ Р. Косолаповым этих типов поучителен и интересен. Он весьма уместно призывает к более внимательному исследованию ступеней развития обществ социалистической ориентации и дает свою, как представляется, оригинальную типологию этих обществ.

Много внимания уделяет автор перспективам развития освободившихся государств. Он выявляет сходство и глубокие различия между традиционными, докапиталистическими структурами современных развивающихся обществ и Россией XIX века. Автор прослеживает связь этих структур с изменениями международной обстановки, обнаруживает их революционные возможности — обнаруживает там, где менее наблюдательный исследователь ограничился бы пренебрежительными высказываниями о «пережитках средневековья».

Но здесь-то и выявляются отдельные недочеты книги, которые порождены излишней схематизацией истории и недостаточной доказательностью некоторых выводов. Однако эти недостатки не снижают общего высокого уровня книги.

Автор дает меткие и точные характеристики политики современных, модернизированных вариантов деспотических восточных обществ. «Речь идет,— пишет, например, Р. Косолапов,— о подчинении всей системы государственного... учета и контроля созданию мощного военно-технического, ракетно-ядерного потенциала, об использовании формы общественного присвоения для всасывания «флюсом» военной экономики все новых средств, об ограничении сферы действия основного экономического закона социализма ради удовлетворения искусственно раздутых, якобы общественных, а на деле военно-кастовых нужд» (стр. 59). В этом случае возникает «яркий образец несоответствия исторического с логическим. Общественная собственность... оказалась в прозябающем состоянии, лишенной возможности проявить свои высокие социальные, свои гуманные свойства» (стр. 61).

Из сказанного в рецензии видно, что автор, предпринимая анализ некоторых проблем социализма, сделал это оригинально. Пафос автора книги, как видно из предисловия к ней, определялся естественным чувством протеста против таких ситуаций, «когда неправильно сформулированное кем-либо из пропагандистов положение диалектического материализма, политической экономики или научного коммунизма начинало играть роль предрассудка». «Молодежи жизненно необходимо,—подчеркивает он,—марксистско-ленинское мировоззрение, а не выдаваемые иногда за него упрощенные суждения» (стр. 6). Нестандартность книги, свежесть и острота ее анализа отразились, между прочим, и на стиле автора, подчас неровном и взъерошенном, кото-

рый, однако, привлекает именно своей естественностью.

В конце своей работы Р. Косолапов, обращаясь к читателю, как бы извиняется перед ним за совершенный «томительный переход по барханам умозаключений» (стр. 131). Извиняться нет оснований — путешествие оказалось увлекательным прежде всего для тех читателей, которые по складу своего ума и специфике деятельности способны ощущать своеобразную прелесть «сухих песков» чистой теории. Остается лишь пожелать, чтобы предложенный автором, по слову Фейхтвангера, «тяжкий путь познания» чаще пересекался зелеными оазисами конкретно-исторических событий.

Е. АМБАРЦУМОВ.

★

МНОГОПЛАНОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А. М. Миркинд. Под знаменем Коммуны. Германская социал-демократия — против реакции и милитаризма. 1871—1875 годы. Кишинев. 1971. 280 стр.

Отправным пунктом своего исследования истории германской социал-демократии первой половины 70-х годов минувшего века кишиневский историк А. М. Миркинд взял события, связанные с Парижской коммуной. Намерение вполне оправданное по целому ряду обстоятельств. Коммуна явилась событием не только национального, но в не меньшей мере и интернационального значения. Вся официальная Европа была обеспокоена, как бы пожар революции не распространился на соседние страны. А международный пролетариат во главе с Первым Интернационалом проявил глубокую солидарность с делом парижских коммунаров.

Для германского социалистического рабочего движения Парижская коммуна имела особое значение. И не только потому, что оно активнее других откликнулось на борьбу парижских пролетариев. Его внутренний враг — прусский милитаризм и капитулировавшая перед прусской короной либеральная буржуазия выступили вместе с французским «правительством национальной измены» душителями Коммуны. Для немецкого пролетариата в это время речь шла и о жизненно важной проблеме — национальном объединении страны на демократической основе, за которое он боролся против сил юнкерско-буржуазного милитаризма,

национализма и шовинизма. Кроме того, в силу ряда исторических обстоятельств немецкий рабочий класс после поражения Коммуны оказался в авангарде международного социалистического движения.

Время было сложным, трудным, крайне противоречивым. Европа вступала в новую эпоху развития, основные тенденции которого для современников еще не обозначились достаточно ясно. Перед возникшей всего лишь за два года до описываемых событий молодой социал-демократической рабочей партией стоял опытный и сильный противник. Она же только вступала в решающую полосу своего формирования на марксистской основе. Ей предстояло объединить расколотый рабочий класс внутри страны, выработать демократическую и социалистическую альтернативу антинациональному курсу созданной О. Бисмарком Второй империи, равнявшейся к господству в Европе.

Именно таков период, в который вводит читателя автор исследования. А. Миркинд дает широкое историческое полотно Германии начала 70-х годов прошлого века. Некоторые события и факты, подчас впервые освещаемые в литературе (автор много работал в различных архивах, нашел малоизвестные документы), помогают лучше по-

нять сложные процессы современной борьбы в ФРГ, увидеть преемственность революционных традиций социалистов, наследники которых в Германской Демократической Республике строят социалистическое общество.

В монографии показано, как воспринимался и осваивался опыт Коммуны вождями и организованными массами германского пролетариата. Соглашаясь с автором в главном, то есть в том, что германская социал-демократия была близка к пониманию Парижской коммуны как власти рабочего класса, нельзя не обратить внимание на то, что Марксова идея диктатуры пролетариата ни вождями, ни теоретиками партии до конца понята не была.

А. Миркинд приводит интересные данные о распространении идей и трудов К. Маркса и Ф. Энгельса в Германии, указывает на роль личных контактов основоположников научного коммунизма с руководителями СДРП. Это тем более существенно, что одним их ходячих утверждений современной буржуазной и правосоциалистической историографии является тезис о том, будто марксизм — случайное явление в немецком рабочем движении. Автор в курсе современной научной литературы по этому вопросу, как марксистской, так и немарксистской. Он ведет убедительную полемику с буржуазными историками, извращающими и фальсифицирующими ряд проблем германского рабочего движения.

Одним из исторических прецедентов, положившим начало такой важной форме классовой борьбы пролетариата, как использование буржуазного парламентаризма в интересах рабочих и их союзников, была выработка Германской социал-демократической партией и ее вождями А. Бебелем, В. Либкнехтом, В. Бракке революционной парламентской тактики. В монографии показано самое начало этого многотрудного процесса, происходившего в жарких схватках, когда реакционное юнкерско-буржуазное большинство германского рейхстага не

один раз посрамлялось выдающимся оратором А. Бебелем. Весьма важно и указание автора книги на то, что СДРП вместе с тем была далека от парламентских иллюзий, понимая, что путь рабочего класса к власти лежит не через парламент, ибо власть эта может быть завоевана лишь в открытой массовой борьбе с господствующими классами.

Многие страницы книги посвящены анализу того, как германская социал-демократия выступала против прусского милитаризма «интервенционистской» бисмарковской внешней политики. Освещая эти вопросы, автор привлекает интересный, разнообразный материал. Более понятными становятся нам истоки агрессивности преступного германского милитаризма, дважды свергнувшего человечество в истребительные мировые войны.

Историк показывает, как закладывались основы революционной программы и антивоенной тактики германской социал-демократии.

Исследование А. Миркинда — многоплановое. В нем затрагивается ряд других важных вопросов политической борьбы, исторического развития Германии и германского рабочего движения. Однако сосредоточивая внимание на политической истории, автор недостаточно полно освещает некоторые теоретические моменты, в частности при анализе борьбы двух основных партий в рабочем движении — эйзенахцев и лассальянцев. Не показано в книге и объединение двух названных партий, логически завершившее целый период, хотя предпосылки этого автором рассмотрены, а исторический урок такого объединения актуален и сегодня.

В целом же читателю предлагается интересная работа, которая хотя и исследует материалы и события давно прошедших лет, но звучит вполне современно.

Н. ОВЧАРЕНКО,
доктор исторических наук,
профессор.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Ю. БЕЛОСТОЦКИЙ. Небо хранит тайну. Повести и рассказы. Казань. Татарское книжное издательство. 1972. 208 стр.

Книга эта, если говорить словами А. Твардовского, о «на войне живущих людях». Автор пишет о военных летчиках. Легко догадаться, что сам он бывший летчик. Он знает о своих героях множество вещей, которые обязательно ускользнули бы от постороннего наблюдателя. Достоверность здесь профессиональная и бытовая. Тут и особенности отношений в экипаже бомбардировщика, и наивное гусарство на земле, мода на плетеную кобуру для пистолета — «босоножку», разговоры в землянке, напоминающие морскую «травлю», выпивка как мера мужественности на земле и мужество истинное и ложное в воздухе.

Командир бомбардировщика Доронин из повести, которая дала название книге, по всем признакам, храбрый человек. Он уже сделал столько боевых вылетов, что недаром стрелок, летающий с ним, говорит: «Чужой век заедаем». Командование охотно посылает Доронина на сложные задания. Он летит и делает свое дело. И только в самом экипаже у Доронина не все благополучно. Доронин не только храбрый, но и жестокий человек. Разумеется, среди всех он держится как все. Охотно пьет, слушает «травлю», играет в карты, дает советы, дарит кобуру от пистолета и т. д. Во время опасности ведет себя храбро и разумно. Но в минуту крайней опасности — крайней, но, в общем, предусмотренной, потому что вся работа бомбардировщика состоит в том, чтобы постоянно находиться в опасности и избегать гибели, — он легко пренебрегает профессиональными правилами, профессиональной нравственностью, честью. И это даже нельзя назвать трусостью, то есть обычной биологической трусостью, потому что Доронин, несомненно, тип биологически смелого человека. Но не воспитанная, не облагороженная нравственностью смелость в иных обстоятельствах может обернуться жестокостью или даже предательством. «Или ты, или тебя» — это то, как Доронин понимает не только войну, но и всю жизнь. Это уровень его нравственности.

По вине Доронина гибнет один штурман, потом второй, но сам Доронин выпутывается из трудных обстоятельств, выглядит героем. Никто не может с полной достоверностью восстановить то, что происходило в кабине горящего самолета, никто не может

знать, что в минуту крайней опасности Доронин поступил как капитан, первым покинувший тонущий, но еще нуждающийся в управлении корабль. Война — дело жестокое. И нет ничего удивительного в том, что кто-то погиб, а кто-то уцелел. Кое у кого из тех, кто хорошо знает Доронина, конечно, появляются сомнения, появляются и доказательства. Но война, живущая сегодняшними заботами, не дает этим доказательствам укрепиться. «Небо хранит тайну» — название не очень точное: небо, воздух по самой природе своей ничего не «хранит». Автор не может согласиться с тем, что тайное останется тайным. Нравственное беспокойство ведет его. Мы разделяем эту тревогу, это живое беспокойство совести.

Рассказы, вошедшие в книжку, также привлекают достоверностью. Невыдуманные детали — главная сила автора. Так увидеть, как видит автор, идущего в атаку «мессершмитта» можно только из кабины самолета, который этого «мессершмитта» готовится сбить. Надо много летать, долго жить на аэродроме в ожидании очередного вылета, ждать товарищей, которые могут не вернуться, чтобы по-настоящему почувствовать психологию военных летчиков и так уверенно о них написать.

Однако рассказы значительно слабее повести. Странно легковесны сюжеты некоторых из них: «Из огня да в полымя», «Чертova дюжина», «Короткая спичка». Эти сюжеты будто бы перешли в рассказы из легчицких «розыгрышей».

Ю. Белостоцкий словно еще не поверил в свою силу серьезного рассказчика, старается пошутить поострее и тон взять самый бодрый. Между тем самая лучшая его вещь — повесть «Небо хранит тайну» — написана серьезным тоном.

В. Семян.

Ростов-на-Дону.

★

Б. ЯМПОЛЬСКИЙ. Волшебный фонарь. М. «Советский писатель». 1971. 304 стр.

Когда, едва развернув книгу, узнаешь из издательской аннотации, что тебя ждет романтическая история первой любви («...исповедь» молодого человека нашего времени, взволнованный лирический монолог), не сколько циклов своеобразных миниатюр, а также еще новеллы, жанровые зарисовки,

юморески о детях, о природе, животных, то невольно настораживаешься: не слишком ли щедры посулы? Но «Волшебный фонарь» прочитан — и ты убеждаешься: так оно и есть — и романтика, и исповедь, и добрый юмор.

Героем повести, рассказов, «безгеройных» миниатюр и зарисовок фактически выступает одно лицо (когда речь идет о поэзии, в подобных случаях говорят — лирический герой). Благодаря прежде всего ему, естественно, с живым интересом переходишь от курортной истории кутилы Вовы, который во внесанаторной жизни, оказывается, служит попом («Видишь ли, у нас еще много верующих, и нельзя доверять их воспитание случайным людям»), к «Отелю «Коломбия», где перед тобой течет мозаичная туристская толпа, то оскудевая, то полнясь, а весь вечер в центре ее — голенастая девчурка с опухшим личиком, генуэзская Кабирия...

Способность наблюдать, влезая в чужую шкуру, принимая на себя все, что этой шкуре перепадает, делает многие страницы впрямь шемяще-исповедальными — даже тогда, когда вспоминается не первая любовь, а «рабочие» сюжеты из времен первой пятилетки, редакционный барак газеты «Металлург» (прежде называлась «Гигант», а еще раньше «Топор»)... Он неуемно наблюдателен, этот «лирический герой», бурно впечатлителен, и привычная фраза его «жизнь полна событий» приобретает особый смысл. Событие — не только свершение, событие — и мимолетная встреча на улице, в метро. Это — дар воспринимать каждого человека как событие, угадывая, что таится под деликатным педантизмом Валентина Валентиновича («Эюзин»), во власти какой нерушимой канцелярщины пребывает трогательная пара, прогуливающаяся по морскому берегу («На курорте»). Даже когда объект наблюдения отнюдь не вызывает радости, мы чувствуем, ради чего схвачена деталь, реплика, чувствуем постоянные поиски достойной жизни, неудовлетворенность, неисчерпаемость потрясения. «С ума можно сойти, если собрать все то, что случилось с тобой за жизнь. И все-таки она прекрасна. Вот что непонятно». И если глаза, память способны годами сохранять увиденное, то извлечь конечную мудрость труднее: очень уж быстро, невозвратно все проходит. В парадоксальные перечисления, с помощью которых писатель старается передать пестроту жизни, все чаще влетают трагикомические, а то и вовсе трагические нотки.

Интерес Б. Ямпольского к природе, животным не случаен, не дань моде. Жизнь «меньших братьев» значительна сама по себе. И если так ее воспринимать, автор, именующий себя «соглядатаем человеческого», по праву может написать о барбосе: «...он... долго глядел мне вслед — друг мой, брат мой» («Троицкое»). Однако замечу походя: в оправданном стремлении разглядеть в каждом живом существе характер, личность вовсе не обязательно столь настойчиво и прямо, как в рассказах цикла «Слоны и фазаны», очеловечивать зверя, переводить на элементарно человеческий язык поведение животного

Собственно, тут происходит примерно то же, что и в наименее удачных рассказах о людях. Ключ, пригодный в определенном случае, применяется как универсальный. Тон, оправданный в одних обстоятельствах, в других может отдавать экзальтацией. И есть ли вообще всегда необходимость в итоговой морали, эмоциональном всплеске, восклицательном знаке? Особенно тогда, когда речь идет, скажем, о пылинке (рассказ так и называется — «Пылинка»). Можно было бы упрекнуть Б. Ямпольского и в очевидной фельетонности иных зарисовок. Но такого рода издержек немного и делать на них упор в отзыве на отрадно талантливую книгу даже как-то неуместно.

В. Кардин.

★

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ. На темной ели звонкая свирель. Хроника, состоящая из трех частей. М. «Детская литература». 1971. 288 стр.

Поэт, известный своими стихами, переводами с белорусского, выступил с книгой прозы. Сам он назвал ее хроникой. Однако эта хроника не совсем обычна.

С чего начинается ощущение необычности — не подчеркнутой, не сразу обращающей на себя внимание, а, если так можно сказать, скромной необычности?

«Действующие лица» повести Якова Хелемского — памятные места: толстовская Ясная Поляна, лермонтовские Тарханы, тургеневское Спасское-Лутовиново, тютчевский Овстуг и, наконец, Пушкинские Горы.

Так что же, путешествие по мемориальным местам? Лирический путеводитель? Да, и путеводитель, но только ведет нас по мемориальным путям не гид. Хроника Великой Отечественной войны, хроника газетно-журналистской работы автора-рассказчика, хроника давних лет (биографий Толстого, Тургенева, Тютчева, Пушкина, их жизни, их встречи с родными местами) — вот какой разно- и многовременной оказывается эта хроникальная повесть.

Осенью сорок первого автор, сотрудник газеты «На разгром врага», попадает в Ясную Поляну. Самое ценное — личные вещи Толстого, архив — эвакуировано, отправлено в глубокий тыл. Василий Гроссман, ставший свидетелем эвакуации музея, записал во фронтовом дневнике — это приведено в повести: «...Я почувствовал совсем по-иному, что это не музей, а живой дом, что горе, вьюга, распахнувшая все двери в России, выгоняющая людей из обжитых домов на черные осенние дороги, судьба, не щадящая ни мирной городской квартиры, ни деревенской избы, ни заброшенного лесного хуторка, что судьба эта не помиловала и дом Толстого...»

И вот он стоит, опустевший, но бесценный, — дом, усадьба, притихший лес, дороги, исхоженные Толстым... И приближаются не обычные посетители, не туристы — надвигается армия захватчиков.

Я. Хелемский рассказывает о музее, превращенном фашистами в лазарет. О яснополянцах — трогательных защитниках каж-

дой толстовской вещи. Об их тайных соображениях в день смерти писателя у его могилы. О том, как немцы пытались спалить музей перед отступлением, как, выстроившись цепью, передавали яснополянцы ведра с водой из рук в руки.

Автор говорит о том, что видел сам. А то, чего не видел, бережно, осторожно, боясь каких бы то ни было зряшных общих фраз и прикрас, воссоздает по рассказам, свидетельствам участников и очевидцев.

«На темной ели звонкая свирель» — точная, достоверная, очень памятливая книга. Конечно, автор широко использовал свои фронтовые дневники и блокноты. Но не в этом только дело. Есть «память сердца», у нее своя лирическая стенография. Эта память поддерживается любовью к предмету. Это не только умение не забыть, но и желание помнить.

В последней части книги действие происходит в Пушкинских Горах. Вернее, на близких подступах к ним. Мы как бы продвигаемся вместе с нашей наступающей армией и все ближе подходим к парку Григорского, к Михайловскому, к реке Сороть. Кажется, сам Пушкин торопит, по-новому звучат его слова:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней...

И здесь — личные воспоминания автора, беседы с теми, кто пережил оккупацию, выдержки из дневников, писем, отзывы первых посетителей возрожденного музея, беседы о Пушкине приехавших из Москвы профессоров Д. Д. Благого и Н. К. Гудзия.

Снова обращаешь внимание на то, как естественно связан весь этот разнохарактерный материал в единое повествование, непритязательное, скромное, но от этого не теряющее своей увлекательности.

Такова эта хроника — жанр, где счастье соединились опыт газетчика, прошедшего дорогами войны, и «память сердца» человека, идущего путем поэтическим.

Т. Смолянская.

★

Ф. СВЕТОВ. Нравственный фундамент (Заметки критика). М. «Детская литература». 1971. 104 стр.

В своей книге Ф. Светов рассматривает чрезвычайно важную проблему этики — нравственное становление. «Воссоздание» в человеке нравственных качеств, считает автор, происходит не только в результате воспитания, но и под воздействием всего приобретенного жизненного опыта, который бессознательно усваивается еще в детстве. Становление — это начало личности. В основе ее формирования лежит некий первичный познавательный акт, отсутствие которого обычно вносит в процесс нравственного, духовного, гражданского возмужания человека «перегрузку» и отклонения. Таким

образом, Ф. Светов ведет речь об истоках, о корнях, о почве, на которой произрастает личность.

Проблема формирования личности, к тому же личности нравственно активной, столь сложна, что требует и сложного к ней подхода. Здесь неуместно упрощение. С какой легкостью подчас публицисты берутся за эту ответственную тему, в работах, посвященных нравственным проблемам, подменяя анализ не проверенными жизнью априорными схемами. В нашем случае литературный критик поступает иначе. Он ничего не решает «в лоб». Значительную часть книги Ф. Светова занимают размышления над самими понятиями «нравственность», «нравственное начало», автор как бы заново вдумывается в их смысл, еще раз постигает их природу.

«Первотолчки», пробуждающие в ребенке задатки гуманиста, — это ранние впечатления детства, самые острые, самые уязвляющие, те, которые ребенок выносит из семьи, из общения со взрослыми, из среды сверстников. Для своего анализа критик берет поучительный материал: прекрасные книги Герцена, Толстого, Короленко, Кропоткина, Горького. Ему (да и читателю тоже) важны в этих книгах наглядность становления личности, примеры кристаллизации душевного мира человека. Подробные наблюдения Ф. Светова объединяет одно общее — у ребенка жизнь неизбежно обогащается «пониманием сердцем», переходит в нравственную оценку действительности. Наблюдение, в общем, не новое, но оно подкрепляется серьезной мыслью: сердечный порыв как «понимание сердцем» закладывает тот единственно надежный фундамент, на котором покоятся бесценные человеческие качества: доброта, правдолюбие, совесть, демократизм.

Ребенок растет, и наступает время книги. Ф. Светов вторую половину своей работы посвятил содержательности детского чтения, умению обнаруживать в книге те священные свойства, которые стимулируют в ребенке стремление к истинным ценностям, духовным и нравственным. Герои любимых книг воспринимаются детьми порой не менее остро, чем реальные люди. Ф. Светов исподволь, как и поначалу, когда имел дело с «материалом жизни», подводит нас к раскрытию существеннейшего в еще раз перечитанных им книгах — к их нравственной основе. Он раскрывает полный свет мир, который в юном читателе вслед за переживанием пробуждает чувство прикосновения к основам основ бытия.

В книге Ф. Светова есть еще одна привлекательная сторона: она акцентирует безмерное значение для детского воспитания произведений гуманных, духовно насыщенных — вопреки скороспелым и легковесным книгам-наставлениям, книгам-иллюстрациям.

А. Кузнецов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. 144 стр. Цена 17 к.

В. И. Ленин. О значении воинствующего материализма. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее условия). 46 стр. Цена 5 к.

Ю. Бернов и А. Манусевич. Ленин в Кракове. 239 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Ветров. Волонтеры свободы. Воспоминания участника национально-революционной войны в Испании. 216 стр. Цена 50 к.

И. Герасимов. Научное исследование (Над чем работают, о чем спорят философы). 280 стр. Цена 28 к.

Фидель Кастро. Сила революции — в единстве. Речи, выступления, интервью во время визита в Чили. 10 ноября — 4 декабря 1971 г. 424 стр. Цена 75 к.

Под огненным стягом. Воспоминания участников гражданской войны. 416 стр. Цена 97 к.

В. Шапо. Союзу полвена. К 50-летию образования СССР. 120 стр. Цена 16 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Абрамов. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. Проблематика. Стиль. Поэтика. 672 стр. Цена 1 р. 70 к.

С. Арутунян. Солнце и море. Стихи. Перевод с армянского Г. Регистана. 110 стр. Цена 33 к.

С. Баруздин. Я люблю нашу улицу. Рассказы и повести. 414 стр. Цена 73 к.

М. Бендрупе. Голос немолкнувший. Стихи. Перевод с латышского. 136 стр. Цена 38 к.

И. Виноградов. Вопросы марксистской поэтики. Избранные работы. 423 стр. Цена 1 р. 21 к.

С. Воронин. Дом на бугре. Повести и рассказы. 239 стр. Цена 47 к.

С. Георгиевская. Любовь и кибернетика. Повести. 302 стр. Цена 50 к.

А. Еринеев. Раздумья. Стихотворения. Перевод с татарского. 168 стр. Цена 36 к.

Н. Задорнов. Цунами. Исторический роман. 375 стр. Цена 77 к.

С. Занка. О романе А. Фадеева «Последний из удег». История создания, авторская концепция, стиль. 247 стр. Цена 83 к.

А. Западов. В глубине строки. О мастерстве читателя. 279 стр. Цена 80 к.

М. Ибрагимов. Первانه. Перевод с азербайджанского В. Василевского. 495 стр. Цена 1 р. 21 к.

В. Лифшиц. Потехе час. Пародии, эпиграммы и шутки. 152 стр. Цена 39 к.

Ю. Рытхэу. В долине Маленьких Зайчиков. Роман.— Вэкэт и Агнес. Повесть. 472 стр. Цена 86 к.

Г. Тютюник. Тысячелистник. Рассказы. Перевод с украинского Н. Дангуловой. 216 стр. Цена 36 к.

Е. Шаарц. Пьесы. Предисловие О. Цимбада. 654 стр. Цена 1 р. 82 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Бальзан. Евгения Гранде. Роман. Перевод с французского Ю. Верховского. Вступительная статья С. Артамонова. 207 стр. Цена 32 к.

А. Блон. Стихотворения. Поэмы. Театр. В 2-х тт. Вступительная статья В. Орлова. Т. 1. 1898—1907. 559 стр. Цена 1 р. 1 к. Т. 2. 1908—1921. 464 стр. Цена 86 к.

Н. Гоголь. Ревизор. Комедия в 5-ти действиях. Вступительная статья Ю. Манна. 111 стр. Цена 16 к.

В. Казин. Избранное. Стихотворения и поэмы. Вступительное слово С. Васильева. 288 стр. Цена 1 р. 46 к.

М. Лермонтов. Герой нашего времени. Вступительная статья И. Виноградова. 174 стр. Цена 26 к.

М. Лермонтов. Стихотворения. — Поэмы. — Маскарад. Вступительная статья И. Андроникова. 383 стр. Цена 77 к.

Д. Лондон. Мартин Иден. Роман. — Рассказы. Перевод с английского. Вступительная статья и составление Р. Самарина. («Библиотека всемирной литературы») 543 стр. Цена 1 р. 54 к.

А. Ойслендер. Избранное. Предисловие Е. Исаева. 271 стр. Цена 1 р. 22 к.

И. Соколов-Микитов. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Повести, рассказы и сказки. 623 стр. Цена 1 р. 21 к. Т. 2. Путешествия. Рассказы охотника. Воспоминания. 598 стр. Цена 1 р. 15 к.

Стендаль. Ванина Ванини. Итальянские хроники. Перевод с французского. Предисловие С. Артамонова. 239 стр. Цена 38 к.

Т. Шевченко. Кобзарь. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. Вступительная статья М. Рыльского. («Библиотека всемирной литературы») 655 стр. Цена 1 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Азаров и В. Кудрявцев. Дом без ключа. Повесть-хроника. 287 стр. Цена 62 к.

В. Астафьев. Повести о моем современнике. 669 стр. Цена 1 р. 53 к.

П. Беликов и В. Князева. Рерих. («Жизнь замечательных людей») 256 стр. Цена 72 к.

И. Варшавский. Тревожных симптомов нет. Повести и рассказы. («Библиотека советской фантастики») 384 стр. Цена 46 к.

Г. Гулиа. А если это любовь? Рассказы. 343 стр. Цена 80 к.

Ю. Додолев. Что было, то было. Повесть. Предисловие Ю. Бондарева. 287 стр. Цена 43 к.

В. Колупаев. Случится же с человеком такое!.. («Библиотека советской фантастики») 270 стр. Цена 35 к.

Комсомол республик представляет писателей—лауреатов премии Комсомола за 1969—1970 гг. Составители Н. Старшинов и О. Воронова. 399 стр. Цена 2 р. 39 к.

А. Кузнецов. В северном краю. Предисловие В. Солдухина. 224 стр. Цена 41 к.

М. Малгонкар. Излучина Ганга. Роман. Перевод с английского. 398 стр. Цена 1 р. 26 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Алиева. Письмо в бессмертие. Поэма. Перевод с аварского. 96 стр. Цена 41 к.

С. Алянсий. Встречи с Александром Блоком. Предисловие К. Федина. 159 стр. Цена 46 к.

Л. Бать. Великое призвание. Повесть о русском актере М. С. Щепкине. 304 стр. Цена 79 к.

А. Волков. Земля и небо. Занимательные рассказы по географии и астрономии. 206 стр. Цена 68 к.

Всего превыше. Рассказы африканских писателей. Переводы. 160 стр. Цена 41 к.

Все для всех. Стихи польских поэтов. Переводы. 160 стр. Цена 83 к.

В. Голявкин. Удивительные дети. Повесть и рассказы. 192 стр. Цена 51 к.

Ф. Каманин. Золотой рубин.— Хрустальная ваза. Повести. 224 стр. Цена 49 к.

В. Муравьев. Слава столетия. Исторические повести. 239 стр. Цена 67 к.

П. Неруда. Молчание — не золото. Стихи. Перевод с испанского и вступительная статья П. Грушко. 191 стр. Цена 44 к.

Песня, мечта и любовь. Поэтессы Советского Союза. Избранные стихотворения. Книга 2. Составитель М. Завадская. Предисловие М. Карима. 448 стр. Цена 1 р. 52 к.

Л. Подвойский. Пионерские были. Предисловие М. Прилежаевой. 64 стр. Цена 15 к.

С. Полетаев. Второе небо. Рассказы и повести. 190 стр. Цена 44 к.

Русские народные сказки. Сборник. 144 стр. Цена 31 к.

С. Шушкевич. Отважный Марат. Рассказы о Марате Казее. 61 стр. Цена 13 к.

Ю. Яковлев. Багульник. Рассказы. 399 стр. Цена 86 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

П. Богданов. Постоянство. Стихи. 95 стр. Цена 24 к.

М. Геттуев. Эльбрус рядом. Роман в стихах. Авторизованный перевод с балкарского. 205 стр. Цена 1 р. 11 к.

Ф. Голубев. Живые столбы. Рассказы. 72 стр. Цена 14 к.

З. Гусева. Свидание на Капри. Документальная повесть. 224 стр. Цена 57 к.

П. Замойский. Рассказы. 304 стр. Цена 62 к.

Р. Кармен. Но пасаран! Воспоминания. Последовие К. Симонова. 383 стр. Цена 99 к.

О. Попцов. Обжалованию не подлежит. Повесть. 192 стр. Цена 34 к.

М. Скороходов. Путешествие на «Щель». Повесть. 173 стр. Цена 28 к.

«СОВРЕМЕННОК»

М. Асламов. Большое солнце. Книга стихов. 111 стр. Цена 48 к.

И. Ирошников. Повести, рассказы. 494 стр. Цена 1 р. 7 к.

Вс. Рождественский. В созвездии Пушкина. Книга о русских поэтах. 222 стр. Цена 79 к.

А. Розен. Полк продолжает путь. Повести и рассказы. 272 стр. Цена 72 к.

Б. Ручьев. Магнит-гора. Избранное. 159 стр. Цена 94 к.

ВОЕНИЗДАТ

И. Головченко. Черная тропя. Повести и рассказы. 431 стр. Цена 91 к.

Л. Мосли. Утраченное время. Как началась вторая мировая война. Сокращенный перевод с английского. 375 стр. Цена 1 р. 45 к.

«ИСКУССТВО»

Искусство, которое не покорилось. Немецкие художники в период фашизма. 1933—1945. Составление и перевод С. Комарова. 344 стр. Цена 2 р. 94 к.

А. Корнейчук. Пьесы. Перевод с украинского. Вступительная статья Н. Абалкина. 469 стр. Цена 1 р. 46 к.

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ч. 1. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым. 1902—1904. Составление и вступительная статья В. Виленкина. 448 стр. Цена 1 р. 96 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Димитров. О литературе, искусстве и культуре. Перевод с болгарского. 271 стр. Цена 1 р. 42 к.

Я. Дуж. Организация системы информации на предприятии. Сокращенный перевод с венгерского. 252 стр. Цена 1 р. 12 к.

В. Кёппен. Голуби в траве.— Теплица.— Смерть в Риме. Романы. Перевод с немецкого. 505 стр. Цена 1 р. 76 к.

Моделирование производственных процессов на предприятии. Сокращенный перевод с немецкого. 333 стр. Цена 1 р. 46 к.

К. Обуховский. Психология влечений человека. Перевод с польского. 247 стр. Цена 1 р. 5 к.

«МИР»

Космический госпиталь. Сборник научно-фантастических рассказов о внеземных формах жизни. 414 стр. Цена 94 к.

«МЫСЛЬ»

Л. Гордон и Н. Римашевская. Пятидневная рабочая неделя и свободное время трудящихся. 126 стр. Цена 35 к.

М. Козлова. Философия и язык (Критический анализ некоторых тенденций эволюции позитивизма 20 века). 254 стр. Цена 1 р.

П. Осипенков. Проблемы социалистического распределения. 160 стр. Цена 51 к.

Проблемы научного коммунизма. Сборник статей. Выпуск 6. 356 стр. Цена 1 р. 45 к.

«ЭКОНОМИКА»

О. Дейнено. Комплексная рационализация управленческого аппарата. 207 стр. Цена 69 к.

В. Косов и Г. Попов. Управление межотраслевыми научно-техническими программами. 151 стр. Цена 39 к.

Б. Новичков. Материальные балансы (Вопросы совершенствования разработки). 126 стр. Цена 40 к.

«НАУКА»

Н. Демина. Андрей Рублев и художники его круга. 171 стр. Цена 1 р. 80 к.

О. Дрейер. Культурные преобразования в развивающихся странах. 271 стр. Цена 1 р. 32 к.

Законданный город. Новеллы афганских писателей. Предисловие Н. Дворянкова. 95 стр. Цена 26 к.

Д. Кунин. Ленинский план построения социализма в СССР и его осуществление. 223 стр. Цена 70 к.

Математические методы в исторических исследованиях. Сборник статей. 234 стр. Цена 1 р. 15 к.

Развитие советской науки за 50 лет. Указатель юбилейной литературы 1967—1969 гг. Составитель З. Гурко и др. 327 стр. Цена 2 р. 6 к.

И. Рожанский. Анаксагор. У истоков античной науки 320 стр. Цена 1 р. 54 к.

Р. Ульяновский. Социализм и освободившиеся страны. 557 стр. Цена 2 р. 17 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Внешняя торговля СССР за 1971 год. Статистический обзор. 318 стр. Цена 1 р. 93 к.

М. Ильинский. Лаос: огненный коридор. Индокитайский блокнот. 96 стр. Цена 17 к.

Г. Яшуновский. Шпионы? (Из истории «охоты за ведьмами» в США). Сокращенный перевод с польского. 246 стр. Цена 82 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Петухов. Сто плюс одна версия (Записки прокурора), 128 стр. Цена 21 к.

В. Сорокин. Административно-процессуальное право, 240 стр. Цена 79 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Вопросы литературы и фольклора. Сборник статей. Научный редактор С. Лазутин Воронеж. Издательство Воронежского университета, 224 стр. Цена 83 к.

Вопросы сюжетосложения. Сборник статей. Вып. 2. Ответственный редактор Л. Цилевич. Рига. «Звайгзне», 199 стр. Цена 84 к.

О. Ганалаян. Армения в творчестве русских поэтов. Ереван. «Айастан», 162 стр. Цена 28 к.

К. Каладзе. Думы. Перевод с грузинского Тбилиси «Мерани», 175 стр. Цена 75 к.

П. Киле. Идти вечно. Трилогия. Предисловие Г. Горышина. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство, 199 стр. Цена 44 к.

П. Коланев. Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск. Издательство Белорусского университета, 295 стр. Цена 1 р. 84 к.

С. Мамаджанов. Мир поэта. Очерк жизни и творчества Хамида Алимджана. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Г. Гуляма, 317 стр. Цена 67 к.

А. Муратов. И. С. Тургенев после «Отцов и детей» (60-е годы). Ленинград. Издательство Ленинградского университета, 144 стр. Цена 60 к.

С. Орлов. Мой лейтенант. Стихи и поэмы. Вступительная статья А. Михайлова. Ленинград. 327 стр. Цена 1 р. 20 к.

К. Прийма. «Тихий Дон» сражается. Ростов-на-Дону. Книжное издательство, 452 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Смирнов. Лев Толстой — редактор журнала «Ясная Поляна». Тула. Приокское книжное издательство, 87 стр. Цена 20 к.

С. Чертон. Художник Борис Шалапин. Предисловие С. Коненкова. Ленинград. «Художник РСФСР», 135 стр. Цена 2 р. 80 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва К-6 пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 29/VIII 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/IX 1972 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}, 28,7 уч. изд. л. 9 бум. л. (2,5 усл.-печ. л.).
 А 09046 Тираж 157.000 экз. Зак 2484.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл. 5

Цена 70 коп.

70636